Kreschatik

International Literary Magazine

3 '2001

KRESCHATIK

International Literary Magazine

Международный
литературно-
художественный
журнал

Журнал издается благотворительным Фондом Сергея Параджанова

Главный редактор
Борис Марковский

Редакционная коллегия:

**Марк Нестантинер, Борис Херсонский,
Борис Констриктор, Лариса Щиголь,
Эмиль Голуб**

Технический редактор
Георгий Власов
Секретарь редакции
Алла Жмайло

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна.

Адрес редакции:

Kreschatik, Seestraße, 24.
34519 Heringhausen, Deutschland.
тел. 05633-992278, 05633-99004
тел. в Киеве 290-03-90
тел. в Москве 412-36-67

www.kreschatik.demon.nl
info@kreschatik.demon.nl

Регистрационное свидетельство № 607
от 21 ноября 1995 года

© Крещатик, 2001

Содержание

Поэзия

Арсений Ровинский	Вместо ключа Иппокрены.	**5**
Дмитрий Коломенский	Ожидание снега...	**114**
Вадим Перельмутер	Вечерние стансы.	**122**
Владимир Гутковский	Горький ковыль под ногами...	**137**
Игорь Померанцев	Люблю пустоту...	**185**
Сергей Самойленко	Кроме деревьев и птиц...	**197**
Светлана Максимова	Аргентинское танго.	**205**
Вальдемар Вебер	Колесо счастья.	**222**
Борис Тулинцев	Карлик-Шуберт.	**242**

В гостях у «Крещатика» — Поэты Нью-Йорка

Ирина Машинская	**255**
Владимир Гандельсман	**276**
Мадлен Розенблюм	**296**
Виктор Санчук	**298**
Григорий Стариковский	**306**
Давид Шраер-Петров	**314**
Максим Д. Шраер	**317**
Олег Вулф	**331**
Александр Стесин	**330**
Александр Алейник	**333**
Андрей Грицман	**339**
Владимир Друк	**363**

Проза

Борис Хазанов	Аквариум. Роман.	**11**
Сергей Глузман	Геометр. Рассказы.	**117**
Анна Ры Никонова-Таршис	Сотни судей.	**124**
Олег Губарь	Человек с улицы Тираспольской.	**141**
Маргарита Шарапова	Первое сентября. Рассказ.	**187**
Алексей Александров	Из книги «Лепестки Розы».	**200**
Алексей Курилко	Ты еще жив... Рассказ.	**212**
Борис Майнаев	Воля. Рассказ.	**229**
Юрий Шигашев	В конце столь долгой зимы. Рассказ.	**244**

Новые переводы

Уве Копф Алая буква. Рассказ. Пер. с нем. А. Мильштейна. **280**

Из итальянской поэзии

Пер. Г. Киршбаума. **Винченцо Кардарелли** **285**

Контексты:
эссеистика, критика, библиография

Андрей Грицман К публикации нью-йорских поэтов в «Крещатике». **253**
Игорь Лощилов Езиды и аксолотль. **259**
Виктор Санчук Художник в городе. **287**
Борис Констриктор Как устроиться на работу в Америке. **301**
Игорь Померанцев Чаще наблюдается у женщин и детей. **309**
Евгений Антипов Сад расходящихся тропок. **319**
Тиберий Сильваши Вермеер или Лицо живописца. **335**
Грета Ионкис Генрих Фогелер: зигзаги судьбы. **343**

Латинский квартал

Павел Лукаш Условия игры. Рассказ. **369**
Ольга Цехновицер Стихи для Ирочки. **377**
Владимир Шпаков Год Петуха. Рассказы. **378**
Наталья Кондратьева Фрау. Рассказ. **399**

Арсений РОВИНСКИЙ

/ Копенгаген /

Intro

Детство всегда в пролёте, старость всегда права.
Мёд, который вы пьёте, на самом деле — слова,
в чьих ульях идёт работа, в чьих сотах кипит слюна,
чья новая позолота старым вином пьяна.
Сильные чувства, страсти, не станут стучаться в дверь.
В колоде еловой масти завёлся вишнёвый зверь,
он смотрит на поле брани, не веря своим глазам —
кто не умеет ранить, не может быть ранен сам.

▮▮▮

Кто они, где живут, что вызывает смех их,
что их тревожит, что заставляет плакать?
Говорят, говорят, опускают веки,
переходят на жесты, намёки, знаки,
шепчут: «Подай вина, свечи зажги и слушай.
Как тебе — скрипок звук, как тебе — чёткость линий?
Уже никто не придёт, уже ничто не нарушит
эту лёгкость письма, этот воздушный иней.
В тихие небеса тебя приберёт сестрица,
в край, где пчела по капелькам собирает
сладкий нектар, что в перстне моём хранится,
и пластинка Сальери, что твой Амадей, цепляет».

▮▮▮

Соловецкий жмых в котелок крошить.
Енисейский лёд претворять в вино.
Соколиными жилами рот зашить,
пеленой опечатать глазное дно.

По воскресным дням начинать с нуля,
с черенка, что в мёрзлую землю врос,
где имперский орёл стережёт поля,
растопырив пальцы, как новый росс.

Вместо ключа Иппокрены

1. Вавилон

Качаются сосны, Маняша,
снежинки слетают с небес.
Возьмём карабин с патронташем
и можно отправиться в лес.

Не надо о чувствах, Маняша.
Зима на дворе, птичий гам.
Представь, что ты штрудель, упавший
к худым пионерским ногам.

Представь, что и голубь на стройке,
морошка и кашка «артек»,
смешаются в новой настойке
для новых, весёлых аптек.

Когда из-под ряски генштаба
усатый всплывёт Карабас
и полные нежности крабы
Проглотят дыхание масс.

2

Он с дальнего к нам Закавказья,
батумских щедрот ученик.
По будням — венец безобразья,
по праздникам — венский родник.

Гурман, почитатель балета,
малаховских дач патриот —
давно твоя песенка спета,
а ненависть дальше плывёт.

На самой последней странице
напишется с красной строки —

ни облако сизое снится,
ни дом у спокойной реки —

роскошная следует свита
за тьмой, заурядной на вид,
и белыми нитками шито,
и пламенем синим горит.

3

Всё выжжено, всё перерыто,
всё писано вязью кривой.
Послушай, как пьяно и сыто
копытом стучит рулевой.

В садах зацвела валерьяна,
на пастбищах — полный падёж.
Послушай, как сыто и пьяно
рогами сучит молодёжь,

когда дирижёр на летучке —
последний пропойца и жмот —
добился прибавки к получке
и каждая скрипка поёт.

За редкую эту удачу
последнее сердце отдам.

«Волынский, тебе передача.
Тебя на допрос, Мандельштам».

Машук

Вначале просто били наудачу,
а к вечеру устроили раздачу —
под каждым камнем — горец и боец,
ночной тархун и утренний чабрец.
Владелец скал, чья родина — темница,
боится спать, но и не спать — боится,
где Терек полоумный шевелит
форель прозрачную и бархатный гранит.

Здесь муэдзин с азартом замполита
поносит тех, чья борода обрита,

на Грузию вещает из-за туч,
и голос его грозен и тягуч.
Ночной чабрец и утренний тархун.
Вершины гор как пирамиды шхун,
медведи в спину целят из двустволок.
Барашек нежен, но в груди — осколок.

Посмотрим на дивизию с небес,
и прогуляем этот гудермес
как в детстве — анемию физкультуры.
Ни белые, ни чёрные фигуры
в такую осень не сдаются в плен.
С блуждающей улыбкою чечен
качнётся, как Мартынов на дуэли.
Оправа треснула, но стёкла уцелели.

▮▮▮

Мне кажется, я знаю почему,
и чем закончится. Солдаты обернутся
своими командирами, а мы —
солдатами, жующими заварку,
снег — белым порошком, и только грязь
останется лежать на этих склонах.

В нелепейших сандалиях, с узелком
подмышкою, однажды оказаться
холоднокровно дышащим стрелком,
смотрящим на знакомые вершины
по новому.
Так старый вор
в последний раз прохóдит по квартире,
где только что работал.

Untranslatable

1

Направо — станция, налево — местный клуб.
Не то, чтобы деревня, но посёлок:
ловцов полно, да горлица одна.
Квадрат окна, избы лиловый куб,
китайский берег виден с местных ёлок.

Не висни со стаканом, пей до дна.
Шепча заветные слова
ложился, просыпался в Сочи,
а в Сочи в феврале — весна.
Теперь другая пахлава —
пастушкам не хватает мочи
его выдёргивать из сна.

2

Скрип уключин, пение коромысел,
торжество простых, неделимых чисел,
забирает в пять, а приводит в девять
пацанёнок, которому в мае — семь.
Грохот ставень, музыка половиц,
домовые, ведущие в пляс девиц.
То ли вправду в корень ушла вся сила,
то ли птичка забыла песню,
которой меня будила.

▮▮▮

С высоты невысокого здания
виден лес, журавли за рекой.
Вот один улетел на задание,
вот отправился следом другой.

Задохнись от прозрачности газовой,
тишины этих белых высот,
никому никогда не рассказывай
что в твоих сухожильях поёт.

После двух в совершенном беспамятстве
заскачи в гастроном угловой,
на орехи потрать, что останется,
и за слово ответь головой.

▮▮▮

Таксист в России больше, чем таксист.
Его букварь красноречив и точен,
он в сердце свой лелеет остролист.
Он гражданин, а мы — рабы обочин.

Он господин, а мы — его вассалы,
опухшие, как крылья стрекозы.

Кольцо ночное, сад моей слезы!
Чумные, бесконечные вокзалы,
и постовые, бледные, как псы,
поднявшиеся с гордого Урала
в безносый космос встречной полосы.

Bonus track

Местами — да, но большей частью — нет.
Подай, Егорий, водку на обед,
да пива тёмного, да туркестанской дури,
а сам, как будто ты акын слепой,
играй на укулеле, песни пой,
о подвигах, о славе, о Тимуре.
То водка жжёт, то вяжет анаша,
клубятся дрессированные змеи,
летает муха, тоже хороша.
Нас окружают ямбы и хореи,
и в эту долгожданную тюрьму
нельзя не впасть в конце, как в сулему.
Гасите свет, я сон ваш не нарушу.
Рутина жизни в море и в горах.
Ребёнок просыпается в соплях,
бежит собака с рёбрами наружу,
и не понять, откуда этот страх.
Сады шумят, а мы молчим в садах.

Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /

Аквариум

Хроника пригородных поездов

Denke daran, dass heute
morgen gestern ist.
Peter Weiss

Помни, что сегодняшний день
завтра станет вчерашним.
Петер Вейс

Интродукция

Цветы и рыбы любят холодную воду. Существа, беззащитные перед прямыми лучами, чахнущие в тепле, ищут спасения от иссушающего смертельного воздуха, гибко и беззвучно уходят вглубь, сверкнув серебряной чешуей, подальше от манящей поверхности, туда, где на песчаном дне между скалами, под мутным серо-зеленым солнцем их ждут, благосклонно покачиваясь, вея длинными изумрудными телами, вечно живые цветы моря. Человек гуляет среди зарослей в тенистой прохладе, под известковыми сводами, плутает в джунглях, вспугнув стаю прозрачных красноватых рыбок, проплывающих мимо в сиреневом фосфоресцирующем небе, где стоит неподвижно мутное электрическое светило. Рыбы спрашивают себя: как он сюда попал?

Как все. Люди бродят по залам и коридорам в сумраке между подводными жителями: любопытствующие, скучающие, восхищённые; толпятся перед бассейном, похожим на гигантскую кастрюлю из оргстекла, на хрустальный колокол, на купол цирка, все взоры устремлены на арену; песок, усеянный раковинами, слюдой, мерцающими плоскими камушками, сыплется, шевелится, дышит, это не песок, а чья-то спина, чешуйчатая кожа, вырисовывается огромный хребет, подрагивают иг-

лы, колышутся крылья-плавники, — чудовище выпрастывается из песка, стряхивает присосавшихся моллюсков, плывёт вдоль круглой стены аквариума, толпа расходится. Гость остался один на один с легендарным монстром, гордостью океанографического музея. Но тот его не замечает. Человек идёт дальше. Рыбы-черви, рыбы-растения, увешанные серебряными пузырьками, куртины качающихся бледно-слизистых паучьих побегов, танцующих на одном месте, пока кто-нибудь не снимется с места, и тотчас за ним уносится, гибко подрагивает завивающимися концами, ускользает в щели утёсов вся поросль. Комки живой слизи, как в день творения, висят на уступах лиловых, розоватых, аметистовых скал; многоугольные, плоские, пупырчатые, безглазые существа со зрячей кожей неслышно передвигаются по дну, пожирая всё, что встречается на пути; человек идёт дальше. На песчаном плато — развалины города, обломки капищ и колоннад. И вдруг выплывает из темно-зеленых глубин, повисает в пространстве, вея прозрачными плавниками, пышным кисейным хвостом, вращая светящимися, незрячими, круглыми пузырями очей, разевает плоскую беззубую пасть владыка подводного мира.

Он висит в пустоте, медленно раздвигая рот; всё шире и шире; теперь видно, что пасть разрезала половину его туловища; гигантский зев с хвостом и жабрами; нет надобности охотиться, незачем двигаться: и мелочь, и средний люд, кто плавно, кто кувыркаясь, влекутся в разверстую пасть. Близится время закрытия, и, обернувшись, посетитель видит идущих к выходу; в зале становится ещё сумрачней, но сил нет оторваться от зрелища плывущих, качающихся, судорожно дёргающихся тел. Медленно сходятся половинки рта, расщеплённое чудище вновь становится рыбой; и сытый, усталый, роскошно-кисейный богдыхан опускается на дно.

В чертогах смерти погасли огни, на потолке играют зелёные тени, и светятся мутно-фосфоресцирующие витрины, гость убыстряет шаги, наугад пересекает подводные залы, косясь на беззвучный, не спящий мир за толстыми стёклами. Гость очутился в переходе, где уходили вдаль таблички дверей, — очевидно, здесь размещалась администрация, вернулось время рассказа; вдоль потолка тянулись газосветные трубки, так называемые лампы дневного света — призрачно-белый, безжизненный день. За поворотом дверь с вывеской тёмного стекла, тускло-золотые буквы.

Посетитель взялся за косо прибитую ручку, тяжёлая створка подалась, на эстраде, возле председательского стола, за небольшой трибуной докладчик — лицо освещено снизу лампой под чёрным колпаком — шевелил устами, два десятка слушателей сидело в передних рядах. Никто не обернулся. Председатель спросил: «Товарищ, вы к кому? Вы из академии?»

Вошедший молчал, и все повернулись к нему, а докладчик налил себе воды из графина. Был седьмой час, в больших окнах стояло отливавшее металлом густо-синее небо. Вошедший шёл между рядами к эстраде. «Вы откуда?» — снова спросил председатель. Человек остановился и сказал:

«Я хочу спросить. Как называется это животное... эта рыба с огромным ртом?» Он показал руками, как отворяется пасть.

«Товарищ, — сказал председатель, — здесь сессия научного общества. Вы кто? Вы член общества?»

«Нет, я просто так, — сказал посетитель, — я пришёл в музей. Я хочу спросить», — повторил он.

«Музей закрыт. Пожалуйста, не мешайте работать».

Наступила пауза, докладчик на трибуне пил воду. Румяный седовласый старец в первом ряду поднял руку.

«Я заявляю протест. Товарищ интересуется океанографией. Вместо того чтобы его выслушать, мы его гоним прочь. Вместо того чтобы удовлетворить его законное любопытство, мы заявляем, что он нам мешает работать. Работать над чем? Не будем забывать, — сказал почётный член общества, подняв палец, — что любознательность, умение задавать вопросы природе — это первичный импульс всякого научного исследования!»

Председатель выслушал старца.

«Протест отклоняется, — сказал он брезгливо и повернул голову к докладчику. — Продолжайте. А вы, — посетителю, — будьте любезны покинуть зал».

«Что значит покинуть? Нет, я решительно протестую. Пора, наконец, покончить с этим самоуправством. Возможно, товарищ хочет вступить в члены общества».

«В таком случае пусть заполнит анкету и представит список научных трудов. Мы рассмотрим...»

«Вот уж нет! — вскричал почётный член. — Не вы рассмотрите, а мы, мы все здесь присутствующие, рассмотрим и решим. Пора положить конец этому единовластию».

«Позвольте, — сказал председатель, — кто здесь председатель: вы или я?»

«Вот именно. Вот именно! Кто тут председатель. Я предлагаю поставить вопрос на голосование».

«Ну знаете», — сказал председатель и развёл руками.

Посетитель миновал коридор, он шествовал, помахивая портфелем, навстречу служителю, тот поспешно посторонился и смотрел ему вслед. Гость отыскал дорогу в опустевший тёмный зал и приблизился к светящемуся колоколу. Мир и довольство царили в подводном царстве, кисейный властелин отдыхал на песке.

Гардеробщица уже закончила рабочий день. Посетитель сам снял с крючка пальто и шляпу. Служитель, подбежав, отомкнул входную дверь. Посетитель океанографического музея размышлял об устройстве жизни. Город с его домами, тёмными подворотнями, толпами пешеходов и светоносными глазами троллейбусов напомнил ему подводный мир.

Контролёры

Кто он такой? На этот вопрос было бы нелегко ответить и самому Льву Бабкову. Может быть, это станет яснее впоследствии, но обещать мы не решаемся. Было то время суток, о котором невозможно сказать, день это или вечер. Час, когда небо над городом загорается злокачественным оловянным сиянием, темнеют дома и светлеют улицы. Человек с портфелем проталкивался на перроне между ошалелыми жителями пригородов и дачных посёлков. В тускло освещённом вагоне на крюках качались кошёлки с продовольствием, пассажиры тесно сидели спинами друг к другу на сдвоенных скамьях, на мешках и чемоданах в проходах и тамбурах. Поезд нёсся мимо сумрачных полустанков, люди выходили на редких станциях, это был удобный, скоростной маршрут. Понемногу стало свободней. С двух сторон в вагон электрички вошли двое в железнодорожной форме. Вид государственной шинели не может не пробудить беспокойство у всякого нормального человека. Лев Бабков следил из-за полуопущенных век, как контролёр неспешно, щёлкая компостером, продвигается в проходе. В тёмных окнах вагона стояли и проносились огни, стоял, ехал, словно в потустороннем мире, другой вагон, и там тоже маячили бледные лица, качались кошёлки, контролёр показывал металлический жетон, пассажир рылся в карманах. Лев Бабков решительно встал и предъявил свой жетон; теперь в вагоне было три контролёра.

Он успел надорвать билеты, за отсутствием щипчиков, у каких-то бедолаг деревенского вида, смотревших с испугом и подобострастием, и, двигаясь прочь, столкнулся с другой шинелью, контролёрша держала в руках блокнот штрафных квитанций за безбилетный проезд. Она спросила: «А вы-то откуда взялись?» — «Как откуда? — возразил Бабков и показал жетон. — Добровольное общество содействия армии и милиции. Общественный контроль». — «Что-то я не слыхала про такое общество», — сказала она. Они стояли в проходе, контролёр закончил проверку и шёл к ним с другого конца.

«И где же ты сел? — продолжала она спрашивать, перейдя на ты, что означало уже некоторую степень коллегиальности. — Вот, — сказала она, — из общества, какой-то добровольный контроль».

«А, — сказал контролёр, — есть такой. Чего ж ты один-то ходишь?»

Втроём вышли в тамбур.

«Давай, тётка, подымайся, — промолвил старший контролёр. — Сейчас двери откроются, людям выходить надо».

Старуха, сидевшая на мешке, возразила:

«Куды ж я полезу».

«Туды», — сказал он.

Поезд остановился, контролёры вышли и направились к другому вагону, женщина обернулась; Лев Бабков кивнул, дав понять, что он следует за ними, но был оттеснён ввалившейся толпой; что, однако, не противоречило его намерениям; он стоял в тамбуре у стенки с правилами для пассажиров; можно было заметить, слегка высунув голову, как контролёры вступили в другой вагон; и в последнюю минуту Лев Бабков выскочил на платформу.

Электричка ушла, нужно было ждать следующей. Он направился к вокзалу. У дверей стояли они оба. Контролёр сказал насмешливо:

«Куда ж ты сбежал-то».

Лев Бабков пожал плечами.

«От нас не убежишь. А ну, покажь».

«Чего показывать?»

«Жетон, говорю, покажи. Ты где его взял?» — спросил он, разглядывая жетон с колечком, которое надевают на палец, чтобы не потерять. Потом сунул его в карман.

«Ну, я пошёл», — сказал Бабков сумрачно.

«Стоп. Куда торопишься. А штраф кто будет платить?»

«Какой ещё штраф».

«Хорош гусь, — усмехнулся контролёр, — видала? Выпиши ему квитанцию. Документ есть? Предъяви документы».

«Да пошёл ты... Документы. Я тебя знать не знаю».

«Значит, так, — сказал контролёр. — Документов нет. Билета тоже нет. Ходит по поездам с фальшивым жетоном. Да ещё, небось, штрафы собирает».

Все трое вошли в зал ожидания.

«Будучи задержан, грубит персоналу. Что ж нам теперь с ним делать, наряд вызвать или как?»

Контролёр стоял перед задержанным, уперев руки в бока. Женщина спросила:

«Ты куда едешь-то?»

Лев Бабков снова пожал плечами и ответил, что ещё не решил; может, до Одинцова.

«Садишься в поезд, а куда ехать, не решил. Ты вообще-то где проживаешь?»

«Вообще-то в Одинцове».

«Так. А ещё где?»

Лев Бабков устремил взор в пространство.

«И ко всему прочему без определённого места жительства. Давай, — сказал контролёр, — пиши ему квитанцию, хрен с ним».

Женщина в шинели поглядывала на часы; смена кончилась.

«Может, посидим где-нибудь?» — предложил Бабков.

«Я что-то продрог», — возразил контролёр.

«Весна гнилая какая-то, ни то ни сё», — подтвердила контролёрша.

«Как бы это, того, не простудиться».

«Вот и я говорю. Ходишь цельный день на сквозняках».

«Чего на меня смотришь? — сказал контролёр. — Ишь, какой шустрый: посидим. Мы при исполнении служебных обязанностей. Сейчас вот сдам тебя дежурному, он наряд вызовет. Пущай разбираются. Ты как считаешь, Семёновна?»

«Да чего уж там, чего считать-то».

«Вот то-то. Служба есть служба», — сказал контролёр, и печать судьбы и долга обозначилась на его лице.

Приятное времяпровождение

«Я тебе так скажу...» — продолжал контролёр после того как официантке было заказано то, что положено заказывать, и выпито, и повторено, и потюкано вилкой по тарелке, и контролёр выпростался из чёрной шинели, и Лёва, вскочив с места, предупредительно принял от порозовевшей Анны Семёновны её форменное облачение, и всё это вместе с пальто и шляпой Бабкова было свалено на подоконник рядом со столиком, причём сам Бабков оказался при галстуке и в приличном, хоть и поношенном, пиджачке и даже с университетским ромбом на лацкане. Заказали ещё графинчик и ещё по одной порции салата из помидоров, и по рубленому шницелю, и как-то незаметно тем временем в дымном зале набралось народу, и на дощатом помосте уже настраивал инструменты кочующий по пригородным станциям эстрадный ансамбль.

«Я вот тебе так скажу. Ты хоть и... — он запнулся, не находя нужного слова, — ну, короче, хрен знает кто, но человек образованный, это я сразу заметил. И с портфельчиком ходишь. А мы люди рабочие. Мотаешься с утра до ночи по поездам, да ещё тебе потом начальство холку намылит за невыполнение плана».

«Какого плана?»

«А вот такого. Финансового, вот какого».

«Разве есть план собирать штрафы?»

«А как же. На всё есть план. И на убийц есть план, и на воров, и на грабителей, а ты как думал? Положим, надо тюрьму новую выстроить: откуда ж это известно, сколько там должно быть камер, сколько

этажей? А вот смотрят, сколько положено по плану поймать преступников. Так же и безбилетников: положено столько-то выявить в день. Значит, выяви. И соответственно представь столько-то корешков от квитанций. А не представишь, холку намылят. Причём каждый год план всё выше».

«А если перевыполнил?»

«Премию получишь. Только я говорю, что план каждый год повышается».

«По-моему, — сказал Бабков, — безбилетных пассажиров хоть пруд пруди».

«Это верно, — согласился контролёр. — Так ведь не каждого поймаешь. И на лице у него не написано. Ну давай, что ли, за знакомство».

«Будем здоровы», — сказал Лев Бабков, и тут как раз оркестр грохнул что-то невообразимое; Лёва пригласил даму на танец.

«Валяй, Семёновна, — махнул рукой контролёр. — Небось, сто лет не танцевала».

«Куда уж там. По молодости ещё туда-сюда, а теперь чего уж».

«Вы и сейчас молодая».

«Скажете. Людей смешить. Это мы танго танцуем?» — спросила она.

«Вот видите, вы всё знаете».

«Да уж куда там».

«Мне ужасно неудобно перед вами, Анна Семёновна, — сказал Бабков. — Эта дурацкая история с жетоном. Чёрт меня дернул. Счастье, что на хороших людей нарвался».

«А ты ещё сбежать хотел».

«По глупости, Анна Семёновна: испугался. Я вам откровенно скажу, у меня тяжёлая полоса. Да и вообще: не везёт мне в жизни».

«Эва. А кому ж везёт».

«Не знаю, может, кому-нибудь и везёт. Есть счастливчики, у кого есть крыша над головой».

Танец продолжался, теперь уже трудно было сказать, какой эпохе он принадлежал, согбенный гитарист на помосте, широко расставив тощие ноги, бил и щипал свой плоский инструмент, похожий на крышку от стульчака, и время от времени что-то бормотал в микрофон, разносивший по залу его хриплый шепот.

«Ты вроде говорил, что живёшь в Одинцове».

Бабков не отвечал, скорбно и сосредоточенно вёл между редкими парами свою даму.

«В Одинцове, говорю! Ты вроде говорил».

«Живу, — усмехнулся Лёва. — Вот сейчас приеду, а там моё барахло выкинули на улицу».

«Эва; чего ж так?»

«А вот так: катись на все четыре стороны!»

«Слышь, Стёпа? — Музыканты гуськом удалились подкрепиться, оставив инструменты на эстраде. — Он говорит, с квартиры вышибают».

«А вот это он зря. Бандуру свою оставил. Уведут, и не заметит».

«Слышь, что говорю?»

«А? Чего?» — отозвался контролёр.

«Спишь, что ли. Его с квартиры выселяют. В Одинцове».

«Кого?»

«Оглох, что ли? Я говорю...»

«А ты кто такой?» — спросил контролёр.

«Забыл, что ль. Безбилетник».

«Выпиши ему квитанцию».

«Мне очень неудобно перед вами. Я Анне Семёновне уже говорил, это счастье, что я хороших людей встретил».

«Предъяви документы».

«Да ладно тебе, Стёпа. Заладил».

«Выступает! — крикнул с эстрады гитарист. — Лауреат конкурса на лучшее исполнение! Поаплодируем, граждане».

Под жидкие хлопки на эстраду вышла певица с круглым старым лицом, в длинном облегающем платье с разрезом до талии.

«Ничего себе бабец», — сказал контролёр.

«Может, ещё закажем?» — спросил Бабков.

«Ни-ни. Вишь, какой он».

«Помню, я ещё молодушкой была. Наша армия в поход куда-то шла».

«Ничего себе. А?»

«Стёпа... Пошли, мы тебя в вагон посадим. Сам-то доедешь? Или тебя проводить?.. Где эта кукла?» — спросила Анна Семёновна, ища глазами официантку.

«Я заплачу...»

«Да у тебя, небось, и денег нет».

«Я заплачу».

«Всю-то ноченьку мне спать было невмочь! Раскрасавец парень снился мне всю ночь!»

«Что это за херня, — сказал контролёр, — если снился, значит, небось, спала!»

«Ну-ка помоги. Тащи его. Давай, Стёпа».

«А вот я вас всех... Нечего меня провожать. Я вас в рот всех, мать, в гробу!»

«Да, такая жизнь. Вот сейчас вернусь, а там уже кто-то другой на моём месте. Может быть, и есть люди, которым везёт в жизни. Я к ним не отношусь», — говорил Лев Бабков, заворачивая в газету хлеб и кое-что оставшееся на тарелках.

«Я вам скажу, Анна Семёновна, — продолжал он усталым голосом, уже в вагоне, — что я за человек...»

Время — двенадцатый час в начале.

Ночлег

«Тебе выходить», — сказала она неуверенно.

Поезд несётся во тьме, минуя полустанки, женщина смотрит в окно, где дрожат лампы, поблескивают ручки сидений, проскакивают слепые огни, где напротив сидит некто, о котором впору подумать, не призрак ли он, не пустое ли отражение в тёмном стекле, если можно думать о чём-нибудь, кроме дома и тёплой постели, в этот долгий, поздний вечер. Усталость, усталость! Не хочется смотреть ни на кого, не хочется говорить. Между тем он и не думает вылезать, поезд сбавил скорость, и вот уже едут навстречу, замедляя ход, фонари, едет платформа.

«Слыхал, что сказала? Одинцово».

Лев Бабков туманно взглянул на спутницу. Кто-то брёл мимо в полупустом вагоне, открылись двери; голоса на платформе.

«Давай; ещё успеешь. Али окоченел?» Она почти тащила его по проходу.

Выбрались в тамбур.

«Значит, гоните меня?»

«Не гоню, а пора. — Раздался свисток. — Погуляли и будет. А то там твои вещи выкинут».

«Уже выкинули».

Чей-то голос с чувством ответил на платформе: «Ну и хрен с тобой! Ну и катись, видали мы таких».

Мимо пробежал дежурный по станции.

«Вот я и говорю, — продолжал голос. — Хрен с тобой, говорю, катись отсюдова».

Поезд всё ещё стоял.

«Видно, что-то случилось, — сказала она, — везёт тебе... Милый, давай прощаться; устала я. Счастливо тебе, дай тебе Бог».

«Анна Семёновна», — пролепетал он, стоя на опустевшем перроне, и почти сразу же свисток дежурного раздался во второй раз. Половинки дверей сдвинулись, но Лев Бабков успел схватился за резиновые прокладки. Поезд снова нёсся среди неведомых далей, в непроглядной тьме, мимо спящих посёлков, посылая вперёд слепящий луч, немногие путешественники раскачивались на скамьях, и тусклое отражение провожатого утвердилось вновь на своём месте за окошком.

Она спросила:

«Куда ж мы с тобой теперь?»

Лев Бабков объяснил, что он ненадолго, на два дня, «а там я устроюсь».

«Куда ты устроишься?»

«Я в институт поступаю».

«Учиться, что ль? Поздно тебе учиться».

Он ответил, что поступает в научный институт. «А насчёт денег, Анна Семёновна, не беспокойтесь. Насчёт квартплаты. Я уплачу».

«Зачем мне твои деньги, мне твоих денег не надо. А вот что соседи скажут. Привела кого-то».

«Не кого-то, — сказал Бабков. — Я ваш родственник, двоюродный брат из Серпухова».

«А что как милиция нагрянет».

«Ну и пускай, у меня документы в порядке».

«Бог тебя знает, кто ты такой», — сказала она, и, как уже было замечено, на это навряд ли сумел бы ответить сам Лёва.

«Если надо, я пропишусь».

«Эва. Он ещё прописаться хочет. Да на кой ты мне сдался?»

«Анна Семёновна, — сказал Бабков. — Я человек спокойный, непьющий».

«Кто тебя знает...»

«Я хочу сказать, если сочтёте нужным. В Одинцове я всё равно не прописан».

«А у тебя вообще-то прописка есть?»

«Я у жены прописан».

«Так ты женат?»

«Был. Трагическая история, Анна Семёновна, не стоит вспоминать».

«Только вот что... — сказала она, отпирая большой висячий замок. Кто-то проснулся под крыльцом и заворчал. — Свои, свои... — Вылез немолодой лохматый субъект и лизнул руку хозяйке и Льву Бабкову. — Вишь, признал тебя».

«Меня животные любят, Анна Семёновна».

«Только вот что я тебе скажу. Мне завтра рано на смену заступать, со мной поедешь. Одного я тебя тут не оставлю».

Мужчина и женщина, оказавшись наедине под одной кровлей, невольно думают друг о друге. Лев Бабков думал о том, что он лежит на кухне на тонком матрасе, а хозяйка в комнате на высокой железной кровати. Он думал о том, что ей, вероятно, лет сорок пять, она живет без мужа, ходит в черной шинели по вагонам пригородных поездов и вечером, сдав выручку, возвращается и ласкает облезлого пса. Он думал, что ему совсем не хочется к ней, не хочется вставать, делая вид, что ему понадобилось выйти по нужде или что его томит бессонница, или что он озяб на кухне и хочет спросить разрешения зажечь газ, что ему не хочется входить к ней в комнату, отогнуть одеяло и лечь рядом

Лев Бабков повернулся на другой бок, было совсем светло, за окном слышался шелест, и было жестко лежать на полу. Когда женщина и мужчина ночуют рядом, то сама собой поневоле мелькает мысль, потому что жизнь навязывает нам роли, написанные для нас, но не нами, понуждает действовать по правилам, придуманным не нами. Хозяйка, ясное дело, вовсе не жаждет, чтобы он попросился к ней, такая мысль, может быть, вовсе не приходит ей в голову, потому что она устала после хождения по вагонам, потому что ей сорок пять лет и жизнь прошла, — а может, все-таки приходит? Хозяйка спит, но некий бодрствующий уголок ее мозга слегка недоволен, слегка зудит, ибо каждый обязан действовать по правилам. Наш приятель почти уснул, когда его тело поднялось с жесткого ложа и, толкнув слабо скрипнувшую дверь, выбралось на крыльцо. Лев Бабков стоял под мертвой луной и чесал за ушами пса

Небо очистилось, кругом все капало, время от времени повевал ветерок. Должно быть, сыро спать под крыльцом, заметил Бабков, слишком ранняя весна, как же это хозяйка не пускает тебя домой в такую погоду. Пес поднял голову и нюхал воздух. Где-то далеко послышался скрежет гармошки. Опять гуляют, думал пес, если допустить (гипотеза, не противоречащая данным современной науки), что собаки формулируют свои мысли в тех же терминах, что и люди. У гостя же было странное чувство, что он мыслит одновременно за себя и за пса. Как тебя зовут, спросил Бабков, но тот ничего не ответил. Я надеюсь, ты умеешь разговаривать, продолжал гость. Это смотря с кем, подумал ночной спутник, и смотря когда. Когда могу, а когда не могу. Некоторые умеют, а некоторые не умеют. Меня это не удивляет, заметил Лев Бабков, ночью все возможно. Может, на самом деле я сплю на кухне, а не стою на крыльце. Ты не ошибаешься, был ответ. Бывает, спишь, даже когда не спишь. Это я по себе знаю. Впрочем, трудно решить, подумал пес, длинно, сладко зевнул и щелкнул зубами. Может быть, это я сплю, а ты мне снишься, все может быть.

После этого наступило молчание, докатилось постукивание товарного поезда. Старый кобель нехотя поднялся, предложил прошвырнуться. Не знаю, заколебался Бабков. Я не одет. — А ты бы пошёл и оделся. — Я войду, а она проснётся. — Дурак ты, братец, я бы на твоём месте... — Мне кажется, заметил гость, в твоём возрасте пора бы уже забыть про такие дела. — Забыть? — возразил пёс. — Легко сказать!

Зверь вернулся, волоча одежду и ботинки, гость облачился в рубаху, подтянул узел галстука, погрузился в вытертые коверкотовые штаны, сунул ноги в ботинки, руки — в рукава пиджака со знаком на лацкане и прошёлся расчёской по редеющим кудрям. Три человека прошли по дороге, парень растягивал половинки своего инструмента, женщины пели, но, как в фильме с выключенным звуком, не было

слышно ни музыки, ни голосов. Лев Бабков повернул голову им вослед, одна из девушек обернулась, ему показалось, что она узнала его.

День уже занимался, ядовито горели огни светофоров на перламутровом небе, через пути брели к платформе чёрные люди. Собака вбежала в зал ожидания, где одиноко сидела, составив ноги, в шинели и форменной фуражке, со старомодной сумочкой на коленях Анна Семёновна.

«Я уж думала, ты сбежал».

Подошла электричка. Пёс остался на платформе. Вошли в вагон.

«В институт едешь?» — спросила она.

«Я думал, что мне всё это снится», — возразил Лев Бабков.

«Может, и снится, — сказала она зевая... — Попрошу предъявить проездные документы!» — бодро провозгласила Анна Семёновна, извлекла из сумки и надела на палец жетон. Навстречу им с другого конца вагона уже двигалась чёрная шинель контролёра Стёпы.

Тут, однако, произошло нечто, явился некто.

Чудо Георгия о змие

С позолоченным деревянным копьём, наклонив остриё в дверях, с постной миной вошёл в вагон персонаж, чьё явление вызвало неодинаковую реакцию. Иные демонстративно зашуршали газетными листами, кто-то проворчал: «Много вас развелось». Некоторые приготовились слушать.

Кто-то спросил: «А разрешение у него есть?» — «Какое разрешение?» — «Разрешение на право носить оружие». — «Какое же это оружие, смех один». На них зашикали. Большинство же публики, навидавшись всего, никак не реагировало.

Человек стащил с головы армейскую пилотку. «Попрошу минуточку внимания, — воззвал он, и настала тишина. — Дорогие граждане, братья и сестры!

Православный народ, папаши и мамаши,
разрешите представиться, я — святой Георгий.
Расскажу вам, что со мной приключилось,
расскажу, как есть, как дело было,
а кому неинтересно, пусть читает газету».

Из уважения к баснословному персонажу проверка билетов была приостановлена; поезд спешил к Москве, это был удачно выбранный маршрут с немногими остановками.

Солдат продолжал:

«В первый день, как войну объявили,
принесли мне сразу повестку

и отправили на передовую.
Вот залёг я с бутылкой в кювете
И гляжу на дорогу, жду змея.
С полчаса прошло, пыль показалась,
задымилась дорога, вижу, змей едет
с головы до ног в чешуе зелёной,
шлем стальной на нём, сам в ремнях, в портупее,
сапоги начищены, из себя видный.
Вот подъехал он, глядит в бинокль —
словно молнии, стёкла сверкают.
Я в кювете сижу, затаился,
подпустить хочу его поближе.
Только тут он на цыпочки поднялся
И в канаве меня надыбал.
Увидал змей в канаве мой кемель,
увидал пилотку со звездою,
рассмотрел моё обмундированье,
на ногах увидал обмотки
и, слюнявую пасть разинув,
стал вовсю смеяться надо мною...»

«Не кажется ли вам странным, ведь уже столько лет прошло», — сосед по лавке шепнул Льву Бабкову.

«Вы имеете в виду легенду?»

«Я хочу сказать, после войны прошло столько лет».

«Это вам так кажется, — возразил Бабков, — народ помнит войну».

«Да, но посмотрите на него. Сколько ему лет, как вы думаете?»

«А это вы у него спросите». Приближалось Нарбиково или какая там была следующая станция, поезд шёл, не сбавляя скорости, словно машинист тоже решил уважить сказителя.

«Стоит, гад, заложил лапу за лапу,
а передней хлопает по брюху.
По-ихнему, по-немецки лопочет,
Дескать, что там время тратить, рус, сдавайся,
куды ты суёшься с голой жопой
с нами, змеями, сражаться!
Поглядел я на него, послушал,
сплюнул на землю, размахнулся
и швырнул ему под ноги бутылку,
сам упал, спиной накрылся,
голову загородил руками.
Тяжким громом земля сотряслася,
пыль, как туча, небо застлала,
а ему, суке, ничего не доспелось.
Стоит себе целый-невредимый,
сам себе под нос бормочет
и копается в своём драндулете:

повредил я, знать, его телегу.
Между тем нет-нет да обернётся,
пасть раззявит, дыхнёт жаром
и обратно носом в карбюратор.
Я вскочил — и гранат в него связку!
Вижу, змей мой не спеша отряхнулся,
из ноздрищ пыль вычихнул, утёрся,
повернулся, встал на все четыре лапы,
раскалил глазищи, надулся
и ко мне двинул.
Мама родная!
Помолись хоть ты за мою душу,
за свово горемычного сына!»

В вагоне расплакался ребёнок. Раздались голоса: «У-ти, маленький! — Гражданка, вы бы прошли в детский вагон. — Нельзя же так. — Мешаете людям слушать. — А чего его слушать-то. — Много их тут ходит. — Да нет такого вагона. — Небось, на пол-литра собирает. — Постыдились бы, гражданин. — Человек кровь проливал, а они... — Дитё плачет, а они всё недовольны. У-ти, маленький...»

«Что тогда было, сказать страшно.
Выскочил я из кювета,
побежал я змею навстречу,
сам ору: ура! За Родину, в рот ей дышло!
И всадил я своё копьё стальное
в хохотальник ему, в самую глотку.
Сам не знаю, как оно вышло,
только тут со змеем беда случилась:
поразил его недуг внезапный
аль кишку я ему проткнул какую, —
проистёк он вонючею жижей,
зашатался, рухнул наземь,
шлем рогатый с него свалился,
и настал тут перелом военных действий.
И закрыл он один глаз свой червлёный,
а потом второй глаз.
Я и сам-то
еле жив, от жары весь спёкся,
ядовитой вони надышался,
в саже весь, лицо обгорело.
Перед смертью змей встрепенулся
и хвостом меня мазнул маленько.
От удара я не удержался
и с копыт долой. Пролежали
рядом с ним мы не знаю сколько,
час ли, два, аль целые сутки.
Только слышу, зовут меня:
— Жора!

Я глаза разлепил, — мать честная!
Надо мной знакомая хвигура:
наш лепила стоит в противогазе.
— Жив, — кричит, — братуха, в рот-те дышло!
Провалялся я в медсанбате
три недели, кой-как подлатался,
а потом повезли меня дальше.
В санитарном эшелоне-тихоходе.
ехал, трясся я на верхней полке,
в Бога душу и мать его поминая.
За стеклом меж тем предо мною
всё тянулись составы и составы,
эшелон стучал за эшелоном:
то проедет солдатня с гармошкой,
то девчат фронтовых полный пульман,
то платформы с зачехлёнными стволами.
Знать, не сгинула наша Россия,
отдышалась, портки подтянула
и всей силой своей замахнулась.
Под конец везли пленных змеев,
не таких, как мой, пожидее,
погрязней и уж не таких гладких,
и обутых в валенки из эрзаца.
После них все кончились вагоны
и поля пустые потянулись,
перелески, жёлтые болота.
Растрясло меня вконец, уж не помню,
как добрался я, как сгрузился
и проследовал в кузове до места.
По тылам, по базам госпитальным
наскитался я, братцы, вдоволь.
Много ль времени прошло аль боле,
стал я помаленьку выправляться.
Тут опять жизнь моя переменилась:
снюхался я с одной медсестричкой.
Баб крутом меня было пропасть,
но её я особо заприметил.
Слово за слово, ближе к делу —
клеил, клеил, наконец склеил.
Как настанет её дежурство,
так она ко мне ночью приходит.
Так прожили мы, почитай, полгода,
а потом я на ней женился.
С нею я как сыр в масле катался,
отожрался и прибарахлился.
С рукавом пустым, с жёлтой нашивкой,
морда розовая, на груди орден Славы, —
как пройду, все меня уважают
и по имени-отчеству называют».

Чудо Георгия о змие. Кода

Поезд остановился, и человек с золотым копьём прервал свою сагу. Вошли новые пассажиры; никто не вышел. Всё стихло, скучный пейзаж нёсся за окнами, кто-то дремал, кто-то было громко заговорил, на него зашикали, все ждали продолжения. «Как вы думаете, — шепнул сосед, — чем можно объяснить живучесть этой легенды?» — «Кто вам сказал, что это легенда», — проворчал Лев Бабков. «А известно ли вам, — не унимался сосед, — что папа Геласий, был такой римский папа, причислил Георгия к святым, известным более Богу, чем людям?» — «Неизвестно», — сказал Бабков. Вагон подрагивал, и летели в безвозвратное прошлое поля, дороги, грузовики перед шлагбаумами, чахлые перелески.

«Вот война окончилась, братцы», — сказал солдат.

«С Катей вместе мы тогда снялись,
а ещё я снимался отдельно
на коне, со щитом и в латах,
с копиём, со знаменем на древке —
как я, значит, змея сокрушаю.
Всё, само собой, из картона,
из подручных, как говорится, матерьялов,
на фанере конь нарисован,
я в дыру лишь морду просунул.
Выпили мы тогда изрядно —
я недели три колобродил...
Пропил хромовые колёса
и костюм, и Катин полушалок,
и ещё кой-какие вещички.
Было так, мамаши мои, многажды,
аж ползком, бывало, возвращаюсь,
аки змий, к домашнему порогу».

«Вот видите, — зашептал сосед, — я же говорю: известным более Богу, чем людям!»

«Никогда меня Катя не бранила,
из любой беды выручала,
всё терпела, главу держала,
как я зелье изрыгал и закуску,
и сама меня раздевала,
на подушки с кружевом ложила
под моим же знаменитым патретом...
Все же есть еще во мне сознанье —
стал я думать, куда податься,
для чего себя приспособить.
Пенсия моя небогата,
знать, не много я на войне заработал,

только слава, что Победоносец.
Думал, думал, ничего не надумал,
люди добрые подсказали,
научили делать зажигалки.
Хитрая, однако, машина:
Крутанёшь колесечко, — другое
вслед за ним тотчас повернётся
и летучую искру высекает.
Фитилёк бензиновый вспыхнет,
и валяй, закуривай смело:
ни огня не надо, ни спичек,
ни кресала, и дождь тебе не страшен.
Вот стою я раз на толкучке
со своим самодельным товаром.
Вдруг навстречу знакомая хвигура.
Пригляделся я — мать честная!
Да ведь это же Коля Чуркин,
старый друг, фронтовой лепила,
что меня с поля боя вынес,
на тележке безногий едет.
Сам кричит: "Здорово, пехота!
Чем торгуешь, каково жируешь?"
Не нашёл я, что ответить Коле,
молча я к нему наклонился,
обнялся с ним и расцеловался.
Выпили мы с ним ради встречи.
Говорит мне Коля: "Эх ты, дура,
что ты, дура, жисть свою корёжишь?
Брось-ка ты свои зажигалки,
а займись делом поумнее..."
Стал смекать я, мозгами раскинул
и придумал, наконец, стаканчик.
Дело это, братцы, такое:
много их, желающих выпить,
у подъездов и по магазинам,
в подворотнях аль просто на воле.
У кого и деньги в кармане,
у кого в руках поллитровка,
а разлить во что — не имеют.
Вот и пьют на троих некультурно,
каждый маму ко рту прикладает
да, глядишь, утереться забудет,
а какой он, кто его знает:
может, он гунявый аль гундосый,
может, у него во рту зараза.
Тут я к ним как раз приближаюсь,
не спеша, солидной походкой,
мол, не нужно ль, ребята, подмоги,
обслужить культурно, кто желает.
У меня при себе бумага,

а в бумаге у меня селёдка,
чесночку зубок — кто желает, —
для хороших людей не жалко,
для кого и яблочко найдётся.
Опосля достаю стаканчик.
Люди ценят такое вниманье,
заодно и мне наливают.
Тут, глядишь, беседа начнётся,
расскажу им чудо о змее,
а они нальют мне по второму.
Ах, прошли давно те денёчки.
Уж давно моя Катя сбежала
и с подушками, и с детями.
А таких, как я, со стаканом,
развелось немало в округе,
и моложе меня, и шустрее.
Чуть я сунусь, уж там свои люди,
и рассказы мои неинтересны.
Уж никто в чудеса не верит,
и до лампочки им Георгий...»

«Вот, значит, какие дела, — сказал солдат и горестно оглядел публику. — А все оттого, что жить не умеем».

«Посему сменил я работу,
заступил я на новую вахту,
нонче я с Казанского еду,
а на завтра с Курского вокзала,
до обеда хожу по вагонам,
а потом в буфете отдыхаю.
Братья-сестры, папаши и мамаши!
Вот стою я сейчас перед вами,
как пред Богом, с открытою душою,
весь как есть, за родину увечный,
сирота безродный и бездомный.
Вы на горе моё поглядите,
войдите в моё положенье,
воину-калеке подайте.
Много не прошу — кто что может,
на моё дневное пропитанье,
на краюшку хлеба да на стопку —
говорю это прямо, не скрываю.
Перед вами стою с открытым сердцем,
я, пронзивший копьём дракона,
я, от недруга Русь защитивший,
щитоносец, святой Георгий».

С этими словами он двинулся по проходу и вскоре наткнулся на Стёпу. Контролёр поднял брови. «Сезонка», — парировал сказитель и, по предъявлении сезонного билета, продолжал свой путь между скамь-

ями, держа копьё остриём кверху, подавая пилотку направо и налево. Анна Семёновна, вздохнув, поднялась с места.

«Попрошу проездные документы!»

Шествие Льва Бабкова по своим делам

Куда направился Победоносец, какой путь избрал Бабков? Оставим солдата в толпе, спешащей на площадь вокзалов, и последуем за Лёвой в сторону Преображенки, вдоль неровной линии бывших доходных домов, всё ещё основательных, хоть и пришедших в упадок, с запылёнными окнами нижних этажей, с вывесками контор, чьи наименования, составленные из слов-обрубков, напоминали заумь. Это был какой-то ветхий, доживший до чаемого будущего футуризм. Пешеход свернул в подъезд, взошёл по короткой входной лестнице. На площадке за стеклом сидел с газетой привратник — или сторож, или дежурный — такие люди всегда сидят в этих местах. Их обязанность — не пускать «никого», то есть блюсти порядок, хотя вряд ли кто-нибудь знает, в чём именно состоит порядок.

Сняв очки, вахтёр смотрел вслед вошедшему, несколько встревоженный элегантной бесцеремонностью, надменным величием, с коими тот, кивнув, помахивая портфелем, прошагал мимо, после чего очки были водружены на место, и дежурный углубился в передовицу. Тем временем Лев Бабков миновал служебный коридор и через задний выход выбрался наружу. Несколько минут спустя он нырнул в пахнущий плесенью чёрный ход жилого строения, непостижимым образом втиснутого в колодец двора. Таково устройство старых кварталов; здесь на каждом шагу убеждаешься, что пространство города, в отличие от природного, растяжимо: где едва хватило бы места для десятка деревьев, могут разместиться многоярусные дома, пристройки, проходные дворы; таково преимущество цивилизации перед природой. Лев Бабков ехал в вихляющейся коробке лифта. На последнем этаже кабина вздрогнула и как бы на мгновение провалилась; гость шагнул в пустоту, но почувствовал под ногами пол; гром захлопнутой двери прокатился по коридору; дом был устроен по образцу меблированных комнат, возможно, и был когда-то гостиницей; гость тащился по длинному коридору мимо мёртвых квартир и кухонь навстречу пыльному солнцу. Позвонил, нажал на дверную ручку, не дожидаясь ответа. Дядя сидел за столом с толстой лупой размером с теннисную ракетку. Ай-яй-яй, снова забыл задвинуть щеколду.

Дядя, впрочем, был всего лишь двоюродный. Некогда дядя имел семью и профессию, занимал, как утверждала молва, приличную должность. Всё пожрала страсть, в которой соединились самопожертвование и алчность, бескорыстие и эгоизм. Дядя отложил увеличительное

стекло и поднял на племянника взор, каким смотрят на фальшивую драгоценность.

«Чаю?» Он показал большим пальцем через плечо в сторону кухни. Бабков вернулся с двумя стаканами; явилось варенье или что там.

«Не хочу, — сказал хозяин, — пей сам».

Лев Бабков извлёк из портфеля вчерашние завёрнутые в газету харчи, а также бутылку дешёвого портвейна.

«Вот это другое дело», — заметил двоюродный дядя. Гость хотел было протереть рюмки бархатной тряпицей специального назначения, но старик замахал руками. Пришлось пустить в ход полы пиджака. Коллекционер поспешно заворачивал в бархат предмет, лежавший рядом с лупой.

«Давненько не видел тебя, — проговорил он, — рассказывай».

«Что рассказывать?» — спросил Бабков.

«Нечего, стало быть», — констатировал дядя.

Помолчали, затем хозяин, которого вино сделало несколько более общительным, произнёс:

«Не понимаю я тебя».

Двоюродный племянник опустил очи долу.

«У тебя такие способности... Ведь были же у тебя какие-то способности?»

«Возможно».

«И внешность вроде бы недурная, и язык хорошо подвешен. Почему у тебя ничего не получается?»

«Что не получается?» — спросил осторожно Лев Бабков.

«Ничего! Сколько тебе лет? Вот видишь. И ничегошеньки, абсолютно ничего из тебя не вышло. Ты нигде не работаешь. Ничего не делаешь. Нет, — сказал дядя, — наше поколение было другим. У нас были ценности! Мы знали, для чего мы существуем на свете».

«Для чего?» — спросил Бабков.

«Могу ответить. Но чтобы так, без цели, без смысла, без... без сознания гражданского долга, наконец. Палец о палец не ударяя, чтобы чего-нибудь добиться! Ты даже не знаешь сам, чего ты хочешь».

«Вот бы и подсказали», — молвил племянник, рассматривая вино на свет.

«Милый мой, жизнь должна иметь смысл».

«Я живу, — сказал Бабков, — вот и весь смысл. *Sum ergo sum*».

«Нет. Мы были другими. Мы верили, мы трудились. Наше поколение...»

«Ваше поколение. Н-да».

«Наше поколение, если хочешь знать...» — свирепо сказал двоюродный дядя, вонзая жёлтые зубы в шницель, не доеденный старшим контролёром.

«А сами-то вы?» — ехидно спросил племянник.

«Что я? Что я? — закричал дядя. — Я, между прочим, на фронте всевал».

«Я тоже», — заметил Бабков.

«Тоже? воевал? Ха-ха!»

«Я хочу сказать, я тоже сегодня видел одного... Представьте себе: самого Георгия Победоносца».

«Георгиевский кавалер? — спросил дядя. — Эти кресты большой ценности не представляют. Так вот, на чём бишь... Что это за мясо? — вскричал он. — Это не мясо, а чёрт знает что!»

«Рубленый шницель; в чём дело?»

«Так вот... Ты спрашиваешь, что я. А известно ли тебе, какую ценность моё собрание представляет для науки? Для истории?»

«Для истории, угм».

«Ладно, — вздохнул дядя. — Зачем пожаловал?»

«А вот представьте себе: хочу устраиваться».

«Не может быть. Значит, всё-таки взялся за ум. Впрочем, из тебя всё равно ничего не выйдет».

«Как знать».

«Позвольте полюбопытствовать: куда? кем?»

Лев Бабков ограничился туманным объяснением, прибавив, что у него есть одна просьба.

Громко засопев, качая лысой головой, дядя дал понять, что проект не внушает ему доверия. Что за просьба? Небольшая, уточнил Бабков. Вылезли из-за стола.

«Давно собираюсь поставить стальную дверь».

«Давно надо».

«У Кагарлицкого недавно вырезали всю вот эту часть. Вместе с замками, обыкновенным лобзиком».

Лев Бабков полюбопытствовал, кто это.

«Ты не знаешь Кагарлицкого? Это почти то же самое, что не знать меня.

Он единственный, кто может со мной соперничать... в некоторых отношениях».

И что же, спросил Бабков.

«Вырезать-то вырезали. А дальше шиш. У него там, оказывается, электрический сторож. Сунул руку — и бац! Подержи». Он вручил собеседнику то, что было завёрнуто в бархатный лоскут. Запоры были отомкнуты, задвижки отодвинуты, оставался главный замок. Коллекционер выбрал из связки самый большой ключ, вставил в скважину и повернул двумя руками; что-то заработало внутри, дядя сунул в скважину другой ключ и повернул в другую сторону.

Вошли в полутёмную комнатку, заставленную шкафами.

«Не здесь, — сказал дядя, вытягивая и задвигая назад плоские ящички, где покоилась вся слава мира. — Здесь настоящие... Зачем тебе настоящие? Ты сам ненастоящий».

Он принял от племянника то, что дал ему подержать, развернул тряпку.

«Приобрёл у вдовы. Только это сугубо между нами... Руки прочь! Обрати внимание, какой величины. И какая работа. Их всего было выпущено девять штук. Один у бывшего румынского короля. Один у этого, как его. И так далее; два экземпляра вообще неизвестно где».

«А как же вдова?» — спросил Бабков.

«Ей вручили имитацию. Не я, разумеется... — он задвинул ящик. — Достань-ка мне вон там наверху».

Это была картонная коробка из-под туфель, в которой что-то гремело. Оба вернулись в жилую комнату, если можно было её назвать жилой. Как все богачи, дядя был нищ. Дядя поставил коробку на стол.

«Типичная для тебя ложная идея, для всех, так сказать, твоих начинаний. Ты хотя бы знаешь, на какой стороне их носят?.. Разумеется, поддельные, но, как видишь, ничем не отличаются от настоящих».

«А настоящие?»

«Что настоящие?»

«Настоящие дорого ценятся?»

«Барахло, — сказал дядя. — Можешь купить на рынке».

Дядя в славе

«Имитация стоит дороже. Имитации, чтоб ты знал, тоже являются коллекционными объектами. Существуют даже имитации имитаций. И, что самое замечательное, никто не может за это притянуть к суду. Закон преследует подделывание подлинников, а подделывание подделок — против этого, слава Богу, нет законов! А бывает и так, что фальшивка оказывается подлинником, а подлинник — фальшивкой. Бывает, и даже нередко, что фальшивка дороже подлинника. Подлинник в некотором смысле сам является фальшивкой — по отношению к подлинной, настоящей фальшивке. Диалектика! Может, лучше парочку медалей?» — спросил он.

«Медали — это уже не модно, — заметил племянник. — Как вы полагаете, не сбегать ли ещё за одной?»

«Валяй. И закусить там что-нибудь. Получше что-нибудь!» — крикнул он вдогонку. Несколько времени спустя Лев Бабков вновь прошествовал мимо привратника, который в этот раз спал за стеклом; снова задний двор, лифт, коридор, и на столе воздвиглась вторая бутылка; племянник резал ситный хлеб, разворачивал бумагу с закуской. Двоюродный дядя хищно следил за приготовлениями.

«Вот вы сказали, купил у вдовы. Это наводит на интересные размышления...»

«Какие же это размышления?» — спросил дядя, держа в обеих руках огромный бутерброд с продуктом, который обладал всеми признаками колбасы, не являясь ею. Осушили по рюмке и немного погодя ещё по рюмке.

«Опять», — проворчал он.

«Что опять?»

«У меня от этих яств такая изжога, что хоть вспарывай себе живот. Японским мечом. Нет, пора, наконец, с этим покончить. Отрежь-ка мне ещё кусок... Нет, они просто отравляют всё население. Я буду жаловаться».

«Кому? Ваше здоровье».

«Взаимно. Так, э... какие же замечательные мысли ты мне хотел поведать?»

«А вот такие, — мечтательно произнёс Лев Бабков, — как бы это поточнее сформулировать. Орден вручается за заслугу и подвиг, орден — как бы эквивалент подвига. Иерархии подвигов соответствует иерархия орденов. Теперь окинем мысленным взором вашу замечательную коллекцию».

«Окинем», — сказал дядя.

«Об этой самой звезде... как она называется? победная? Пока что ещё известно, кто её носил и чем прославился. Но уже никто не знает, куда она делась после его смерти. А там пройдёт немного времени, вдова отдаст концы, война уйдёт в далёкое прошлое, героев забудут. Орден будет переходить от одного собирателя к другому, потом осядет в музее, причём, заметьте, не в музее войны. А в музее орденских знаков. Потом эту звезду кто-нибудь выкрадет. И так далее».

«Не успеваю следить за твоей мыслью, ты хочешь сказать, что...?»

«Вы угадали. Неважно, кто был награждён, неважно, кто наградил, и неважно, за что наградили. Всё это уже никого не интересует. Орден, вот что важно. Награды ведут самостоятельное существование. Классифицируются ли орденские знаки по заслугам бывших владельцев? Конечно, нет, этих владельцев как бы и не было. Соответствует ли ценность ордена величию подвига? Отнюдь».

«Ну и что?»

«Гениальный ответ! — воскликнул Бабков. — В самом деле: ну и что? Что из того, что эти мечи и короны ровно ничего не означают, все эти девизы, эти гордые надписи — за доблесть, за верность, за победу, за веру, царя и отечество, — что из того, что всё это потеряло смысл? Латынь всё равно никто не понимает, а если даже написано по-русски, то это всё равно, что латынь. Но я хочу продолжить мои размышления, а для этого надо подкрепиться...»

«Разумная мысль», — заметил дядя.

Лев Бабков бродил по комнате; дядя давно покончил со съестным, вторая бутылка была допита, дядя сидел перед коробкой для обуви, размышляя о бренности жизни.

Бабков сказал:

«Вы говорите, ложная идея; пусть ложная. Допустим, что из моего намерения потрудиться на благо отечества ничего не выйдет. Уверяю вас: я не только готов к этому, я и огорчаться-то особенно не буду...»

«Вот-вот — а я о чём говорю?»

«Минуточку, вы меня не дослушали. Вот вы тут толковали о ценностях. Слава, отвага, вера в Бога, патриотизм, во что всё это превратилось? В эти ваши коробки и ящики, и это ещё не самый худший конец».

Коллекционер громко засопел. Племянник продолжал:

«А что же вы хотите? После всего, что... ну, словом, после всего, что было, вы хотите, чтобы ещё сохранились ваши так называемые ценности? Когда само слово "ценность" начисто обесценилось. Но мы с вами хотя бы помним, что когда-то они существовали. Я-то, по правде сказать, уже не знаю, что оно означает. Но не обо мне речь. Появляется человек... Да, появляется массовый человек, для которого всё это вообще не вопрос. Он ничего не отрицает, этот человек, и ничего и не защищает; ему это вообще до лампочки... Он отрицает не ценности, а самую идею ценностей».

Оратор заглянул в одну бутылку, потом в другую.

«Заметьте, — пробормотал он, — совершенно та же самая история, что и с Богом».

«Что, ничего не осталось?» — спросил хозяин озабоченно.

«Пусто, — сказал Лев Бабков. — Господи! Сколько было волнений по поводу того, что шатается вера»

«Я, — сказал дядя, — неверующий. Но я уважаю религию!»

«Если нет Бога, то всё позволено. Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан. И так далее. Скажите вы на милость: кого это сейчас волнует? Есть Бог, нет Бога... Время бунта миновало, мы живём после атеизма, понимаете? Невозможно быть ниспровергателем того, чего нет, невозможно дискутировать по вопросу, который — не вопрос».

«Я не позволю... в моём присутствии. Я считаю, что...»

«Представьте себе, вы играете в шахматы. И вдруг как-то так оказывается, что у вас съели короля. А вы и не заметили. Выходит, надо кончать? Ничего подобного. Игра продолжается. Великое открытие нашего времени, — резюмировал Лев Бабков, — состоит в том, что без шахматного короля можно обойтись. Без всего можно обойтись».

«Не знаю, не знаю, — сопел дядя, — я посвятил свою жизнь настоящему делу...»

«А не проветриться ли нам малость? Подышать воздухом».

«У Кагарлицкого вырезали дверь. Автогеном. Вот так просто взяли и вырезали».

«Вы говорили — лобзиком...»

«Кто это говорил?» — возмутился коллекционер.

«Верно, верно. Жуткая история».

«Но ведь что-то же это означает?»

«Безусловно, это что-то означает».

«Но что? Вот вопрос. Ну-ка примерь...»

«Лучше вы наденьте».

Покачиваясь, рука об руку, дядя с племянником добрели до конца коридора, где за поворотом находилась дверца с корявой надписью на картоне:

«Посторонним вход воспрещён».

«Порядок есть порядок, — сказал дядя, — вот ты, например, посторонний».

Вскарабкались на чердак, узкая пропасть, род ущелья, отделяла плоскую крышу от соседнего дома

Тотчас кто-то показался в окне мансарды. Нечёсаная тётка спросила из форточки: «Тебе чего тут надо?»

Лев Бабков стоял перед чердачным окном.

«Ничего».

«А ничего, так и нечего по крышам шастать. Ишь новую моду взяли, сейчас дворника позову».

«Ты бы лучше, бабуся...» — лениво промолвил Лёва.

Он раскинул руки, как язычник, молящийся солнцу.

«Батюшки, — вскрикнула она, — а это ещё кто?»

Двоюродный дядя вознёсся на крышу. Некто выступил из-за трубы дымохода в плаще мальтийских рыцарей с командорским крестом, в роскошном, затканном золотой листвой мундире с лентой через плечо, подперев бедро левой рукой. Пятеричный римский крест Святого Гроба, китайский императорский орден Блистающих Облаков и шведский орден Серафимов, эмалевая, весьма редкая звезда Альбрехта, орден «Материнская слава» и Бог знает какие ещё регалии украшали тощую морщинистую шею, грудь и живот фалериста. Баба в мансарде лишилась дара речи, командор пребывал в иных мирах, нимб светился вокруг его лысого черепа. Оба, дядя и племянник, с молитвенным благоговением озирали свод небес.

Таинственные занятия Льва Бабкова

Насколько нам известно, благородная страсть собирательства ещё не стала предметом специального изучения. Есть руководства по собиранию знаков почтовой оплаты, монет, орденов, новеллы и рома-

ны о филателистах и нумизматах, но внутренние пружины этого обольщения, мистика и психология собирательства во многом остаются загадкой. Так, например, всегда считалось, что стяжательство несовместимо с самоотверженной страстью: тот, кто торгует предметами собирания и наживается на них, никогда не станет истинным коллекционером. Между тем известны примеры, когда тайные собиратели официальных бланков, занявшись этим делом с неблаговидной целью, малопомалу превращались в бескорыстных любителей, в истинных эстетов и мономанов. Такова природа всякого коллекционерства, и таково было это новое увлечение, с некоторых пор распространившееся в нашей стране.

Красота бланков, называемых в канцелярском обиходе «формами», особого рода скромное великолепие государственных и ведомственных эмблем, изящество грифов, росчерков и печатей не может не покорить даже того, кто озабочен конкретной необходимостью добыть нужную справку, кто связывает с ней надежду получить прописку, улучшить анкету, поступить на работу в престижное учреждение, словом, выбиться в люди; нельзя не заметить и эту ауру, род трансфизического свечения, исходящего от официальных бумаг, невозможно отрицать ту особую, присущую удостоверениям и свидетельствам силу, которая превосходит сиюминутный смысл и законные полномочия данного документа, превращает его в охранную грамоту и по праву может быть сопоставлена с волшебными свойствами амулетов — кроличьих лапок, жемчужин или камней. Наконец, азарт добывания бланков и формуляров, известное несоответствие номинала символическому значению, фальсификация бланков и фальсификация фальсификатов — всё это близко напоминает классические виды собирательства, всё это объясняет, откуда, собственно, явилась новая мода.

Фалеристу известно, где добываются ордена и ленты. Филателист знает, у кого он может приобрести интересующую его марку. Нумизмат откапывает, выражаясь фигурально, клады. Но где достать незаполненный бланк, вопрос деликатный, ответить на него можно, по понятным причинам, лишь в самой общей форме. Известная ловкость, чтобы не употреблять слово воровство, кружевное бельё и коробка импортных конфет для хорошенькой секретарши, наконец, некоторые специальные приёмы, связи и тому подобное не исчерпывают всех возможностей. Ибо с некоторых пор к услугам коллекционеров существовала налаженная система торговли. Так, в 198... году рыночная стоимость бланка для справок из домоуправления составляла половину месячной зарплаты делопроизводителя, стоимость диплома кандидата исторических наук равнялась двенадцатикратному окладу младшего научного сотрудника, другими словами, диплом окупал себя в течение года. Что касается незаполненного паспорта с оттиснутой печатью, подписями и штампом прописки в столице, то он, очевидно, был по

карману лишь очень состоятельным собирателям. Были предложения заменить практику безвозмездной выдачи справок официальной продажей, что сулило казне огромные доходы. Мы, однако, говорим о свободном рынке коллекционных бланков — новшестве послевоенных лет.

Надо устраиваться, думал Бабков, шагая навстречу другому запоздалому путнику, который пробирался вдоль палисадников на противоположной стороне залитой весенней грязью улицы, думая, по всей вероятности, о том же. Надо ли? — спрашивал он себя.

Юные девушки мечтали устроиться, выйдя замуж за человека, который устроился; об удачливых знакомых говорили: он прекрасно устроился; слово «устроиться» имело конкретный и вместе с тем чрезвычайно широкий смысл, оно означало то же, что для биллиардного шара означает попасть в лузу; оно отсылало к общественному механизму, который растрясал и распределял человеческую массу по многочисленным ячейкам; вступая, как вам казалось, на самостоятельный путь, вы на самом деле ставили ногу на конвейер, и он тащил вас за собой — либо сбрасывал. В конце концов, у вас было так же мало шансов решить самому свою судьбу, как у картофелины на сортировальном лотке, который называется «грохот».

Дойдя до окраины посёлка, Лев Бабков отомкнул калитку известным ему способом, взлохмаченный пёс крутился вокруг и вилял хвостом. Передняя половина дома, пока ещё пустая и тёмная, с застеклённой террасой, сдавалась на лето дачникам. Лев Бабков обогнул террасу и взошёл на заднее крыльцо. Он услышал скрип лестницы; Анна Семёновна заглянула в его каморку.

«Устал?» — сказала хозяйка. Он ответствовал неопределённым жестом.

Несколько времени погодя постоялец спустился в кухню с алюминиевой кастрюлькой в руке, что давало повод думать, будто он занялся ужином. Прикрутив газ, выудил из кипящей воды яйцо, облил холодной водой и очистил. Яйцо было белое и блестящее, как мрамор. Он опустил его снова в горячую воду и долил уксусной эссенции.

Лев Бабков вернулся к себе. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Из укромного места была извлечена некая секретная папочка; обжигаясь, он извлёк слегка пожелтевшее яйцо из кастрюли; с этого момента надо было действовать не мешкая, так как свойства гладкой поверхности яичного белка меняются буквально с каждой минутой. Промедление влечёт за собой неудачу, может получиться слишком бледный отпечаток, можно испортить не только бланк, но и оригинал. Внимательнейшим образом необходимо следить за тем, чтобы яйцо не пересидело в кипятке. Немаловажную роль играет концентрация уксуса. Успеху способствует надлежащее расположение пла-

нет. Мы не удивились бы, услыхав, что в решающий момент экспериментатор произнёс заклинание.

Он посыпал бланк тонким белым порошком. Сдул порошок, несколько секунд подержал бланк над паром, затем, нежно надавливая, прокатил горячее, слегка пружинящее яйцо по лежавшему наготове оригиналу. Тотчас приложил яйцо к влажному бланку, к буковкам «м.п.», означающим, как все помнят, место печати, и прокатил снова.

Лев Бабков поднёс бумагу к глазам. Взыскательный художник, он не был вполне доволен своим творением. Всё, однако, получилось как надо: двойной ободок по внешней окружности, круговая надпись, тонкий внутренний ободок, герб. Бледно-лиловый отпечаток на яйце был тщательно срезан, после чего мастер-технолог с аппетитом съел яйцо. Он сидел за столом и аккуратно-безличным, женским секретарским почерком заполнял справку. Дана такому-то, фамилия, имя и отчество, в том, что он...

Дана такому-то в том, что он — тот самый, за кого себя выдаёт. Канцелярский бланк дарует его обладателю восхитительную свободу, вы можете стать кем угодно. О скромная прелесть бумаг, эстетика удостоверений, незримое свечение, исходящее от государственных документов, волшебные свойства штемпеля, подобные свойствам кроличьих лапок, жемчужин и камней! Подпись...

Его биография

Кто он? Вопрос уже был задан на этих страницах.

Подобно тому, как мы получаем имя от родителей, фамилию от предков, подпольный псевдоним от сообщников, кликуху от собутыльников, подобно тому, как нам присваивают номера и литеры регистрирующие, контролирующие, распорядительные и карательные инстанции, — мы получаем в готовом виде так называемую идентичность, нечто удостоверяющее, что мы — это мы, социально-государственную упряжь; а что за лошадка в ней бредёт, *that's the question*, как сказал некий престолонаследник. Итак, не приблизились ли мы к той границе, где искусство быть протеем в мутно-фосфоресцирующей стихии, умение скользить и исчезать среди хищных цветов и ветвящихся кораллов бюрократии сопричастно мистике, не имеем ли мы дело с персонажем, чья биография напоминает груду черновиков, чьё прошлое, словно будущее, есть лишь поле возможностей? В сущности говоря, у такого человека два будущих, одно впереди, другое позади, и о нём невозможно сказать: он был тем-то, но придётся сказать — он мог быть им, а мог быть другим, родиться там-то, а может быть, и не там.

Иными словами, нам придётся расстаться с традиционным представлением о биографии как о письменном дубликате человека. Можно сказать, что у Льва Бабкова вовсе не было никакой биографии, или, что

то же самое, к его услугам было неопределённое количество биографий, и он вылавливал их по мере надсбности, как огурцы из рассола. Повернётся ли язык назвать его правонарушителем? Как уже сказано, случай не столь юридический, сколько мистический. Если же всё-таки необходимо приискать ему место в обществе, определить его классовую принадлежность, то это будет, очевидно, нулевой класс.

Странным образом нулевой класс общества ускользнул от внимания историков. Жизнь есть жизнь и растёт, как трава из расщелин асфальта, между параграфами законодательств и классификационными клетками социологических трудов. Лев Бабков не был ни богатым, ни нищим, ни трудящимся, ни паразитом, ни эксплуататором, ни эксплуатируемым, он не был рабочим, не был земледельцем, не был чиновником, равно не принадлежал ни к начальству, ни к тем, над кем начальствуют, словом, он был никем, но парадокс состоит в том, что быть никем в этом обществе означало быть всем: находясь вне общественного регламента, он, однако, принадлежал к обществу и, может быть, даже был весьма характерным его представителем. Может быть, таких Бабковых было пруд пруди, просто мы этого не знали. Может быть, они толкались вместе с нами в метро и пригородных поездах, числились на разных работах, значились в списках, в картотеках, что-то делали, куда-то спешили, а на самом деле это была видимость, на самом деле все они были социальным детритом, все были нулевой класс. Может быть, и мы с вами в конце концов угодили туда же.

Ибо мы с вами отнюдь не враги существующего порядка, не противники власти, упаси Бог. Но и не Бог весть какие её поклонники. Нас эта власть устраивает, вернее, нам наплевать на неё. Мы — в щелях порядка, в котором так много щелей, что хватит места для всех. Мы — это просто мы: граждане, вывернутые наизнанку. Проект власти, единственный в истории по своим последствиям, состоял в создании нового человека. Нужно признать, что это блестяще удалось. Мы и есть этот проект, осуществлённый с точностью до наоборот. Сказал же Лёва: выпотрошенный человек не то чтобы растерял «веру», он и не ощущает её отсутствие как утрату. Свободный от бремени ценностей, он свободен абсолютно. Вы клялись диалектикой — вот вам диалектика: раб государства, раб начальства — он на самом деле свободен.

Человек этот, в общем-то, безобидный, «безвредный», как выражается народ. С этим человеком ничего невозможно поделать. К нему не придерёшься, он отнюдь не преступник. Разве что мелкий подделыватель справок, из которых, впрочем, не извлекает больших выгод: ему лень предпринять что-либо серьёзное. Да, «асоциальный элемент», но со всеми внешними признаками социального: приличный костюм, какой-нибудь там академический значок на лацкане. Упаси Бог, не бомж, не люмпен. Но довольно философствовать, вернёмся к нашему другу.

Не имея охоты посвятить себя какому-нибудь «призванию», не обладая конкретными дарованиями, Лев Бабков был наделён редким даром угадывать возраст времени. И можно без больших усилий представить себе, кем и каков был бы на разных стадиях созревания времени человек, способный тонко чувствовать эти стадии. Он был бы организатором в кожаном картузе, засовывал пальцы левой руки под широкий ремень, а правой размахивал кулаком где-нибудь на мокром от дождя помосте, над морем голов. Он напоминал бы кого-то. Да, пожалуй, в этом и состояло его главное свойство, коренная черта, неизменная на всех стадиях: он всегда умел напомнить кого-то. Десять лет спустя, когда пятна старения уже отчётливо проступили на широком рябом лице эпохи, Лев Бабков восходил бы по винтовой лестнице престижной карьеры; не имея охоты усваивать какие-либо науки (за исключением, может быть, интереса к истории, о чём у нас пойдёт речь в свой черёд), посвятил бы себя административной и общественной деятельности, громил идейных врагов, заседал в комитетах, был бы выдвинут в аспирантуру, а там, кто знает, стал бы профессором. Или — какая разница? — замзавотделом в каком-нибудь министерстве оборудования. Или директором универмага на Новом Арбате.

Словом, благополучно старел бы вместе с временем и страной. Но в том-то и дело, что он не хотел никакой карьеры, и необыкновенные способности социальной мимикрии привели к тому, что Лев Бабков стал внесоциальным элементом. Итак, что можно о нём сказать? Он родился в городе Нижний Тагил на Урале — так, по крайней мере, значилось в его в паспорте. Нижний Тагил, почему бы и нет? Был единственным сыном уборщицы в общежитии медеплавильного комбината, ходившей утиным шагом вследствие двустороннего вывиха бедра, и одного из скольких-то возможных отцов; учился в школе, поступил в ремесленное училище, оказался в компании, подстерегавшей девочек на тёмных улицах, и один раз в каком-то подвале участвовал в коллективном акте ради того, чтобы не отстать от товарищей; нырнул в армию, оказался в Прибалтике, окончил курсы дешифровки вражеских сообщений, был вызван под предлогом болезни матери в Тагил, где его встретил на платформе наряд милиции. Правда, участие в «акте» осталось недоказанным, и Лёву отпустили.

Эта биография, помимо других недостатков, представлялась уже в те времена, о которых идёт речь, устарелой. Биографии могут устаревать. Заметим, что тут имеет место явление, известное психиатрам: бред душевнобольного всегда актуален; сам того не ведая, пациент использует в своих построениях модные мотивы и современные выражения; если не каждый человек есть кузнец своей судьбы, то каждый, во всяком случае, должен уметь смастерить себе биографию; очевидно, что автобиографу полагается быть на высоте своего времени. Прошлое обязано отвечать требованиям современности.

Тут начинается самая уязвимая часть нашего рассказа, но виноват в этом не рассказчик, а герой. Будем по возможности лаконичны; итак: Лёва появился на свет в Петербурге, тогдашнем городе Ленина. Родители, потомственные революционеры-подпольщики, вели своё происхождение от декабристов. Как и полагается, репрессированы в тридцатые годы; посмертно реабилитированы. Мальчик воспитывался у дальних родственников на Урале, где закончил школу. Родился в Белоруссии (Петербург отпадает), родителей не помнил, поэтому можно было считать, что отец погиб не в тюрьме, а на фронте. Был эвакуирован на восток вместе с матерью в суматохе первых военных недель, ехал в товарном вагоне и потерялся, выйдя на случайной остановке. Усыновлён чужими людьми на Урале, в городе Нижний Тагил. Но на самом деле он не мог выпрыгнуть на остановке из вагона, так как родился в вагоне, по прибытии же в Тагил был сдан в детский дом. Мать скрывалась, жила в келье бывшего Святопантелеймоновского монастыря, якобы взорванного после революции, а на самом деле уцелевшего и даже известного тем, что именно в нём триста лет тому назад будто бы окончил в глубокой старости свои дни чудом спасшийся и вторично принявший постриг царь Димитрий I, он же Григорий Отрепьев.

Немаловажная подробность. В эпоху возвращения к началам и корням, когда ностальгия по прошлому охватила общество, ощутилась необходимость в почтенных предках, в предках вообще; до сих пор в них никто не нуждался. Кто говорил, что его дед был губернатором, кто — городским головой; стало почётным происходить от лабазников; из небытия явились дворяне и казаки, пошли в ход лица духовного звания, внебрачные дети и внуки; тут-то и выяснилось окончательно, что Лев Бабков происходит ни больше, ни меньше, как от того самого Отрепьева, который, согласно новейшим изысканиям, не был сыном галицкого сына боярского Богдана Отрепьева, а был подлинным Димитрием, последним отпрыском царя Иоанна. Убит же в Угличе был мальчик по имени Гриша. На чём и можно пока что поставить точку.

Ещё одно сказанье

Впрочем, необходимо объясниться, раз уж зашла об этом речь... Многих занимал вопрос — и притом гораздо больше, чем доводы в пользу высокого происхождения Григория Отрепьева, — верил ли в него сам Гришка. Сам ли он набрёл на эту мысль или ему подсказали другие? Какие, собственно, основания были у него — и у других — для такой уверенности? Невысокий, кряжистый, рыжеватый и голубоглазый, слегка курносый, чисто славянского типа и мало похожий на царя Ивана, у которого нос был ястребиный и внешность скорее татарская, будто бы потомок бояр, а на самом деле холоп князя Бориса Черкас-

ского, молодой человек каких-нибудь двадцати лет от роду скитался по монастырям, был пострижен в монахи, сменил имя Юрий на Григорий, попал в Чудов, где в награду за то, что сочинил похвалу московским чудотворцам, был приближен к патриарху и как-то раз, подстрекаемый дьяволом, признался братии, что имел видение: явилась-де сама Богородица и открыла, что быть ему царём на Москве. Патриарх, должно быть, не решился дать делу законный ход, однако разговор этот дошёл до самого царя Бориса Годунова, который проявил милость и повелел заточить Григория под крепким присмотром в монастырь подальше. Между тем князь тьмы очевидным образом помогал самозванцу, если только он был самозванец, а может, и чьи-то руки берегли его: Гришка удрал, объявился в Борисоглебске, уломал тамошнего игумена дать ему лошадь и прискакал в город своей юности — Москву. Где, впрочем, пробыл недолго. В это самое время начали ходить по Москве слухи, что не Димитрий, а другой ребёнок, подставной, был зарезан в Угличе.

Вынырнул Григорий Отрепьев в польских пределах, в чём опять-таки нетрудно было усмотреть руку нечистого (хотя царь Борис был склонен думать, что самозванца изобрели бояре), а именно, оказался в замке князя Адама Вишневецкого, у которого был на службе до того дня, когда под страшным секретом показал князю драгоценный крест, надетый на него крёстным отцом, воеводой Иваном Мстиславским, дабы он, Гришка, не забывал о происхождении своём от корня Рюрика. Вишневецкий расхохотался — и поверил. А затем царевича — или лжецаревича, это уж как будет угодно, посетило второе видение, на этот раз вполне земное. В Самборе, в доме воеводы Юрия Мнишка, ему явилась старшая дочь хозяина, которую одни источники называют Марианной, а другие Мариной.

Не подлежит сомнению, что, по крайней мере, в это время он уже твердо верил в свою звезду. Отпал и дьявол как объяснение его успехов. Отрепьев принял латинство; Мнишек, человек грязный, обуянный тщеславием и страстью к интригам, добился в Кракове от короля Сигизмунда полномочий раскручивать дело; само собой, включились отцы иезуиты, из Рима кивал головой в трехъярусном венце папа; что касается панны Марины, то хотя предложение руки восставшего из мёртвых Димитрия было охотно принято, венчание отложили — до того, как произойдёт главное венчание на царство в Москве. Пока же невесте были обещаны самозванцем во владение Новгород и Псков, бриллианты и столовое серебро из царской казны, папаше Мнишку — миллион польских злотых. Бриллианты, как можно думать, сыграли свою роль в происхождении Льва Бабкова, почему и должны быть здесь упомянуты; уже по дороге на Москву обнаружилось, что будущая царица беременна.

Дальнейшее более или менее известно; вместе с рыцарством, а точней, разным сбродом, собранным воеводой Мнишком в Речи По-

сполитой и к которому присоединились людишки всякого рода и звания из московских земель, а также донские казаки числом до 2000, так что вся рать составила четыре тысячи бойцов, Димитрий или Лжедимитрий, это как угодно, вступил в пределы Московии, было это осенью 1604 года. Города сдавались самозванцу, войско росло, так дошли до Новгорода Северского. Надлежало, наконец, дать Гришке решающий бой. Басманов, увидев с башни стяги самозванца, на предложение сдаться велел ответить полякам: «А, сукины дети, приехали на наши деньги с вором!» Князь Фёдор Мстиславский, обнадёженный намёком, что государь выдаст за него дочь свою Ксению, «буде на то Божья воля», исполнился боевого духа и вышел навстречу вору с войском в 50000 ратников, и оно было обращено в бегство войском царевича, у которого было 15000. Князь был ранен, другой воевода, Василий Шуйский, тот, который некогда был наряжен в Углич, хоронил мёртвого царевича или, по крайней мере, свидетельствовал, что видел его в гробу, не мог ничего поделать, а может, и не хотел; тем временем царь Борис умер; наследника Фёдора умертвили, о дочери будет сказано ниже. Димитрий въехал в столицу. Народ, хоть и косился на чужеземцев, кричал: «Солнышко ты наше праведное!», а на Лобном месте встречало духовенство с крестами.

Марина, однако, не спешила последовать за женихом, чему виной было нечаянно вскрывшееся обстоятельство, именно, любовная связь лжецаревича с Ксенией. Борисову дочь постригли и сослали в Белозерск, где она разрешилась ребёнком и, возможно, положила начало новому генеалогическому варианту; заметим, однако, что судьба ребёнка темна, и самый факт его рождения оспаривается. Между тем Марина, явно погрузневшая, въехала в ворота Вознесенского монастыря со свитой родичей и слуг, в роскошном рыдване, в первых числах мая; неделю погодя состоялось коронование царевича.

Так что всё говорит о том, что в тестикулах Лжедимитрия заключалась вся будущая родословная героя этих страниц, что же касается материнского лона, то это вопрос второстепенный, хотя, впрочем, царская дочь ничуть не хуже полячки. Всё же отчество Лёвы «Казимирович», дальнее эхо Польши, укрепляет в мысли, что это была панна Марина Мнишек. Замечательная наследственная черта, доставшаяся Льву Бабкову, именно, вкус к подделке и привычка выдавать себя за кого-то другого, лишь подтверждает происхождение нашего друга от того, кто сумел убедить себя и других в том, что он последний из дома Рюриковичей. Спрашивается, не была ли эта черта Лжедимитрия, это чувство стеснённости в собственной шкуре и готовность стряхнуть с себя свою биографию, истинной и самой глубокой причиной его перевоплощения.

В самом деле, самозванец представляется загадкой. Откуда взялась в нём его образованность, его государственный ум, как сумел он

вдруг показать себя независимым и от боярской думы, и от поляков? Не бояре и не поляки «изобрели» воскресшего царевича, он изобрёл себя сам. Вся блестящая и, увы, недолгая карьера Лжедимитрия наводит на мысль, что он не только использовал для своих целей старого Мнишка и разудалое «рыцарство», тогда как они мнили его игрушкой в своих руках, но что, может быть, отечество наше потеряло в его лице властителя, который направил бы историю по другому руслу. Дух и традиции Москвы были таковы, что талантливый государь не имел шансов удержаться на троне. Царство Григория Отрепьева просуществовало один год. Род Отрепьева не пресёкся, но ушел в безвестность. Зверски зарубленного Димитрия толпа выволокла из царских палат на Красную площадь. Царица Марина спаслась, а года через два тайно венчалась в Тушине, в стане Яна Сапеги со вторым Лжедимитрием. Или с тем же самым? О, сколько возможностей переиграть партию демонстрирует нам шахматный плац истории, сколько вариантов упущено, сколько мужчин могли бы стать нашими предками, а быть может, и стали, сколько женщин понесли или могли понести наших с вами прародителей! Марина произвела на свет ещё одного сына, по имени Иван, или Ян, но это уже другая история, а мы и без того отвлеклись.

История.
Утро ветерана

Между тем, как уже сказано, век старел, и вместе с веком неудержимо старело общество. Времена весёлых молодёжных шествий, славных ребят с открытыми лицами и девушек с теннисными ракетками, с бритыми затылками, в просторных белых юбках ниже колен, в парусиновых тапочках, в трусах с резинками, времена хоровых деклараций, физкультурных пирамид, барабанщиков и горнистов, поэтов, певших: «А моя страна — подросток!», времена эти давно миновали, наступила эпоха зрелости, пришёл климактерический период, а там както вдруг бросилось в глаза, что повсюду размножились старики, или, лучше сказать, старцы. Изменился ритм жизни. Медленнее струилась кровь в обызвествлённых артериях государства. Медленней двигались поезда. В делах господствовало правило: тише едешь — дальше будешь. Старцы заведовали учреждениями, сидели в президиумах, объедались на банкетах и приветствовали праздничную сволочь с трибун. Как-то вдруг изменился запах времени. Апартаменты власти приобрели неуловимое сходство с урологическими клиниками, аромат мочи, обогащённой сахаром и уратами, пропитал тяжёлые портьеры, ковры и кресла в начальственных кабинетах; будущее стало походить на прошлое, будущее уподобилось зеркалам, в которых видны уходящие вдаль анфилады, — на самом деле там отражались задние помещения. Тише едешь, дальше будешь. Семь раз отмерь. Необычайно воз-

рос престиж истории. Само собой, заведовали ею старцы. История стала отраслью геронтологии.

Правление старцев, за которыми следующее поколение не признавало никаких заслуг, — но и оно каким-то образом застряло на полдороге, — было на самом деле совсем не бесплодным временем. Выяснился любопытнейший, прежде не известный факт: а именно, что никто не делает историю. Никто не способен творить историю, история творится сама.

Правда, разумели под историей в те времена не совсем то, что понимаем под ней мы, или, лучше сказать, не то, что нам хотелось бы под ней подразумевать.

Потому что история, если позволено будет сказать о ней несколько слов, подобно медицине, обречена на то, чтобы ею вечно были недовольны. Отсюда происходили некоторые заскоки, некоторые крайности, два искушения, два соблазна предстояло преодолеть поколению, которое никак не могло дождаться, когда, наконец, удастся спровадить на тот свет обсевших все столы стариков.

Один из них можно назвать демонизацией истории. Личина недоброго Бога, который управляет жизнью народов, вот что такое история; смотря по тому, рулит ли он к концу света или замыслил рай на земле — был ведь и такой проект, — небо истории окрашивается в багровые или розовые тона, и в любом случае будущее предопределено. Но на сей раз, говорили те, кто подпал искушению. Стрелочник выбрал путь, над которым горит красный сигнал гибели. И ничего с этим не поделаешь, хоть ты тут разбейся в лепёшку. Однако нашлись другие, кто сумел противостоять мрачному соблазну опустить руки, — чтобы поддаться второму, ещё менее плодотворному искушению. Люди эти попросту отрицали историю. С прошлым, говорили они, делать нечего. Прошлое запущено и замутнено, прошлое до такой степени — тут приходилось понизить голос — фальсифицировано, что нет никакой надежды навести в нём порядок. История — это кошмар и призрак. И поэтому её всё равно, что не было. Как больной, которому не удалось исцелиться, объявляет всю медицину несостоятельной, как раненый в бою считает проигранным всё сражение, так поколение, увидевшее себя у разбитого корыта, кончило тем, что выкинуло историю на помойку.

Конечно, мы могли бы сказать, что смешно обижаться на историю, которая ведь не есть то, что случилось, а всего лишь то, что написано о случившемся: род литературы. Однако это уже будет научный подход; о науке же речь впереди.

Поколение разбитого корыта, сказали мы. Но ведь были ещё живы современники славных событий, те, кто уцелел и дожил, и кто видел «всё это» собственными глазами! Человек, к которому направлялся наш друг — герой текущего времени, принадлежал к числу таких свидетелей, как ни трудно было представить себе, чтобы он вообще мог что-

нибудь видеть и слышать. В темноватом покое с высоким окном, занавешенным гардиной, которую в последний раз стирали накануне свержения Временного правительства, сидела, можно сказать, сама история, величественная и полуживая. История шелестела его бескровными губами. Старый борец плохо провёл ночь и, укрытый до пояса, неуверенно выглядывал из своего кресла, словно спрашивал себя, спит он или бодрствует. Никто, не исключая самого старца, не знал в точности, сколько ему лет, его возраст превосходил его собственное воображение. Его память напоминала тёмный захламлённый коридор, куда лучше было бы не соваться.

Сиплый возглас геронта приветствовал вошедшего:

«Опаздываете, милейший!»

«Как это так, — возмутился Бабков, — на моих часах восемь!»

«А на моих... позвольте, где же мои часы?» Он вытянул из каких-то недр позеленевшую цепочку; некогда, очевидно, существовал и хронометр. «Дуня!» — скомандовал старый борец.

Вошла пожилая женщина с чаем на подносе. Лев Бабков поблагодарил, помещал ложечкой в стакане. Старик сосал сахар. Дуня отодвинула гардину.

«Так, — бормотал секретарь, разворачивая бумаги, — на чём же мы остановились...»

«Вот именно, — строго сказал старец, — на чём мы остановились!»

Он прочистил горло, собираясь с мыслями. По правде сказать, это было не легче, чем дворнику собрать метлой мусор, летевший вдоль узкого переулка. Ветер обещал свежий день. Солнце, ещё затянутое утренней дымкой, едва успело взойти над крышами, тускло блестели окна, огромный город подсыхал и нежился под лучами, в переулках, похожих на ущелья, бежал народ, трамвай вывернул на площадь; всё было как всегда, и всё менялось — просто этого никто не замечал. Патлатая старуха шаркала в шлёпанцах по тротуару, расталкивала людей.

Она появлялась каждое утро, её видели то здесь, то там, всё видели, иные оглядывались, никто её не узнавал, — мало ли старух шастает по городу, и кому могло придти в голову, что это всё та же, трижды объявленная несуществующей, осенённая авторитетом науки и дискредитированная гадателями Судьба? Солнце заглянуло в пыльную келью. Бабков листал бумаги.

«Значит, так: мы остановились... На чём же мы...»

«Действительно — на чём?»

«На Пятом съезде...»

«Вот именно! — обрадовался старец. — А я что говорю? Всегда вам надо напоминать».

«Позвольте, это я напомнил...»

«А вы меня не учите!»

«Итак...»

Краткая вступительная дискуссия привела старого борца в рабочую форму. Секретарь занёс над бумагой автоматическое перо.

«Не спешите, сосредоточьтесь».

«А вы меня не...»

«Итак?..»

«Яйца курицу учат, — ворчал старик. — Он будет мне указывать, чтобы я не спешил. Как же мне не спешить? Когда нужно ещё столько передать молодому поколению. Ведь они даже понятия не имеют... ведь они... Послушайте, милейший, что я хотел сказать... — Новая мысль пришла ему в голову. — Ведь вас зовут Лев, это правда?»

Услыхав утвердительный ответ, он всполошился:

«Постойте, но ведь это еврейское имя! А? Что вы на это скажете?»

«Видите ли, — лепетал Бабков, — вот, например, Лев Толстой...»

«А может, у вас родители были евреи?»

«Или был ещё такой римский папа — Лев Десятый».

«Вы так думаете? Мне кажется, церковники на всё способны. Но почему же Десятый? А где остальные?»

«Я хочу сказать, римский папа не может быть евреем...»

«Это ещё надо доказать, хе-хе...»

«Итак, на чём мы...»

«Евреи играли большую роль в истории нашей партии, — проговорил старик мечтательно. — Помню, во время Циммервальдского съезда...»

«Совещания», — поправил секретарь.

«Не перебивайте меня! Помню, во время Циммервальдского совещания... Или, например, в лагере, если еврей, то его всегда называли Лёва. Что вы на это скажете? Всё-таки у народа есть чутьё. Учитесь прислушиваться к голосу масс. Помню, у нас на лагпункте был нарядчик, такой Артамон Сергеич. Суровый был мужик. Утром входит в барак и этой самой, как её... доской, вроде бельевой доски, о нары: бум, бум! На р-работу, бляди! Послушайте: что вы там пишете?»

Секретарь не отвечал, его рука порхала по бумаге.

«Послушайте, как вас там! Это не для записи!»

«Я записываю ваши воспоминания о Пятом съезде».

«О Пятом съезде? О каком Пятом съезде? Ах, да... ну да. Прекрасно помню дискуссию о методологии. Как сейчас вижу вождя нашей партии... гхм, на трибуне. А этот, как его? Тоже ведь фигура немаловажная. Знаете ли, годы проходят, но время... — Он покачал головой, поднял корявый палец. — Время не властно. Бывало, сидим вместе, он и говорит: а ведь будут когда-нибудь о нас вспоминать! Да, да, пишите... Пишите! Никто не забыт, и ничто не забыто. Что такое?»

«Звонят из Дома культуры», — сказала, просунувшись в дверь, Дуня.

«Я работаю с журналистом, а меня прерывают! В чём дело?»

«Насчёт выступления».

«Буду, непременно буду! Скажи: непременно. В котором часу? Да, так вот... На чём мы остановились?»

Секретарь усердно писал.

«Что они понимают? — бормотал старик. — Ты сначала жизнь проживи, людей узнай, горя хлебни. Полным ртом! А потом говори... Потом судить будешь. Судить они все горазды. А вот ты сначала сам горюшка-то отведай. Умники нашлись. Много вас таких! Да я, да мы, коли на то пошло!.. Мы верили! — сказал он грозно. — Мы в жизнь входили, как на праздник! Как на эшафот! Будешь мне тут доказывать... Да я тебя знать не хочу!» — загремел он.

Некоторое время пенсионер вперялся в секретаря слезящимся взором, потом спросил:

«А ты кто такой?»

Лев Бабков писал. Старик смотрел в пространство. Что-то шевелилось в пустоте. То, что лепетали его уста, не было детритом распавшейся мысли. Скорее его слова можно было сравнить с обломками мебели, ножками стульев, руками и лицами утопленников, которые время от времени поднимались над несущимися водами, тонули и вновь всплывали. История была подобна наводнению, она неслась, как вздувшаяся река. Старик переживал состояние, которое можно обозначить словами: всё сразу. Времена и лица барахтались в его мозгу, и если он не мог справиться с этим хаосом, то лишь потому, что разладился механизм, который расставлял по местам образы прошлого, — хотя бы эти места и этот порядок вовсе не соответствовали той, навсегда ушедшей, действительности. И получалось, что хаос в голове ветерана был ближе к истине прошлого, чем если бы с хаосом сладил исправно функционирующий мозг, — но что тогда следует называть истиной?

Тот, кто хорошо и складно вспоминает, становится жертвой собственного упорядочивающего механизма, который с одинаковой лёгкостью распоряжается фактами и цементирующим веществом и ремонтирует прошлое, как ремонтируют ветхий дом, заменяя гнилые доски пола и осыпавшуюся кладку новыми материалами. Ибо прошлое, дабы сохраниться, — вот великая истина! — нуждается в периодическом подновлении. Лев Бабков поднял глаза от написанного. Пенсионер спал. Лев Бабков пил холодный чай. Старик поднял голову и устремил на секретаря взор, полный тоски.

«Перепечатаю набело, слегка подредактирую», — быстро сказал Бабков.

Старик молчал и вновь старался понять, видит ли он неизвестного молодого человека во сне или наяву.

«Вы устали, — сказал секретарь, называя старого борца по имени и отчеству; это было замечательное, благородно-архаическое имя и отчество, от которого веяло грозовым временем демонстраций, флагов, митингов и баррикад. — На сегодня хватит».

«Вот именно, литературная редакция, — вымолвил, наконец, старик. — Вот так мы и напишем. Я, знаете ли, не писатель и не люблю писателей. Вечно что-то выдумывают... А мы напишем, литературная редакция такого-то...»

Институт систематических исследований

Мы в центре столицы, место на удивление тихое. Скамейки, свежевыкрашенные зелёной краской, уже подсохшие, ещё не изрезанные перочинным ножиком, не исцарапанные осколками стекла, под шеренгою тополей, приглашают вечно спешащего горожанина замедлить шаг. Напротив сидящего, над зеленью кустов и деревьев, белеет в треугольной раме портала окружённый символами науки алебастровый герб.

Громоздкое приземистое здание, — сколько этих зудящих «з» прилипает к зубам, стоит лишь попытаться его описать. Странноприимный дом, позже преобразованный в приют для сирот благородного происхождения, а ещё сколько-то лет спустя — в казарму конногвардейцев. В годину обновления мира здание это служило, хоть и недолго, пристанищем для правительства, красного или белого, сейчас уже трудно сказать, оно сберегло в своих недрах воспоминания обо всех своих постояльцах, ведь строительные сооружения наделены более долговечной памятью, чем люди. Подчас эта память оказывается до такой степени неуместной, что приходится их сносить.

Судьба была милостива к бывшему дому бедности и двуглавой славы; он пережил всё и всех. Со своим помпезным порталом, с узкими окнами невысоких двухэтажных крыльев, со следами подтёков под крышей, облупившийся дворец являл собой образ трухлявой вечности. У входа висела заржавленная табличка: «Памятник такого-то века, охраняется государством». Надписи, нацарапанные нашими предками, угловое письмо первых пятилеток, ещё можно было разглядеть на поддерживающих портал слоновьих колоннах.

Можно было, не напрягая воображение, представить себе, как по ночам, после того как напяливались чехлы на пишущие машинки, запирались несгораемые шкафы с архивами и последние сотрудники покидали здание, представить себе, что здесь начинается или, лучше сказать, продолжается другая жизнь. Поскрипывали половицы, шныряли

мыши. С тихим стоном отворялись двери покоев, и тени вышагивали из-за пыльных портьер. И водил руками дирижёр в съеденном молью фраке перед беззвучным оркестром в зале заседаний, откуда каким-то образом исчезли ряды стульев, трибуна докладчика и стол для президиума. Вместо них кружились, кланялись, приседали друг перед другом силуэты соперниц, врагов и влюбленных, а в приемной, где днем восседала неприступная секретарша, за дверью, запертой на ключ, на диване просителей тень кавалергарда лишала невинности благородную сироту. Между тем в кабинете Директора решались судьбы мира. Вождь революционных масс склонял голый череп, похожий на глобус, над планом осажденного города. Все это мы уже где-то видели, пробормотал Лев Бабков. Потянувшись, он встал со скамейки. Чем чёрт не шутит, сказал он себе, — была, не была!

В вестибюле, в особого рода стеклянном кубе, стоял человек в кителе без погон, невзрачно-значительного вида, но вместо того, чтобы потребовать пропуск, поспешно встал, стащил с головы форменную фуражку и поклонился вошедшему. Счастливое недоразумение, многообещающее начало. Лев Бабков величественно кивнул плюгавому человеку и прошествовал мимо, не имея представления, куда он направляется. В просторном холле висели на стенах мраморные доски с именами ведомственных знаменитостей и павших бойцов, впереди — парадная лестница, каменные вазы с цветами и бюст Директора в академической ермолке. Посетитель остановил свой взгляд на пышных усах под мясистым мраморным носом.

Задержимся и мы ненадолго на этой подробности: без преувеличения можно сказать, что усы представляют собой культурно-исторический феномен исключительного рода, служат рекламой эпохи не хуже, чем ордена, мундиры и надгробные памятники. При этом усы и нос образуют единство, усы не существует без носа, как нос, в сущности, невозможен без усов. Правда, некоторые эпохи не знали усов. Однако безусие само по себе есть знак, говорящий о многом, точнее, об отсутствии многого. Цивилизация знает несколько сот моделей усов, различаемых по длине, густоте, фасону и цвету.

Новое время породило национально-патриотические образцы; в альбоме усов (если представить себе такое пособие для историков и брадобреев) найдут себе место вислые, цвета гречихи, украинские усы, ржаные великорусские усы, прямолинейные несгибаемые усы Кастилии и Арагона, эфиопские усы с колокольчиками, балканские усы, похожие на крендель. Усы независимости, усы свободы, усы национального возрождения и возвращения к корням; невозможно представить себе полководца, нельзя признать легитимным монарха без растительности на верхней губе, и не случайно некоторые исторические модели носят имена великих людей: таковы военно-полевые усы Карла XII, дуговые, напоминающие печной ухват усы кайзера Вильгельма II

и метёлкообразные, длиннейшие в мире, расширяющиеся на концах усы легендарного маршала Будённого. Можно без труда показать, не вдаваясь в причины этого таинственного закона, что бритьё бороды и усов влекло за собой, как правило, падение авторитетов и кризис власти. Вождь партии и народа — без усов? Нонсенс.

Посетитель рассудил, что не стоит подниматься по лестнице, пока привратник не одумался, и свернул наугад в один из двух коридоров, выходивших в вестибюль. Здесь чувствуешь себя уверенней. Длинный, плохо выметенный коридор был освещён тусклыми светильниками, ничто не давало знать о том, что на дворе весна, времена года исчезли, стояла тишина, за рядами дверей с поблескивающими табличками шла работа. Лев Бабков находился в одном из крыльев бывшего странноприимного дома; внутри здание оказалось обширнее, чем выглядело снаружи. По узкой боковой лестнице он взошёл на второй этаж. Такой же коридор, но почище; опять таблички с перечнем сотрудников, а там и отдельные фамилии с инициалами, буквы крупнее, солидней таблички, да и двери другого качества. Опытному глазу вид двери скажет не меньше, чем завсегдатаю кладбищ — вид и размер надгробий; одно дело фанерованная дверь, другое дело дубовая, одно дело картонка и совсем другое — вывеска чёрного стекла с должностью, научным чином и фамилией того, кто обитает, словно в склепе, в своём кабинете; если же вход обит дерматином, с золотыми шляпками гвоздей и кожаными жгутами крест-накрест, о, тогда трудно даже вообразить, кто помещается за этой дверью.

Здесь, на втором этаже служебные помещения находились лишь с одной стороны — комнаты младших и старших научных сотрудников, консультантов, экспертов, приёмные и кабинеты начальств, — напротив шла череда окон, как уже сказано, небольших, но всё же дававших достаточно света. Вдали маячила праздная фигура: человек курил, полусидя на подоконнике.

Бабков, в принципе некурящий, точнее, курящий по обстоятельствам, счёл возможным попросить разрешения прикурить.

«Ищете организационную комиссию? — спросил человек. — Они переехали в другое крыло. Прямо и направо через переход. Но сначала, — прибавил он, — надо отметиться в секретариате».

Бабков спросил, а где секретариат.

«Как где, — удивился человек, спуская ногу с подоконника, — вы же только что мимо него прошли».

Он поглядел на посетителя и спросил:

«Вы что, только что приехали?»

«Боялся опоздать. Пришлось оставить вещи в камере хранения. Я даже не знаю, где буду ночевать».

«На этот счёт можете не беспокоиться. Они устраивают всех делегатов в прекрасной гостинице. В "Космосе", — подмигнув, сказал он.

— Вам как провинциалу это название ничего не говорит, но будьте спокойны: первый класс».

Лев Бабков поблагодарил за информацию, рассеянно оглядел коридор, невзначай расстегнул макинтош.

«Ух ты», — восхищённо сказал человек на подоконнике, увидев на пиджаке дядины ордена.

«Так, э... в секретариате?..» — проговорил Бабков.

«Постойте, — сказал человек и поглядел по сторонам. — Я вам скажу по секрету... У меня нет мандата, а мне надо до зарезу, понимаете, кровь из носа, быть на торжественном заседании. Вы даже не представляете: будет чёрт знает что. Старику исполняется не то восемьдесят, не то девяносто, даже говорят (это я вам по секрету), ещё больше. Считается, что восемьдесят, а на самом деле... чуете?»

«Да что вы, — вяло возразил Бабков, — не может быть».

«Вот ей-богу! Сам слышал».

«Как же он... в таком возрасте...?»

«Руководит? Ого! Х-ха... Сразу видно, что вы нездешний. Тут такие вопросы, знаете, задавать не положено. За такие вопросы могут и из института попереть. Да он ещё сто лет просидит, ему сносу нет! Послушайте... я понимаю, что нехорошо лезть со своими просьбами к незнакомому человеку, но поверьте, сам не знаю — как-то вдруг проникся к вам доверием. Флюиды какие-то! Кораблёв», — сказал он сурово и протянул ладонь.

«Бабков, — неуверенно представился Лёва, решив было сматываться, но вместо этого спросил: — А что, собственно... чем я могу вам помочь?»

«Да очень просто; и ничего от вас не требуется. Вот вы сейчас отметитесь в секретариате, потом пойдёте регистрироваться в оргкомиссию. Я туда уже заглядывал, уверяю вас, там сидят одни дебилы. У вас такой вид... они вас даже не будут расспрашивать. Так вот, будете регистрироваться и скажете: со мной мой личный секретарь. Сигизмунд Петрович моё имя... а тебя как?»

«Лев».

«Ух, ты... а по батюшке? Ладно, Лёвой будем звать. А меня Муня. Так вот, так и скажешь: со мной личный секретарь Кораблёв. Дескать, не будете ли возражать, если я возьму его с собой на торжественное открытие. И всё. А если они скажут, а где же ваш секретарь, скажешь: на вокзале сдаёт вещи в камеру хранения, там очередь большая... Что-нибудь такое в этом роде. А потом проведёшь меня в зал. Мне больше ничего не надо».

«Хорошо, я подумаю».

«Чего тут думать. Иди, а то они на обеденный перерыв уйдут, — сказал Кораблёв, посмотрев на часы, — я тебя тут подожду. Слушай, Лёва. Я умею ценить услугу. Ты не думай, что я так. Отблагодарю».

Лев Бабков сделал неопределённый жест.

«Понимаю, всё понимаю! Сходим в ресторан, ты как? Лады? Я тебе покажу, как тут люди живут. Кого-нибудь прихватим. У меня есть одна знакомая цыпочка, м-м!» — и он поцеловал кончики пальцев.

У врат царства

«Приёмные часы окончены», — отчеканила секретарша, слишком занятая делами, чтобы вдаваться в объяснения или хотя бы взглянуть на вошедшего; трубка телефона, утонувшая в её локонах, шептала, требовала, умоляла; другой аппарат дребезжал на столе; свободной рукой она листала что-то, смотрелась в зеркальце, слюнявила пальчик и поправляла бровь. «Нет, — сказала она. Трубка не унималась. — Вам сказано русским языком: нет». Что-то записала, бросила трубку на вилки телефона, приподняла и прочно посадила на место вторую трубку, захлопнула блокнот и сунула зеркало в сумку. И лишь после этого, распрямив утомлённый стан, обратила на посетителя фарфоровые глаза.

В эту минуту на столе раздался шорох, словно кто-то зашевелился под бумагами, голос из недр проскрипел что-то. Девушка вспорхнула и простучала каблуками мимо сидевшего на диване человека без биографии. Несколько минут спустя она вышла из высоких дубовых дверей, поправляя локон, на ней было короткое лёгкое платье со скромным вырезом, тесное в лифе и почти неправдоподобно узкое в талии, с юбкой клёшем, которая колыхалась, по моде тех лет, на пенном кружеве нижних юбок. У неё был вид женщины, которую только что поцеловали.

«Чего вы ждёте, — сказала она, — я же вам объяснила».

«Жду вас», — возразил Бабков.

«Мешаете работать».

Она снова устроилась со своими пышными юбками за столом, сунулась в сумочку, и снова задребезжал телефон.

«Вам русским языком говорят, — промолвила она не то в трубку, не то сидящему на диване, — Директор не принимает».

«Я не к Директору. Я к вам», — сказал Бабков, задавая себе вопрос: если снять платье и юбки, то что бы осталось? Гора кружев на ковре и сидящее за столом полупрозрачное ничто в отливающих янтарём локонах. Задача женского наряда — не столько показать то, что есть, сколько воссоздать то, чего нет.

«Я могу подождать, — добавил он, — у меня есть время».

Зазвонил телефон. «Институт, — сказала она. — Да. Нет. Я вам уже объяснила. — Бабкову: — Мешаете работать!»

В приёмную вступил тучный человек, одетый с иголочки, с эмалевым значком на лацкане пиджака, в обширных брюках из дорогого ма-

териала, в очках из карельской берёзы. На мгновение, пока дверь открывалась, там мелькнуло лицо Кораблёва с вытянутой шеей. «Людочка!..» — сочным голосом возгласил осанистый человек. Лев Бабков уселся поудобнее на кожаном диване, заложил ногу за ногу в брюках, отутюженных Анной Семёновной, развесил полы макинтоша.

«А я к вам по деликатному делу!»

«Вы всегда... — Зазвонил второй телефон. — Нет», — сказала она брезгливо.

«А я к вам... Как бы это мне на одну минутку», — ворковал человек в берёзовых очках.

Услыхав, что к Директору нельзя, он вскричал плаксиво:

«Как же так, вы мне утром обещали!..»

«Директор в Академии».

«Да я сам только что из Академии!»

«Вот и поезжайте туда. Может, там его поймаете».

Толстяк ломал руки, метался по приёмной.

«Ну что вы скажете? — обратился он к сидящему. — Когда я точно знаю, что Директор здесь! Вы, наверное, тоже ждёте? Вы из Свердловска?»

«Да, — сказал Лев Бабков, — я из Свердловска».

«Боже мой, мы вас давно ждём! Послушайте... Бог с ним, я могу заглянуть попозже... А сейчас вы должны идти со мной. В мой отдел... Вы даже не можете себе представить, как мы вам рады!»

«Обязательно, — сказал Бабков. — Непременно. Но не сейчас».

«Понимаю, понимаю... А кстати, как там Феодосий Лукич? Я хочу сказать, как с этой злополучной диссертацией? Вы должны войти в наше положение, — человек понизил голос, — мы были вынуждены. При всём уважении. Феодосий Лукич, можно сказать, глава целой школы, у него десятки учеников... Но целый ряд вопросов, важнейших, принципиальных вопросов — вы понимаете, о чём я говорю, — нуждается в уточнении, в принципиальной оценке...»

«Да, но знаете ли...» — сказал Бабков.

«Разумеется! Разумеется, это не окончательный ответ».

«Вот именно, — сказал Бабков, подняв палец. — Вот именно, не окончательный».

Секретарша говорила, держа трубку. Донеслось: «Я вам объясняю. Русским языком...»

«Ну, не буду вам мешать... Помните: мы вас ждём!»

Из-за гардины неожиданно выставилась человеческая фигура. Кто-то висел в воздухе за окном, рабочий карабкался по приставной лестнице. Там вешали лозунг по случаю юбилея. Секретарша пожала ватными плечиками.

«Не понимаю, на что вы надеетесь».

Вновь зашуршал невидимый аппарат, загробный голос провещал нечто. Людочка сорвалась с места и исчезла за тяжёлой дверью. Посетитель встал. Он подошёл к столу и бегло ознакомился с бумагами. Кто-то приоткрыл дверь в приёмную, это опять показалась вопросительная физиономия Кораблёва. Лев Бабков молча указал на дубовую дверь. Кораблёв важно кивнул и пропал. Посетитель уселся на диван. Посетителю чудились неясные звуки в кабинете, голоса или, вернее, её голос. Люда выбежала из директорского святилища с пылающим лицом, утирая что-то под глазами, взлетели кружева, она плюхнулась за стол. В приёмной стало сумрачно: половину окна загородила огромная доска лозунга.

Секретарша пудрила щёки и лоб, пристроив зеркальце к телефону.

«Не надо огорчаться, — сказал Лев Бабков, — всё бывает».

«А, чтоб тебя...» — пробормотала она, глядя с ненавистью на дребезжащий аппарат. Лев Бабков подошёл к столу и взял трубку.

«Секретариат Института систематических исследований, — сказал он, и его голос приобрёл тот необходимый тембр, который заставляет людей насторожиться. Шёлковая перчатка, в которой держат клинок. — Чрезвычайно сожалею. — Он смотрел на Людмилу. — Директор руководит совещанием и в данный момент не может с вами говорить».

Трубка осведомилась, с кем она разговаривает.

«Зам ответственного секретаря по организационной части. Сожалею».

Трубка не унималась. Людочка открыла рот. Бабков сказал:

«Изложите вашу просьбу в двух словах, она будет передана по инстанции. Сочувствую вам и всемерно готов содействовать. Невозможно. Нет. Да. Председатель Учёного совета тоже на совещании. Можете катиться к чертям собачьим». Последние слова были, очевидно, произнесены *a parte*. Трубка старинного аппарата с изогнутым раструбом микрофона плюхнулась на вилки.

«Я занята! — крикнула Людочка раздражённо, когда дверь в приёмную вновь приоткрылась. — Не видите — у меня посетитель. Слушайте, — пробормотала она, — как вас, и вообще, кто вы такой... Я же вам сказала. Он вас не примет. И к тому же его, наверное, уже нет. У него там, — сказала она, — есть другой выход».

«Но я не к нему; я к вам».

«Ко мне? — переспросила она, как бы просыпаясь в лёгкой тревоге. — Послушайте... И вообще».

Это «вообще», слово-протей, могло быть знаком неприятия, презрительного удивления, эквивалентом поджатых губ или поднятых бровей, могло означать и уступку, но главным образом указывало на общую температуру разговора. «И вообще!» — сказала Люда, оконча-

тельно овладев собой, поднимая на собеседника эмалевые глаза. Крошки чёрной краски висели на ресницах.

И в ту же минуту (мы должны представить себя на её месте) она почувствовала перемену, заработали бесшумные генераторы пола. В тайных глубинах тела яичники впрыснули в кровь дозу женского гормона. Если можно было уложить в короткий вопрос некоторую общую мысль, проплывшую, как корабль, в её мозгу, то этот вопрос — вполне однозначный при всей своей неопределённости — звучал бы так: а почему бы и нет?

«Директор на совещании, — отчеканила секретарша. — Позвоните позже».

Положила трубку.

Кораблёв просунулся в дверь.

«Муня! — строго сказал Бабков. — Займись своим делом. — Он объяснил: — Это мой человек».

После короткой паузы:

«Так вот. Я бы хотел поступить на работу».

«Да? — сказала она иронически. — Интересно».

«Я бы хотел поступить к вам в Институт».

«Обратитесь в отдел кадров».

«Но меня там никто не знает».

«Я вас тоже не знаю, — заметила она. — Вы хотите подавать на конкурс?»

«Может, вы мне что-нибудь посоветуете?»

«Безобразие, — сказала она. — Совсем загородили окно. Что же я могу посоветовать?»

«Может быть, вы подскажете, на какую должность мне лучше всего подавать. Я могу работать кем угодно. Мне всё равно, кем работать. А если между нами, то я бы хотел просто числиться».

«Просто числиться».

«Ну да».

«И получать зарплату».

«Почему бы и нет?»

«Многого хотите».

«Уверяю вас, совсем немного».

«Почему именно в наш Институт?»

«Потому что, — он улыбнулся, — я хочу быть возле вас».

«Мне кажется, вы чересчур самонадеянны». Эта фраза казалась вычитанной из книжки. Весь диалог напоминал пародию на разговоры в романах. Жизнь гораздо чаще пародирует литературу, чем наоборот. Во всяком случае, было очевидно, что разговор шел не о том, о чём он шел; или, по крайней мере, не только об этом.

Но в конце концов, — такая мысль не могла не придти в голову Лёве, — в конце концов, не была ли вся эта сцена отражением какого-

то общего закона, по которому все, что текло на поверхности, делалось и говорилось, было мнимостью? Настоящая жизнь, как подземные воды, струилась и пробивала свой извилистый путь в неисследимых потёмках.

«Должность... — сказал он, — должность подберите мне сами».

«Вы и на фронте были, когда ж это вы успели?»

Лев Бабков взглянул на свои ордена.

«Я сын полка, — сказал он, — воспитывался под свист пуль и грохот снарядов. Я кандидат исторических наук, то есть, собственно говоря, любых наук...»

«Но позвольте».

«Шучу, конечно. А может, и не совсем шучу. Я литературный секретарь старейшего члена партии, мы работаем над его мемуарами. Вас, вероятно, интересуют мои документы — пожалуйста».

«Да зачем мне ваши документы, я вам и так верю».

«Когда мне придти?»

«Документы сдадите в отдел кадров».

«Я хотел прежде показать вам. Вот если бы вы замолвили за меня словечко перед Директором».

«Знаете что, — сказала она неуверенно, — я не могу так много времени тратить на одного человека. Там другие посетители ждут».

«С посетителями мы в два счёта расправимся. А насчёт того, что верю — советую вам быть осторожней. Вы даже не представляете себе, сколько вокруг ходит шарлатанов. Документы могут быть поддельными. Вот видите: диплом. Ведь эту печать ничего не стоит перепечатать. Перенести с одного документа на другой, вот и всё. Подпись замастырить пара пустяков».

«Это вы так говорите, потому что сами никогда не подделывали... — Она поглядела в окно. — Да что это, в самом деле. Что ж, я так и буду сидеть целый день при электричестве?»

«Одну минуту».

Лёва водил пальцем по списку телефонов, пока не остановился на нужном номере.

«Этот?»

Секретарша пожала плечами.

«Попрошу начальника конторы», — произнёс он голосом, в котором вновь почувствовались бархат и латы. Несомненно, акустика этого голоса заключала в себе больше смысла, чем то, что он собирался сказать. Мягкий и переливчатый, грозно-ласкающий, этот голос производил больше впечатления на женщин, чем на мужчин. Но что он собирался сказать? Лев Бабков положился на вдохновение.

«Попрошу начальника конторы... как его, кстати?.. Товарищ Лукульченко. С вами говорит уполномоченный министерства... я нахожусь в кабинете Директора Института системных исследований».

Последовавший за этим монолог не требует пересказа; раздавались слова: «безответственность», «халатность», «немедленно», «безотлагательно» и под конец совсем уже неуместное выражение «сукин сын, ты у меня наплачешься».

«Людочка, — кладя трубку, сказал Лев Бабков, — я совершенно уверен в том, что меня привела к вам судьба».

Загадочные ущелья прошлого

Бабков, сообщивший Анне Семёновне, что он поступает (или уже поступил?) на работу в Институт и даже беседовал с самим Директором, разумеется, прихвастнул: немногим удавалось лицезреть Директора, не говоря уже о том, чтобы получить аудиенцию. Разве только увидеть поутру перед домом с гипсовым гербом и символами науки директорский экипаж, — между тем как «сам» уже допивал у себя наверху в кабинете первую чашку тибетского чая.

Тому же, кто не поленился бы встать пораньше, возможно, посчастливилось бы наблюдать, как длинный чёрный автомобиль выворачивает из переулка и, урча, взбирается задними колёсами на тротуар, к ступеням портала.

Растворились задние дверцы. Старец — снежно-белые усы, мясистый нос и академическая шапочка-ермолка — выехал в кресле спиной вперёд, был подхвачен двумя молодцами, пронесён мимо вахтёра, стоявшего навытяжку, с фуражкой перед грудью, возле стеклянной клетки. Лифт стоял наготове под присмотром специально приставленного для этой цели научного работника в чине кандидата; кресло с усами и ермолкой поехало наверх, там встречали сотрудники и благоухающая, как сама весна, секретарша.

Директор сделал знак остановиться, чтобы поцеловать руку у Людочки, замахал руками, давая понять, что не нуждается в посторонней помощи, сам выбрался из кресла и с удивительной бодростью, с приветственным жестом, словно премьер, удаляющийся за кулисы, проследовал через приёмную в кабинет. Свой рабочий день Директор Института начинал, как уже упомянуто, с тибетского чая, дарующего долголетие. Директор не упускал случая рекомендовать чай своим сотрудникам. Он повторял чаепитие в полдень при прохождении солнца через полюс эклиптики и при восходе верхнего рога луны. По сведениям, которые мало отличались от легенд, он не употреблял мясо и молоко, а также избегал растительных, мучных и иных продуктов, за исключением сухих семян. Директор был сед, сух, мал росточком, что, как известно, тоже способствует долгожительству. Обыкновенно он не покидал рабочий кабинет до позднего вечера; случалось, оставался на ночь и бодрствовал при свечах, в память об одном событии своей жизни; бы-

вало и так, что кабинет вдруг оказывался необитаем, и только голос шефа, столетний замогильный голос, шелестел на столе у Люды.

Не раз предлагалось переименовать Институт систематических исследований (носивший, естественно, имя Директора) в Академию, а именно, Академию усовершенствованной истории, для чего имелись веские основания. Выше говорилось о старцах, заведующих историей. Директор сам был живым воплощением истории, но вместе с тем и её опровержением. Приводимый в справочниках год его рождения — условная дата; возраст Директора в большой мере зависел от системы летосчисления. Если в соответствии с григорианским календарём он считался глубоким стариком, то по ламаистскому счёту был мужчиной в расцвете лет. Директор был одновременно дряхл и прочен, казался глубоко погружённым в склеротическое полубодрствование и при этом удивительно чуял своим крупным губчатым носом перемены ветра, веющего с руководящих верхов. Сребровласый и розоволицый, при своём малом росте напоминающий экзотический гриб, он почти составлял единое целое со своим креслом, — и, тем не менее, регулярно, хоть и нечасто, к изумлению персонала, его видели гуляющим по Институту, он заглядывал в кабинеты заведующих отделами, отпускал комплименты молодым лаборанткам и демократически желал доброго утра уборщице. По неписаному закону страны каждую сферу государственной деятельности возглавлял феодальный старец, заслуженный, несменяемый, украшенный орденами и обременённый должностями; таков был в своей вотчине и Директор. Незачем пояснять, что этой вотчиной была история.

Можно ли доверять имеющимся сведениям? Неконгруэнтность календарей — лишь одна из трудностей, с которыми сталкивается биограф. Вообще же следует знать, что исторические сведения достоверны в той мере, в какой они не противоречат легенде. По крайней мере, так обстояло дело с биографией Директора. Будущий реформатор истории появился на свет в прошлом веке. Считалось, что он происходил из дворян Новгородской губернии. Его рождению предшествовал приезд немолодого барина, впервые за много лет, в одно из своих владений, где он познакомился с пятнадцатилетней крестьянкой. Не раз замечено, что подобные встречи приводят к совершенно необычным результатам.

В памятную весну 1874 года (нам придётся всё же держаться общепринятых дат) среди нескольких тысяч молодых людей, замысливших просвещать народ о его бедственном положении, находился будущий Директор; в одежде мастерового, с подложным паспортом он сошёл с поезда на глухом полустанке и на другой день был арестован исправником по доносу хозяина избы, который пустил к себе ночевать юного пропагандиста. Таково было начало революционной карьеры Директора. Выйдя (через три года) на волю, он участвовал в заседании, на ко-

тором было постановлено изменить методы борьбы. Отныне кинжал и самодельная бомба должны были сменить слово убеждения. Ходили тёмные слухи, что террорист, заколовший в Петербурге на улице, среди бела дня, начальника жандармского корпуса, был не кто иной, как он, будущий Директор. Это было тем более удивительно, что предполагаемый убийца был мал, как ребёнок, а шеф жандармов — великан трёхаршинного роста. Несколько времени спустя Директор был задержан на курляндской границе с чемоданом литературы. В столице был убит император. Близость будущего реформатора науки к заговору не вызывала сомнений. Вместе с другими Директор был приговорён к повешенью. В конце марта этого памятного года, спустя четыре недели после того, как взрыв разнёс в щепы государеву карету, разметал лошадей, смертельно ранил бомбометателя и оторвал ноги монарху, одиннадцать террористов, признанных пособниками, были помещены в каменные гробы Алексеевского равелина. Среди них будущий Директор; эшафот был заменён пожизненным одиночным заточением, мгновенная смерть — медленной.

Такова была история его жизни вплоть до порога, за которым осталась молодость. Когда Директор вышел на волю, — ибо он всё же вышел, — он был глубоким стариком. Неизвестно, сколько лет в точности он провёл в каземате; во всяком случае, это была уже другая эпоха, другое столетие стояло на дворе, поколение успело сойти со сцены, род пришёл и ушёл, как сказал Экклезиаст. Важно, однако, отметить, имея в виду наше дальнейшее изложение, что время узника и время за воротами цитадели протекало неодинаково.

Вернёмся к этим десятилетиям: довольно скоро заключённого постигла обычная судьба обитателей равелина; признаки помешательства появились на второй год. Солдат, приставленный для топки печей в трёхметровых, старинной кладки, стенах между кельями арестантов, доложил, что за дверью 10-го номера слышны бессвязные речи, пение; в полутьме узник передвигался от стены к стене на распухших, похожих на брёвна ногах. Когда много позже, после смуты Пятого года, частично были преданы гласности бумаги департамента полиции, в них обнаружился любопытный документ, лекарское свидетельство, поданное по команде на имя коменданта крепости. Тюремный врач докладывал о кончине номера 10 от цинги, скоротечной чахотки и общего истощения. Оставалась, правда, некоторая неясность относительно имени того, кто содержался под № 10. Имена могли быть перепутаны, впоследствии же вовсе потонули в бумагах. Были предприняты, в том числе самим умершим, в более поздние годы попытки опровергнуть факт смерти, но, как уже сказано, это было другое время.

Это был некий знак. Упомянутый документ может служить примером того, что имеют в виду, говоря о достоверности исторических свидетельств. Он наводит на мысль о том, что именно тогда будущий Ди-

ректор приобрёл навык двойного существования на грани действительности; тогда-то и был заложен фундамент его поистине сенсационного долгожительства.

Даниил. Опровержение истории

Смена царствований повлекла за собой известные перемены. Нельзя сказать, что правление императора Александра III носило исключительно ретроградный характер: новые веяния коснулись полицейских и административных сфер. Древний равелин, иначе называемый Секретным домом, был признан негодным за ветхостью. Новая тюрьма была воздвигнута на уединённом острове Ладожского озера за стенами крепости, которую венчал золотой ключ, этот двусмысленный символ открытия и затвора. На четвёртом году заключения террористы, закованные в кандалы, были перевезены на остров. Из одиннадцати осталось в живых четверо, двое из них были безумны. Один узник вскоре был казнён за оскорбление, нанесённое надзирателю; ещё один облил себя в камере керосином и поджёг. После чего начальство нашло возможным допустить некоторые послабления режима. Было разрешено читать книги христианского содержания и пользоваться писчей бумагой.

Один писатель, тот, кто сам был некогда привезён в закрытой карете в крепость Петра и Павла, через мост и ворота с каменным монструозным орлом, тот, кто стоял с завязанными глазами на эшафоте, но в последнюю мируту был помилован и отправлен в каторгу, записал однажды в своих тетрадях: «И Христос родился в яслях, может, и у нас родится Новое Слово». Оно родилось в Шлиссельбурге.

Под честное слово дворянина (какие, однако, были нравы! что такое честное слово?), с обещанием не предпринимать ничего недозволенного, а также учитывая примерное поведение арестанта, ему было разрешено коротать долгие тюремные вечера со свечой. И вот, читая однажды книгу пророка Даниила, как рассказывал много лет спустя Директор, он обратил внимание на рассказ о видениях, в седьмой главе, где говорится о явлении четырёх зверей из моря, и далее в главе 8-й — видение овна и козла. «Помните ли вы: овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него... он делал, что хотел, и величался, — спрашивал Директор благоговейно внимавшую публику. — Какая-то, ещё неясная, мысль мелькала в моём уме... Перед моим мысленным взором возникли старинные изображения созвездий — как удивительно были похожи эти картинки на галлюцинацию пророка!»

Утомленный бдением, он уснул, положив голову на дощатый стол, и во сне эта мысль с необыкновенной чёткостью предстала ему — уже не как смутная догадка, а как научная гипотеза.

Оставалось — но это сейчас мы так говорим, на самом деле путь постижения истины не так лёгок и прям, — оставалось проверить гипотезу, сопоставив её с известными данными. Будущего Директора, по его словам, удивляло, отчего до сих пор никому не пришла в голову идея, лежащая, можно сказать, на ладони. Но такова природа открытий: лишь после того, как они сделаны, кажется, что они были просты и очевидны. Узник нуждался в учёной литературе. Следовало углубить свои — впрочем, уже немалые — исторические и астрономические познания, следовало провести параллели, найти соответствия, привести разнородные факты к общему знаменателю. Назначенный, на его счастье, новый тюремный врач снабдил арестанта, под предлогом переплётной работы, таблицами местонахождения светил на видимой части небесной сферы в определённое время и над определённым местом на земле.

Гипотеза — давно уже, впрочем, превратившаяся из гипотезы в факт — состояла в том, что видения пророка были не что иное, как расцвеченное фантазией описание созвездий ночного неба. Значит, можно было точно установить, где именно он созерцал их и когда это происходило. Согласно изречению средневекового летописца, природа не повинуется указаниям властей, natura auctoritate decurrit; точно так же она не следует догматическим представлениям историков. Считалось, что книга пророка Даниила написана в эпоху гонений Антиоха Епифана, во всяком случае, не позднее 164 г. до Р.Х., года смерти Епифана. Между тем картина звёздного неба, каким оно предстало созерцателю, никак не совпадает с той, которую можно было наблюдать в 164 году. В тетрадях будущего Директора, вынесенных спустя много лет, как некие скрижали, из ворот крепости Золотого Ключа, находилась звёздная карта — небо, которое видел пророк. Такое небо стояло над Палестиной в IV веке — на шесть столетий позже!

Ergo, датировка книги Даниила, а заодно и вся древняя хронология, нуждалась в пересмотре. А отсюда следовал головокружительный вывод: эпохи между третьим веком до и пятым после Рождества Христова фактически не существовало. Куда же тогда девать Даниила? Куда девать остальных пророков и весь Ветхий Завет? Гениальная фальшивка, позднейшая мистификация христианских теологов, вот единственный ответ.

Усовершенствование полным ходом

Всё требует пересмотра. Оставим сказочного Директора на пороге решающего этапа, когда он приступил к радикальному усовершенствованию истории. С некоторых пор и у нас, и за границей вошёл в моду исторический шовинизм. Раньше никто не говорил: милостивый госу-

дарь, вы отстали от жизни, слава Богу, у нас на дворе XII век. Никто не кичился своей эпохой, не хвастался своим столетием, никому не приходила в голову нелепая мысль, будто двенадцатый век или там шестнадцатый совершенней всех прочих на том основании, что он последний. Совсем иначе звучит: «Милостивый государь, мы живём в двадцатом веке». Тут уж не остаётся сомнений в том, что мы прогрессивней всех и наш век — вершина истории. Между тем и он догорает, и даже эти записки, может статься, не будут доведены до конца, прежде чем придётся штурмовать новый пик.

Так как всего вероятнее то, чего никто никогда не ждёт, — любопытный парадокс теории вероятности, — можно предполагать, что даже сравнительно близкие потомки найдут в катакомбах нашей эпохи нечто такое, о чём мы и слыхом не слыхали. Для этого века будет придумано непостижимое название. Венцом и вершиной истории он, конечно, не будет. Но кто знает, может быть, к нему отнесутся снисходительней. Чего доброго, он станет именоваться добрым старым временем, станут говорить: как тепло, как уютно тогда жилось! Наш век будет исчерпывающе объяснён с помощью какой-нибудь безумной теории. Его уложат, как в саркофаг, в какую-нибудь недоступную нашему разумению классификацию. Но и этого мало: не исключено, что он будет объявлен, в результате самоновейших исследований, никогда не существовавшим. Отнюдь не исключено!

Нас ожидает двойное небытиё. Мало того, что мы умерли, мы никогда и не жили.

Рассказывают, что один профессор философии, наш знаменитый современник, начинал свои лекции об Аристотеле фразой: «Он был рождён, трудился и умер». Вообразите же самочувствие Стагирита, которому объявили, что он никогда не рождался. Что он не жил, не учил, ничего не написал, все его трактаты, и Органон, и Этика, и Политика, и Метафизика сочинены не им, а какими-то безымянными черноризцами в монастырских кельях, в ненастные ночи Средневековья. Вообразите загробный гнев и отчаяние того, на чьём камне, поверх перечёркнутых дат, стоит: *Numquam erat!*

Этот пример может дать представление о масштабах переворота, совершённого Директором Института систематических исследований: историю пришлось укоротить, как штаны. Шесть столетий отправились в мусорную корзину, и вместе с ними ухнула в тартарары изрядная доля классической древности. Возвышение Рима, эллинизм, Афины и Александрия, *Pax Romana* и роскошный закат Империи — ничего этого не было, всё оказалось продуктом гениальной фантазии, античные классики — псевдонимами безвестных монахов, скромно именовавших себя копиистами. Переписчиками никогда не существовавших оригиналов. Собралась в складки вся новозаветная история, евангелия — о чём, впрочем, давно уже подозревали — были сочинены задним чис-

лом. Распятый окончательно превратился в легенду, и от первых веков христианства ничего не осталось. Само собой разумеется, что с потерей шести веков подлежало ревизии всё дальнейшее летосчисление.

Со временем открытие Директора, потрясшее научный мир, нашло продолжателей, примером творческого применения реформы может служить другая отважная попытка укоротить историю, предпринятая на сей раз не в нашей отсталой стране, а на просвещённом Западе. А именно, похерить промежуток от VII до X столетия. Тухлое время, без которого, как выяснилось, можно вполне обойтись. Как стало известно, оно было попросту выдумано, грамоты и реликвии сфабрикованы задним числом, памятники архитектуры, какая-нибудь аахенская часовня и тому подобные, воздвигнуты позже. Чарующая скандалёзность этой выдумки сделала её неотразимой, если вспомнить, сколько людей, какие могущественные политические силы были заинтересованы в том, чтобы раздуть величие Каролингов и оправдать свои притязания на владычество в западном мире. Но каково несчастному Пипину, Карлу Мартеллу и самому Карлу Великому узнать о том, что они были мифическими персонажами и отныне уволены из истории! Поистине худшее, что может произойти с эпохой, это открытие, что её не существовало.

Но вернёмся к нашему времени, у которого, по крайней мере, есть одно преимущество: никто пока ещё не усомнился в его реальности. А до той поры, когда она будет объявлена мнимой, мы не доживём. Мифология — это кладбище истории. История — ожившая мифология. Если бы, однако, уже теперь мы попробовали подвести итог, обозреть свой век единым оком и вывести всеобъемлющую формулу, нам едва ли оказалась бы по зубам такая задача, и, конечно, не потому, что не хватает исторических материалов, хроник, грамот, архивных справок, надгробных надписей, фальсифицированных фотографий, поцарапанных киноплёнок и тому подобного. Ни одна эпоха не оставила после себя столько мусора, как наша.

Раньше было не так. Раньше можно было, благословясь, расчесав седую бороду, засветить лампаду, сесть за пульт и занести в книгу века ещё одно, последнее сказанье, можно было начертать не спеша заключительную главу — и захлопнуть книгу. Хватит ли у нас смелости сознаться, что мы утратили вкус и способность к синтезу, что навсегда потеряно доверие к великим историческим повествованиям, к «наррациям»? Можно ли утверждать, что законы истории, уроки истории, опыт прошлого и как там всё это называется — суть не более чем наррация, по-русски говоря, басня о том, что было и чего не было, а точнее, никогда не бывало? Оставим этот вопрос без ответа.

Дело в том, что число достижений, притязающих на роль «решающих факторов», так велико, что невозможно предпочесть одно, не воздав должное другому. Мне скажут: век автомобиля, а я отвечу — век

противозачаточных пилюль. Кто-нибудь выкрикнет: расщепление атома, а я ему: тайная полиция, стукачи, концентрационный лагерь. Кто-нибудь шлёпнет об стол козырным тузом — рок-музыка! А мы его другим тузом: газовая печь! — Компьютер! Космические полёты! Генная инженерия! — Ответом будет гробовое молчание. Потом кто-нибудь осторожно бякнет: а терроризм? Кто-нибудь подведёт итог, дабы положить конец всем спорам: окончательная победа общества и государства над человеком. И мы опять ничего не ответим. Мы только подумаем: какой неслыханной виртуозности, какого совершенства достигло искусство маленького человека вести образ жизни улитки, скрываться в щелях, лавировать посреди утёсов бюрократии, ночевать в укромных углах цивилизации, прятаться, увиливать, вовремя ускользать, сматывать удочки, существовать не существуя и, живя, делать вид, что тебя нет.

Наше отступление затянулось, читатель волен его пропустить. Как сказал вагонный сказитель: кому неинтересно, пусть читает газету.

Национальная муза

А вот и он — в солдатской пилотке, в шинели без хлястика.

Идти в толпе, смотреть в спину женщинам. Мимо слепых опустевших вагонов влачиться в стуке и шорохе шагов, в неслышном шелесте, электромагнитном поле мыслей. Идти и смотреть на их плечи, удручённые грузом забот, на ноги женщин, на эту, на её чулки, овал её бёдер, пытаться ступать с ней в ногу, слишком мелкие шажки, мечтать и угадывать, кто она, обогнать, взглянуть искоса и разочароваться. Но где же сказитель? Лев Бабков потерял в толчее пассажиров вагонного барда. Толпа редеет. Увидел его далеко впереди; несколько времени шагают рядом.

Человек отверз уста: «Чего надо?»

В ногу, не глядя друг на друга.

«Который раз встречаю тебя в вагонах».

«И я тебя; чего надо?»

«Хотел познакомиться...»

«Мало ли чего ты хотел. Ты кто такой?».

«Трудно сказать», — ответил Бабков, и оба направились через площадь под эстакаду железной дороги, к зданию фабрики «Большевичка».

«Ты кто такой, отзынь», — сказал Георгий Победоносец.

Лев Бабков остановился.

«Слушай, — сказал он. — Чем травить желудок в этой поганой столовой, пошли лучше к тебе, харчи я куплю. Я, — сказал он, — твою балладу слушаю по три раза на неделе».

«Нравится?»

«Ты большой талант».

«Это мы без тебя знаем».

«Но извини меня, публика начинает скучать. Сколько можно? Там ведь народ — почти одни и те же люди. Пора обновить репертуар».

«А ты мне не указ. Репертуар... Да ты кто такой, чтобы мне советы давать?»

Подумав, он спросил:

«Ты что, мне завидуешь? Сам, что ли, хочешь выступать?»

Попутчики остановились в некоторой неуверенности перед продмагом. Сказитель осторожно заглянул в магазин и увидел, что Лев Бабков стоит в очереди перед кассой. Сказитель прогуливался по тротуару. Бабков вышел с бутылками и кульками.

«Ты, едрёна вошь, откуда знаешь, что я тут живу?»

«Что значит — едрёна вошь? — спросил Бабков. — Что это вообще за язык? Прощаю тебе твою грубость из уважения к твоему несравненному дару...»

«А всё ж таки: откуда узнал?»

«Я за тобою шёл как-то раз».

«Выслеживаешь?»

«Хотел познакомиться. Но как-то не решился».

Шли наверх по бесконечной лестнице, солдат открыл дверь тремя ключами. «Пелагея Ивановна! — крикнул он. — Мне никто не звонил?» Пелагея Ивановна выглянула из своей каморки. «Знакомьтесь», — буркнул сказитель. Лев Бабков галантно представился; оба вступили в комнату поэта с большим пыльным окном, неубранным ложем, с иконой над письменным столом.

«Это какой же век?»

«А хрен его знает... У одного алкаша купил».

«Твой портрет, что ли?»

«Мой, а чей же».

«Похож, — сказал Бабков. — Только ты тут слегка помоложе».

«Давно дело было».

«Да и змей... того...»

«Змей как змей. Ну чего, — сказал хозяин, — раздевайся, что ли, раз пришёл. Стихи пишешь? Молодой поэт?..» Он швырнул в угол пилотку, снял шинель, осмотрел её внимательно и повесил на гвоздик.

«Змей, конечно, апокрифический, — продолжал он. — Может, когда-нибудь и жили такие. Зоологи до сих пор спорят. Собственно говоря, моё житие было составлено в Византии, мы все наследники Византии...»

Вошла Пелагея Ивановна, женщина неопределённых лет.

«Подавать, что ли?»

«Подавай, — сказал хозяин. — Нет, погоди. Надо бы Кланю позвать... для симметрии».

Пелагея Ивановна проворчала:

«Далась тебе эта Кланя...». Было слышно, как она говорит в коридоре по телефону.

«Сам понимаешь, необходимо было приблизить сюжет к нашей действительности. Усилить патриотическое звучание. На самом деле... ну, не в этом суть. Егорий — наш национальный святой. Мы его никому не отдадим».

В углу — кривоватое позолоченное копьё.

«Что же было на самом деле?» — спросил рассеянно Бабков, пробуя пальцем остриё.

«На самом деле я сам, самолично, перед тобой!»

«Это мы знаем», — промолвил Бабков и перевёл взгляд с хозяина на икону. Сказитель сказал:

«Если точнее, то Георгий убил дракона, это уже на Руси его переделали в змея... Этот дракон жил в пещере, ему бросали на съедение детей. Ну и так далее. Пока однажды не потребовал, чтобы привели царскую дочь. И тут явился Георгий Победоносец, то есть я... Причём не сразу его убил, а сначала усмирил, сковал цепью и велел царевне вести его на цепи в город. Сам ехал сзади на коне».

«Мне этот сюжет больше нравится», — заметил Бабков.

«А мне нет. Тут нет главного. Нет идейного замысла. Просто сказка, и всё. Нет мучений. Святой Георгий — великомученик. Хотя и на этот счёт есть разные точки зрения».

«Вот как».

«Был такой римский папа Геласий, борец с язычеством. Близко к падению Рима. Так вот этот Геласий решил присвоить Георгия, объявил его западным святым».

«Это мы знаем...»

«Знаешь, да не всё. Объявил меня западным святым, хотя всем было известно, что Георгий происходил из Каппадокии. Но он и на этом не успокоился, а заявил, что мученичество Георгия — выдумка еретиков.

Дескать, на самом деле Георгий — это такой святой, чьи дела больше известны Богу, чем людям».

«И какие же это дела?»

«А хрен их знает. На самом деле, ежели хочешь знать, настоящие святые — это никому не известные святые. Они существуют, они живут меж нами, только никто о них не знает. В этом отношении папа Геласий был прав».

«Между прочим, — заметил Бабков, глядя в оконную даль, — и мы не лыком шиты. Я, например... потомок Ивана Грозного».

«Ты-то? ».

«А чего».

«Что-то по тебе не видно. Ага! — воскликнул сказитель. — Вот и бабоньки».

Симпосион.
Разговоры о жизни

«Прошу знакомиться: мой ученик, молодой поэт. Э, чёрт, запамятовал, как тебя...»

«Бабков, Лев Казимирович. Научный сотрудник...»

«Надо бы, наверно, стол передвинуть».

«Разрешите, я помогу».

«Вот что значит настоящий мужчина».

«Только вот с посадочными местами у меня...»

«А мы пододвинем к кровати. Углом, углом заноси. А то тумбочка отвалится. Неси ещё табуретку с кухни».

Компания — два кавалера, две дамы — крест-накрест сидит вокруг селёдочницы с селёдкой, дымящейся картошки, а там и сырок, там и колбаска, лещ в маринаде.

«Ну-с. Хо-хо...»

«Предлагаю за здоровье...»

«Со свиданьицем».

«Дай Бог не последнюю!»

«Вот такие пироги».

«Где ж твои пироги, ха-ха».

«Вот такая, говорю, петрушка. Иду по перрону, а он меня догоняет. Пелагеюшка, ты чего не пьёшь?»

«Да ну её, шибко в голову ударяет...»

«Для здоровья полезно».

«Вы член Союза?»

«Собственно говоря, ещё нет. Собираюсь вступать».

«Давай, Лёва, я тебе рекомендацию дам».

«Что же вы пишете?»

«У меня задумана большая поэма. Эпическое полотно о нашей современной эпохе».

«Вот я его всё отговариваю. Что это за моду взял, таскаться по вагонам...»

«Я не таскаюсь. Я работаю».

«С разной швалью. С пьянью...»

«Поэт должен быть со своим народом. Поэт, ежели хочешь знать, — это голос народа. И неподкупный голос мой! Был эхо... Знаешь, кто это сказал?»

«Не знаю и знать не хочу».

«Да и жрать тоже надо; на стихах далеко не уедешь».

«А ты вот бери пример с Межирова. Он черножопых переводит».

«Ты, Лёва, действительно, того. Давай вступай. Я тебе помогу. У тебя уже что-нибудь опубликовано? Давай публикуй... А я, Лёва, новую программу задумал — совершенно новый жанр. Конечно, придётся сменить маршрут. Хочешь, будем вместе выступать. Примерно так: ты сначала входишь и объявляешь...»

«А о любви вы тоже пишете?»

«Обязательно. Любовь — главная тема поэзии. Я хочу написать большую поэму о любви, о том, как зарождается любовь, как постепенно два сердца начинают понимать, что они созданы друг для друга. Я хочу написать поэму об одной женщине, с которой я ещё совершенно не знаком. И которая даже не подозревает о том, что она зажгла огонь вдохновения в сердце поэта».

«Дама вашего сердца».

«Дама моего сердца».

«Интересно узнать: кто же она?»

«Я вам уже сказал: я ней не знаком. Почти не знаком».

«Тогда давайте выпьем за неё. За ваши успехи...»

«Нет, верно, Лёва. Давай вступай в Союз. Я тебе рекомендацию напишу».

«Ты лучше расскажи, как ты про Георгия-то сочинил. Надо же, до чего дошёл: по вагонам ходит. Ты бы лучше с Межирова пример брал».

«Пелагея, давай, что ли, с тобой. Ну их всех».

«Вы не договорили...»

«Клань, а Клань...»

«Вы сказали, что пишете поэму о любви».

«Собственно говоря, ещё не приступил. Это пока ещё только замысел».

«Кланя. Клавдия!» — рявкнул победитель дракона.

«Ну чего тебе. Да я знать тебя не хочу. Голь перекатная».

«Я не голь. Я член Союза писателей».

«Я хочу воспеть её всю с головы до ног».

«У меня книжка выходит в Совписе. У меня, если хочешь знать, три корзины. Первая: официальные стихи. Увидишь, я ещё Гертруду схвачу...»

«Какая такая Гертруда?»

«Герой социалистического труда. Вторая — выступления в поездах. На что-то жить надо или как? Представляешь — она меня материально больше не поддерживает...»

«Хватит, кормила паразита три года, хватит».

«Вот. Слыхали? А то, что ты поэта на улицу выгнала, заставила милостыню просить! Совесть не мучает? Я над этой балладой три года работал... Какой сюжет! А язык? Наш, русский, природный... Меня сам Твардовский похвалил! Ты, Лёва, от неё держись подальше. Она из тебя всё высосет, а потом бросит...»

«Ах ты, змей».

«Ты сама змея подколодная. Пелагеюшка, одна ты у меня осталась».

«Всё-таки надо признать. Надо отдать справедливость. Большой талант. Ничего не скажешь».

«Ну его. Вы лучше о себе расскажите».

«Я хочу...»

«Как это вы хочете. Сами говорите: совсем её не знаете».

«И третья корзина — настоящие стихи. О которых ещё никто не знает... Настоящие поэты — это неизвестные поэты. Они живут среди нас, но никто их не знает. Вы ещё обо мне заплачете... Мемуары будете обо мне писать...»

«Я шёл и смотрел на неё. Я ещё не видел её лица. Я шёл следом за ней».

«Как интересно. И что же дальше?»

«Она была невысокого роста. Я смотрел на её фигуру. Я видел, как она отводит в сторону руку при каждом шаге. Это была женская рука. Вы замечали, что женщины совсем иначе отводят руку, что она разгибается в локте совсем не так, как у мужчин. Разогнутая рука повторяет очерк бёдер. Я смотрел на её бёдра. Она шла, едва заметно покачивая станом. Твердо ступали её ноги, её мерцающие ноги в чулках, высоко открытые, зовущие... чтобы в последний момент сказать: нет, я не открою вам свою тайну».

«Ты меня слушай. Я её знаю. Нет, Лёва, правда. Давай подготовим совместный номер, навар пополам. Успех гарантирую».

«Нужен ему твой навар. Он научный работник».

«Чего там, работник. Он со мной за один день заработает больше, чем за месяц в своём этом, как его... запамятовал: ты где работаешь-то?»

«Нет, ты допляшешься. Когда-нибудь на милицию нарвёшься».

«Чего милиция. Чего ты меня милицией-то стращаешь. Я с милицией разговаривать умею. Покажу удостоверение, и отвали, я член Союза, не хер собачий. Лев, я серьёзно говорю».

Дорожные встречи

Рассматривая жизнь Льва Бабкова, пытаясь связать её в единый узел, мы встречаемся с той же проблемой, что и в попытках обнять совокупным взглядом нашу огромную хаотическую страну. Поистине существует сходство между человеком без биографии и землёй, на которой ему посчастливилось жить.

В том, что она представляет собой единое целое, характерное целое, согласно, кажется, большинство. То, что её скрепы проржавели, — не новость для многих. То, что она до сих пор не рассыпалась, не пере-

стаёт быть загадкой для всех. Страна, подобная роману без фабулы, без композиции, без внутреннего развития; читаешь такой роман и недоумеваешь: на чём всё это держится?

Ссылались на географию, на эту везде одинаковую, препоясанную невысокой уральской грядой равнину. Непонятно, однако, почему на такой бескрайней равнине не возникло несколько государств. Указывали на пример гигантских сухопутных империй древности; но они давно погрузились на дно времён. Ничто из того, что считалось залогом единства нашей страны: ни общий язык, ни верховная власть, ни история — их не спасло.

Наконец, существует теория общего врага, опасная, нездоровая теория, живо напоминающая рассуждения о войне — гигиене мира. Смотрите, говорили те, кто всё ещё жил воспоминаниями своей страшной юности, смотрите, какой сплочённостью, каким сознанием общей судьбы наш народ встретил вражеское нашествие; а что теперь? Нет больше врага — нет и народа. Без внешней угрозы, пусть даже мнимой, мы не удержимся, роман нашей истории расползётся, ибо это роман без фабулы, без внутренней логики и композиции.

В толпе спешащих к перронам граждан наш друг задавался историософским вопросом, где скрыт тот стержень, который скрепляет всё это человечество пригородных поездов. Так автор раздумывает над тем, что связывает разрозненные эпизоды его повести. Вот, думал Лев Бабков, наглядный образ народа, здесь каждый может обратиться к каждому на родном языке. Точнее, на том вокзальном жаргоне, который, собственно, и есть их родной язык. Или их держит вместе некая отрицательная сила, гравитация общего страха, общего недоверия, скрепляет, вместо того, чтобы разъединять, то, что каждый с опаской косится на соседа, ждёт подвоха от ближнего, видит в нём вечного конкурента в борьбе за местечко на скамье в тесном вагоне, и все вместе со страхом и неприязнью смотрят на новые толпы за окнами, готовые втиснуться, едва только остановится поезд? Или просто привычка всем вместе качаться изо дня в день, чувствуя плечо соседа, и сонным взглядом взирать на пролетающие поля?

Но, как однажды, много лет назад писатель земли русской сказал, что маловероятно и не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу, так не может быть, говорил себе Лев Бабков, чтобы расползлась, как ветхое рубище, тысячелетняя общность, чтобы в душах людей не дремало, время от времени пробуждаясь, мистическое чувство общей судьбы, без которого ничто не сумело бы удержать их вместе: ни география, ни язык, ни угроза завоевания; не может быть, чтобы сверху на нас всех не взирал некий Глаз, подобный глазам романиста над страницами несуразного произведения. Глаз, который закатывается и восходит вновь, и глядит, глядит не отрываясь, и заволакивается слезами.

Лёву занесло в зал, служивший приютом для транзитных пассажиров, многодетных матерей, цыганок, нищих, карманных воров, женщин, поджидающих покупателя, странников, заблудившихся в огромной стране, и людей, о которых невозможно сказать что-либо определённое. И ему показалось, глядя на них, что он нашёл ответ. Только этот ответ невозможно было выразить словами.

Посреди зала возвышалась стела с огромной незрячей головой вождя. У подножья на приступке сидело некое существо, старообразный подросток в зипуне и ушанке, шея обмотана платком, ноги в ватных штанах и огромных растоптанных валенках. Злой птичий взгляд.

Что-то заставило Лёву присесть рядом.

«Ты откуда?»

Он — или, пожалуй, она — не отвечала, смотрела перед собой.

«Чего молчишь-то?»

Никакого ответа; возможно, глухонемая. Наконец, она пробормотала:

«Брата жду».

Брат должен был встретить её, но не пришёл. Бабков спросил, где живёт брат.

«В Москве».

«Москва большая, — возразил он. — И давно ты ждёшь»?

Он встал, чтобы идти по своим делам, но дел, как легко догадаться, никаких не было.

«Ты когда приехала?»

«Утром».

Он поинтересовался, откуда.

«Из Киржача».

«Где это?»

Она пожала плечами. Так прошло в обоюдном выжидании ещё несколько времени.

«Вставай, — сказал Лев Бабков. — Где твой багаж?»

Нет никакого багажа.

«А паспорт у тебя есть?»

Она помотала головой.

«Значит, ты несовершеннолетняя? В детскую комнату тебя сдать, что ли? Послушай, а может, тебе лучше вернуться домой? В этот, как его».

Вышли на вокзальную площадь, отыскали справочное бюро.

«Как зовут твоего брата?» — спросил он, занеся перо над бланком.

Хитро-испуганные, круглые, насторожённые глаза. Поколебавшись, она ответила:

«Иван».

«Отчество, фамилия? Возраст?..» Постояли на солнышке. Голос из будки ответил: «В Москве не проживает».

«Так, — сказал Бабков. — Подытожим факты. Да ты развяжи платок, совсем взопреешь... Прибыла из Киржача, а может, и не из Киржача, кто тебя знает. В гости к брату, который не то есть, не то его нет. За каким лешим припёрлась в столицу, неизвестно».

Делать было нечего, побрели на перрон и увидели электричку, где сидело на удивление мало пассажиров.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Может быть, это был поезд, идущий вне расписания. Или в депо.

Но чу!

Они услышали, как поднялась и ударилась о провод дуга.

«Плывём. Куда ж нам плыть?» — глядя в никуда, изрёк Бабков. Девчонка воззрилась на него, очевидно, спрашивая себя, кто он такой. Через минуту она равнодушно смотрела в окно. Поезд пошатывался, переходя с одного пути на другой. Несколько платформ пролетели одна за другой. Затем в вагоне появился некто. К ним подошёл нищий. Девочка обдала его злобно-презрительным взглядом. Нищий был маленький замызганный человек, мычал, показывал пальцем на картонку с воззванием у себя на груди. Неожиданно девочка выпалила: «Отзынь!»

«Ходют тут...» — проворчала она, устраиваясь поудобней у окошка. Нищий не понял, он был не только немой, но и глухонемой. Лев Бабков изучал картонку. Он помуслил химический карандаш и, поманив нищего, который собрался было идти дальше, исправил орфографическую ошибку. Немой получил положенное и двинулся к выходу. Не дойдя до дверей, он обернулся и сказал:

«С-сучка! Попадёшься мне...»

«Вали, пока по шее не заработал», — отвечала девочка скороговоркой, точно читала стихи. Таковы были маленькие попутные развлечения, скрасившие дорожную скуку. Поезд остановился, и оба вышли.

Старинный романс

В буфете на станции Одинцово официант в белом переднике встретил гостей радостно-презрительным возгласом:

«Маманя! Кто к нам пришёл!»

Никто не отозвался.

«Мамань, да брось ты там...»

Из-за перегородки появилась маманя, грузная женщина, пропела басом: «Ба-атюшки, сколько зим, сколько лет!»

«Давненько не виделись, — говорила она, вытирая ладони о крутые бока, — дай-ка я тебя поцелую. А мы-то думаем, куда подевался наш Лев Казимирыч. В Москву, небось, переехал?»

«В этом роде, — отвечал Бабков. — Ты бы нас покормила».

«А это кто ж такой будет?» — спросил официант, оглядывая подростка в валенках.

«Это моя племянница. Издалека приехала».

«Вижу, что издалека. Племянница. Ну что ж. Пущай будет племянница».

Буфет, как водится, был разделён на две половины, в зале для нечистых складывали заляпанные мазутом телогрейки в угол, усаживались за столы, лоснящиеся жиром после того, как по ним прогулялась тряпка уборщицы, в зале для чистых столы были покрыты грязноватыми скатертями, и к гостям подходил вихляющей походочкой официант с переброшенным через руку полотенцем.

«Пальтишко ваше попрошу на вешалку. Что пить будем?»

«Не будем, — сказал Бабков. — А ты нам лучше принеси этого, того...»

«Есть биточки со сложным гарниром».

«Тащи биточки».

Выбравшись из зипуна, предусмотрительно запихнув платок и шапку в рукав, она оказалась в помятом школьном платье. Первый голод был утолён с необычайным проворством. Выяснилось, что девчонка ничего не ела со вчерашнего дня.

Бабков сказал:

«Продолжим нашу беседу, на чём мы остановились? Сбежала из дому... Ты имей в виду, я могу проверить. Возьму и позвоню в Киржач. Алё, шеф. Ещё порцию... Значит, — спросил он, — Киржач тоже выдуман?»

Она кивнула и одновременно замотала головой.

«Не понял, — сказал Бабков. — Боишься, что родители узнают?»

«Какие родители», — сказала она презрительно.

«А может, она сами рады, что от тебя избавились, а?»

«Тебя как звать? — спросила, подходя к столу животом вперёд, маманя. — Я спрашиваю. Язык съела? Знаем мы таких племянниц. Много их тут таскается. Добавки хочешь? Серёжа!» — крикнула маманя.

«Она уже две порции съела», — сказал Лев Бабков.

«Сергей. Этому народу сто раз надо напоминать».

«Ты давай вот что, — сказал Бабков. — Давай договоримся: говорить правду».

Официант принёс десерт.

«Хочешь ты домой возвращаться или не хочешь?»

Она озирается, поджав губы.

«Ну что ж; поели, посидели. Скажем спасибо этому дому». Лев Бабков лезет в задний карман брюк, обхлопывает себя.

«Чуть не забыла, — сказала маманя, — дело есть к тебе... Да ладно... в другой раз заплатишь. В кои веки увиделись... Приедешь и заплатишь... Она пока тут пущай посидит... А ты, — она погрозила девочке пальцем, — смотри у меня!»

В комнатке за перегородкой маманя втиснулась между столом и стулом, грузно опустилась. Он присел напротив.

«Спешишь, али как. Куда ты её тащишь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Как живёшь-то?»

«Живу».

Далее было задано ещё несколько вопросов, на которые Лев Бабков отвечал неопределёнными междометиями; впрочем, другого ответа от него и не ждали.

«Совсем», — сказала маманя.

«Что совсем?»

«Совсем, говорю, забыл меня».

Она разбирала бумажки на столе, накалывала на спицу квитанции и разнарядки.

«У тебя что, — спросила она, — кошелёк спёрли? А был ли он, кошелёк-то?.. Лёва. Чего молчишь. Ведь тебе же хорошо со мной жилось, а? Ведь хорошо жилось, признайся».

«Хорошо».

«Ну так чего? Пропал и глаз не кажешь. Хоть бы позвонил когда».

«Дела, Степанида Власьевна».

«Эва, я уж теперь Степанида; а ведь когда-то меня Стёшей звал».

«Да, Стёша», — сказал Бабков.

«Я вот смотрю на тебя...» — сказала она и остановилась.

Бабков ждал.

«Я вот что думаю, — она вздохнула. — Только ты молчи, не перебивай... Ты тут посидишь, я пойду распоряжусь. Девчонку твою мы посадим, пущай назад к себе едет, откуда она там... Ты где её подцепил-то?»

«Нигде я её не подцепил, на вокзале сидела. Говорит, из Киржача».

«Ну вот: купим ей билет до Киржача. Я ей денег дам на дорогу... Ты пока тут сиди. А потом ко мне. У меня жильцов никого нет, цельный дом пустой. У меня вообще никого нет. Один ты у меня и остался... И заживем с тобой, как бывало. Возьму отпуск за свой счёт, а то вовсе уволюсь...»

«Стёша...»

«Что Стёша? Стёша была, Стёша и будет. Разве нам было плохо вместе? А то хочешь, поедем куда-нибудь. В Крым поедем».

Она что-то переставляла и перекладывала на столе, достала платок и гулко высморкалась. «Ты сиди, сиди...» — пробормотала она,

поднимаясь. Когда Лев Бабков вышел следом за ней в зал, девочки не оказалось. На её месте сидел некто. Маманя колыхалась между столами.

«Ты чего тут расселся?» — сказала она сурово.

«А чего. Я ничего», — пролепетал человек.

«Ничего, так и ступай. С утра нализался. Сергей! — крикнула маманя. — Ну-ка проводи».

«Куда, куда?» — бормотал человек, с трудом переставляя ноги.

«А вот туда», — отвечал официант.

Приключение

«Это уже что-то такое, — сказал Лев Бабков, — прямо из букваря. Луша мыла раму. Мама мыла Лушу».

Луша сидела на платформе.

«Между прочим, это имя... ведь это то же самое, что Гликерия».

Она не отвечала.

«А если бы я не пришёл?» — спросил Бабков. Он рылся в карманах.

Девочка криво усмехнулась и протянула ему кошелёк. Он хотел взять кошелёк, она отдёрнула руку; эта игра повторилась несколько раз.

«Слушай-ка, мне эти фокусы надоели. Катись куда хочешь. Можешь взять себе кошелёк на память».

«А немой-то, — сказала девочка. — Видал?»

«Разве это он?»

«А кто же. Он ко мне ещё в Москве приставал. Я его ка-ак двину!»

«Н-да. Ну-ну».

«О чём это вы там говорили?»

«Я остаюсь здесь».

«А я?»

«Лапонька моя, — сказал Бабков. — Поезжай, откуда приехала».

«Она старая и толстая. Таких е...ть одно мучение!» — изрекла Луша.

«Ого — а ты, собственно, откуда знаешь?»

Он сунул кошелёк в карман. «Иди купи билеты, живо», — сказал он, протягивая ей бумажку.

«Куда?»

«До Москвы, куда же».

«А мне не нужен билет». Рельсы уже слегка подрагивали, задрожали провода, и вдалеке из-за поворота вспыхнуло на солнце лобовое стекло идущего поезда.

Соблюдая молчание, оба, мужчина и девочка, отец и дочь, подросток, похожий на взъерошенную птицу с подрезанными крыльями, и

тот, кому скорее подходит сравнение с обитателем мутных вод, следили из окошка за несущимися навстречу перелесками, дачными посёлками, пролетающими со стуком железнодорожными переездами.

«Ты ворожить умеешь? У тебя дурной глаз».

«Хочешь, поезд остановлю? — сказала она вдруг. — Хочешь?» Она прищурилась, втянула голову и как будто вся ушла в себя. Раздался слабый визг колёс. Электричка вдруг стала, как будто наткнулась на что-то. Пассажиры тянули головы из оконных фрамуг. Кто-то спросил, в чём дело, и другой голос ответил: человек попал под поезд. Быстро прошёл проводник. «Хвалю», — сказал Лев Бабков. Поезд двинулся. Поезд снова нёсся вперёд, минуя полустанки.

«Тётка решила, что ты её сглазила, и прогнала тебя из дому. Верно?»

Не её, а его, поправила девочка.

«Кого прогнала, твоего дядю?»

«Какой он мне дядя».

«Её муж. Но ведь это значит — твой дядя».

«Какой муж».

«Ну кто он там. Я что-то не могу понять. Кого выгнали: его или тебя?».

«Она с ним живёт, — сказала девочка. — А он со мной хочет. Она думает, что я его сглазила».

«Я же говорю, вот видишь». Он спросил: кто такая её тётка?

В бакалее торгует, был ответ.

«А он?»

Луша пожала плечами. «Так, — сказал Бабков. — Значит, ты его сглазила, он плюнул на тетку и начал клеиться к тебе, правильно?»

«Никого я не сглазила. Он у нас в школе не знаю кто. То завхозом был, а теперь военрук».

«Прости, я всё позабыл: это кто ж такой будет? Это раньше было в школе военное дело, а сейчас-то зачем?»

«А если враги нападут!»

«Угу; н-да. Ну, если уж нападут». Он спросил, что же было дальше.

«Ничего. Шла по коридору. Коридор такой в школе бывает, знаешь?»

«Конечно».

«Мне сойти надо», — сказала она.

«Сойти, зачем?»

«Мне поссать надо, не могу больше терпеть».

«Чего же ты молчала?» Она вышла в тамбур и переминалась там с ноги на ногу. «Далеко ещё?» Поезд нёсся вперёд. «Далеко?» — простонала она. «Я думаю, минут десять; дотерпишь? Ладно, — пробормотал он, оглядываясь, — стань в угол, только быстро, я не смотрю. А

может, ты снова остановишь поезд?..» Но тут на счастье электричка замедлила ход, это был лесной безлюдный полустанок. Девочка побежала к концу платформы и спрыгнула. Лев Бабков солидно прогуливался взад и вперёд. Двери вагонов закрылись, поезд тронулся.

Погас зелёный огонь светофора, вспыхнул оскаленный красный глаз. С удивлением заметил Бабков, что не только остановка не была предусмотрена расписанием, но, по всему судя, они свернули на другую ветку. Несколько времени спустя вновь мигнуло и передвинулось око светофора. Затрепетали провода. Дальний гром прокатился по рельсам, и медленно, пыхтя, стуча, надвинулся тепловоз, потащились цистерны, платформы, погромыхивали на стыках товарные вагоны с чёрными буквами, с надписями мелом. Девочка стояла поодаль и пальцем считала вагоны. Потом сидели в пустом зале ожидания. Лев Бабков чертил прутиком по каменному полу, Луша болтала валенками. До следующего поезда было добрых полтора часа. Она даже как-то повеселела Это был день прививок, уроки были отменены.

«Зачем же ты осталась в школе?»

Она передёрнула плечами: осталась, и всё. Хотела тётку подразнить. Прошла мимо его кабинета, прошла второй раз, он выходит.

«Кто — он?»

«Ну он, ейный. Я иду, а он говорит... Может, походим?»

«Это он так сказал?»

«Да нет же. Может, погуляем, чего сидеть-то».

«У тебя валенки прохудились, куда ты пойдёшь».

«Я говорю, здрасьте, Игорь Степаныч. Зайди, говорит, ко мне, Луша...»

Они шагали вдоль железнодорожного полотна, по другую сторону находился посёлок, полдюжины домишек, переезд, трансформаторная будка. Тропинка свернула в рощицу.

«Что он от тебя хотел?»

«Известно что. Чего мужики хотят? Можно, говорит, я дверь запру, а то ещё кто войдёт. Ну и вот».

«Что — вот?»

«Запер дверь, вот и всё».

«Зачем же ты согласилась?»

«Ничего я не согласилась».

«Я говорю — зачем ты вошла в кабинет?»

«Зачем, зачем. Вошла, и всё».

Роща превратилась в лес. Куда же мы идём, думал Бабков.

«Я говорю, только попробуйте».

«А он?»

«Левольвер вытащил. Я говорю: сейчас закричу. Кричи, говорит, сколько хочешь, в школе никого нет. Зачем кричать, мы по-хорошему. Я

говорю: а тётя Валя? А мне насрать на тётю Валю, я, говорит, тебя люблю».

«До этого он ничего не говорил?»

«Так, шутил иногда. То ущипнёт, то... Я говорю: левольвер-то, говорю, учебный. Всё равно, говорит, стрелять можно. Не бойся, это я пошутил. Я, говорит, тебя пальцем не трону. Ты разденься, я хочу посмотреть, какая ты».

«Луша, — сказал Бабков, — почему же ты не воспользовалась своими способностями? Вот как ты поезд остановила».

«Поезд — это другое дело. Да я тогда, может, ещё не умела».

«Значит, он тебя изнасиловал?»

«Ну да».

«Заставил раздеться?»

«Ну да; я же говорю».

«Раздеться, и больше ничего».

«А что, — сказала она, — мало, что ли?»

Он выбирал место, куда шагнуть на топкой дороге. Девочка шлёпала следом за ним. Пора бы уже возвращаться, думал Лев Бабков, куда же это нас занесло? Власть подробностей. Любая история становится правдоподобной, если её обставить бытовыми деталями, он знал это из собственной практики. Сюжет можно выдумать. Но обстановка, детали — всё должно быть подлинным.

Как-то раз тётя завела с ней разговор.

«Я, говорит, всё знаю. Он честный человек, он сам мне признался. Это ты его завлекла. Ты развратная — и разными другими словами, я тебя в колонию отправлю! А я говорю, попробуйте только, за растление малолетних знаете что бывает? Ну, она и заткнулась. Я, говорю, могу и похуже сделать. — Ты уже сделала, ты нашу жизнь разбила. — Я говорю: могу сделать так, что он вовсе неспособный будет».

«Навести порчу? — спросил Бабков. — Или как это там называется. Что значит неспособный?»

«Да ты что, меня за дурочку считаешь?»

«И ты так и сделала?»

«Нет, — сказала девочка. — Не сделала».

Почему, спросил он.

«Почему, почему... Потому что я его возненавидела!»

«Ты хочешь сказать, ты его полюбила?»

«Я вас всех ненавижу», — сказала она, глядя сбоку на Лёву злым птичьим глазом.

Дом (1)

Довести опыт до критической точки и в последний момент остановиться. Устоять, удержаться на цыпочках. Испытать силу воли — так,

кажется, это называется. Во всём этом есть огромное искушение, соблазн, похожий на соблазн подойти к краю крыши и заглянуть вниз. И представить себе, что летишь вниз, — и отшатнуться. Она забыла сказать, думал Лев Бабков — или нарочно утаила, — что преподаватель военного дела сам подал пример: хочешь, сказал он, я тоже разденусь. Потому что и он поставил перед собой эту задачу (не очень-то сознавая её): успеть остановиться в последний момент. В удобнейший момент, когда все препоны отпали, кроме одной — запрета овладеть девчонкой. Но в том-то и дело, что это пари, заключаемое с самим собой, точнее, с вожделением, было двойным предательством. И по отношению к вожделению, и по отношению к девочке.

И сама она, за минуту до этого взиравшая на «дядю» со страхом и отвращением, почувствовала себя преданной. Само собой, никакого чувственного позыва она не ощущала. Но страх, любопытство, соблазн приблизиться к границе сходны с желанием: как и оно, они стремятся к завершению. Если бы военрук приступил к делу, она стала бы биться, царапаться, заорала благим матом. Но когда он сказал ей: одевайся, и можешь идти, — она рассвирепела. Она была разочарована больше, чем могла об этом сказать; вместо того, чтобы вкусить радость освобождения, она чувствовала себя униженной. Тогда-то она и сказала себе, что может сделать дядю «неспособным», — только такое объяснение случившемуся могло ей придти в голову.

Что-то забрезжило невдалеке, завиднелось между деревьями, и лес расступился. Это был старый дом или, вернее, дача. Они обошли её кругом. Гнилые ступеньки вели на террасу, стёкла были кое-где выбиты, заменены фанерой, клочьями свисал разбухший картон. Дверь на террасу заперта. За домом находились хибарка сторожа и хозяйственная площадка, дощатый стол, печка с плитой для стряпанья, труба водопровода с краном, всё старое, ржавое. Девочка дёргала дверь заднего хода, пока не оторвала ручку. Лев Бабков покачивался на перекладине качелей. Вдруг затрещала рама, отскочила доска, приколоченная косо к наличнику. Луша высунулась из окна. Как она забралась в дом?

Внутри был полный разор; видимо, дачу основательно почистили. Унесено всё, что можно было унести. Лев Бабков уселся перед разбитым пианино. Луша сидела на железной кровати и стаскивала разбухшие валенки, под ними оказались мокрые чулки. Платок и зипун валялись на полу возле кровати. Она стянула с себя чулки и, голоногая, в школьном платьице, прошлась по полу. Бабков что-то подбирал одним пальцем.

Медленно поводя плечами, виляя худыми бёдрами, она прогулялась по половице. Она шла с закрытыми глазами, высоко поднимая коленки, вытянув руки перед собой. Наткнулась на что-то, повернула назад, шла, покачиваясь, мотая головой. Человек, сидящий за пианино,

услышал её мурлыканье. Она пела что-то сквозь зубы. Пение сменилось бормотаньем, время от времени заклинания, вздохи и всхлипы вырывались из её уст. Девочка открыла глаза. Теперь она изображала балерину, взмахнув тонкими руками, взлетела, неловко упала на носок, с трудом удержалась, снова взлетела. Лев Бабков играл на разбитом инструменте танец Маленьких лебедей. Плясунья вся тряслась, махала кистями рук. Закружилась, упала на пол, мотала в воздухе узенькими, чёрными от грязи ступнями голых ног, показывая серые трусики. Гордо вышагивала вокруг под дребезжащие звуки марша и под конец, шатаясь от изнеможения, низко и церемонно раскланялась перед пятном, оставшимся от портрета на рваных засаленных обоях.

Что есть истина?

Лев Бабков взошёл по ступенькам двухэтажного, снизу каменного, наверху деревянного дома, каких немало ещё осталось в переулках и вдоль набережных старого Замоскворечья. Хотел позвонить, но вспомнил, что в таких случаях входят, не оповещая о себе. Лев Бабков был одет как положено: чёрный костюм, тёмный галстук. Подобающая мина. Он вступил в коридор: тишина. Громко скрипнула дверь. В комнате всё место занимал раздвинутый и накрытый стол. Люда подняла на гостя траурный взор. Молча, кивками налево и направо он приветствовал компанию, кто-то протянул ему крепкую ладонь, большинство взглянуло на него с любопытством, не зная, к какому рангу присутствующих принадлежит гость, вошедший последним. Народ потеснился. Лев Бабков оказался рядом с Людой, которая молча, с обиженно-скорбным выражением смотрела перед собой. Наступила пауза, напоминающая тот миг напряжённой тишины, когда танцевальный ансамбль, взявшись за руки, в застывших позах, ждёт, когда грянет музыка, чтобы вылететь из-за кулис. Миг ритуального ожидания перед накрытым столом, когда положено фотографироваться. И кто-то уже воздвигся в углу с аппаратом, примеряясь так и сяк.

Гость скосил глаза на Люду, её лицо было густо напудрено, на ресницах висели крошки чёрной краски, она была в чёрном полупрозрачном шёлковом платье, под которым на чёрных бретельках лифчика покоилась и дышала, как в глубоком сне, её грудь. Заметив нацеленный на неё объектив, Людочка инстинктивно выпрямилась. Дремлющие соски услышали позывные соседа. Мы находимся в силовом поле, мы сами генераторы этого поля, которое шелестит и струится вокруг нас, и его законы можно было бы описать при помощи уравнений, сходных с уравнениями Максвелла. Некогда Лев Бабков проучился два года в техническом училище, но философское образование дала ему жизнь.

Глядя в тарелку, он погрузился в размышления об этой груди, которая заметно выиграла от чёрного одеяния, подчеркнувшего природ-

ную Людочкину худобу. Поистине многое меняется от того, скажем ли мы «молочные железы», «груди» или просто грудь: от чисто функционального, служебного обозначения мы переходим к представлению о самодостаточности и тайне этих дразнящих воображение возвышений. Груди Людочки, неслиянные и нераздельные, жили независимо от той, кому они принадлежали, вернее, та, кому они принадлежали, была всего лишь их обладательницей, — по крайней мере в эту минуту, когда они дышали в нескольких вершках от его плеча. Всё, чем была Людочка, определялось тем, что у неё такая грудь.

В этих, прямо скажем, не отличавшихся оригинальностью мыслях проявилась присущая людям такого сорта диалектика двусмысленности. Как бы это выразиться? В них присутствовал эротический гамлетизм, который предпочитает думать о женщине, по возможности держась от неё на некотором расстоянии. Нельзя постигнуть истину, приблизившись к ней вплотную. Лёва предпочёл бы сидеть напротив.

Женщина, размышлял он, это открытая закрытость: в своём платье она как бы без платья. То, что она скрывает, очевидно лишь до тех пор, пока остаётся сокрытым. Мужчине нечего скрывать, ибо всё известно заранее; о том, что «имеется» у женщины, ничего не известно, хотя бы вы тысячу раз видели всё это у других. Женщина оттого всякий раз другая, что она всегда одна и та же. Всякий раз все другие не в счёт — но до тех пор, пока занавес не поднялся. Если бы удалось раздеть её донага, вас постигло бы разочарование. Оказалось бы, что там нет ничего особенного! Оказалось бы, что там есть только то, что есть, и ничего более; оказалось бы, что разоблачённая истина уже не истина, и вы стали жертвой обмана. Потому что вам было обещано нечто иное, — что же именно? Очевидно, что его можно узреть только внутренним, но не внешним оком, и достаточно отвернуться, чтобы тайна вновь засияла в своей непостижимой очевидности. Лживое откровение, думал он. Её неправда и есть её истинная правда. Её неуловимость есть не что иное, как её истина.

Вспыхнула молния, и на плёнке отпечатались испуганные, как лица заговорщиков, лица участников тризны. Гости переговаривались вполголоса, ансамбль всё ещё изнывал за кулисами, пиршественный корабль медлил сняться с якоря, никто не смел взять на себя инициативу. В русском застолье лиха беда начало. То было не столько уважение к памяти покойника, сколько благоговение перед столом. Запахи блюд поднимались к потолку, как курения над алтарём. В графинчиках мерцала жидким янтарём, алела и розовела водка, настоянная на лимонных корочках, на рябине, на тёмном, как кровь, перечном стручке. Мать Люды, рыхлая женщина в тёплом белом платке на плечах, с брошью в кольце мелких дешёвых брильянтов в вырезе тёмного шерстяного платья, подняла заплаканные глаза на нового гостя. Всякое пиршество создаёт иерархию, пир, собственно, и есть иерархия; сам того

не желая, Лев Бабков вступил в неё. Что бы ни думали о нём присутствующие, своему рангу он был обязан тем, что занял место возле дочери усопшего. Стало быть, думали гости, начальник или жених. Центром стола и верховной инстанцией оставалась вдова, но это была инстанция, потерявшая реальное значение. Быть может, многие видели её впервые. Вообще на поминках чаще всего собираются незнакомые люди. Это облегчило Лёве победу, к которой он вовсе не стремился.

Истинным средоточием траурного пиршества была, разумеется, Людочка, вернее, Людочкина неожиданно возмужавшая, одетая в чёрный шёлк, загадочно-скромная грудь — словно распустившийся на могиле цветок. Мужчины косились в её сторону, женщины испытывали лёгкое возбуждение. Но о ней сказано уже достаточно. Все смотрели на Льва Бабкова, молча стоявшего с бокалом в руке. Положение обязывает. Академический значок ярко выделялся на лацкане его пиджака. Значок стеснял гостей, в то же время им было лестно, что среди них находится человек из другого и, очевидно, высшего мира. Кое-кто, замешкавшись, продолжал накладывать на тарелку себе и соседке, руки робко тянулись к винегрету, к грибочкам, вдова вполголоса кисло потчевала гостей, затем всё смолкло. Все схватились за свои рюмки. Лев Бабков обвёл глазами присутствующих, повернув голову, устремил взгляд на вдову, скорбно кивнул. В глубоком молчании был выпит первый бокал.

И тотчас наступило общее облегчение, словно груз свалился с плеч, загремели вилки, раздались голоса, на другом конце стола громко хвалили умершего. Мать Люды не принимала участия в общем разговоре, ничего не ела, ничего не пила. Она сидела подле дочери, напротив них помещался кто-то, должно быть, тоже из института усовершенствования истории, из того же высшего мира, о котором мать имела очень смутное представление, — выпивал, говорил и опять наливал, но она его уже не видела, напротив неё, за внезапной густой пеленой слез, сидел её муж, как живой, как он всегда сидел, не обращая внимания на неё. И она чуть было не засмеялась от счастья и боли. Открыв рот, с остановившимся взглядом, она прижимала к груди свою брошку. Бог знает сколько лет пролежавшую без употребления. В том-то и был весь ужас и весь восторг, что она доподлинно знала, что его нет больше, нет нигде, а есть только страшная урна из фаянса с горстью тёмно-коричневого, как кофе, порошка, — и доподлинно знала, что он здесь, точно такой, как всегда, разве что приодетый по случаю праздника («как бы не перепил», мелькнуло в голове), усмехался, подливал себе и ни на кого не обращал внимания. В это время кто-то там возгласил в который раз: «Что ж... помянуть так помянуть!», и траурный пир, словно поезд, наддал, застучали колёса, покатились платформы, вагоны.

Вокруг порхал разноголосый говор, скромно хихикали женщины, по большей части ей незнакомые, за столом как будто начали забывать, что случилось, по какому случаю собрались, но ей было всё равно. Дочь спросила её о чём-то, она не ответила, может быть, не расслышала вопрос в общем шуме. Она смотрела на мужа. Тот повернул голову, с кривой усмешкой следил, как на другом конце стола некто уже немолодой, с постным лицом, с остатками бесцветных волос, в пиджачке и криво повязанном галстуке стоял с бокалом, дожидаясь, когда стихнет базар: это был сослуживец покойного, плановик с базы, стучал вилкой о тарелку и несколько раз принимался говорить: «Дорогие друзья...»

Чинный порядок был восстановлен — ненадолго, скорбное благообразие изобразилось на лицах, женщины ждали, поднеся скомканные платочки к носу и рту. Плановик говорил свою речь так, что почти не было слышно. «А чего, — громко сказал чей-то голос, — всё бывает. Вот я скажу о себе...» Другой возразил: «Да ты молчи, лучше закусывай...» Голос продолжал: «Все там будем». — «Сальцом, сальцом закуси». Тонкий бабий голос затянул песню.

Человек из института, сидевший напротив вдовы, со скрежетом отодвинул стул, вышел, слегка пошатываясь, очевидно, в уборную или покурить, и почти сразу же вышел в коридор следом за ним Лев Бабков; из комнаты раздавался шумный говор. «Прикрой дверь, — сказал Бабков, — ты как сюда попал?» — «Вот так и попал», — отвечал Кораблёв. «Она что, тебя приглашала?» — «Да не то чтобы...» — пожал плечами Кораблёв. «Ясно», — сказал Бабков. «Как тебе сказать, — продолжал Кораблёв, — приглашать не приглашала, а с другой стороны... А чего, — спросил он, — надо, чтоб приглашали?» — «Слушай, Муня... Только ты не того, ясно?» — «А чего, — сказал Муня, — я ничего». — «Слушай», — пробормотал Бабков. В голове поворачивалась какая-то неопределённая мысль, за минуту до этого он ни о чём таком не думал. Ему казалось, что его губы сами произнесли слова, не спрашивая разрешения: «Докуришь, позови её». — «Её?» — спросил Кораблёв.

Он вернулся. «Не хочет идти». — «А ты попроси. Скажи, я хочу попрощаться». Кораблёв вернулся в комнату, оставив дверь открытой, и больше не выходил. Несколько минут спустя в коридор вывалилась толпа мужчин, один спросил, где тут можно отлить. Другой сказал: «Пошли, я покажу». — «Постой, — сказал первый, — я чего спросить хотел. Я смотрю, вы человек образованный. А вы кто же будете?» Бабков развёл руками. «Я-асно», — протянул человек. В эту минуту в дверях комнаты появилось чёрное платье. Бабков сказал, что хочет попрощаться. «Тебя разве не интересует? — спросила Людочка. — Ты зачислен». — «Куда?» — спросил он почти с испугом. Она ответила: «Ты зачислен в штат. Эмэнэсом». Бабков извинился, сказав, что он немного

подвыпил. Кем зачислен? Куда? Она смотрела на него с укоризной, и грудь её в чёрном лифчике медленно, ровно дышала под шёлковым полупрозрачным платьем. «Подвыпил, — сказала она. — Не подвыпил, а выпил. И всё забыл». — «Зато тебя не забыл», — заметил Бабков. Люда сделала вид, что не расслышала. «Младшим научным сотрудником, — повторила она. — В отдел... в общем, пока ещё не решено, в какой отдел».

«Гм», — сказал Бабков.

«Сперва тебе надо представиться».

«Кому?»

«Кому, кому. Директору, кому же ещё. Это такой порядок. В общем, формальность: он на тебя посмотрит, и всё. А там уж решат, в какой отдел. — Она взглянула на Лёву. — Ты что, не рад, что ли? Хоть бы спасибо сказал».

«Шумно здесь, — сказала она, помолчав. — Я сейчас предупрежу мать; только недолго, а то она там совсем одна сидит...»

«Слушай, — проговорил Бабков, когда вышли на крыльцо, и снова почувствовал, что за него как будто говорит кто-то другой. — Я хотел спросить...» — сказал он и обнял женщину. На одно незаметное мгновенье Людочка подалась к нему всем телом, так что он почувствовал её живот, и тотчас высвободилась. «К вашему сведению, — сказала она. — Сегодня не такой день».

«Люда, — сказал Бабков, — поедем ко мне».

«Куда это, к тебе?» — спросила она насмешливо.

«Я живу за городом... временно. Снимаю дачу. Хозяйки всё равно нет. Поедем на дачу!»

«Куда это я поеду на ночь глядя, никуда я не поеду. Ещё чего выдумал. — Её соски стояли под платьем. — А гости, а мама? Сегодня не такой день».

Ей хочется, чтобы её уговаривали. Ей хочется, чтобы её потащили силой, подумал Лев Бабков. Вслух он сказал:

«Я всё хотел спросить: ты с ним... Ты его любовница?»

«Ты что? Ты о ком?» — спросила она удивлённо.

«Извини, я выпил».

«Ты о Директоре, что ли?.. А ты знаешь, сколько ему лет?»

«Я думаю, он сам не знает».

Людочка мельком оглядела его. «Где же твои ордена?»

«Я их вернул».

«Кому?»

«Вернул владельцу... дяде. У меня дядя коллекционер».

«Ну, я так и думала. Я сразу поняла, что ордена поддельные. Между прочим, — сказала она, — и документы поддельные».

«Как это, поддельные», — пробормотал Лёва.

«Не такие уж все кругом дураки, — сказала Людочка сентенциозно.

Она смотрела на парапет набережной, на другой берег, где зажигались огни. — Он хочет, чтобы все так думали», — проговорила она. Лев Бабков хотел спросить, имеет ли она в виду Директора, но тут оказалось, что кто-то сзади подошёл и слушает их разговор.

«Вот, — сказал человек, — я принёс тебе шаль. У матери попросил. А то ещё простынешь. Схватишь воспаление лёгких. Как я».

«Ты бы лучше с ней посидел...» — пробормотала Людочка, кутаясь в пуховый платок.

«Успеется. Красивая у меня дочка, а?»

«Не дочка, а падчерица», — поправила Люда.

«Какая разница?» — сказал человек грустно.

«Большая, — отрезала она. — Если бы ты был отцом, а не отчимом, ты бы не посмел. Он меня... как это называется. Хотел лишить девственности».

«Послушай. Это ты сама с собой говоришь? Или я уж совсем окосел?» — пробормотал Бабков.

«Неправда, Люда, — сказал мертвец. — Всё совсем не так, сама знаешь».

«И ты ещё будешь спорить. Мне было шестнадцать лет».

«Да, шестнадцать. А теперь — сколько тебе теперь?.. Я, Люда, тебя любил. Так любил, как никакой отец любить не сможет. Я боялся к тебе притронуться. А ты садилась ко мне на колени. Что же я, по-твоему, деревянный, что мне было делать?.. Но только то, что ты говоришь, насчёт этой... девственности, это неправда, Люда. Я твою девственность чтил...»

Было уже темно, и огни другого берега отражались в реке.

«Ладно, отец, иди. Хоть в эти последние минуты не бросай маму».

«Я её не бросаю, сама видишь... А надо было бросить. И с тобой уехать... Может, я и не пил бы, и жив бы остался. А чего это он к тебе клеится. Ты кто такой будешь?»

«Я не прочь с вами поговорить», — сказал Бабков.

«О чём же это?»

«Я бы хотел поговорить с вами о бренности. О смерти».

«А чего о ней говорить-то», — возразил отчим Люды и так же незаметно, как он появился, растаял в вечерней тьме.

Вместо любви

Тот, кто спал, слышал отдалённый рокот, те, кто бодрствовал, думали, что им снится сон. Есть истина дня, и есть истина ночи, думал Лев Бабков, обе половины земного бытия лгут по-своему. Дело происходило ночью. На пустынных перекрёстках сияли зелёные огни свето-

форов. Город спал, лиловые тучи накрыли его, как одеяло. Может быть, это была особенно глубокая, провальная, бездыханная ночь.

Он сидел в темноте на краю постели, там пошевелились; заспанный голос спросил: «Ты чего?» — «Спи», — сказал он. «А ты? Почему не спишь». — «Посижу немного и лягу». Рокот приближался. «Тебе нехорошо?» — «Всё в порядке», — заверил её Бабков.

Она приподнялась. От неё шёл запах женщины, тепло брачной постели, она спит без рубашки.

«Я знаю, отчего ты не спишь, ты думаешь о нас с тобой». Он пожал плечами. «Я тебе надоела, да? Скажи прямо». Молчание. Лев Бабков подошёл к окну и увидел мёртвую рябь воды и силуэт набережной. «Иди ко мне, — сказала Люда, — я тебе что-то скажу».

Гром с окраин.

С дальних излучин реки доносится этот грозный натиск, ничто уже не мешает вторжению, город не в состоянии заслониться от рокота, он уже близок.

«Не пойму я, что ты за человек...»

«Пора бы уже понять», — вяло отозвался Лёва. Оба, заворожённые, стоят у окна. Лев Бабков обнял её плечи, Людочка, дрожа от холода, босиком, прижимает к груди скомканную рубашку.

Фургоны с брезентовым верхом, с погашенными фарами друг за другом выехали на тусклую набережную, рёв моторов, усиленный близостью воды, ударил в стёкла домов. Странно, что люди не повскакали с постелей, не высыпали на улицу взглянуть, что случилось. Вероятно, думали, что это им снится. Грузовики с рядами круглых шлемов, с неподвижно-мертвенными лицами солдат протарахтели вслед за фургонами с амуницией, а там уже выворачивают из-за поворота, выстраиваются в колонну, длинной вереницей растянулись по всей набережной покрытые проволочной сеткой машины с арестантами. Поднимайтесь, смотрите на них, каждый из вас может завтра очутиться на их месте. Головы опущены, рук не видно, руки засунуты в рукава бушлатов, конвоиры, с автоматами перед грудью, покачиваются, прислонясь спинами к кабине шофёра, по двое в каждом кузове, — рискованная ситуация! Нарушение инструкции. Что если эта масса сидящих, без наручников, без ничего, в опасной близости от охраны, завладеет оружием, выпрыгнет, и поминай как звали? Ничего, не выпрыгнет. Сидят, опустив головы в уродливых арестантских бескозырках. Соблюдая короткую дистанцию, как требуют правила уличного движения, за грузовиками в клетке-колымаге едут смирно, в проволочных намордниках сторожевые овчарки.

О Господи, а это ещё что? Привыкнув видеть на домашнем экране ужасов всё, что только можно придумать, вы не готовы к мысли о том, что нечто подобное происходит в действительности. Но что такое действительность? Вослед живым, в грузовике с прицепом, замыкают ко-

лонну человеческие скелеты. Мирно едут, кивая белыми черепами, словно партия готовых изделий с фабрики медицинских экспонатов.

«Замёрзла?» — пробормотал Бабков. Стояние у окна вновь сблизило любовников. Стыдно сказать, ночной парад разбудил желание. Невозможно объяснить, отчего созерцание ужасных картин подчас производит на женскую душу эффект, подобный действию скабрёзных фотографий.

Словно по обязанности человек без биографии двинулся следом за ней к остывшему ложу, да, приходится признать, что это был род службы. Увы, оба это сознавали, словно следуя указаниям режиссёра («вначале поцелуй, руки женщины на затылке партнёра... колени по сторонам, чёрт возьми, не так, вы же сами знаете, как это бывает»). Лев Бабков открыл глаза. Оба лежали на спине, не касаясь друг друга. Мёртвая ночь, призрачный прямоугольник окна. Заснуть, заспать? Но нет хуже разочарования, когда сцена не удалась.

«Если бы ты меня любил... — бормочет Людочка. — Если бы ты...».

Она рассчитывает на опровержение.

Им казалось, что они вновь слышат рокот. Как это всё заучено, думал он, сейчас она скажет, что у меня есть другая. Другого объяснения ей не могло придти в голову, если не получается, значит, вклинилась другая женщина.

Рокот приближался.

«Кто она такая?» — спросила Люда.

Ей хотелось встать и сказать: посмотри на меня. Разве я так уж плоха?

«Чепуха, — сказал он вяло. — Нет у меня никого, что ты привязалась...»

«Ты думаешь, я на тебя обижена из-за того, что иногда...».

«Иногда».

«Ты думаешь, я из-за этого».

«Кто тебя знает, — сказал Лёва. — А как насчёт старичка?»

«Дурак. Ты что, действительно поверил, что у меня с ним... — Ей стало легче, всё-таки это было какое-то подобие ревности. — По крайней мере, — проговорила она, невольно прислушиваясь к тому, что, по-видимому, приближалось на самом деле, — он уважает во мне женщину. Никогда не позволяет себе грубостей. А ты...»

Она добавила:

«Думаешь, это для меня главное?»

«Что же для тебя главное?» — спросил Бабков, которому было скучно.

«Для меня... — сказала Люда, надевая через голову рубашку, занавесив лицо и запутавшись в рубашке, и думая о том, что он видит её, но как бы без её ведома, — для меня главное... — она просунула, нако-

нец, голову в вырез, тряхнула волной волос и опустила рубашку на живот и бёдра, — чтобы это было не просто так, сделал, что положено, и прочь».

Вечно одно и то же, думал он.

«Конечно, когда бывает вместе, это большое счастье».

«Помолчи». Он смотрел в окно.

«Но ты меня никогда не хочешь выслушать...»

Другими словами, не желаешь взглянуть. Если бы он хоть раз как следует меня разглядел, думала Люда.

«Снова едут», — сказал Бабков, прислушиваясь к медленно нарастающему дрожанию стёкол. «Кто, кто едет?» — спросила она. Её охватило негодование. Какое значение имело всё это по сравнению с тем, что происходит здесь, в её комнате!

На что она жаловалась? Скоро, очень скоро, может быть, уже в следующем году ей должно было исполниться тридцать. Ей можно было дать двадцать. Формально её опыт общения с мужчинами насчитывал полтора десятка лет или даже чуть больше. Правда, следует уточнить, что в данном случае подразумевалось под опытом. В тринадцать лет она постигла отраву и сладость первого поцелуя. Возможно, это событие было самым важным в её жизни, она помнила его до малейших подробностей. Повторение уже не было таким упоительным. Может показаться странным, что попытка дальнейшего сближения, вероятно, уже с другим мальчиком, неизвестно откуда взявшимся, где-то во дворе, точнее, на грязных задворках, вовсе не была событием. Она даже не помнила, как его звали. Помнила только, что это была какая-то бесплодная возня; любопытство, которое неодолимо влекло её, парализовало её волю, сделало её зрительницей своего падения, отчего и падения никакого не произошло; любопытство так и не было удовлетворено, и позже, когда она догадалась о чувствах отчима, она была скорее разочарована его нерешительностью, не подозревая о том, что слишком преданная любовь может оказаться преградой для чувственности.

Такие истории могут привести к неблагоприятным последствиям. То, что выше было названо «опытом», лучше было бы назвать хронической неопытностью. Давно уже было забыто приключение с отчимом, но его тень стояла между ней и другими мужчинами. В двадцать с чем-то лет Люда твердо знала, как знают о том, что вслед за днём наступает ночь, что в жизни нет ничего важнее любви, но чувствовала, что в ней самой есть что-то тормозящее предприимчивость кавалера. Не то чтобы ей не хватало привлекательности, да ведь и всё, что здесь рассказано, свидетельствует о противоположном. Но в нужный момент она как будто не догадывалась, что должна сделать встречный шаг, пусть ничтожный; эта неумелость, обворожительная у юной девушки, смущает и расхолаживает, когда вы имеете дело со взрослой. Мы сказали:

застарелая неопытность. Это не означает, что Люда вела вполне добродетельную жизнь. Чтобы стать подлинным оружием женщины, неопытность сама по себе нуждается в опыте. Неопытность, если можно так выразиться, есть часть женского опыта. Вот этого как раз и не произошло. Утратив анатомическую невинность, Людочка всё ещё в каком-то смысле оставалась подростком.

На что же она сетовала? На то, что Лёва не мог ублаготворить её наконец-то проснувшуюся чувственность? Или на то, что он, по-видимому, не придавал этому большого значения? Неумение «удовлетворить» было для Люды знаком того, что её не любят. Порой она корила сама себя, чувствовала, что она слишком пассивна, мифологически пассивна, как поле, которое пашут в поте лица, наталкиваясь на камни. Мы видели, что, пытаясь реанимировать чувственность любовника, Люда отчасти противоречила себе: ведь главное, по её словам, заключалось не «в этом».

Не думая ни о чём, кроме собственной участи, не интересуясь ни историей, ни психологией, Люда выразила настроение эпохи, уловила эту особую болезнь времени, которую следует назвать истощением жилы, веками питавшей жизнь и литературу: исчезновением страсти. Девушка, вооружённая чувством, как рыцарь копьём и щитом, в блеске и великолепии своей женственности, бессильна против пошлости и пустоты жизни, как всадник в доспехах бессилен против огнестрельного оружия рядовых неволи, воюющих неизвестно за что: в этой жизни ему больше нечего делать. Девушка, которой открылось, что в мире иссякла любовь, что вся долгая история страсти, упоительный сценарий встреч, сомнений, свиданий, разлук и сближений обесценился, что без всего этого можно прекрасно обойтись, — оказывается в таком же положении, как и мужчина, осознавший, что ему нечего делать в мире, лишённом смысла и ценностей; оба становятся людьми без биографии. Но жить-то надо! И они уподобляются игроку, который продолжает делать ходы, не заметив, что у него слопали короля. Люда встала с постели. Босиком, обняв нашего героя, она стоит у окна, мучительно вслушиваясь во что-то, что постепенно умирает в ушах. Блестят мостовые, мертвенно поблескивает река. Светлеет оловянное небо. Она прижимается к Лёве всём телом.

Вот она, истина, все её переливы, изгибы и возвышения, тепло рук, прохлада бёдер. Рубашка лежит на полу.

Каникулы

Лето в разгаре. Куда пропал Лев Бабков? Можно ли вообще пропасть в стране, где каждый гражданин на учёте, каждый числится в списках и картотеках, зарегистрирован по месту жительства, по месту работы, по месту временной прописки, в паспортном столе, в военко-

мате, в книге записи актов гражданского состояния, наконец, в Книге человеческих судеб, куда глазам смертного не дано заглянуть, как, впрочем, не дано ему знать, что записано в его личном деле. И всё же куда он делся? Не умер — хотя бы потому, что лучший способ быть обнаруженным — умереть.

Представим себе некое учреждение, новейшее справочное бюро или что-нибудь такое: барышня набирает на пульте шесть букв, и перед ней скользит на экране список однофамильцев нашего друга. Аппарат находит имя, отсекает тёзок, загорается лампочка, зелёный глазок, что-нибудь такое, по огромной карте бежит сигнал, словно огонёк по бикфордову шнуру: Москва, знакомый вокзал, и старейшая русская железная дорога, соединившая обе столицы, и то место, где карандаш императора, скользя по линейке, споткнулся на выбоинке, отчего будущая, прямая, как стрела, дорога как бы слегка надломилась. Но тут как раз на месте выбоинки бегучий огонёк покидает железнодорожную линию, уходит вбок, в просторы северных губерний — Лев Бабков едет в грузовике по просёлочной дороге. Солнце пылает в небе, и пыль клубится на полкилометра.

Где начало, где конец похождениям Лёвы, личности, пожалуй, даже симпатичной, не лишённой — с этим нельзя не согласиться — известного шарма, и всё же слишком неуправляемой, чтобы стать героем связного повествования? Ибо вымышленные истории, для того чтобы их приняли за подлинные, должны следовать определённому сюжету. Всякая повесть, это знали рассказчики всех времён, с чего-то начинается и чем-то кончается. Между тем как прозу жизни не втиснешь ни в какой литературный сюжет.

Скорее летопись жизни Льва Бабкова может напомнить — со всеми необходимыми оговорками — Большую Историю, ту Историю, над которой, как герб, красуется мраморный нос Клеопатры. Будь этот нос, сказал один мудрец, на вершок длиннее, история пошла бы иначе. Что такое хроника жизни Бабкова, как не та же история равно возможных возможностей, из которых каждая могла бы осуществиться с такой же вероятностью, как и другая, — другими словами, история торжествующей случайности? Вот она, разница между подлинной историей и романным сюжетом. В романе нет места произволу случая; то, что там совершается, могло совершиться только так и никак не иначе. Словно Провидение, роман непререкаем.

Лев Бабков трясётся в грузовике; рядом друг и соратник Кораблёв, издалека видно, как вспыхивают огнём стёкла кабины, приходится держать кабину закрытой из-за густой жёлтой пыли. Машина подпрыгивает в окаменевших колеях, трясутся фанерные транспаранты в кузове. Деревня как будто вымерла. Разумеется, их никто не ждал. Сигизмунд стоит перед высокой завалинкой, три тёмных окошка, ветхие

ставни висят на расхлябанных щеколдах, за стёклами паучьи цветы. «Мамаша! Жива?..» Он стучится в окно.

Показывается сморщенное личико с кулачок. «Батюшки, да неужли ты». Мамаша не мамаша, а что-нибудь вроде двоюродной седьмой воды на киселе. Взошли на крылечко, из тёмных сеней, наклонив головы, чтоб не разбить лоб, шагнули в избу.

«А это вот мой лучший друг Лев Казимирович, научный сотрудник...»

«Батюшки, да как же это, да неужли».

«Прошу любить и жаловать. Мы ненадолго».

«Чего ж. Живите...»

«Мы, мамаша, по делу приехали».

«Каки-таки дела. Да что ж я, дура, сижу».

«Ты только, мамаша, не волнуйся».

«В сельпо бы сбегать. Водочки выпьете, аль как?»

«Не помешает. Мы с собой привезли. Главное, не беспокойся».

«А чего мне беспокоиться. Меня, чай, все знают».

«Вот и хорошо. Хорошо, что все знают. А ежли кто спросит, мол, кто такие, то ты будь спокойна. У нас всё чин-чинарём».

«Это как же понять».

«А очень просто. У нас патент».

«Это, значит, ты теперь по новой специальности будешь, аль как?»

«По новой, мамаша. Мастер фоторабот. Лев Казимирыч мне помогает».

«Эва. Это что ж такое?»

«Снимаем. По деревням ездим и снимаем. Хочешь, тебя тоже снимем».

«И как же... так всё лето и мотаешься?»

«Волка ноги кормят, мамаша. Ты-то как?»

«Да как; никак. Так вот и живу. День да ночь — сутки прочь».

«Молодцом, мамаша, так держать».

«Чего?»

«Так держать, говорю! Ладно, будем здоровы», — сказал Муня Кора-блёв и вознёс гранёный стакан.

«Мы, мамаша, — продолжал он, жуя, — не просто так деньги собираем. Мы большую работу делаем, людям пользу-радость приносим. Чего не пьёшь-то?»

«О-ох, гадость какая; и чегой-то в ней находят. А это чего?»

«Рыба такая. Да, так вот, я говорю... Может, лучше пусть Казимирыч объяснит. Ты, Лёва, подоходчивей».

Лев Бабков сказал:

«Культурный уровень нашего народа заметно вырос. Наши люди уже не довольствуются обыкновенной фотографией».

«Может, лучше, — прервал Кораблёв, обозревая скудный стол, — мы тебе завтра всё объясним. Это дело такое... сложное дело. У тебя чего там в сарае?»

«Да чего. Ничего. Пашка Рыжий ночует».

«Угу. А нельзя ли так сделать, чтоб он на время освободил помещение? Что это за Пашка такой?»

«Бог его знает. Говорит, погорелец; а может, жена выгнала. Прибился к нам».

«Что ж, он тебе платит, что ли?»

«Да какое там; у него и денег нет».

«На что ж он живёт? Работает?»

«Какая работа. Бабы кормят».

«Тэк-с. Ясненько. Сарай нам подходит, а Пашку этого мы, того, попросим. Временно. Ты не волнуйся. Мы всё мирно. Мы вот что. Мы тут поживём недельки три-четыре, ежли не возражаешь, смотря как дело пойдёт».

«А куды ж его?»

«Кого, Пашку? Ну, у кого-нибудь пока поживёт, — может, у тебя? Изба у тебя просторная, а если погода продержится, так и в сенях можно спать. Ты не беспокойся, мы тебе заплатим».

«Эх... ох».

«Да в чём дело-то? Чего заохала? Есть возражения?»

«Да я-то что. Бабы не захотят».

«Ага, — промолвил Муня Кораблёв, — ну пошли, поглядим на твоего Пашку».

Специалист по известному делу

«Паш, а Паш... Отдыхает, должно».

«Может, его там нет?»

«Куды он денется. Паша! Вот тут гости у меня. Из Москвы; тебя спрашивают».

Из сарая послышался неопределённый звук, похожий на тот, что раздавался из пещеры дракона Фафнера, когда его разбудил Зигфрид. На пороге выставился босой, в рубахе навыпуск и вельветовых брюках, полнотелый, заспанный, розоволицый и рыжебородый мужик.

«Ладно, мамаша, — процедил Кораблёв, — ты ступай. Мы тут сами договоримся...»

Несколько времени оглядывали друг дружку, собирались с мыслями. «Павел», — угрюмо представился хозяин сарая, протягивая огромную, как лопата, ладонь.

«Павел, а дальше?»

«По бате, что ль? Игнатьевич».

«Вот, Паша... хотели познакомиться».

«Угу. Заходи. Ты кто будешь?»

«Я, как бы это сказать. Он научный сотрудник, а я его ассистент. Лев Казимирыч!» Муня высунулся из сарая. Лев Казимирович в это время обозревал деревню, где не слышно было ни единой живой души.

«Только вот посадить некуда. Вон табуретка, только не советую».

«Ничего, мы постоим».

Лев Казимирович вошёл в сарай.

«Или сюда», — сказал хозяин, кивнув на широкое ложе — матрац на четырёх кирпичах, поверх которого было наброшено стёганое одеяло розоватого, изрядно выцветшего и потёртого шёлка. Подушка в цветастой наволочке хранила вмятину от головы Павла Игнатьевича.

«Сломались», — пояснил он.

«Кто сломался?»

«Да козлы, говорю, сломались. Он у меня на козлах стоял. Всё руки не доходят починить... Какими же науками, так сказать, это самое, занимаетесь?»

«Я историк, — сказал Лев Бабков. — А также искусствовед».

«Он учёный универсальный. Ты не смотри, что он такой скромный. Он как Леонардо да Винчи, слыхал такого? Вот он тоже».

Муня приблизил рот к уху хозяина и — вполголоса:

«Имей в виду, он дворянин царской крови».

«Какой такой крови?» — спросил Павел Игнатьевич, воззрившись на Лёву, на что Кораблёв отвечал неопределённо-значительным жестом, кивнул и прищурил один глаз.

«А ты по специальности кто будешь?»

«Кто буду? У меня, как бы это сказать, специальность особая, — промолвил Паша. — Курите?»

«Бросил. Здоровье не позволяет».

Лев Бабков сказал, что и он не курит.

«Смотря что курить. Я, к примеру, только самосад. Папиросу в рот не возьму, в папиросах весь яд. Народ отравляют...»

Паша взял с колченогого стола, стоявшего у стены под узким продолговатым окошком, том произведений Ленина издания двадцатых годов, с профилем вождя на красном сафьяновом переплёте.

«Опять же надо учесть, — сказал он, — какой бумагой пользоваться».

«Это сатинированная. Слишком плотная, — заметил Бабков. — Да и печать...»

«Что печать? Чем тебе печать не угодила?»

«Печать дореволюционная, очень много свинца».

«Да, — сказал Паша. — Сразу видно — историк. А вот в самокрутках, я вижу, ты не разбираешься. Свинец, он что, свинец? Свинец весь выгорает. А вот важно, о чём сама книга».

Паша вырвал листок, сложил вдвое, аккуратно разорвал, отложил половинку; из вельветовых штанов явился кисет, Паша добыл горстку табака, насыпал и распределил вдоль бумажки, свернул, послюнил, пригладил, отогнул конец в виде раструба.

«Можешь думать, как хочешь, а я так считаю, что книга, она свою роль играет. С этим самым дымом... — пыхнув огнем, прохрипел он, — в человека знание входит. Вот о чём там пропечатано, то и входит. По себе чувствую».

«Наука так не считает», — сказал Кораблёв.

«Не дошла ещё твоя наука».

«А вот мы сейчас Льва Казимирыча спросим. Ты как, Лёва, полагаешь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Что, сомневаешься?»

«Да нет, может быть, он и прав», — сказал Бабков, подошёл к столу и раскрыл то, что там лежало.

Хозяин улёгся на своё ложе, бородой кверху, с козьей ножкой в зубах, сложил ручищи на большом животе.

«Так вот, значится, того самого. Какая моя специальность, спрашиваешь. Моя специальность редкая. То есть вообще-то и не такая уж редкая, но здесь у нас — очень редкая».

«Ага — что же это за такая специальность?»

«Как тебе объяснить, — промолвил Паша, выпуская дым. — Вроде бы дело простое. Вроде бы каждый может. Да только здесь мужиков почти что нет никого. А главное, не у каждого есть дарование. Каждый работает по своим, так сказать, возможностям. Как наши великие классики говорили? От каждого по возможности, каждому по труду».

«Ошибаешься, — промолвил мрачно Кораблёв. — Искажаешь. Карла-Марла не так говорил. От каждого по способностям!»

«Ну, мы, как бы это сказать, высшего образования не кончали. А тоже кое-что умеем. Я из своей профессии секрета не делаю. Вот мои дипломы».

В сарае было довольно чисто. Свет проникал через два окошка с кружевными занавесками. Дощатый пол устлан половиками. В углу, под одним из окон, стоял стол, о нём мы уже упоминали, рядом помещалась газовая плита с двумя конфорками, была и кое-какая утварь. На стене, над ложем, в виде веера на фанерном щите были прикноплены женские фотографии. «Вот они дипломы», — повторил обитатель сарая.

«А по-моему, — проговорил Кораблёв, — тут ещё кое-что есть. Ты чего там разглядываешь?»

«Эге!» — сказал он, подойдя к столу

«Ракурс не убеждает. Ситуационная неконгруэнтность тела и камеры, в результате которой тело лишилось своей пространственной

вырази-тельности... Одним словом, — вздохнув, сказал Лев Бабков, — недостаточно глубокая проработка имиджа!»

Он захлопнул альбом.

«Слыхал? А ты говоришь», — торжествующе сказал Кораблёв.

«Чего я говорю: ничего я не говорю», — возразил Паша.

«А между прочим, — заметил Кораблёв, — за такие фотографии можно и срок схлопотать... Это, брат, такие картиночки, если кто-нибудь стукнет... а? Это я так, между прочим».

«А ты меня не пужай. Я такой человек, что думаю, то и говорю. Какого хрена вы сюда припёрлись, выгнать меня хотите? К твоему сведению: никуда я отсюда не уйду. В гости ко мне пожалуйста, а квартиру мою занять — это уж извини-подвинься. Не пройдёт».

«Да не о квартире речь, на кой нам хер твоя квартира. Может, мы всё-таки договоримся. Мы ведь только на время».

«Не о чем договариваться. И силой меня никто не выгонит. Потому на моей стороне общественное мнение. Только попробуй меня тронь. Тебе бабы яйца вырежут».

«Зачем же силой? Товарищ дорогой. Мы прекрасно можем всё решить. Ты ведь даже не спросил, что мы тут собираемся делать».

«А это меня не касаемо».

«Н-да, — сказал Кораблёв, — картиночки у тебя того...»

«Чего картиночки? Ничего там такого нет».

«А главное, снято всё так примитивно. Никакой романтики. Или вот эти, — Муня показал на стену. — Ведь правду я говорю?» — отнёсся он к Бабкову.

«Никакой конгруэнтности», — сказал Лев Бабков.

«Вот и специалист подверждает. Да ты послушай, дура, что тебе говорят! В твоих же интересах... Нет, — сказал Кораблёв, — совершенно очевидно, что без поллитра тут не разберёшься, хватит ругаться, пора садиться за стол переговоров».

Диалектика
образа и подобия

Сели за стол переговоров. Впрочем, не сразу.

«Мне очень неудобно, что мы так к вам нагрянули, — проговорил Лев Бабков, воспользовавшись отсутствием Муни, чтобы загладить возникшую неловкость, — не думайте, пожалуйста, что мы... Но знаете, что я подумал: вас тут все знают, и особенно, если я правильно понял, женский пол...»

«Правильно», — сказал Паша.

«Вот эти дамы — кто они, собственно, такие?»

«Кто такие? А вот такие, как бы это сказать, обыкновенные».

«Знакомые ваши?»

«А кто же. Знакомые... и даже больше».

«Вот я и подумал... Вы могли бы работать вместе с нами!»

«А я, между прочим, без дела не сижу», — сопя, заметил Павел Игнатьевич.

«Вот, вот — я это как раз имел в виду. Не хотели бы ваши знакомые, к примеру, сфотографироваться первыми?..»

Он добавил:

«По новому методу».

Павел Игнатьевич солидно осведомился, что это за метод. «Видите ли, в чём дело...» — проговорил Лев Бабков.

Кому, как не человеку без биографии, человеку-протею, могла придти в голову эта идея, вообще говоря, не новая, — говорят, это изобретение практиковалось на ярмарках ещё в самом начале столетия; кто, как не он, мог понять эту извечную тягу человеческой души вселиться в другой образ? Оставляя в полной неприкосновенности вашу личность — не столько в обычном смысле, сколько в том значении, которое имеет это слово в народном языке, то есть оставляя вам лицо, — фотография меняла всё остальное, вашу судьбу, эпоху, ваш социальный статус. Вы могли стать кем угодно. Если вы в этой жизни, что чаще всего и бывает, сидели в дерьме, то виноваты были не вы, а судьба, случай, гнусное время и несчастные обстоятельства. Всё условно, всё относительно. Кто ты такой или кто ты такая? Не тот и не та, а совсем другая.

И больше того. Изобретение, а лучше сказать, идея, которую друзья везли в грузовике, которая была воплощена в фанерных щитах, немного спустя перекочевавших из кузова в сарай, утоляла глубоко заложенное в нас вожделение к себе как к Другому; или — почему бы и нет? — как к Другой. Если верно, что в каждом из нас существуют задатки и рудименты другого пола, то не менее верно и то, что в душе каждого дремлет грёза о себе как о существе противоположного пола. Может быть, это не что иное, как вечная тоска по утраченной целокупности, та самая сущность Эроса, о которой толкует Аристофан у Платона. Понимаем, что отвлеклись, так как подобных соображений, возможно, не было у Льва Бабкова (не говоря уже о ярмарочных зазывалах в Нижнем Новгороде начала века). Но почему не сказать об этом? Речь идёт не только о том, чтобы в одно мгновение, равное вспышке фотоаппарата, перенестись в иную жизнь, в немыслимый век, и предстать витязем, ковбоем, кавалером, командармом, не только о том, чтобы из деревенской бабы превратиться в царевну, в русскую морозно-серебряную боярышню, выпрыгнуть, словно по волшебству, из своего нищего тела в роскошные телеса Семирамиды, Елены, Клеопатры; нет, идея обещала не только такие метаморфозы, но предоставляла вам возможность переменить пол; и, разглядывая ещё влажную фотографию, вы с тайным волнением созерцали себя в облике мужчины,

оставаясь женщиной или ласкали глазами мужчины свои женские формы. И вы начинали догадываться, что в самом деле должны были родиться в другие времена, в другом состоянии и другом естестве; может быть, так оно и было, такими вы были в некоторой высшей реальности. Изобретение возвращало вам ваше истинное «я» взамен ложного и навязанного вам. И не об этом ли, кстати, поведал публике в трогательных стихах великомученик и победоносец, святой Георгий из Каппадокии, рассказав, как он «снялся на память»; это и был истинный облик змееборца, его исконное «я», между тем как народ пригородных поездов, лишённый воображения, принимал его за обычного попрошайку. Помнится, поэт предлагал Лёве творческое сотрудничество. Неизвестно, довелось ли нашему другу воспользоваться этим предложением, но можно предположить, что встреча с Георгием подсказала ему проект разъездной артели.

«Но я вас перебил, — сказал Бабков. — Вы хотели рассказать о вашей работе...»

«Вот мы сейчас и послушаем, — сказал Кораблёв, вваливаясь в сарай с бутылками и снедью. — Мамаша провалилась куда-то. Пришлось самому бегать... Ну-ка ты... помогай».

«Ну уж разве что... — забормотал Паша. — По такому случаю... Только я предупреждаю: я непьющий».

«Давай, давай. Непьющий... Все мы непьющие. С чего это ты непьющий?»

«Мне моя специальность не позволяет».

«А говорят, наоборот, алкоголь способствует. Тут у тебя и сесть негде, — заметил Кораблёв. — Как ты баб-то своих принимаешь?»

«Можешь меня не учить. Как принимаю, так и принимаю; зачем им сидеть».

«Давай-ка лучше помогай. Берись...» Стол был придвинут к матрацному ложу, розовое одеяло откинуто.

«Это кто ж тебе такое одеяло подарил? — спросил Муня Кораблёв, разливая по рюмкам. — Только плохо они за тобой смотрят... вон, совсем истрепалось. Ну, давай, что ли, со свиданьицем».

«У меня специальность особая, хотите, могу рассказать. Я секрета не делаю. Ты меня спроси, я отвечу, — говорил, жуя, Павел Игнатьевич. — У меня особенное устройство, как бы это сказать».

«Что, длинней обычного, что ли?» — хохотнул Муня.

Лев Бабков погрузился в раздумье, рассеянно подставлял Муне пустеющую рюмку, фиал забвения. Рюмки были разные, как люди: вместительная, из толстого народного стекла у хозяина, высокий, на тонкой ножке, надменного фасона бокал у Бабкова, а у друга Кораблёва вместо рюмки надтреснутый стакан. Равно как и выпивание выпиванию рознь, размышлял Лев Бабков, одно дело патриотическая, братская, соборная пьянка, другое — подстрекательское, с подрывными целями

потчеванье вином доверчиво-распахнутого, как сама душа России, собутыльника. И уж совсем другой коленкор — случайное застолье неприкаянных, без цели и смысла скитающихся по осиротелой земле пропойц.

«Может, и длинней, да не в этом дело, — возразил серьёзно, даже меланхолически хозяин сарая. — Я так скажу, — продолжал он, — я человек прямой. Ежли вы надо мной смеяться пришли, то я вам не товарищ. Дело совсем не смешное. И не надо из меня этакого-такого делать. Я к своей профессии отношусь серьёзно, и меня за это ценят. Особенно женщины, потому женщина к этому делу тоже относится серьёзно. Попрошу меня уважать, — сказал Паша, — вот так».

Кораблёв развёл руками.

«Товарищ дорогой... да кто ж над тобой смеётся. Наоборот, тебе позавидовать можно».

«Завидовать тоже особо нечему, — грустно сказал Паша, — чего уж тут завидовать. Ни семьи, ни...»

На некоторое время воцарилось молчание.

«Ничего себе колбаска, — промолвил хозяин, — где это ты достал... У нас такой нет».

«Всё надо умеючи: для кого есть, для кого нет. Ты, Паша, не тяни резину, начал, так уж продолжай. Мы тебе тоже кое-что расскажем».

«Мне Лев Казимирыч уже говорил...»

«Что он тебе говорил? Ты что ему сказал? — всполошился Кораблёв. — Ты ему идею раскрыл?»

Лев Бабков ответил, что пока ещё нет.

«Мы от тебя, Паша, скрывать не собираемся, только надо сначала договориться. Ты можешь здесь оставаться, то есть я хочу сказать, ночевать тут. А днём мы будем работать. Ты нам будешь поставлять клиентуру. Идея, надо сказать, богатейшая; войдёшь с нами в долю... Ну, короче, десять процентов дохода твои. Человек ты, как я понял, авторитетный, женщины тебя знают. А женщина — наш главный клиент. Верно я говорю, Лёва?»

«Меня заинтересовали ваши слова, — проговорил Бабков. — Вы сказали: дело не только в анатомии...»

«Чего?» — проснулся Паша, которому загадочные слова Кораблёва начали навевать какие-то смутные сладостные сны.

«Я говорю...»

«А ты слушай, что я скажу, — окрепшим голосом заговорил хозяин сарая. — Слушай, а потом будешь говорить... Женщине нужна ласка. А не то что... То есть тоже нужно; без этого как же. Но прежде ласка, обхождение. Ты за моей мыслью следишь?»

«Я весь внимание», — отозвался Бабков.

«У нас как? У нас народ грубый. Жестокая у нас страна, вот что я тебе скажу. У нас мужик придёт домой пьяный, ну ты, давай ложись!

Нет чтобы по-хорошему. Да она ещё рада, другие вовсе без мужиков. Сначала на войне побили, а потом, кто был, разбежались. А я, — сказал Паша, — женщин люблю».

«Всех?» — спросил Кораблёв.

«Всех люблю. А кого не люблю, всё равно жалею. Ты не думай, — продолжал он, — что я тут пашу ради денег. Да и какие там деньги... Которая принесёт, а у которой вовсе ничего нет; она пожрать тащит. Знает, что не откажу. Потому я женщин уважаю. Я в женщине человека вижу. И вообще считаю, что бабы важнее мужиков. Опять же взять Россию: кабы не бабы, давно бы всё провалилось к едрёной матери. И помнить никто бы не помнил, что за Россия такая была. На бабах всё держится. И вообще... — Паша сладко зажмурился. — Женщина, я тебе скажу, это самое... Женщина, она лучше скроена, чем мужик. И в Библии сказано...»

«А ты разве Библию читал, Паша?»

«Читал — не читал, а знаю. Там как сказано? Сначала Бог сотворил Адама. Ну и ясное дело — первый блин комом. А уж потом учёл все ошибки и создал Еву».

«Выпьем, Паша».

«Ты пей. Я воздержусь».

«Чего ж так. Обижаешь!»

«Мне врачи запретили. Мне один врач так и сказал: пить будешь, мужскую силу потеряешь; а я ещё молодой. Это всё равно как у спортсменов. Ладно уж, ради такого случая. Исключительно из уважения».

«На-ка вот закуси».

«А это чего?»

«Ты попробуй, а потом скажешь».

«Ничего, — сказал Паша. — Приемлемо. Есть можно. Где это люди достают...»

«Ты вот своим бабам закажи. А то они у тебя мышей не ловят...»

«Я что хотел сказать. Мужики, они на обезьян похожи. Ручищи, волосьё... И в Библии сказано: человек произошёл от обезьяны».

«А вот это ты врёшь, — возразил Кораблёв. — В Библии не говорится. Вот мы сейчас Льва Казимирьгча спросим».

Но Лев Казимирович в свою очередь успел к этому времени переселиться из царства философии в гостеприимное царство сна.

Сор жизни

Стрекочущий звук, похожий на пулемётную очередь, тревожит идиллический сон деревни, двурогий зверь опорожняет перегруженный газом кишечник. Человек в шлеме и сапогах слез с мотоцикла. Перед домом мамаши на двух жердях был укреплён фанерный щит с нарисованной стрелой, указующей в сторону сарая. Мотоциклист уставился

на вывеску. «Росгособлпромкооперация», — с усилием прочёл он длинный заголовок, как бы спускаясь по ведомственным ступеням, и далее: «Артель фоторабот». Перечислялись и работы, выполняемые по особому заказу, как, например, «портрет в стиле ампир», «художественно-исторический», «три богатыря», «древнегреческая богиня в хитоне и без» и другие.

«Тэ-эк-с, — вымолвил милиционер, дочитав до конца. — А куды ж Пашку-то дели?»

Вокруг никого не оказалось. Сморщенное мамашино личико мелькнуло в окошке из-за цветов и закатилось. Милиционер вступил в сарай.

«Стало быть, так, — сказал он, оглядывая интерьер, — попрошу присутствующих предъявить документы».

«Товарищ старший сержант... какая приятная неожиданность!» — запел было Муня Кораблёв.

«Ваши документы», — повторил старший сержант, передвигая на плече планшетку.

«Какие документы?» — удивился Кораблёв.

«Обыкновенные. А, и ты здесь... жив курилка».

«Так ведь сами знаете, Павел Лукич...» — сказал Паша, поднимаясь из-за стола.

«Я тебе не Павел Лукич. Мы с тобой свиней не пасли... Тебе сколько раз было сказано. Работать надо! А не тунеядствовать. За тунеядство у нас знаешь что бывает?»

«Вы с ним, оказывается, тёзки, товарищ старший сержант», — сказал радостно Кораблёв.

«Гусь свинье не товарищ», — отрезал милиционер.

«Я работаю... вот с ними», — упавшим голосом сказал Паша и обвёл рукой своё бывшее жилище. Ателье рос, гос и так далее кооперации было перегорожено ситцевым пестрядинным занавесом на две половины, над рабочим столом висел стенд с образцами фоторабот, стояла газовая плита, кое-что из Пашиной утвари, а за ситцевой занавеской... — «ну-ка что там у вас», — скомандовал старший сержант.

Открылся помост, на помосте рама, электрическая подсветка на рейках с боков и сверху, арматура неясного назначения, «чего ж тут особенного, вот и всё», сказал Муня Кораблёв и добавил что-то насчёт патента, но старший сержант не дослушал, спрыгнул с помоста, подошёл к столу и углубился в разглядывание стенда. «А ты, стало быть, у них, — отнёсся он к Паше, — вроде кассира или как?»

«Вы садитесь, Павел Лукич... говорят, в ногах правды нет», — проворковал Кораблёв.

«Сесть-то я сяду... Картиночки у вас, н-да... ничего себе. И что же, есть желающие?»

«Древнегреческая богиня в хитоне. Мы, Павел Лукич...»

«Да какой я тебе Павел Лукич».

«Мы, товарищ старший сержант, не просто снимаем, мы несём свет в массы. Знакомим людей с искусством, с деятелями отечественной и мировой истории».

«Вижу, что знакомите. Так как же, документов нет, разрешения нет. Будем протокол составлять или как?»

«Патент», — сказал Кораблёв.

«Это чего такое?»

«Патент на право заниматься...»

«А это мы не знаем, какое такое у вас право...»

«Вот мои документы», — сказал Лев Бабков.

«А ты кто такой будешь?»

«Попрошу прежде всего не тыкать, — сказал Лев Бабков. — Я кандидат исторических наук. Директор и научный руководитель ателье».

«Угм. А как насчёт разрешения?»

«Разрешение есть, товарищ сержант...» — вмешался Кораблёв.

«Старший», — поправил сержант.

«Разрешение выписано, — сказал Бабков, — и находится на подписи у председателя облисполкома товарища Потрошкова. Можно позвонить в секретариат, хоть сейчас... и, кстати... как ваша фамилия?»

«Порядок есть порядок», — заметил милиционер

«Это вы правы. Но пожалуй, я всё-таки свяжусь с Потрошковым».

«Ладно. Я вам верю», — сказал старший сержант, приосанившись.

«А может, всё-таки... И у вас совесть будет чиста».

«Не стоит».

Муня всполошился.

«Да что ж мы все стоим-то — в ногах правды... Паша! Как бы нам, это самое, насчёт...»

«Это, конечно, дело важное, отрицать не буду, — продолжал старший сержант. — Народ у нас тёмный, тем более, одни женщины».

«Современная фотография — это прежде всего искусство, — сказал Лев Бабков. — И перед нами, фотохудожниками, стоит важнейшая задача. Достойно отобразить нашего человека, труженика полей, отобразить его во весь рост, во всём величии его исторического подвига, не с позиций мелкой правды факта, а с позиций социалистического реализма».

«Не могу, — строго сказал старший сержант, — я при исполнении служебных обязанностей».

«Чем богаты, тем и рады», — возразил Кораблёв. Колченогий стол был накрыт скатертью, питьё и закуска стояли наготове.

«А вот что я хотел спросить. Есть, что называется, желающие? Или как там?»

«У нас финансовый план. Само собой, отчётность, всё как полагается. Заказов много... Сами говорите — женщины. А женщины любят фотографироваться, причём, знаете, в разных костюмах. Хотя некоторые и без костюма».

«Греческие богини, что ль?»

«Античное искусство завещало нам культ здорового человеческого тела. Древние греки смотрели на это иначе».

«Древние греки? Ну, это другое дело. А нельзя ли... Ладно, раз уж такое дело... — сказал старший сержант, снимая фуражку. — Но только по одной. Я за рулём».

«Конечно, не поймите нас так, что они тут нагишом... На панно изображена Афродита. Достаточно просто вставить лицо в отверстие».

«Так вот, я говорю, это самое, нельзя ли...?»

«Ознакомиться?»

Милиционер крякнул, закусил бутербродом с городской колбасой и важно кивнул.

«Паша, — сказал Бабков бархатным баритоном. — Где там у нас альбом?..»

«Н-да, — размышлял милиционер. — Мне, что ль, попробовать...»

«Прекрасная мысль. Паша!...»

«Вот только не знаю. В форме вроде бы неудобно».

«Форма не мешает. Я бы рекомендовал вот этот вариант...»

«Н-да... а сколько это будет стоить?»

«Что вы, Павел Лукич, — вмешался Муня. — Обижаете. Никаких денег, вы наш почётный клиент».

Паше было отдано распоряжение включить подсветку. Старший сержант, поддерживаемый Муней, поднялся на помост с рамой и фанерным щитом, на котором представлен был герой гражданской войны на боевом коне, в бурке и папахе. Из круглого окошка под папахой выставилось порозовевшее от выпивки и волнения лицо старшего сержанта. Кораблёв спрыгнул с помоста и занял пост перед камерой на треноге.

Лев Бабков отступил на шаг и прищурился.

«Нет», — сказал он.

«Что — нет?» — спросило лицо в фанерной дыре.

«Нет необходимой экспрессии. Образ внутренне неубедителен. Я вижу вас в другой перспективе... Паша, — сказал Лев Бабков. — Давайка лучше... Или, может, Павел Лукич сам выберет».

«Вы уж сами решайте. Я вам доверяю».

«Вариант Ричард Львиное Сердце, — сказал Бабков. — Мне кажется, самый подходящий типаж».

«А это кто же это такой?»

«Это был такой король».

«Король?» — спросил недоверчиво старший сержант. Паша выволок щит. «Мать честная!» — присвистнул старший сержант. «Ну как вам?»

«Ну как?» — в свою очередь спросил из дыры старший сержант. «Никто из нас, — изрёк Лев Бабков, — не знает, кто он на самом деле...» «Чуть не забыл, — сказал старший сержант, сидя в седле мотоцикла. — Там вас одна барышня дожидается. Дочка, говорит». «Моя дочка?» — переспросил Бабков. «А чья же».

Фабула жизни

Некоторые особенности нашего рассказа, возможно, вызовут раздражение у читателя, привыкшего к тому, что роман, как шахматная партия, разыгрывается по определённым правилам. Подобно игре в шахматы, литература основана на некоторой абсолютной системе ценностей, и совершенно так же, как, начав партию, нельзя менять правила, так нельзя лишать повествование его стержня, на который, как дичь на вертел, насажены действующие лица. Коротко говоря, композиция романа — это и есть его мораль; а какая же может быть мораль в рассказе о человеке, которого даже нельзя осудить за то, что он утратил представление о ценностях: он их не отверг, он никогда на них не покушался; у него их просто нет. Он ни к чему не стремится, ничего не добивается, у него нет цели. Поистине такой человек подобен игроку, которому невозможно поставить мат. Он преспокойно продолжает игру. Его жизнь лишена фабулы. Но таково же и его окружение. Поистине страна, в которой он живёт, совершила великое историческое открытие. Ибо она доказала, что можно существовать вовсе без ценностей и продолжать игру после того, как у тебя съели короля. Съели — и хрен с ним; нельзя же в конце концов всему народу покончить жизнь самоубийством.

Чтобы сделать яснее нашу мысль, скажем совсем кратко, что «ценностей незыблемая скала», по красивому выражению поэта, есть нечто равно присущее шахматной игре, повествовательному искусству и человеческой жизни. Точнее, то, что должно быть им присуще. Вот в чём соль — в этой вере, будто играть надо по правилам. Хорошо построенный роман выражал уверенность автора в том, что мир покоится на незыблемых устоях морали. Между тем оказалось, что абсолютную мораль можно заменить ситуационной; что правила можно менять как вздумается. Продолжая сравнение литературы с шахматами, отважимся спросить: не в этом ли скрыта разгадка того, почему романисты в нашем отечестве так и не научились сюжетосложению, не научились уважать сюжет (автор данного произведения — прекрасный пример), и не в этом ли заключается ответ на вопрос, почему история под пером романистов в стране, которой Игрок поставил мат, разлезается, как

гнилая ткань. С исчезновением ценностей роман, словно шахматы без цели поставить противнику мат, попросту теряет смысл. Его герой случайно, точно занесённый каким-то ветром, появился на этих страницах и, должно быть, так же случайно исчезнет.

Был ли он патриотом? Вопрос задан не совсем кстати. И всё-таки: заслужил ли он это почётное звание? Другими словами: какую пользу могли принести своей стране люди, подобные Льву Бабкову, какой толк от этих людей? На первый взгляд, никакого.

Этот человек был уверен: великое открытие, совершённое Россией в нашем столетии, есть в самом деле великое открытие: игра проиграна, но играть можно. Да, можно играть и дальше, хотя какая же это игра — без короля? Человек, который так думает, какой он, к чёрту, патриот. Патриот не верит в действительность, а верит в свою страну.

А с другой стороны, мы решаемся утверждать, что герой этих страниц был нечто большее, чем патриот. Такие люди, как он, вообще избегают говорить о патриотизме — по той простой причине, что понятия любви или ненависти, верности или презрения теряют смысл, когда имеешь в виду самого себя. Разумеется, можно и презирать себя, и быть влюблённым в себя без памяти, но это совсем не то, что любить или презирать другого; и уж во всяком смысле невозможно быть патриотом самого себя; между тем как Бабков имел веские основания сказать о себе, переиначив слова короля-Солнца: le pays, c'est moi! Да, дорогие соотечественники, никуда не денешься, Россия — это и есть Лев Бабков; возможно, он возразил бы, скромность не позволила бы ему так себя аттестовать, придётся сделать это за него.

Идея, заслуживающая рассмотрения

«Ты как сюда попала?»

Молчание. Она уставилась в пол.

«Откуда ты знаешь, что я здесь?»

«Это правда?» — спросил старший сержант.

«Что правда?»

«Это правда — что она говорит?»

«Что ты ему сказала?» — спросил Лев Бабков.

«Она говорит, что она твоя дочь».

«Ах да, — сказал Бабков. — Ну, конечно. Вечная история, опять от тётки сбежала».

«Чего ж мне с вами делать. Протокол, что ли, будем составлять. Ладно, забирай её, на хрена она нам тут сдалась».

«Куда я её заберу. Мне в ателье надо возвращаться, коллеги ждут».

«Ну и бери её с собой».

Разговор происходил в детской комнате районного отделения, больше напоминавшей тюремную камеру. Окно забрано решёткой. Железная койка привинчена к полу, дверь снабжена оптическим приспособлением, которое в классические времена именовалось волчком, а в наши дни называется глазком. В комнате находился стол, весь исцарапанный, покрытый следами канцелярского труда, за столом восседал, заложив сапог за сапог, старший сержант Павел Лукич.

Луша сидела на кровати, составив коленки в дырявых чулках, на ногах — разбитые ботинки.

Она подняла голову.

«Врёт он — никакая я ему не дочь».

«Позволь, позволь. Ты же сама сказала».

«Мало ли что сказала... это я чтобы его найти. И призвать к ответу».

«Что-то я не понимаю», — сказал Павел Лукич.

«Чего ж тут понимать, — сказала она. — Он меня изнасиловал. Я в Москву приехала. Он меня на вокзале увидел, заманил к себе, а теперь от меня скрывается. Я от него беременна».

«Всё по порядку, — сказал Павел Лукич. — Значит, ты не отрицаешь, что эта барышня твоя дочь?»

«Такая же, как твоя».

«Позволь... а чья же?»

«Чья-нибудь, — сказал Бабков. — Я её знать не знаю. Вяжется ко мне, а зачем, сама не знает. Всё, что она рассказывает, враньё. Она и мне наврала с три короба. Сама не знает, чего она хочет; теперь вот зачем-то сюда припёрлась».

«Ты не знаешь, она не знает. Кто же знает?»

«Я требую, — сказала девочка, — экспертизы».

«Какой ещё экспертизы?»

«Медицинской».

«Чего ты болтаешь, зачем тебе экспертиза?»

«Чтобы подтвердить, что он меня изнасиловал. Он меня заманил. Я на вокзале сидела, а он подходит и таким развратным тоном, чего, мол, ты тут сидишь? А я говорю...»

«Ты постой, ты по порядку. Когда это было?»

«Когда было — после экзаменов. Я приехала, сижу, жду, что меня брат встретит».

«Это в каком же месяце?.. Так, — сказал старший сержант, — в мае, стало быть. А сейчас у нас август. Какая же может быть экспертиза?»

«А следы спермы? — возразила она. — Следы остаются».

Милиционер сдвинул фуражку на лоб и энергично почесал в затылке.

«Следы, говоришь. Ты, я смотрю, учёная. Вот что, дорогая: подымайся».

Она не двигалась, болтала ногами.

«Встать!» — гаркнул старший сержант.

Девочка вскочила с кровати и вытянулась в струнку, как игрушечный солдат.

«И чтоб твоего духу здесь больше не было Где твои манатки? Нет манаток? И ты... и вы тоже», — бросил он Лёве.

«Луша», — сказал Бабков. Несколько времени спустя они добрались до вокзала, это была та самая станция, где карандаш императора наткнулся на выбоинку в линейке. Перешли по трапу на противоположную платформу и уселись в пустом, замусоренном зале ожидания.

«Где ты была всё это время? В Киржаче?»

«Может, и в Киржаче», — отвечала девочка. Она разгуливала по залу, пела песни, мурлыкала, прыгала на одной ноге, поддевая носком что-то.

«Какое-то наваждение, помешались вы все, что ли... У меня есть одна знакомая, она рассказывает о том, как её изнасиловал отчим. Ты мне тоже плела что-то про твоего дядю... как он, кстати, поживает?»

«А что, неправда, что ли?»

«Что неправда?»

«Что ты меня — это самое». Она разбежалась и ударила по крышке от банки, как футболист по мячу. Лев Бабков спасовал крышку в угол. Вдали шёл поезд. На платформе ожидали пассажиры, их было немного: женщины в сапогах, в платках и плюшевых кофтах, схватив за руку оробевших детей, парень в солдатской шинели без хлястика, похожий на сказителя. Все торопливо полезли в вагоны. Девочка бросилась на пустую скамью у окна.

«Тебе что, — спросил Бабков, садясь напротив, — этого так хочется?»

Она вонзилась в него птичьими глазами без блеска.

«Я спрашиваю, тебе непременно хочется, чтобы тебя кто-нибудь — как это называется — употребил? Дело этим кончится. Найдётся кто-нибудь. Может, это уже и произошло? Что ты делала всё это время?»

«Ты не увиливай. Забыл, что на даче было?»

«Лапочка. Это тебе приснилось».

«Сначала девушку соблазняют, а потом говорят: приснилось! — сказала она сварливо. — Кому приснилось, а кому... Вот возьму, и...»

«Что — и?»

«Вот возьму и остановлю поезд».

«Не выйдет. Мы эти номера знаем. Второй раз не пройдёт».

«Вот сейчас закричу, чтоб все слышали. Вот сейчас пойду и буду милостыню просить, скажу, мне на аборт надо».

«А я, — сказал Лев Бабков, — выкину тебя сейчас из вагона. Слушай, Лукерья, — проговорил он после некоторого молчания, глядя на без устали болтающиеся тонкие ноги девочки в рваных чулках, на её руки с грязными ногтями. — Нам ещё ехать долго. Надо сообразить. Куда нам с тобой деваться?»

«Куда хочешь, туда и девайся», — сказала она.

«Чем ты занималась это время? Воровала?»

Она передёрнула плечами.

«А может, действительно побиралась?»

В ответ Луша запела тонким визгливым голосом:

«А поутру они проснулись! Кругом помятая трава!» В самом деле, подумал он, почему бы и нет?

Конец — или ещё не конец?

Пруст говорит, что смерть не одна для всех, но сколько людей, столько же и смертей; мысль, достойная обсуждения, в которое мы, однако, не станем вдаваться. До сих пор наш рассказ был основан на более или менее достоверных известиях, теперь отстаётся только гадать, остаётся область гипотез: представим себе, какой смертью мог умереть Лев Бабков. В том, что он умер, не остаётся сомнений; во всяком случае, исчез бесследно, а другими сведениями автор этих заметок не располагает. Само собой разумеется, смерть была случайной, — если он в самом деле умер, — случайной в том смысле, что она не могла быть логическим итогом биографии человека, у которого нет биографии. Смерть — логический итог? О воине, которому шальная пуля угодила в сердце, не говорят, что он умер случайной смертью; в то же время человек, упавший на пороге своего дома, считается умершим случайно, несмотря на то, что тромбоз венечных артерий сердца был логическим следствием длительного, хотя и незаметного, процесса.

Смерть могла настигнуть нашего друга, когда он перебегал через трап, чтобы успеть нырнуть в электричку, поскользнулся и был раздавлен идущим навстречу товарным составом; примем это за одну из возможностей, хотя Лёве, как всегда, некуда было торопиться. Смерть караулила в подъезде старого дома возле фабрики «Большевичка», внизу, когда Лев Бабков выходил под руку с бывшей подругой сказителя, о которой мы ничего не знаем, кроме её имени, — смерть выглядела непрезентабельно, на голове имела кепчонку, на ногах стоптанные прохоря и в первую минуту повела себя крайне скромно, попросив разрешения прикурить, потом спросила, сколько сейчас времени, потом попросила взаймы ручные часы; слово за слово, и кончилось тем, что, к своему удивлению (в таких случаях всегда испытываешь удивление), он обнаружил, что лежит на полу, прижимая к животу окровавленные ла-

дони, спутница улетучилась, сам же он, привязанный к каталке, мотался и подскакивал в машине Скорой помощи, или ему снилось, что он лежит на каталке, потому что к тому времени, когда автомобиль с красными крестами, с тщетно воющей сиреной застрял окончательно в пробке при выезде на Садовую, Лев Бабков уже не существовал.

Смерть могла случиться при совершенно экстраординарных обстоятельствах, и на сей раз мы могли бы её опознать, на ней было школьное платьице и чулки с дырками. Опознать могла бы и баба-сторожиха. Против ожидания, грузная сторожиха в валенках, которые она не снимала со времени победного окончания Отечественной войны, оказалась на своём посту, но в конце концов пустила их, вероятно, небезвозмездно, и кое-что произошло в одной из опустошённых комнат старой дачи, именно, в той, где стояло разбитое пианино, о чём следователь мог судить по невнятному рассказу сторожихи, слышавшей музыку, а судебно-медицинский эксперт — по лиловым пятнам и следам ногтей на шее трупа, лежавшего на полу, лицом вниз: очевидно, — и скорее всего это случилось сразу же после кульминации, в тот единственный короткий момент, когда два существа перестают чувствовать себя отдельными существами, в тот последний момент, о котором девочка-смерть грезила чуть ли не с детсадовского возраста, — очевидно, она поступила так, как в мире насекомых поступают самки некоторых видов, уничтожая партнёра после копуляции, и, выбравшись из-под обмякшего тела, неслышно выскользнула через заднее крыльцо.

Дом (2)

Близится вечер, похожий на вечер жизни, недалёк и конец эпохи, а если вернуться к будням — наступает конец рабочего дня. Осенью об эту пору начинает темнеть. Компания, с сетками и кошёлками, запасом еды и питья, высадилась на глухом полустанке. Место не столь далёкое, в пределах пригородного сообщения, но почти необитаемое, у которого нет даже названия — «пост номер такой-то», «платформа такой-то километр», что-нибудь в этом роде. Мокрые и иззябшие, добрались до обители призраков. «Ба, — да вас тут целый шалман». Это вышла навстречу сторожиха.

Не шалман, а приличное общество, или, лучше сказать, все знакомые лица.

Попытка прикинуть, сколько может выручить за день человек, путешествующий по вагонам, в лучшем случае может дать лишь весьма приблизительные результаты: слишком много разнообразных факторов влияют на заработок. Существуют люди, рождённые собирать подаяние; артисты своего дела, которых не надо учить, как подать себя, как одеться, хорошо знакомые с конъюнктурой, с современной модой, не скованные рутиной, не эксплуатирующие заезженных ролей, но и не

эпатирующие публику слишком смелым репертуаром, следуя наказу Вольтера: быть новым, но не быть экстравагантным. Нищенство есть в такой же мере искусство, как и ремесло; подобно искусству, оно сочетает новаторство с традицией. Подобно всякому ремеслу, оно знает профессиональную конкуренцию и цеховое братство.

Сторожиха, по имени тётя Стёпа, встретила нашего друга, как правитель острова встречает представителя короны. Обнялись и расцеловались. Лев Бабков рекомендующим жестом указал на спутников. Сторожиха была пожилая дама, казавшаяся очень дородной в древней шубе, двух платках и циклопических валенках с галошами. Наскучив ковыряться длинным ржавым ключом, она вручила ключ Лёве, которому не понадобилось больших усилий, чтобы сорвать замок вместе с петлями. Общество вступило в дом.

Вопрос о том, кому принадлежала заброшенная дача, следует отложить в сторону, отчасти потому, что в этой повести мы всё ещё не расстались с исторической эпохой, когда собственность представляла собой нечто предосудительное, полузаконное и, в сущности, недоказумое. Собственность — это кража! — возвестил некий утопист-мечтатель. Можно считать и так; в том смысле, что её всегда можно украсть. Во всяком случае, никто никогда не видел владельцев. Никто, не исключая привратницы, не был уверен в том, что они существуют. Дача могла служить примером общенародной собственности. Дача, как уже рассказывалось, была открыта Лёвой несколько месяцев тому назад, наподобие того, как мореплаватели открывали новые земли и называли их в память о святителе, чей день совпал с днём вступления на берег, в честь короля или адмирала. Дача по праву должна была называться именем Льва Бабкова.

Помни
о том, что завтра

Призрачный свет теплится в окнах необитаемой дачи, словно в самом деле там заседает штаб привидений. В печке трещат дрова. На большом столе посреди комнаты, где некогда девочка Луша исполняла свой загадочный танец, под пятном на обоях, оставшимся от чьего-то портрета, и где теперь висит портрет-парсуна государя Димитрия Иоанновича со скипетром и державой, в расшитой ферязи, в бармах и в шапке Мономаха, удивительно похожий на Лёву, — на столе возвышается старинная, зелёного стекла керосиновая лампа, поблескивают бутылки, лилово-красный холм винегрета в оловянном тазу ослепляет величием, тарелки со снедью ласкают глаз. Вдумчивое кряканье, вдохновенное похлопыванье в ладоши, отрывочные междометия.

«М-да... Ну-ну. Недурственно... Ничего себе... Оно, как бы это сказать. Хорошо сидим. Н-ну-с...»

Поэт (*со стаканом в руке*). Дорогие граждане!

Шум, суета, кому-то не успели налить.

Поэт. Братья и сестры... Искусство принадлежит народу. Выпьем за наш народ. За наш чудесный, добрый, терпеливый народ, умеющий ценить истинную поэзию. За народ пригородных поездов, за то, чтобы он и впредь оставался таким же внимательным, таким же щедрым, чтобы и впредь подавал, как подавал нам сегодня!

Кто-то (*со стаканом*). За женщин! За наших дорогих женщин, которые нам, того, дарят... За тебя, Клава. И ты, как тебя: Лукерья, что ль. Привыкай. Небось уже с кавалерами ходишь.

Луша. Пошёл ты знаешь куда.

Дядя-коллекционер (*с вилкой, хищно оглядывая стол*). Я, друзья мои... Я, может быть, человек посторонний, но позвольте и мне. На правах, так сказать, гостя. Я всегда относился, так сказать, с известным недоверием к сбору, если можно так выразиться, денежных средств в вагонах. Мы, люди старшего поколения, сохранили идеалы. Я, например, могу сказать о себе так. Впрочем, деньги тоже не помешают. А как бы это мне... вот там колбаска, кажется. Будьте добры, не службу, а в дружбу. Друзья мои... Сегодняшний день убедил меня в том, да, убедил, позвольте мне называть вещи своими именами, что это дело, я имею в виду, хе-хе... весьма и весьма доходный промысел. Позвольте выпить.

Кто-то. И закусить! Закругляйся, папаша.

Хор (*половина стола*). Оно, как бы это сказать, ничего. Пить можно.

Хор (*другая половина*). Из дерева, говорят. Из нефти. На вкус вроде ничего. На вкус-то, может, и ничего, а мужскую силу отбивает — это точно.

Кто-то. А это мы лучше наших девочек спросим. Им виднее... Тётя Стёпа, а ты чего не пьёшь?

Сторожиха (*неожиданно похудевшая, помолодевшая, в кофте, благодарит, тыльной стороной ладони утирает уста, подтягивает концы белого платочка под подбородком*).

Сигизмунд Кораблев. А я хочу поднять этот бокал за моего самого близкого друга Льва Казимирыча. Если бы не он, не видать мне ни института, ни хера.

Поэт. Чего ж ты тогда по вагонам ходишь.

Муня. А ты не перебивай. Одно другому не мешает. Одно дело наука, а другое — хлеб насущный. Сам-то небось... И вообще: ишь ты какой нашёлся... Я что хотел сказать. Выпьем за наше великое время. За нашу великую... нет, лучше ты, Лёва, скажи.

Дядя. В самом деле. Все ждут. Лёва! На тебя, можно сказать, народ смотрит. Несмотря на то, что между нами есть известные расхождения...

Хор. На вкус вроде бы ничего. С пивом только не надо мешать.

Кто-то. Какие могут быть расхождения. У нас никаких расхождений нет. А ты, Стёпа, чего не пьёшь.

Лев Бабков (*после некоторого раздумья, не замечая, что его уже мало кто слушает*). Насчёт института... да. По правде сказать, я уже забыл, когда там был в последний раз... Но, пожалуй, стоит об этом сказать несколько слов. Тут произносились разные тосты. Кораблёв хотел сказать о нашем времени. Я, знаете ли, всегда интересовался историей... Причём должен заметить, что это ведь не просто институт истории, это, к вашему сведению, институт усовершенствования истории, большая разница.

Клава. Ты не очень-то забывайся. Ну-ка отзынь.

Кто-то. Ты моя мечта. Рядом с такой женщиной трудно сохранить равновесие. Позвольте вас... того. Нет, я просто не знаю. Какими словами передать...

Клава. Языком болтай, а рукам воли не давай.

Лев Бабков. И, мне кажется, я пришёл к некоторым результатам.

С. Кораблев. Я всегда говорил: талант! Гений! Переворот в науке.

Дядя. Интересно, хе-хе. Что же это за переворот. Там, кажется, что-то интересное: селёдочка или что это... будьте добры.

Призрак Директора (*садясь за пианино*). Такова природа великих открытий. Лишь после того, как они были сделаны, кажется, что они были очевидны. Эта лампа напоминает мне долгие бдения со свечой в камере Шлиссельбурга. (*Исполняет Шествие гномов из сюиты Грига «Пер-Гюнт»*).

Лев Бабков. Так вот, если вернуться к тосту моего коллеги... Ты говоришь, Муня, великая эпоха. Может быть. Все эпохи считали себя великими. Только вот в чём дело. Мои исследования показали... даже не столько исследования, сколько моя интуиция. Друзья! (*Стучит вилкой*). Они меня не слышат. И к лучшему.

Призрак (*захлопывает крышку пианино*). Я, я тебя слушаю. На следующем заседании президиума ты будешь рекомендован в члены-корреспонденты Академии наук.

С. Кораблев. Кого я уже давно не вижу... Лёва! А где ж твоя... Вот, скажу вам, девочка. Одни титечки чего стоят.

Лев Бабков. Овен бодал к западу, и никакой зверь не мог устоять против него. Не было никакой эпохи.

Муня. Чего?

Лев Бабков. Не было, говорю.

Кто-то. Как это не было. А мы?

Дядя. Он пьян.

Chorus mysticus. Всё преходящее есть лишь подобие.

Григорий Отрепьев (*он же царь Димитрий Иоаннович; из портретной рамы*). Могу подтвердить.

Кто-то. Нет, это уже оскорбление. Как это так — не было?

Лев Бабков. А вот так. Через сто лет люди спросят: а что тогда происходило? И услышат в ответ — ничего не происходило. Потому что эта эпоха была изобретением пропагандистов. Совершенно так же, как классическая древность была изобретением средневековых монахов. На самом деле ничего не было. Нашей эпохи не существовало, понятно? И нас с тобой, Муня, всё равно что не было. (*Пьёт*). Ты думаешь, что вот он (*показывает на Директора*) привидение, в этом доме должны быть привидения. А на самом деле это мы все — привидения.

Дядя. О ком это он говорит? Он не пьян, он свихнулся!

Клава. Лёвушка, ты бы отдохнул.

Лев Бабков. Э, о чём там говорить. (*Выходит из-за стола и усаживается за пианино*).

Запевала. Из-за острова на стрежень!

Смешанный хор. На простор речной волны.

Лев Бабков. Луша. Ты бы нам станцевала, что ли...

Несколько времени спустя, — это выражение мы уже употребили, и в самом деле, можно ли обойтись без отсылок подобного рода в эпическом повествовании, которое как-никак основано на доверии к времени, на вере в его ничем не прерываемое течение, а значит, и на доверии к эпохе, — несколько времени спустя глазам стороннего наблюдателя могла бы предстать таинственная картина: ещё кто-то сидит в полутьме за столом, но уже тарелки сдвинуты в сторону, пение смолкло, народ разбрёлся по углам; бывшая подруга сказителя покоится в объятьях кого-то; иных сморил сон. Лампада — теперь она стоит на пианино — озаряет лицо музыканта тёплым, тусклым сиянием. Девочка Луша перешагнула со стула на стол. Несколько мгновений перед танцем она стоит, босая, в коротком платье, опустив тонкие руки.

Кто сказал, что наше время — выдумка? Вот оно, наше время.

Finis

Дмитрий КОЛОМЕНСКИЙ

/ Санкт-Петербург /

■■■

Ожидание снега. Знамения близкой зимы
Серой кошкой крадутся и серой вороной плывут.
Что ты плачешь, мой ангел? Не так уж и страшно, что мы
Отрешимся от почвы, от бренности мира. На фут
Приподнимемся, лед попирая, над нашей тщетой —
Не навечно уйдем в облака — так о чем же жалеть?
Не о той ли монетке, зажатой в зубах, не о той,
Что не выложишь ты на прилавок как плату за клеть,
За сырую постель, за поддельную «Хванчкару»,
За настолько типичную даму, что лучше не смочь?
Собираются тучи, как должно, и ближе к утру
Основательно выбелят черную до крови ночь.
Тот, кто умер во сне, все поймет — испытал на себе
Несравненное чувство побудки ударом копыта,
Так и ты, сдернув сонную одурь, внимаешь трубе
Херувимской, неслышной. И все, что хранил — позабыто,
Ибо только лишь память, как старый причальный канат,
Не дает ускользнуть, оторваться, пуститься по воле,
Скажем, волн. А теперь кто удержит, поманит назад,
Не позволит с монетой в зубах, одному, наугад,
Наконец перейти это ровное, белое поле?

4. 11. 97

■■■

Сквер слепяще-зеленый... А дальше
Струйкой дыма, потом пеленой
Наплывает дыхание фальши
И ползет неотступно за мной,

И калечит течение речи,
И, взбивая, как пену, слова,
Их на лист разлинованный мечет,
Словно козыри из рукава.

Замолкаешь и видишь, как густо
Влажной зеленью вымазан сквер,
Что реальность сильнее искусства,
Метафорики, музыки сфер;

Что на теплых томительных лапах
По июньской спешит мостовой
Запах хлеба и тополя запах,
Как из детства привет даровой.

Смотришь так, что становится вязко,
И на ощупь — сырая листва —
Как слоями засохшая краска
На суровом холсте естества.

Здесь не тонкой работали кистью,
Здесь руками мешали раствор,
Здесь художник намазывал листья,
Словно масло, на дышащий двор,

И ваялась тяжелая стая
Туч столь гипсовых, толстых, немых,
Что любой авиатор, взлетая,
Разбивался, как муха, о них.

И в том скрежете крыльев о камень
На мгновение, вспыхнув едва,
Пробегали, как мышь под руками,
Звуки, корни, морфемы, слова.

июнь 2000 г.

▮▮▮

Откуда взялось это сонное царство в душе?
Все окна заклеены, дверь на цепочке три дня.
Поглубже черпнешь — не вода зазмеится в ковше,
А душная жижа бездумно глядит на меня.

Во всем виноват недосып, недожизнь. Не до нас
И ангелам в небе, и демонам в глуби земной.
Шершавый асфальт превращается в сытый палас,
Глотающий звуки шагов, рассыпаемых мной.

И день прозябания крови стоячей во мне
Закончится выплеском сна, но не стоит питать
Надежд иллюзорных: в саду этих сонных камней
Ни тумбы — подняться над миром, ни клумбы — поспать,

Ни белочки — выпросить крошек, ни птички — свистеть,
Ни доброго дворника — мусор прибрать на полу.
Великая грязь и пустая великая степь,
И выпитый кем-то фонтан каменеет в углу.

29. 9. 1999

Сергей ГЛУЗМАН

/ Леверкузен /

Геометр

— Посмотри, — сказал старик сидевшему перед ним мальчику. — Это точка. — Он взял остро отточенное тростниковое перо, обмакнул его в черную тушь и легко ткнул остриём в лист бумаги. На листе появилась маленькая, едва заметная точка.

Старик сидел в белой куфии, закрепленной на голове толстым игалем, сплетенным из конских волос, и длинной белой рубахе. Его кожа была как тонкий, высушенный временем пергамент, а глаза светлые, прозрачные, подернутые старческой слезой.

— Точка — это вход, — сказал он. — Она есть и ее нет.

— Почему её нет? — спросил мальчик. — Я вижу ее.

Мальчику было лет четырнадцать. Черты лица его были совсем детскими, как будто девичьими.

— Да, — сказал старик, чуть улыбнувшись. — Я тоже вижу ее, хотя уже хуже тебя. Но про каждый из существующих предметов можно что-то сказать. Помнишь сказку, где трое слепых пытались узнать, что такое слон. Один взял слона за хобот, другой за ногу, третий за хвост. И каждый говорил, что у него в руках и есть настоящий слон.

— Помню, — сказал мальчик.

Через овальное окно в зале медресе, где дети познают премудрости Корана, было видно небо и высокий голубой минарет.

— Про точку ничего сказать нельзя, — продолжал старик. — Кроме того, что она есть. Её нельзя описать. Ей ничего не принадлежит. У неё нет ни хобота, ни ног, ни хвоста.

— Да, — сказал мальчик. — Если бы у нее был хвост, она была бы буквой.

— Теперь проведем из этой точки луч, — продолжил старик и уверенной рукой провел из точки тонкую прямую линию.

— Луч уже есть, — сказал он. — Он имеет направление. Но его еще нельзя измерить, потому что он уходит в бесконечность. Поэтому

его тоже как бы нет. Ведь мы ничего не можем сказать о бесконечности.

— Почему? — возразил мальчик. — Бесконечность — это очень много.

— Очень много воинов у эмира, — сказал старик. — А звезд на небе еще больше.

— А есть что-то, чего больше, чем звезд на небе? — спросил мальчик.

— Да, — сказал старик. — Мыслей у Аллаха.

— На сколько мыслей Аллаха больше, чем звезд на небе? — спросил мальчик.

Старик усмехнулся.

— Мне нравится твой вопрос, — сказал он. — Потому что на него нельзя ответить. Мыслей у Аллаха бесконечность. Но эта бесконечность превращается в одно. В его волю. Одно же меньше, чем любое количество. Но в то же время больше. Потому что в нем есть все. Поэтому луч, уходящий в бесконечность, — это таинство. — Он помолчал немного, глядя на мальчика, затем продолжил: — Но сегодня нам не нужны тайны. Поэтому мы уничтожим тайну и сломаем луч, — с этими словами он загнул луч на пергаменте под прямым углом. Затем еще и еще. В результате на листе появился квадрат.

— А квадрат существует? — спросил мальчик.

— Да, — ответил старик. — Только он никуда не ведет.

С этими словами он разделил квадрат на два треугольника. Затем, не отрывая перо от пергамента, удвоил появившиеся фигуры, наложив их на первоначальные, но уже под иным углом, отчего возникла новая конструкция, похожая на сложную многоконечную звезду.

После этого он обмакнул калан в глиняный сосуд и, не задумываясь, повторил появившуюся звезду, частично наложив её на первую. Отчего конструкция ещё больше усложнилась, и тот первый луч, из которого выросло это странное асимметричное сооружение, окончательно потерялся в сложном переплетении линий.

Мальчик внимательно смотрел на сухую, бледную руку старика, которая двигалась легко и безупречно.

Старик же спокойно повторил многоугольную звезду с множеством перекрестов внутри вновь и вновь, накладывая ее под разными углами на изначальную конструкцию. В результате на пергаменте сложился странный узор, где при внимательном рассмотрении можно было увидеть какие-то и вовсе фантастические фигуры, которые не закладывались туда рукой творца, а прорастали самостоятельно, движимые неведомой силой геометрии.

Этот узор был похож на непроходимый лабиринт, который, будучи начертен на куске пергамента, удивительным образом приобрел объем

и получил собственное пространство. Он был замкнут в себе самом, но в то же время уходил в какую-то таинственную глубину.

— Это бесконечность? — спросил мальчик, глядя на свершившееся на бумаге чудо.

— Нет, — ответил старик. — Это ткань Вселенной. — А затем добавил задумчиво: — Это тупик.

Заснуть, чтобы проснуться

Эта история посвящена Атлантиде. Она была обнаружена в записках монаха Фомы Бальтасара, жившего в Риме в XI веке после рождества Христова.

Смиренный брат Фома состоял переводчиком и летописцем при Римском Папе Григории VII.

Фома Бальтасар писал, что Григорий VII считал папский сан данным ему самим Богом и оттого ставил себя выше всех европейских королей и императоров. «Папа настолько превосходит императора, — говорил Григорий VII, — насколько солнце превосходит луну».

Об этом Папе также известно, что он ввел для католических священников целибат — обет безбрачия — и отлучил от церкви своевольного германского короля Генриха IV.

Впоследствии, холодной зимой 1077г., король Генрих босой и в рубище явился к Папе в крепость Костелло в Италии, где тот, опасаясь мести взбунтовавшегося короля, прятался от германских солдат. Три дня и три ночи, в метель и стужу, стоя на коленях в снегу перед закрытыми воротами, король молил Папу вернуть его в лоно церкви. На четвертый день он был прощен.

Монах же Фома Бальтасар занимался в те времена подготовкой для римского первосвященника текстов греческих философов, необходимых для зарождающегося в те времена христианского богословия.

Так вот, в одном из трудов Платона прилежный монах обнаружил замечание о неведомой земле, исчезнувшей много веков назад. Фома был немало удивлен своей находкой. Правда, его поразила не столько сама таинственная земля, сколько то, что упоминание о ней приводилось безо всяких доказательств её существования, что на скрупулезного в вопросах науки Платона было совершенно не похоже.

Рассуждая о таинственной земле, Платон не ссылался ни на оставшиеся руины, пусть погребенные ныне под толстым слоем земли или воды, ни на загадочные тексты неведомого языка, ни даже на какой-нибудь исторический миф, наподобие троянского. Эта земля, или страна, не оставила после себя никаких следов. Что было крайне странно, так как это обстоятельство не давало Платону никаких оснований вообще догадаться о её существовании.

Углубившись в комментарии к тексту сделанные одним из учеников Платона, смиренный Фома обнаружил несколько имен жителей древних Афин, которые в то или иное время вели беседы с Платоном о таинственно исчезнувшей земле. Однако никаких подробностей этих рассказов не приводилось.

Заинтригованный этими обстоятельствами, Фома отправился в римский пантеон, стоявший ещё со времен языческого императора Адриана, в котором находилась папская библиотека.

Под каменными сводами мрачного здания он передал смотрителю библиотеки отцу Калистрату, принявшему обет молчания и говорившему только лишь во время молитвы, грамоту, в которой просил его подобрать греческие тексты с упоминанием таинственно исчезнувшей земли.

Калистрат принял прошение папского легата и на дощечке, лежавшей у него на столе, молча начертал срок — десять дней.

Через десять дней Фома явился снова и получил от молчальника Калистрата несколько свитков. Разобрав их, он с удивлением обнаружил, что и здесь прежняя история повторяется снова. Греки писали о неведомой земле, иной религии, прекрасных дворцах и страшной катастрофе, эту землю постигшей. Однако нигде упрямый Фома не смог обнаружить ни малейшего доказательства её существования. От этой земли не осталось ни камня, ни праха, ни пыли. Она имела условное название — Атлантида. Происходило это название, судя по всему, от имени греческого титана Атланта, поддерживавшего небесный свод на крайнем западе Земли, вблизи волшебного сада Гесперид. Впоследствии Атлант, взглянув в лицо страшной медузы Горгоны, был превращен в камень. Однако никакой связи исчезнувшей земли с окаменевшем Атлантом Фоме Бальтасару найти не удалось.

По окончании этих разбирательств, в покоях Папы Григория, излагая основы мироздания Платона, Фома смиренно поведал ему о своей находке — неизвестной земле, о которой говорили греки.

— Но самое главное, — тихо произнес Фома, поднимая глаза от пергаментов, — что человеческий разум не в состоянии поверить в существование таинственной земли, не имея о ней ни малейших сведений. Я думаю, это странные фантазии язычников.

Услышав это замечание Фомы, Папа удивленно поднял брови. А когда Фома смиренно смолк, он посмотрел на него проницательным взглядом и произнес с легкой укоризной:

— Уж не начитался ли ты, сын мой, Гераклита и не превратился ли в материалиста, который, подобно царскому судье, на каждое слово подсудимого требует вещественных доказательств?

От этого заявления Фома густо покраснел и опустил глаза.

Однако Папа молчал, очевидно, ожидая от монаха покаянных слов.

Фома понял это. Он угрюмо кашлянул в кулак и сказал, что в основе Мира лежит чудо творения. И он как христианин свято в это верит. Однако Божественное чудо и людские рассказы — это совершенно разные вещи. И он как истинный христианин верит только Богу, апостолам, святым и библейским пророкам. И более никому. А так как Платон лишь языческий философ, то прежде, чем принять любое его слово, надобно очень тщательно его взвесить и проверить.

Этими словами Папа остался доволен, и взгляд его стал добрым.

— Ты прав, сын мой, — сказал он Фоме. — Не могут малые и сирые судить о таинствах мира. Но знай, что сны человеческие часто открывают истину и позволяют узнать то, чего знать нельзя. Но они не оставляют после себя долговых расписок. И когда мы уснем навечно в этом мире, то проснемся в другом. Так что молись, сын мой, чтобы тот мир, в котором ты проснешься...

— Оказался раем, — поспешно произнес монах Фома Бальтасар, предвосхищая слова Папы.

— Нет, — возразил Папа со странной усмешкой. — Молись сначала о том, — продолжил он, — чтобы этот мир просто был. Так как нет страшнее участи проснуться там, где ничего нет. Возможно, это и есть ад, — затем Папа помолчал немного и добавил: — Я думаю, язычники увидели во сне гибель своего загробного мира. А затем сгинули и сами.

— Куда же? — хотел спросить дотошный Фома, но убоялся.

После этого разговора в палаццо Рикарди в Риме, где в XI веке располагалась папская резиденция, а сейчас стоит ресторан «Венеция», прошло почти тысячу лет. Однако люди до сих пор говорят о таинственной Атлантиде, которая исчезла, не оставив после себя никаких следов. И даже пытаются её искать. Ей-богу, странное занятие — искать чей-то сон.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

/ Мюнхен /

Вечерние стансы

Друг на друга похожие осенние вечера.
И церковный колокол, глотая жизни частицу,
Еле ворочает языком. И спать, вероятно, пора.
Вместо этого ищешь причин — почему не спится.

Подходящий случай подумать о чем-нибудь о простом.
Например, что не светит, но как-то исподволь греет
Ощущение сходства с другими. И только потом
Возникает мысль о различьях. Если успеет.

Эпоха, а попросту — время всех прибирает к рукам,
Кого — нахрапом, кого — славословьем, кого — измором.
На том, быть может, и держится, правда, с грехом пополам,
Равновесие быта и бытия, в котором

Даже тот, кому вроде бы незачем жить, живёт,
Потому что память упорядочивает живое
Неравномерное чередованье длиннот и пустот,
Ограждая место для одного, где бывали двое.

Ничего не бывает, что не оставляет следа.
И над прошлым суд, и о будущем пересуды
Не имеют какого-либо значенья, когда
За окном, то есть, за тысячу вёрст отсюда

То ли дождит, то ли очередной листопад,
То ли земля пытается вылезти из орбиты.
И старые песни приветствуют новый лад.
Очевидно, им надоело, что позабыты.

И нет преград. И, как говорится, броня крепка.
И танки панически, самоубийственно быстры,
Не желая лишаться лакомого куска.
И, в общем-то, скучно смотреть
на то, что вот-вот
возгорится из искры.

октябрь 1998
Мюнхен

Воспоминание о Гагре

...И было нам с тобой виденье:
Театр в начале всех начал,
Где шёл спектакль в сопровожденье
Павлиньих криков по ночам,
Где сквозь несвязность разговоров
Сквозила мысли простота,
Что мир — театр двоих актеров
Без режиссерского кнута,
Где недоигранные пьесы —
Какой ни приключись аврал —
Не представляют интереса
Для тех, кто их не доиграл,
Где странно, как счастливый случай,
Как лепесток поверх вина
Поныне длятся, не наскуча,
Павлиньи наши времена...

1999

Анна РЫ НИКОНОВА-ТАРШИС

/ Киль /

Сотни судей

(*диалоги в стиле Оскара Уайльда*)

1. Раны и гости

Рано, поздно.
— А! Здравствуйте! Уходите, впрочем. Нет, вернитесь.
— Уйти?
— Нет, да.
— Завтра прийти или вчера?
— Никогда.
— О, обязательно приду.

Вечер опустился и поднялся. Солнце осветилось, скрылось, засияло, как тень моя.
— Ваша тень? — он спрашивает себя.
А я ответил ему, промолчал. А она всё уходила и убегала, надоедая мне.
Зачем быть, или не быть, когда дома и так пусто, и эдак.
— Эх, — вздохнул, вскрикнул, заплакал. Вынес на себе все тяготы и кое-какие удовольствия вынес. Вся земля высохла, покрылась плодами разума, оттенками луны. Луна. Её острый диск, влиятельность.
— Я вливал себя в природу, я пытался.
— Но у вас вышло слишком хорошо, вы обмануты моим доверием?
— Доверием? Нет, конечно, именно, доверием.

Я ей так доверял, только ей, ни одному слову не верил. Я приносил ей ящериц: ослепительных! тусклых! Я приносил ей сыр! Я приносил ей стул!

Я носил вместо неё одежду, раздевал, можно сказать, душу, ломал камни.

Я опрокидывался наземь (уходил, уползал, плакал).

Я читал историю Христа (ел сыр). Я его проглатывал, как пищу. А она...

— Не выдержала?

— Да, она сумела, высмеяла всё вокруг, смеялась, как тоненькое животное. Знаете, чаще всего она плакала по утрам, чтоб проснуться, вновь проснуться.

Утро.

2. Кольцо гостей

— О, кольцо! Нет, газета.

Действительно, газета. А в газете нет кольца, одни гости вокруг.

— Ха-ха-ха! — веселю гостей.

Лампа разбилась.

Упала, расклеилась вовсе, навечно, склеивать незачем, но я склею.

Склеенная лампа, стою, смотрю на гостей. Ужас.

Одни гости! Нет хозяев! Весело!

Ха-ха-ха-ха! Весело до чего, жизнь уходит, А гости сидят. Я жену заставлю что-нибудь сказать, жены нет. Я сам что-нибудь скажу или промолчу, пусть гости, гости скажут: «картофель, капуста».

Ха, овощи!

Весело совершенно, картофель. Картофель. Слишком всё, не понимаю всё.

Не картофель, а я не понимаю ничего.

Понимаете? Всю комнату вы проговорили, картошка стала зайцем прыгать.

Я думаю, это я её заставил прыгать, остановил, гости спят по ночам, встают, ходят. Как я.

Вы у меня в гостях или это я что-то жую?

— Мой искренний ответ не существует.

— Не существует?

— Не существует, да. Я бы надел ваш костюм, но боюсь.

— Я хрупкий.

— Вот этого я и боюсь, Я смелый, отчаянно смелый. Костюмы хрупких людей пахнут патокой. Ведь вы мой друг?

— С этого момента.

— Я так не думал. Хрупкость около меня превращается, не выживает.

— Много раз не мог этого заметить.

— Я вам так благодарен, так себя чувствую.

— А вы не трудитесь, возделывать свой сад при гостях стыдно. Я рад. Ухожу от вас с радостью печальной, почти с отчаянием.

— Не надо печалей!

— Отвращения я не испытываю, испытываю печаль всюду, пытаю себя. Так до свиданья, не вечно ж разбрызгивать кругом себя слова, сушить людей.

— Да. Именно. Не буду провожать. Не забуду не проводить, не беспокойтесь, я умный, в самом деле. Спокойный.

— А вечером, как утром, всё георгины цветут.

— Всё георгины? Всё опадают и опадают?

— Все опадают, крутятся, вот как я, уходя, или, когда приходил. Я проходил мимо себя и задел ваше сердце.

— Утром опадают георгины... Как же это вы выжили?

— До завтра, мой милый. Ведь не увидимся (ведь).

3. При свете

О, если б при свете тьмы, убаюкивающей взрослых и рослых, я мог бы выглядеть!

Я такой маленький! Я залезаю на стол сутки. А на стул — часами.

Жизнь моя длинна, как сантиметр. О, если б при свете тьмы я светился!

Шевелился б на теле взрослых, как плавник! О, если б этого никогда не было (моей жизни)!

Жена моя не существует вне меня, бывает только в мечтах. Она такова! Ослепительно кругла! Велика! Быстро движется! Уходит!

Не возвращается целиком, дарит мне даже не часть себя, а бог знает что. Господи, при свете тьмы если б я выглядел!

— Милый.

— Кто там?

— Красавец, не погадать ли на твою судьбу при свете солнца?

— Что мне моя судьба? В пещере жить? Со львами? На ветке, с комарами? Под стулом, в паутине хотя бы, да, мечтаю в паутине — жить и быть. Я, знаете, еще не жил.

— Не жил, красавец?

— Да, жил.

— О чём, красавец, взор свой источаешь? Невинной жертвой, может, в память я проникну.

— Да-да, не надо. Мне не до этого. Я абсолютно гол. Ни мысли в черепе, ни волоска на теле. Я безобразен, вот счастье. Безобразен?

— Красавец, ты, как сокол, клюющий курицу в ветвях кустарника без листьев. Как лист упавший, подёрнутый росой и изморозью.

Красавец, не стану я гадать тебе судьбу.

— Судьбу... Смешное слово, жеманное. А я при свете тьмы мечтал о женщине своей.

Такой одинокой, жужжащей, как жук в цветке. Я надоедливых люблю, до страсти. А ты?

— Что тебе сказать, красавец. Забываю, о чём надо молчать.

— Молчать тебе не надо. Стой на месте и говори. Где женщина моя? Дорога ждёт меня?

— О, разве дорогой женщину заменишь.

— Ну, что ты! Говори, молчи!

— Да я не знаю. Вон, день уж опрокинулся на мир, и солнце выползло, сжигает соки листьев. Я пойду, мне бродить надо, красавец.

— И ты о солнце. Господи, кто мне напомнит то, о чём я думаю ежесекундно, тут же заваливая мысль мусором каким-то. Я с риском онеметь молчу при разговорах, чтоб не вспугнуть. Её.

При свете тьмы так быстро-быстро появляющуюся и уползающую при свете солнца.

О, женщина моя!

Пусть я бы жил во тьме только, во тьме, где ты!

— Так я пошла, красавец.

4. Земли наросты

Да, они покрывают землю. Холмы всякие, цветы. То покрывают, то оголяют. Короче говоря, уходят и приходят. Астры. Георгины.

Пионы, ромашки, лилии.

Осока, розы жёлтые, маленькие домики с плоской крышей. Школы, больницы, невысокие курганы.

Жуки покрывают землю, ручейки извиваются, то вдруг не текут, то снова щебечут, как скворцы.

Грустно.

Грустное зрелище.

Вся земля заросла, а мне и жить негде, живу. Живу к себе и от себя, над собой живу, больше негде.

А тучи проползают, как пароходы, задевая днищем голову, со скрежетом соскальзывая с невысокой моей головы.

— Высокая голова! Довыразились.

— Да нет, тучи. Тучи ползут, вот голову и задели. Дном по голове днём ударили.

— Вас надо бить. Чтобы искоренять недостатки, произросшие несмотря.

— А куда я смотрел? Смотрел себе и всё.

Что я мог сделать о себе такого, за что искоренять?

— Уничтожать. Попросту, мучить.

— Вам легко говорить, а мне мучаться. Дискуссировать бы...

— Да ну вас — я тут не при чём. При себе весь, целиком, весь при себе. Всё.

— Таких, как вы, я люблю.

(тут цветы и завяли)

А на земле происходило произрастание трав, всего многого, малого.

И не происходило произрастание в должной мере великого, но музыка играла. В походке звериной, как всегда, уверенность сквозила, просвечивала неуверенность в полёте птиц.

Чудом казалось кое-где произрастание трав, а кое-где — обычным делом.

То светлело, то темнело в окошке скворечника, моросил дождик.

— Дождь, подумать только. А мой зонтик унёс ручей.

——

...Почки лопнули, появились листья, настроение лопнуло — ничего не появилось, кроме дождя.

Но вот и зонтик пришёл, местами сухой.

Местами плоская земля вся покрылась отсутствием цветов. Зима.

«Зимою, о зиме, по зиме, по берегу зимы...»

— Доползём? — спрашиваю, отвечаю о чём-то.

— Выживем, — не спрашиваю, скандал ибо.

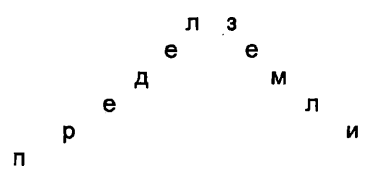
Ибо и зимой выживем.

— Безусловно нет.

Зимою белой всё нескладно.

— Ну, и ладно. Что белая борода, что чёрная борода, на всё говорю: «нет».

Ибо упрёк мой таинственно достигнет.



Предел земли — зима.

5. Тавтология любого

Люблю вопросов сладкозвучность, любви одноперстье, любого коня люблю гриву.

Конь — конь.

Сыр — сыр, камень. Как камень, взгляд коня.

Как пух, его копыта, пух — копыта.

Сияют тени, ребёнок плачет. А конь всё скачет, конь.

Коней четырехногих улыбки.

Боги и их улыбки, моё отсутствие в саду, я автор. Я автор этих ветвистых слов.

Я автор фраз, чья тень словами на бумагу падает, и бродит по бумаге тень.

Ребристых фраз создатель, о, я — артист! Мечтатель! Я мнительной мысли проводник оскорбительный.

Я — тления автор дуновения. Я пыль ослепительную создал.

(Разнузданность русалок — вот идеал немой.)

Но онемел, как лист упавший, внезапно онемел.

(Я — автор немоты, я повторяю ветер.)

Я — говорящих лиц местоименье.

Имею я себя в тиши души.

А кони скачут, приминая пыль.

Конь — конь.

Камень.

— Что делали вы вчера так тихо, что я вскочил?

— О, вчера я пел. Я хотел петь, но не стал. Я, как птица, пел.

— Вы на тропинке пенья задержались, вы высвободили руку, кричали, да?

— О, я кричал. Я долгий путь прошёл, гуляя по аллее. (Ведь я гулял.)

— В пустынном море ваш корабль так неспокоен.

— Я с берега за ним слежу системой взглядов.

Взгляды ли, гибель ли — я не боюсь.

— Вы так невелики.

— О, я велик, я маленьких вещей величье постиг, не упустил момента. Я привязался к жизни крепче, чем песок к прибою.

— Вы описатель?

— Да.

6. Бедные мысли

Цепочкою я их соединял. Соединю цепочкой и сижу. Мои мысли, следовательно, я — хозяин.

А на земле уж лето, день прохладный. Стаи книг, как косяки гусей на полках.

Умылся вновь, вытер полотенцем белым — шею.

Стаи книг, в них мысли — не мои.

Поел, проголодался, вновь поел. И чаю выпил, с сахаром-песком. Или не пил?

Пилил, может быть? Что я делал?

А солнце бархатною тушей гиппопотама улеглось в саду. И аромат сожжённых ароматов распространился до моей постели — цветы горят.

Что ж, это ж солнце.

А при луне — тягучие, как лунные павлины — деревьев силуэты сквозят.

Дрожат тропинки серой нетерпеливые извилины, покрытые чёрными платками.

И звук пощёчины, что Луна земле бросает, резонанс столь длительный находит в морской воде.

Трепыхаются силуэты трав белых, в ужасе.

И радостью звенит над городом походка лунатиков счастливых, покорённых луной, пятнами её света.

— Да. И космонавты, бывшие или не бывшие на луне — ничего в ней не испортили. Ходили, ходили, хотели понять. А луна качалась, вздрагивала, это ж луна.

— Откуда у вас такие сведения, несовместимые?

— Да всё оттуда. Газеты пишут дробно, восторженно, следы всего испещряя надписями.

— О, они беззвучны (газеты).

Я боязлив, сторонюсь веселья.

Я молод, брожу в одиночестве.

— Вы не теряете мыслей по пути? Вы не беднеете от их отсутствия? Вас посещают дамы с веером?

— Ох, дамы с веером, да, они. Они посещают не мои закоулки, что вы. Я не выношу веера, они так необычны, на них изображены такие сложные сюжеты.

— Ну и что, что сюжеты. Не сюжеты вовсе, сюжет несложен. Я не против дам, а мужчин я просто поклонник.

— Конечно, я сам не против. Просто я имею отсутствие времени. Неограниченное.

Всё, знаете, как-то так.

— Понятно. Объясняете, а всё некогда. Я могу это, я обо всём, я да. За вас.

— Спасибо. Ну что ж. Вот и корабль.

И солнце, и луна, и масса предметов приобрели усталые очертания вечера.

Мысли поникли на своих стеблях, воскреснут?

Надежда спряталась в гнездо, чтоб выковать в нём сон тускло-голубой, опальный в цвете. Но я и не спать могу.

Могу прилечь и не заснуть, а только представить себе, что сплю, брожу холмами мысленными, мечтаю.

— А я — фанатик сна. Считаю, мыслить — пошло.

— Ведь вы — мой друг, всё буду вам прощать.

Вон ночь уселась в кресло, сидит, как велика.

— И нам пора затихнуть.

7. Круговорот

Условность бытия, упадок. Падение буквально на букву слова. И ушиб.

Ха-ха! Ведь остроумие — такая грустная вещь.

А музыка пожатия руки, как дьявол сострадания — прекрасна.

Круговорот оттенков, его отсутствие в цветах.

(Егоот сутств иевцве тах)

О, тах! О, тах!

О, тарарах! О, скрежет мысли! В глупой голове найдёшь, бывало, или не найдёшь. Да и что, в самом деле. Хоть бритвой, хоть кремнем, всё равно проза похожа. Пропохожа за.

Засилье вечных истин, мгновенных.

Мгноистин.

И ласковый трепет листьев сентября, камней октябрьских трепет, снега трепетанье в декабре. (Гатре петанье.)

Январской стужи трепет. (Житрепет.)

Лепет застуженный милой в феврале.

Капли мартовских крыш, апреля капли, мая капли, стекающие в лужу, замёрзшую. И взрывы рождений листьев в июне, солнца бешенство (вое).

Июльская волна сухой печали, колыбели усыпленье, шелест в августе.

И снова трепет листьев сентября, отара-ра.

И вновь, и никогда пророки, как голубки, парами по земле шествуют, путешествуют.

А мы думаем, не думаем, надеемся, не надеемся.

Мы смелые люди, лылюди. Забыли.

Да, забыли.

8. Чудо Ипсихика

Спал Ипсихик и видел, значит, не спал.

Пророк этот был вымок, так как море гудело, слонялось, грозило ему. Сломался Ипсихик духом и телом, побрёл.

Куда его глаза глядели?

Туда и сюда. Туда и сюда. Слонялись его глаза по предметам духовным.

Вышел Ипсихик из себя и высох. Солнце отчаянно светило.

Да. Обмануло светило солнце Ипсихика, как встарь.

Старый стал Ипсихик молодой. Вышел из души и из тела вышел. Чудо совершилось.

Чудо!

Ипсихик вышел!

Сбежались все, рассредоточились. Около лица встали. Стоят, сидят. Ипсихик в море побрёл, море велико.

Обширно море умереть.

И закивали ему головами люди, согласные с ним.

Кивают, кивают, кое-кто отрицает это (етэ).

Забрёл Ипсихик, забыл себя. Весь погрузился.

9. Кости государства

Дети пришли в гости, одарили меня вниманием. Пытливое такое присутствие, ароматное.

Раскрыл им пачку чая — посмотрели.

Сыграл кое-что на фортепьяно, две пьески Моцарта, в нужном темпе, как требовалось.

Прослушали.

Рассказал им про себя, помолчали, дети — ведь это цветы.

Уколол одного — заплакал. Ха, живой.

Живые дети ко мне пришли, небывало! Я забегал, засуетился, сел — сижу. Молчу.

Пытаюсь тихо себя вести, как дети.

Нет. Невозможные дети! Сидят! Молчат! Грызут семечки!

Я их выгнал, что вы говорите? Это были не дети? Неужели гномы?

О, я несчастен.

В этой жизни, да и не в этой — ошибаюсь. Обнаруживаю себя не там, куда меня поставили, о.

Дети — одуванчики на моей шляпе. Я дунул — и они улетели, прилетели — сели.

Всё вижу, обожаю всё видеть одним глазом, единственное.

— А как вас понять?

— Смешно вы спрашиваете, я даже минуту смеялся, меня понять разве важно, нужно, великое явление?

Нет? Не великое? Вот и не надо понимать, понимайте в уголке, чёркайте, вычёркивайте, кричите на меня, я ж глухой.

— А?

— Глухой я.

— А, да-да. И я так думал, что вы это специально, для меня специально. Я работаю на насосной станции, я там не работаю, это я так, чтобы украсить разговор, скрасить беседу, украсть капельку вашего времени.

— В тишину вы хотите сказать? Украшать тишину стоит ли. Благороднее всегда молчать, это похоже на крик ночью, слыхали?

— Халя? Халя? Простите, я незнаком, но я с удовольствием, так Халя, где она? Я буду восприимчиво рад.

— Я тоже. Вы мне нравитесь, как бутон. У вас все слова слиплись, образуя или не образуя ваше сознание. Ведь вы сознательный?

— Простите, где Халя? Вы говорили, что я её знал когда-то.

— Хали нет. Она в вашем сознании заняла всю пустую площадь и близлежащие дома. Ведь вы доброжелательны.

— Нет-нет. Такие поводы меня расстраивают только несколько. Нет, так нет. На это и суда, как говорится, ведь вы говорили сейчас. Кое-что?

— Вы очень доброжелательны, я рад знакомству, дети вот приходили до вас, раньше вас, чаем угощал их.

— Чайник. А чтобы чаю выпить, так нет? Ха-ха-ха. Давайте, выпьем чаю. Угощайте, как бы это сказать, меня, ха-ха-ха. Вот-вот: «ха-ха-ха». Чаёк будет?

— Нет, чайка не будет. К сожалению, всё, что угодно.

— Отрицание? Качаете головой? Чай не любите? О, вы — молодой человек, сразу видно, пойду-ка я до дому, там теплее.

— Как знать, чем могу служить.

— Как знать, как знать, всего хорошего, привет.

Свистели птицы
рыбы
пели
выли
мотали головой (В углу)

Расцвёл тюльпан, посаженный в подшипник, засох скорее.

(Вот и это сказал
произнёс, что он засох)

Куст посажу на его место тесное.
И взойдёт полынь пахучая —
кустиками.

10. Терпение вокруг

Тщеславие и шестолюбие двигали мною, я обладал их свойствами, нет, не обладал, но имел.

Я был бел, как мел.

Шест мой был высок, я с ним носился.

Так как существовал. (Шест.)

В городе я жил, имел место, многие меня терпели.

— Это исповедь?

— Да, естественно, ведь я о себе.

Я одинок, но и близнецов у меня не было.

Не было и двойников, были.

Конечно, были, я забыл только — кто. Временные такие двойники, ненастоящие, местные.

Я всё среди местных рос, кругом росло что-то.

Привозили торф, солнце не всходило, не заходило, просто светило. А чаще всего светили тучи, мерно так не колыхаясь, только всё ниже опускаясь, тогда я бежал в магазин, смешно это даже. До слез смешно.

А на сундуке, на котором спал, вернее, играл комедию (I акт своей жизни) — там я спал, да.

Спал, как что-то развалившееся, ненужное, мечтал, чтоб.

Чтоб что-нибудь случилось.

В городе люди ищут все фантики, и я искал.

Всякое бывало, если б я жил. Но я и не пытался. А зачем?

Мороженое? Зачем? Украл деньги — купил. Отрава.

Выбросил через окно в подъезде.

А как скрипели лестницы!

Видел золото не своими глазами, такое вкрапление в граните. Коллекция была одна.

Украл. Хранил. Выбросил. Жизнь.

— А как вы рассматриваете вопрос?

— Вопрос зачем рассматривать.

— Чтобы понять, откуда это произошло, какая часть выкристаллизуется.

— Ах, да!

— Неужели вы не трудились понять?

— Да нет, трудился. Да и нет.

Сам преподавал полёт шмелей. Хорошо знал, учил скромно, настойчивым был. Да. Я никогда не увиливал. Полёт шмелей я знал, как свою вечную профессию.

— И что же осеребрило ваши виски?

— Где, как вы сказали?

— Посеребрили вы свои виски сами?

— Что вы. Я никогда не думал об этом.

— А я думал.

— Вам легче.

— Обязательно. Я вот хотел спросить также вас, как вам удалось не завоевать положения никакого, до крайности дойти, тунеядством заниматься.

— Да как удалось. Так вот и произошло. А что могу сказать. Ничего не могу. Молчу. Живу, не работаю. Ем чужой хлеб. Стыд глаза выедает. Да что, о чём я, вы не помните?

— Мне ли не запомнить? Вы говорили о себе.

— Да. Так я занялся думаньем, в переводе — безделье. Так и называется, смеются все. Хохочут. А я молчу, средств нет на разговоры. Силы должны быть, чтоб разговаривать, а я чужой хлеб ем.

— О.

— Да, к сожалению. Я, молча, это переношу.

Кричу, бывало, да всё в себя уходит, а наружу всё мысли, мысли прут. Я ж неумный. Мне так в школе вывели из себя. Полёт шмелей, говорят, и то не можете. Куда уж вам картошку чистить (я хотел у них картошку чистить). Выгнали, и не спросили — куда... Да.

— Ну что ж, справедливо. А вы не пробовали апробировать своё призвание?

— Пробовал.

— Не актуально?

— Не-да.

— Мне жаль вас искренней душой до мозга костей. Я б вам отдал не своё положение, но проблема: дети. Ведь вы не имеете детей?

— Да уж.

— Вот именно. А я имею. Вот ими могу поделиться, ха-ха. Так ваш выход?

— Попробую, что я, в самом деле, крот?

— О, вы не крот. Действительно, что стоит думать?

— О, сто́ит, я знаю, сто́ит.

11. Жалкий сонет

Сонет любви, похожий на жёлоб...
Воссияли небеса.
Произросло на них слово. (Частица.)
О, жест крыла!
О, месиво занятий. (Птица.)

12. Утки крест

Отголосок вопля лиственного кругом.
Скольжу походкой, я — рысь.
Колоколов заумность преследую шагами, чуткими, как перст.
Вдруг замечаю утки крест.

13. Пальма

Опали ресницы, слеза же сияет!

14. Эразм

Газет недвижимость. (Жимолость.)
Велики по размерам:
Поразм.
Порезм.
Порезум.

15. Ё

Я понимаю быт.
И бытиё.
— И бытиё, и остриё, копьё и колесница — всё понимаю.
— А гривы лошадей?
(Их гривы — как музыкальные пассажи.)
— Вы поёте.
— Даже. Вернее, пел когда-то, ещё до зари, меня ведь ждут.
— О, ухожу, иль нет. Ведь это всё равно.
— Вы — шут.
— Всего лишь остриё на жизни колпаке.

Заключение. Сотни судей

Сидим.
Муха пролетела.
Следим.
Следили, как муха пролетала, восхищались!

Сидим.
Процессия проходит мирная.
Следим, мерно глазами за процессией водим.
Проследили.

Сидим, пьём чай.
Идут.
Мы — к ним, они от нас. Мы к ним, они от нас.
Ужас, как набегались!
— Да, и не такое было.
— А что, а как, а зачем?
— Там, где мухи летают — там процессии ходят.
Я сам там был, пиво пил, пиво плохое, лошади крутят хвостами и мёрзнут — видел.
— Сотни судей?
— Сотни судей. Стоят, сидят. Сотни.

1969

Владимир ГУТКОВСКИЙ

/ Киев /

▪▪▪

Перекур окончен. И снова мало-помалу
на пространстве, заданном от заглавной буквы до точки,
неумело, косноязычно в меру — шаманю,
подворовывая у самого себя удачные строчки.

Лист — Великая Степь. Почти того же масштаба.
Горький ковыль под ногами. Ни одного культурного злака.
И только где-то там вдалеке грубая скифская баба,
Как мой языческий идол, торчит восклицательным знаком.

Это театр военных действий. Или проще — арена.
Род сумасшествия, почти добровольное иго.
Но завидовать вряд ли стоит упорству, с каким неизменно
скромный труженик пашет очередную книгу.

И орел в поднебесье, огибая ползучую тучку,
Обозревает окрестности равнодушно и зорко.
И, наверное, видит меня, одолевающего натужно
Бесконечную эту дорогу до горизонта.

▪▪▪

Опять наволокло
Какой-то низкой дряни.
Короткий день в стекло
Заглянет и отпрянет.

Деревья наугад
Пометив ранней порчей,
Холодный листопад
Не больно разговорчив.

И как ни сторонись,
Ни отирайся с края,
Но веер грязных брызг
Добьет и замарает.

Удушливый, как кляп,
Дурной и безъязыкий —
Переходной этап,
Неровный шов на стыке.

Когда ж прорежет сон
Рассвет подслеповатый
Под заурядный стон
Расстроенной кровати,

Взлетит за облака
Мелодия другая,
Чтоб виться там, пока
Земли не достигая.

▮▮▮

Еще один отсчет —
Листок календаря.
Куда-то увлечет,
Но, может быть, и зря.

Так шелест дальних крон
И шепот высших сфер
На миг озвучит сон —
Известный эфемер.

Предзимье. И с утра,
С темна и до темна
Зеленая трава
Беззвучна, но слышна.

Ее подмять не смог
За весь недолгий день
Тумана завиток,
Бесформенный, как лень.

И рядом, и вдали
С ним бесполезен спор

В пол-метре от земли,
Где лишь травы зазор.

Бредешь наискосок
И видишь — там и тут
То листья, то песок
По-рыбьи вслед плывут.

А после, погодя,
Почти перед концом —
Сличение дождя
С давнишним образцом.

Почувствуешь у скул
Касанья легкий след,
Неравномерный гул
И капель рикошет.

Похоже, что пора
Связующую нить,
Сегодня и вчера —
Разъять, отъединить.

Покуда дождь не стих.
Пока ночной наплыв
Не уравняет их,
Сокрыв и зачернив.

▮▮▮

Уходит слабый свет,
Свободный и бесплотный,
Сводя пейзаж на нет
Почти бесповоротно.

Сюжет, что столько раз
Висел на нитке тонкой,
Прокручен без прикрас
И выписан колонкой.

Когда любовь не в счет,
И, стало быть, и ревность,
Задумчиво влечет,
Допустим, за деревню.

Где, стоикам под стать,
Желания отсрочив,
Ты сможешь скоротать
Короткий сумрак ночи.

От пенья петухов,
Предутреннего лая
Писанием стихов
Себя не отделяя.

▮▮▮

О чем еще?
О сонной дреме,
Которая — почти под цвет —
Теряется в просторной кроне
И не заметна на просвет.

О том — как годы неуклонно
Бегут сплоченною гурьбой,
Зеленое скольженье склона
Вращает небо над собой.

О том — как тяжело и сиро
Молчит ночами дом пустой.
О том — как женщина красива —
Немолодою красотой.

▮▮▮

Особенных выгод не требуй —
И так ведь почти за гроши
Дается высокое небо,
Прижизненный трепет души.

На прибыль рассчитывать глупо —
Она обращается в прах,
Поскольку вселенского блуда
Уже всеобъемлющ размах.

А то, что причислил к потере,
Погасишь в течении дней
Усилием, свойственным вере,
В пределах, отведенных ей.

Олег ГУБАРЬ

/ Одесса /

Человек с улицы Тираспольской[1]

Кто как в нашей винарке пьет?

Лопоухий отмороженный, как я говорил, пьет без души, никак. То ли дело жизнерадостный рыжий курчавый очкарик, улыбчивый, губастый, любимец девочек-наливайщиц. Провинциальный сердцеед, а потому от сердца глотает, в промежутках между бульканьем — комплименты, сводки погоды и политики, располагающий треп. И — у стойки стоит. Как в ковбойских кино. И морда у него добрая, лошадиная — Юра сразу ухватил.

Есть порода молдаванских остроглазых жоржиков. Всегда нахохленные, головешка барахтается между ключицами, будто ее снизу, откуда-то из области желудка, дергают за проволочку. Изъясняются врастяжку, с придыханием, гнусаво. Конечности — как на шарнирах. Затаенно-агрессивные. Пьют — не выдувают — вдувают. С гримаской, имитируя отвращение. Не пьют — жалят. (Юра поскрипывает зубами, выводя вываливающийся в стопку раздвоенный вибрирующий язычок).

Эти — хлебают. Хлоп. Бах, сами понимаете, Иоганн Себастьян. З-з-з. Шмыг-шмыг. Муха Цэ-Цэ. Что-то такое промелькнуло. Остается одна паутина. Смахиваешь, смахиваешь с уха, а она саднит. Только и услышишь, как стакан прозвенит о стойку. Это — как выстрел из стартового пистолета. Ненатуральные натурщики. (Коваленко — какое-нибудь «тю» себе под нос, а вскоре увидишь на ветхом картоне ненасытных таких полупрозрачных трутней — в коротеньких пиджачках и кепчонках на босу ногу).

Обстоятельные. Эти неподвижные Рамзесы, занудливые, как вялотекущий алкоголизм. Этих пиши хоть до третьего тысячелетия до нашей эры. У Юры получаются одни огромные кулачищи, терзающие ви-

---

[1] Окончание. Начало в 2 (12)' 2000.

давшие виды казенные кружки. С этими «а поговорить?» Тем временем, как говаривал покойный профессор Файтельберг, в желудке активизируются жизнеутверждающие процессы всасывания.

Есть еще шумные, а особо — буйные. Перепутывание опасно. Сам Коваленко однозначно не типизируется. Синтетичен. Распознаваемость обусловлена наличием скрежета зубовного, его децибелльностью и хронологическим диапазоном звучания. Надо быть сапером.

Себя ваяет поразительно правдоподобно, уважительно-иронично, с аппетитом. Но, сколько помню, никогда — в момент проглатывания. Это — очень интимное. Поэтому и не скажу, как именно пьет, хотя пьем много и часто.

И хорошо. Не только в женщине должна быть хрестоматийная тайна, недосказанность, загадка. Все правильно, Юрий Андреевич.

Что-то плавится в закопченных, залапанных змеевиках винарки, что-то булькает, тихонько клокочет, разлагаясь на чистый алкоголь и не менее чистый кислород. Какой-то предначертанный процесс. Необратимый, как время. Из дрянной закваски при гуманной перегонке получается не только суррогат, но, случается, достойнейший продукт. Не место красит человека, а... Осторожно! Окрашенная блондинка!

Официанты приходят с годами.

Затравленность «альтфатерщиков». (Для иногородних: «Альтфатеры» — это такие гиппопотамистые зеленушные и импортные контейнеры для мусора. От лица, рыла, фэйса, хари, морды, «рожи лица» контролеров этих самых баков я как-то выдал: «Мне «Альтфатер» — альма матер»). В глубь винарки идти не решаются — робко присаживаются у самого выхода, стыдливо пряча под стол рабочие засаленные сумки — впрочем, очень удобные, практичные, изготавливаемые из непромокаемых забугорных мешков под сахар, с лоскутами выдранных из контекста экзотических маркировок.

Проглатывают обреченно. Иногда шушукнутся и — брысь, линяют. Сколько ни подслушивал — бесполезно. Раз одного разогрел-разговорил. Что-то он бубнил, невнятно, невыразительно, будто поскуливал. Не слушалось. Жалелось. Налил. Пирожок. Гривну — с собой. Ответное неуверенное виляние хвостом. Из всей его невнятицы запомнилось только повторяющееся, рефренное: «Холодрыга».

Юра рисует их с сумками и без, на лавочках и под оными, в подзаборье и дезабилье. Он же, бывает, ни с того, ни с сего, вдруг, начинает рассказывать «альтфатерщикам» о братьях Гонкур, о каком-нибудь Ма-

геллане, о детском зверинце Тура Хейердала, а то еще о Пикассо и Дали. Те пугаются. И так это бочком, по-крабьи, уползают под корягу.

Все мы выросли из Коваленковских груш.

Я этих живописных винарочников то и дело ношу ксерить — в офис, что в доме Либмана, где была центральная сберкасса. Там меня всегда обслуживает один терпеливый парень. Перебирает Юркины листики, листочки, картонки — изжеванные, ломкие, в пятнах, — хмурится, пожимает плечами. А позавчера не выдержал: «Я, — говорит, — вообще не считаю, что это рисунки».

Тут — хоть меня самого рисуй! — сделалось что-то такое, что я попятился, как те «альтфатерщики». Зажав в клешне какой-то вкусно-заветный клочок мира.

На улице Ленинградской ибн Петропавловской (Ленин — Петр, Петр Ленин, а?) объявилась новая точка. Меня туда Юра привел. Загончик малюсенький, шиферный, как раздевалка на пляже. Хозяйка чистоплотная, улыбчивая, любезная, лет под полтинник, в веселеньком развевающемся халатике — бедра гладкие, плотные, загорелые. Даже без аппетита слюну сглотнешь. Съедобная. Стакашки округлые, чистенькие, благородные. А самогончик удивительно хорош, жгуч, прян, пронзителен.

На всех завалинках — Юркины типы. Одна: «Пьете, детки, а мамке пожалели налить». Плечистый бородач, похожий на Параджанова — Юре: «Привет!.. Художник!..» Коваленко лениво салютует (этот его характерный жест — выпяченная ладонь: не «хайль!», а «погоди!», пальцы предупредительно растопырены).

Под окошечком наливайки — изумительно крахмальная кошечка, обездвиженная, на табуреточке развалилась. Я говорю:

— Видишь, тебя народ знает. Ты народный... артист.

Он:

— Сколько она выпила?

Любовно оглядывает кошенцию. Остальное — побоку.

...Региональная алкоголическая общественность представлена здесь, помимо «Параджанова» и двух-трех «мамок», спившимся начальником СМУ, опухшим экс-киносценаристом и корявым типчиком неопределенного рода занятий. Беседа протекает.

Запомнилось, что бывший начальник СМУ «сдал бабу под ключ». Фамилия киношника была Непрухис. Как бывший геолог, я что-то плел о «карсте по культуре», а в ответ на все реплики «Параджанова» провозглашал, что то речь не мальчика, но мужа... этого мальчика.

Потом на противоположной стороне Петровско-Павловской показалась фигура знаменитого ВОЗВРАЩЕНЦА Геры. Он прославился тем, что вернулся из далекого забугорья после пятилетнего отсутствия. Не смог без Староконного. Приваландался с деньжищами, чтоб только здесь их просадить. И просадил, молодец. Что теперь вырастет?

Юра издевательски что-то плетет.

— Чего ты меня грузишь, — возмущаюсь.

Хохотнул:

— А ты не стой под грузом, и стрелой — за бухлом.

Ритуальное посещение злачного места. Плюс — ритуальные услуги.

Мы разминаемся красненьким, и вдруг приходит просветление. В образе ослепительного Юрия Андреевича. Винарка ахнула и задохнулась. Надо было видеть этот «клубовский пиджак», этот аристократический джемпер, стрелочницы-штанины над искрящимися семафорами штиблет. Торжественная и вместе ерническая ухмылка брачующегося. Исполняется впервые. Сидящим в первом ряду, доплатить по 50 коп.

В кулачище 20 (!) гривен. Уставился:

— Будем выбирать?!

— Между покоем и величием?

Коваленко приторачивает ладонь к ушной раковине:

— А-а?

Он и в самом деле неважно слышит. Особенно когда не хочет слышать. Но зачем портить праздник хорошему человеку.

— Пузырь перцовки. Балтской. Она едкая.

Юра оживляется. И заказывает еще три хот-дога — этой механизированной кулинарной подлости.

А вышивал он на даровой раздаче слонов по поводу какого-то предвыборного шоу. Копійчиной розжився. И шаржи на президиумных мордачей накатал смачные. Паясничал до полного пароксизма.

(Моему Федьке было два с половинкой года, когда он нежно выпалил, завидев Юру с бутылкой перцовки: «О, водка!»)

Выпили. Добавили. И давай всех по очереди жалеть. Всех лопоухих волчков-старичков, отвертевшихся перед чьим-нибудь любознательным взором, заржавевших, уже не центрующихся, изможденных. Бешеных жалели, молдаванских, слободских, фонтанских. Дебила Дядя-Дай-Десять-Копеек, строгого и гнусного черта, который пристает ко всем с историей бригады торпедных катеров в Кенигсберге, Штрауба-

младшего, болтливого маримана, сына футболиста из легенды, молчаливого и рассудительного вышибалу Олега, который вдруг тоскует и плачет. Вдвоем жалели, без Юры. Юра жалостливо рисовал.

Ах, Саша, дорогой мой. Это его жизнеутверждающее: «Ебнем по 100 грамм?!» Без уточнения, сколько раз мы займемся этим водкоебательством.

Саша всерьез думает, что мы особенные, что мы бежим эстафету, что надо непременно кому-то что-то всучить в руки, приобщить непосредственным касанием. «Спаси родных, живущих в скорлупе и горько дорожащих этим раем...» Город перманентно превращается в культурный слой, как стареющий и дряхлеющий ребенок, со своими датирующими окаменелостями. Дорожу палеонтологическими друзьями. Тысячу раз твердили, что скорлупа — хорошо. Все отскакивает. А увидишь со стороны старую добрую Тортиллу, так и ужаснешься ее пруду. Покой или величие? Проживать vit'y или формировать? Юра глух. Юра малюет. Делает «подзорную трубу» — пальцами, ладонью, вместо дули (фиги?), всматривается. Глаза блеклые, только гневные красные прожилки как бы вспыхивают.

Сам не свой. Без этой бесцветной джинсовой куртки, порыжевших бульбовидных джинсов, расшлепанных кроссовок и засаленного свитера крупной старой вязки. Персонаж без подмалевки, без «задника».

Приходит Андрей Коваленко, привычно наблюдает Юру под *chauffe*. Убывают на Тираспольскую тихо-мирно. Но перед уходом Юра с театральной яростью распихивает мокрые хот-доги по карманам. Чтоб мы не усомнились.

Так кто же в нем сомневался... Завтра бомжа сыграет: себя ведь тоже надо пожалеть. Хоть иногда.

В расход не только вводят, но и выводят.

Пить надо с умом, с честью и совестью.

Юра, портретируя: «Лучше быть красивой, чем похожей». Д'Аблаикур говорил в таких случаях: «Вот какой ты будешь по воскресении из мертвых».

Если и дальше так ПОЙДЕТ, попробуй потом, похмелись!

Юра рассказывает свои ЖЗЛовские истории «винарчанам» в адаптированном виде, Но и они, бывает, воспринимаются неприязненно, вызывая казуистические возражения и неуместные подозрения. Я что-то долго не мог взять в толк, отчего даровое акынство смущает подворняжьи отзывчивый «человеческий материал». Прозрение пришло при следующих обстоятельствах.

Мой добрый друг Мишка Пойзнер — доктор, «акадэмик», гениальный бытописатель, но, главное, спиртовладелец, — как-то доставил дежурную фляжку цэ два о пять о аш. То есть не аш, а аж целый флакон, «склянку темного стекла» и т.п. визуальные кружева. Юра этот состав тоже ценит. Вот мы им и злоупотребили в нашей винарке.

Тут-то на хвост разомлевшим и подобревшим упал один сомнительный хирург — я запомнил бегающие глазки и фетровую шляпу в разводах. Да, так вот он, покушаясь на высокоградусную влагу, напел несколько вполне правдоподобных историй — о том, как служил фронтовым хирургом, как анестезировал спиртом — пациентов и особенно себя. Рефрен был такой, что хирург и спирт, как любящие голубые, как сливающиеся небо и море и т.п. Короче говоря, такая феерическая медитация в затхлом полуподземном лежбище.

Врал он вдохновенно, безусловно веруя в только что сымпровизированное. Потом с ученым видом знатока интересовался нашими диагнозами и эпигнозами. Я вякнул что-то о поражении на уровне такого-то нумерованного позвонка, возведя истинную цифру в квадрат. Он понимающе кивал своим мочевидным фетром, людоедски расправившись с нашим животворным НЗ. Юре тоже было уже неплохо, и мы не кусались. (Ах, раскрутить меня нетрудно. Я сам раскручиваться рад!) И вдруг я отчетливо понял, в чем источник недоверия к любым винарочным монологам.

У Хирурга просто НЕ БЫЛО СВОЕЙ КРАСИВОЙ ИСТОРИИ. И он взял ее напрокат. Может быть, тот, подлинный, врач его лечил или оперировал? Рассказанные истории не атрибутируются. Это как раз то слово, которое не воробей, твою М.

Вон сидит выпивающая бабушка — она и вправду нянчит внука, — но ей надо кому-то об этом рассказывать. Она проглатывает свою сотку, голодно озирается. Но слушателя нет. Кому это интересно. Через полторы недели ее «завалят» в одном веселеньком дворике на Преображенской, чтобы выдернуть из перекошенного рта золотые коронки. И она так толком и не успеет никому ничего рассказать...

Хрестоматийные цыганские истории — пара-тройка сюжетов, наперечет. А я когда-то воображал, что в забегаловках можно услышать что-нибудь в духе Писемского, Лескова и Левитова. Варианты жалостливого городского фольклора — как версии «Дочери (сына) прокурора». Навоз, торф, фекалии менее универсальны.

Начитанный Коваленко мог бы стать идеальным поставщиком сюжетов (не исключено, что так оно и получилось, и Юрины беллетризованные байки давно плагиатизированы), но его разноцветье, арсенал красивостей вызывают инстинктивный страх. Юра прекрасно сознает этот провокаторский талант, но расходует эрудицию. Чтобы перечили, стучали языками, напрягали извилины, гневно жестикулировали. Потому-то его типажи неуемно разговорчивы, вздыблены, взъерошены, оскалены. Лошадь надо писать «на дыбах».

И тогда эти заплывшие глазенки оживляются маячным мерцанием. Какое-то томительное просыпание. Удивление. «Полинезия?!» «Урарту?!» «Бэйчлорз-уок?!» Или хотя бы Бэйкер-стрит...

Жалость — единственная вытяжка. Никаких других экстрактов из нас, бесполезных.

— Эти коты с петухами, — я икнул, — кто, хы-ыть, знает. Может, у него с ними это, ну, общность интересов там, духовная связь.

А этот кадр, рупь двадцать, хромей меня, тактично внимает. Я говорю:

— Ты чего же под крутую тачку сиганул? Только честно.

И он мне, представляете, с детским таким недоумением:

— Как это зачем? Я этому козлу неприятности хотел доставить.

Доставил. Со штырями в берцовой шкандыбает. Панфиловец.

Ее и их, жалостливых, можно назвать на японский манер: Коняна Скаку. Как я болею вами, рибули мои хмыревидные. Сухие и сладкие, как подлинный урюк.

«В сем мире я поругана была.
На топчане распята. В морду бита.
И все ж — размах орлиного крыла
Меж рук, воздетых прямо от корыта».

Надменные — ушами винарочников — ликбезные речи вознаграждаются не столько аплодисментами. Но тут объявляется какая-нибудь достойная Коняна, мордашка на курьих ножках, чешет на пулеметы в полный рост, разевает испещренную осколочными шрамами амбразуру, твою М. Ах же мы, захребетники, полупьяные хитрецы. Бестелесные телохранительницы. Хотя, как сказал Шамфор еще в день рождения Одессы, у них на лбу написано: «Оставь надежду, всяк ТУДА входящий».

Девушка с веслом лучше девушки с помелом.

Женщина присутствует в нас постоянно — как межреберная невралгия.

...Жизнь — это форма. (Форма бутылки?). Какой смысл формы? Главное все-таки содержание (содержимое?). Хотя придание формы выгодно репрезентует содержимое. Которое, на самом деле, купаж — напиток с неопределенным вкусом, ароматом, градусностью и проч. Такой букет из багульника, лотосов и джейраньей травки. Каждый вынюхивает свое. И безнадежно смакует. Кривится, выплевывает, бурчит. Недостает отчетливости. Но будь она при дегустации — это плохой признак, нарушение баланса неопределенности. Бесчисленность вкусовых рецепторов, отсутствие универсального дегустатора.

Поэтому все и недовольны.

Форма определяет содержание лишь тогда, когда сосуд — копилка.

Поскольку абсолютные величины добра и зла на весах истории уравновешиваются, постольку может быть выведен закон — наподобие закона сохранения и превращения энергии.

Это можно истолковать очень наглядно. Стоит тебе совершить малейший хороший поступок, как он моментально откликнется равноценным хулиганством, скотоложеством, мелким воровством и пр. Другими словами, добро всегда наказуемо. А карикатурная Шапокляк — невероятно мудрая пожилая дама. Хорошими делами прославиться нельзя.

Вот и правильно: «Лучше бездействие действию предпочесть».

Вот они — рассыпаны по окрестным полянкам-столикам, как подосиновики. И очень смачно бездействуют.

Согласно закону Ньютона, действие равно противоправному действию. А согласно закону Архимеда, соленых огурцов в природе не может быть никогда. Потому что их выталкивает из бочки.

Что это? Лирический дневник? Он затянулся, как гнусная вирусная инфекция. В результате — макропен, лазолван и прочая холера, триж-

ды в день, стоимостью во всю повышенную (на пять гривен) пенсию. И никакого (желательно?) алкоголя.

Тоска. И вдумчивое чтение. Пневмон Бронхитович того стоит. Выхватил у Довлатова: «Я работаю машинисткой. Катя ходит в школу. Район сравнительно безопасный. Хозяин дома — симпатичный пожилой американец. Его зовут Эндрью Коваленко...»

И еще: «Когда-то мы были с ним очень дружны (с Фернаном Леже, художником, из нормандских крестьян, на исходе лет — коммунистом — О.Г.). Потом я дружила с его вдовой. Рассказала ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф. Достала эту куртку и протянула мне. Она говорила, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда...»

Оказывается, мы с ЮКом не пьяницы, а энтузиасты.

— Форсаж!
— Есть форсаж!
— Кураж!
А вот есть ли кураж...

Еще одна новая точка — напротив старой новой. Все там же, на Петровско-Ленинградской. Многоточие какое-то.

На периферии Староконного — глазеем, вынюхиваем, но не покупаем. А то получится СПИД. Синдром приобретенного и доставленного домой. Хотя это мелкая ложь. Просто денег не было. Две гривны — на самогон. А на антикварную фурнитуру не хватило.

Ненормативная лексика здесь — норма, то есть опера. Многоярусная. «Третий этаж. И четвертый. И пятый. Вот и последний, пожаром объятый». Это у Михайлика, по-моему, была такая музыкальная фраза: охуел до полного опизденения.

Юра Коваленко тоже поэт, но в этом отношении незатейлив и старомоден. Оперные реплики, как правило, односложны, понятны, близки и дороги каждому и всякому. Так и говорит: «Не выебывайся». И сам не выходит за рамки классической ненормативной нормы.

Во всем остальном конфронтация органичная форма самоутверждения. Но посторонних выебываний не приемлет. «Россияне в Чечне выебываются» и т.п. Вот он — на армейском фото — себя под Стали-

ным чистит. Разгильдяйский, расхлябанный мужичонка в гимнастерке с лычками. Руки в карманах галифе. Хотя ухмыляется еще в полгубы. Отец народов нависает — на трибуне, под многобунчужным знаменем. Отутюженный белый китель от Кардена. Но — ни ордена, одна скромная геройская звездочка. Статный, белолицый, накрахмаленный и одновременно подрумяненный кумачом. Знал сержант свое дело. И еще кадр. Тот же разбитной солдатик, оседлавший стереотипного дворцового (геральдического?) льва. Воспарившая десница, имитирующая рукопожатие. Но улыбка еще улыбка, а не ухмылка. Распахнутая, расхристанная, распоясанная. На обороте: «Нагорный Карабах, октябрь 1955 г.». В одном из домашних сортиров Степанакерта подтирались Северяниным. Юра присел и удивился. Попросил — отдали. Хранит. Ходят слухи, и к Ленину привязан. А чего? Это же — как первая любовь.

Есть такие дома. Лоснящиеся. Залапанные. С запахом липкости и кислятины. Окатанные. Как старые героические коты. Но с каким-то здоровым бодяжным брожением. Булькающие. Хихикающие. Шумно почесывающиеся и отрыгивающие. Стоически-похуические, как караван-сараи. Что-то вроде геронтофилической притягательности. Очарование руин. «Жизнь везде» или «Везде жизнь», не припомню имя картинки.

И надо чесаться, пока есть что чесать!

А потом служивого завербовали на стройки народного хозяйства. Это почти что «на химию». На шахты Донбасса. «Этот вербовщик меня просто загипнотизировал», — кается Коваленко. Подъемные выплачивались. И на дембель чуть раньше отпускали. Короче говоря, купился. После решил бочком по краешку проскочить — не вышло. В Грековке не восстанавливали. Пришлось пилить в какую-то Макеевку — авансы возвращать, открепляться. Хорошо, там чиновник смышленый попался: «Ну, если художником можешь стать...» Отпустил.

А что? Я «талмуды» тех лет просматривал, так только в одной Черниговской области насчитал 19 знатных Коваленко — передовиков производства. Чем мой хуже?! Видно, опять Мария Ивановна в люды выпхала. Получилось, как с Ленским. Нереализованная многовариантность. Поэтико-героическая вместо прозаической. Обидно за прозу. А то воссоздал бы пунктирно и этот особый путь. Намалевал бы заслуженного проходчика или метростроевца Ю. А. Коваленко, делегата XXII съезда, беседующего с орденоносной дояркой Дояркой.

Молчаливая и незнакомая — она никакая. А заговорила — изнутри осветилась, фонариком-жучком, по-теплому так. Согревающее обаяние. Я ей вдогонку почти: «Вы как тот запыленный светофор. Стоишь, переминаешься с ноги на ногу, не знаешь, идти — не идти. А стали бормотать — идти хочется. Зебра какая-то проявилась». Ей понравилось. (Наташа Веселаго. Экс-аристократка, мабуть.)

А вот — Юркина винарочная грация. Патлы рыжие. Губы негритянские — вывернулись, лексическую «норму» выплевывая. Глазки с пейзажными красками — зеленью и синевой. Помолчала бы, пожалуй...

А тут еще один разболтался.

— Талант это просто. Это открытие в области миросозерцания. Ощущение свежести от соприкосновения со свидетельствами этого инновационного наблюдения. Это как подарок — тоже несколько мгновений счастья. Вот и все. Вот и все.

Глотнул.

— Я знаю одну способную попрыгунью. Как бы это сформулировать поточнее... Поверхностный талант? Талант на пуантах? Талант вприпрыжку? Да, именно так — вприпрыжку. Это не «она везде и она нигде», это не похоже на Незнайку с тубой и утюгом холодным. Это ненасытность, всеядность интуитивной потенции. Меня раздражала эта попрыгучесть. Мне не по вкусу типы неглубокие, плоскодонные.

Глотнул.

— Но потом я стал подозревать, что одномерный талант тошнотворен. Да, да, возражения принимаются, но я о другом. Я говорю о том, что распорядительство собственным талантом — это проблематика прав человека. (Юра подшучивает над Аллой: «Моя тайная душеприказчица»). Потому что талант, по определению, это золотой запас. Можно тратить его разумно, прагматично, а можно транжирить, но с удовольствием. В этом все дело. В этом все дело.

Глотнул.

— Одно дело — потенциал, а другое — уровень публичности. То есть я хочу сказать, что бывают и незадекларированые таланты, включая Скупых Рыцарей и этих самых попрыгунчиков, не оставивших следа. Прошел дождик — славно. Простучал по листам. Потом — солнышко, подсохло. Тоже прелестно.

Глотнул.

— Хорошо даже — когда он лежит на полочке. Молча и наизготовку. Всегда можешь взять, попользоваться. В результате талантик может быть израсходован или приумножен. Никогда не знаешь наперед. Тем более — бывают скоропортящиеся: только откупори — плесень. Да и демонстрировать, случается, себе дороже. Потому что такая экс-

клюзивная собственность — и есть источник раздражения. Я это понял и успокоился. Успокоился.

Глотнул.

— Здесь неосознанно резюмированная идея всеобщего и полного неравенства. Некто делил по произволу. И разделил одаренных. На имущих и неимущих. Откуда — перманентная навязчивая идея интеллектуальной и дарообладательной уравниловки. Стало быть, раз я не уполномочен перераспределить ДАР, то, по крайней мере, имею возможность хотя бы контролировать его расход. Скажем, диктовать распорядок вложения, получения дивидендов, социальное резонирование и т.д. Вот повод отречься от любого, самого блистательного, дара. Потому что дар всегда односторонний, бескорыстный, данный неизвестно за что и неизвестно зачем. Какой же это... (следует стандартное ненормативное словосочетание) ...дар, если от тебя требуют сатисфакции?! Да заберите его, ё, в, м., взад. В обмен на покой и волю. Или хотя бы — на одно второе...

Глотать было нечего.

К монологу прислушивалась одна кудрявая дылда, которую я както окрестил Косой Саженью. В самом деле, вечно бухая и страшная замарашка.

Вчера. На Староконном.

— Так Валя умерла! У нее, оказывается, был сахар...

— Вот гнида! Сахар был, а брагу так и не поставила!..

Текущий день.

Бота был типом прямо-таки мистическим. Не знаю наверное, отчего он так назывался. Может, это Боря Тарасов какой-нибудь. А может, просто-напросто Болтун, Бормотун, Балаболка или — знаток фени. Но так его все окликали. Бота выделялся долговязой худобой, изогнутой наподобие крючка старорежимной вешалки, навершием какового служила вязаная шапочка, частично вывернутая наизнанку. Такие головные уборы моя подруга Оля Круглая называет «головка члена». И этот полусогнутый Бота действительно здорово смахивал на полный боекомплект, причем телесного цвета шапочка скорее походила на частично развернутый презерватив.

Но этот членообразный Бота, словно бы нарочно, дарил меня все более ошеломляющими выходками. Раз притащился в аутентичных послевоенных ботах с трогательными застежками-лесенками. То продал

мне за бесценок настоящее коровье ботало — патинированный латунный параллелепипед стереометрии XIX века. Дребезжало оно сухо и печально, как выплакавшая глаза старушонка. Так потрафлял непредсказуемо и всегда вовремя.

Я не знал, что о нем и думать. Бота ходил расхристанный, как бы неопрятный, хотя и умытый. Со всеми был запанибрата. Вечно хрипло хохотал-хлюпал. Всегда хотелось, чтоб он откашлялся. И этот заржавленный крючок как-то наповал сразил меня цитатой из Минаева, своевременно отпущенной по поводу дежурного высокоумного спора.

Так пощадите, ради Бога,
Народ вы, русские умы!..
Ему есть нечего, а мы
Кричим, что пьет он очень много.

Последнюю строчку Бота выдал в собственной редакции: «Твердим, что пьет он слишком много». Зато звучало современней.

Высокочтимая публика отреагировала живо, приписывая рифмованный афоризм телесноцветной шапочке. Мне показалось тогда, что Бота паясничает неспроста: уровень моей публичности (тот же «ящик Пандоры» — ТВ) прискорбно высок. Отчасти так оно и было. Но это не столь важно. Важно, что он открывался постепенно и притом с самой неожиданной стороны. Так, о ЮКе он говорил, что тот ЗЛОХУДОЖНАЯ ДУША. И говоря это, сам носил рожу исключительного проходимца. С легкостью пропускал на шару, но мозги имел самые подвижные — то поддакивал, то ершился и перечил, стараясь сохранить лицо под гнусной шапчонкой. Завидев какого-нибудь живописца третьей руки, играющего Лотрека (а эти ребята кучковались тут традиционно, в окрестностях альма матер), он с назидательностью комментатора пляжного радиоузла трагически рокотал:

— Кто там в малиновом берете?!.

— Кстати, — прерывал я диктора, — ты никогда не задумывался, почему не только берет, но и звон малиновый тоже?

Бота выкатывал глаза:

— Ну, ты даешь... художник.

Он, как другие, как, скажем, «руководитель винарки» Олег Борисович, причислял меня к этакой богеме с расплывчатым званием.

— Ты пойми, — Бота продолжал истово таращиться, — его хоть в бархатный берет наряди и посади ботать с послом испанским — все равно козел. А одноцветность потому, что он малиновый мудазвон! Понял?!

— А Юра?..

Я как-то догадывался, что он угадывает в ЮКе комедианта: одаренного, но именно комедианта.

— Юра?.. Нет... Этот хуже. Не мудак, но хуже.

— Почему?

Бота зачем-то посмотрел в тарелку, где робко возлежала вяленая рыба второй свежести. Рыба глядела на нас как-то апатично и недоуменно.

— Понимаешь, — он перешел почти на шепот и вдруг сделался самим собой, просто опустившимся полуинтеллигентом, — у нас принято все списывать на Судьбу. На такую матерую бабищу, которая тебя сгребла в охапку и не отпускает, и на которую роптать грех...

— Как на жену?

Бота не слушал. Он еще раз окунул глаза в тарелку:

— Вот видишь, — ухватил обкусанными ногтями апатичную рыбину за хвост, — она лежит, а я сижу тут потому, что у нас судьба такая. А твой художник... он фискалит за нами. Художественно фискалит...

Бота сделал паузу:

— А ты... Ты фискалишь за фискалом.

Он радостно расклокотался, дивясь извлеченной из нутра проницательности.

Пришлось уточнить:

— Стало быть, и я злохудожная душа...

Бота задумался, и было видно, что ужаснулся удуманному. Но заставил себя раскудахтаться:

— А ты, выходит, еще плоше... Зато радуйся, что хотя бы не мудак!

Вот еще БОТАЛОГРАФИЯ.

Вбегает. Запыхавшись:

— О! Ты все вынюхиваешь людей?! А я пока проконьячился весь. На шару. Там презентация банабакских коньяков была, на Садовой.

— Армянских, что ли?

— Ну да. А башлей каких стоят! Ни Боже мой!..

— Знать Судьба твоя, Бота, такая — шарашить.

Он вспомнил свой «Монолог за Судьбу» и ухмыльнулся.

— Ты хоть знаешь, — говорю, — что такое НА ШАРУ?

Лыбится:

— На шару, — клокочет, — это... Пикассо, понял?

Похихикали. Потом ему давай растолковывать, что от «шаромыжки» и «шаромыжника», вплоть до «мон шер ами»... Бота внимательно выслушал и обиделся. Решил, что я его укоряю. Пришлось взять еще по сотке ядовито-желтой балтской перцовки с прицепом, рассказать коллеге про «шан-тра-па» и в качестве иллюстрации исполнить фрагмент каватины Алеко. Причем благодарные слушатели пригласили к рукоплесканию священнодействующих за стойкой Людочку и Женечку. А Бота в который раз удивил меня вполне по тексту и в меру музыкаль-

но отфильтрованным сквозь перегарное сито: «Браво... браво... браво, мсье Трике! Куплет ваш превосходен...»

«Я изучаю жизнь!» Рефрен присутствия Юры на свете. Впитывать, впитывать, впитывать. Растворяться в пространстве, чтобы время от времени обретать все новую и новую форму.

Вероятно, поэтому Коваленко не умеет фиксировать в себе нормативную привязанность к людям. Их отпугивает эта изменчивость, этот полиморфизм и изоморфизм. Его (предположительно, конечно!) статичность знакомцев, их предсказуемость, однонаправленность. Потому люди текут вокруг Юры, и он любит погружаться в многоликость базаров и забегаловок. Где-то даже людоедская алчность. Галереи физий. Если однофигурные композиции — сериями. Чаще — простотаки кишащие лицами террариумы.

Другой ракурс отчуждения. Только ли прилукская недоверчивость? Людмила Александровна Коваленко (урожденная Луценко) резюмирует по этому поводу:

— Его не тянуло к сближению с людьми. Он не верил в их искренность. Говоря точнее, он не видел, не ощущал этой искренности, а потому был недоверчив. Хотя когда-то у него были вполне дружеские отношения с В. Г. Власовым, К. К. Силиным, А. И. Лозой. Но и эти немногочисленные товарищеские отношения впоследствии разрушились. Он жил наперекор всему, назло всему неискреннему, целиком пропитанному ханжеством, двуличному, как ему казалось, миру. Его единственным другом я считаю Аллу Крикун. Она такой же крепкий орешек.

(Я тогда вот о чем подумал. Власов, Силин, Лоза, да и Коваленко — какие все МУСКУЛИСТЫЕ ФАМИЛИИ).

Если бывают влюбленные в жизнь мизантропы, то один из них — Юра Коваленко.

Приходишь в винарку точно так же, как мысль приходит в голову: непредсказуемо.

А ступенек-то ровно десять. Тоже глубина погружения.

Возлежащие на грунте рыбины и «рибули» хлопают плавниками, шлепают губами. Седативное аквариумное деловомудие.

— Добрый вечер, мамочка!

— О! Серенький! Как всегда, на месте!

— Другое дело, милый мой, что существует категория ментов-педерастов...

— Вот раньше были студенческие пирожки по четыре копейки! А теперь — дрэковские и дорогие...

(50-копеечные; недавно были по 35; «инфляция, бля!»; какие они?; я их там столько перезакусил; сегодня свешивались с тарелки, как лошадиные языки).

— Не те бляди, что денег ради, а те, что берущие и не дающие.

— Амиго!!

— А начальник запутался в телефонных проводах — паук!

— Я там родился, бля! С Жеваховой горы такой вид на причал, бля, я хуею!

— Ну, давай, пока у меня есть сало. Вот такой шмат сала! С хлебом, между прочим.

— В лобешник ему, в лобешник... А он такой живучий, падла...

— Девочки, спасибо!..

(«Вам с пикончиком?» «Нет, без пикону!»).

«Подпияхом, водковали зело. Видит Бог, со страхом пьем, дабы себя не помнить».

А что же будет недосказано? Что?

Он не притворяется. Он кривляется. Дьявольская разница, как настаивал один бес (арабский).

Репертуар дня: запой? Нет, патриотическое пьянство. Сегодня выборы Самого. Долги наши... Гражданский и, кстати, супружеский. Который из них нравственный, а который без?

Выясняю у «староконцев», закусывающих тамошний самогон староконной колбасой. Надеюсь встретить Юру у этих урн, а не у избирательных.

Энтузиазм избирателей едва теплится — как радиаторы ТЭЦ. Какие тут искренние хулители власти! И при этом — корпоративное небытие. Лучшее, что я услышал: «Власть, со все более возрастающей бездарностью...»

Ту обаятельную аппетитную наливайщицу (см. выше) тоже зовут Аллой.

— Алло, Алла! Алла, алло!

Сигнализируют приближающиеся избиратели. «Голосую» почти на брудершафт — загончик тесноватый — с ключником Васей, в меру свирепым растерзанным дядькой, что приторговывает заготовками ключей и разным мелким барахлом. С достоинством поднимает стаканчик, что-

бы провозгласить речь, но тут его начинает одергивать дожидающаяся очереди синеглазка, экзальтированная, как милонга. Ключник добродушно отбивается:

— Что ты понимаешь?! Это же мы выбираем врагов на свою голову! Сталина и Гитлера на них нет! А то разве стоял бы я тут на барахолке?!

— Ах ты, сволота, — возмущается синеглазка, — а у кого румыны бабушку изнасиловали?!

— Ладно, — примирительно машет рукой Вася, — тогда пусть будет Пиночет...

— Пиночет!

— Да иди ты со своим Батистой к Чомбе и Полпоту, — демонстрирует ретроспективную политэрудицию ключник.

Раньше, когда делегировали на какую-нибудь комсомольскую, допустим, конференцию, выдавали файные блокноты с золотым тиснением — «делегату такого-то и другого-то» и т.п. И там был печатный текст «Интернационала», который совместно исполняли под занавес. Так вот, в этот канонический текст вносились малюсенькие поправки. Скажем, в слове «если» легко исправляли «с» на «б». Тогда получалось:

И ебли гром великий грянет
Над сворой псов и палачей...

Отчего-то это вспомнилось в тот памятный выборный день, когда разглядывал обветшавшее Васино послевоенное пальто-реглан с собачьими ушами вместо воротника. А «синька» все требовала у него 100 граммов или жизнь. И грусть ее была так же бессмысленна, как этот реглан и мои ассоциации. Сомлевшая, она была незаметно похерена, и ключник вынырнул со своими сентенциями близ другой наливайки.

— А нет ли у вас большого человеЦкого счастья?

— Ага, вам, небоЙсь, еще и ненадеванное...

В винарке говорят ни о чем и немного — о политике.

Жизнь нелогична как явление. Хотя — какое там явление, если некому являться.

— Эти наши политики, твою мать. Любой тост заболтают...

Юра рисовал двух телок, а я прислушивался к их трепу. На мое счастье, до меня долетала-таки отчаянная жалоба одной — видно, на сволочей-лентяев: «Нет, ты подумай, две пары яиц в доме...»

Быть смелым — не в разумных, но допустимых пределах, — выгодно. Но смелость такого сорта должна подкрепляться развитым чувством меры. У Юры, бывает, зашкаливает.

(Шкалик — мерная емкость, составляющая 1/200 часть ведра или 1/20 штофа, или ½ чарки, т.е. около 61,5 грамма. Позднее — вообще небольшая бутылка водки. Так «размазалось» понимание (чувство) меры.)

Перемещаемся Тираспольской, словно какой-нибудь трубой, коллектором. Течем. Перетекаем. К Петропавловской, разумеется. Прочь из «пространства для циркуляции публики».

У исторического центра — гипертоническая болезнь. Требуется отток крови погуще куда-нибудь на периферию, в...

— В жопу я попа послал, а не на хуй, — уточняет Юра, — или в сраку...

На макушке у него ссадины. «Упал», — говорит. Так упал, что с него сняли наконец дюссельдорфскую кожаную куртку — такую же потертую и подлинную, как сам. И кроссовки — те, что он — ха-ха! Подобрал намедни в тени мусорного контейнера.

Мы пересеклись у Милы Луценко — Людмилы Александровны Коваленко, первой Юриной жены. На стенах — несколько традиционных натюрмортов начала 60-х, настолько выразительных, что от них и впрямь веет «мортом», каким-то самоотверженным цветочным умиранием. Здесь же — фотографического размера дивный оплечный портрет хозяйки, поразительно напоминающий Наташу Веселаго, когда она вся — вспыхнувший светофор.

Людмила Александровна забавляла меня объемистой папкой рисунков собственного изготовления. С комментариями, от которых Коваленко сильно утомился. (Отныне все Юрины жены художницы. И сын художник.)

Он находился — именно НАХОДИЛСЯ, поскольку иначе (сидел, полулежал, развалился и пр.) не скажешь, — в опрятном и вместительном кресле напротив. И он был нелеп в этом вместилище, в которое не вписывался. Нахохлившийся, в гнезде невыразительной синтетической куртки. Носки без резинок, выпорхнувшие из-под брюк, распушились,

как колокольчики. И это было очень нехудожественно. Настолько, что мне захотелось его обнять.

Семейный альбом — как торт «Наполеон». Чуть прижмешь — из него что-нибудь выскакивает. Вкусное, томительное, пропитанное воспоминаниями.

Много влажных, увлажненных Прилук. Водоемы, завернутые в исполинские мочалки зелени. Зелени, сделавшейся химреактивной серостью. Что-нибудь крупнозернистое — будто экспрессивный мазок. Мария Ивановна в обнимку с Милой, улыбчивые. Молодой Коваленко на крыльце — какой-то строгий, организованный (недоверчивый?). Дед-Лесовик — Юрин Дерсу-Узала: художник, натуралист, следопыт, балагур. Кинематографический персонаж — знает все о цветах и листьях. Маленький Андрей Коваленко, еще в Одессе наслушавшись: — «Дядя, вы лесовик?!» До сих пор грибы лучше отца разбирает — Лесовик натаскал... Но Андрея нет в «Наполеоне» (здесь должен был состояться другой Андрей, Андрей I). Зато здесь висит его «картинка».

Из своего гнезда Коваленко иногда выклевывал какую-нибудь фотографию, щурился на нее и стремительно делался то благостен, то разъярен, никакой серединки на половинку. Он только что принял на грудь в новобазарной забегаловке, которую называет «Красным Баром», и я ему завидовал. Хотя сивушные масла как раз и способствуют этому резкому переключению «оптимизм-пессимизм»: это такой смеситель, «горвод» и «холвод», вероятно, отечественного производства, который на самом деле вовсе не смешивает, а наоборот, разводит.

«Дура, — провозглашал он страшным голосом в адрес бедной Людмилы Александровны, — какая же ты ду-ура!»

Хозяйка добродушно отмахивалась. Юра относится к ней трогательно. Если не застает, оставляет в дверной ручке какую-нибудь «ветвь, полную цветов и листьев». Потом снова орет страшным голосом: «Ты выбросила МОЮ ветку?!!» Когда припекло, помог устроиться в больницу, где успешно сделали операцию. Людмила Александровна тоже жалеет Юру: «Хоть бы он не замерз где-нибудь! Говорили, что ночевал на газоне, прямо у выставочного зала Союза художников...» Заметила ссадины на темени, прикоснулась, всплеснула руками.

«Нет, ты напиши, что она ду-ура, — не унимался Коваленко, — а без дуры я книги не хочу».

«И рассвирепел дракон на жену...» (Откровение, XII, 17).

Мне нужна Юрина питерская любовь, о которой мимоходом говорили то одни, то другие. Как же без любви?

.....

«Фамилия у нее такая... Известная, громкая», — хозяйка оглянулась на Юру, который как бы сомлел.

«Царева, — отозвался Коваленко как-то скрипуче, — Людмила Павловна Царева... Она вышла замуж, — он хихикнул, — теперь Орлова. Сын у нее...»

Юра уставился в одну точку и молчал.

«Тоже Людмила», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Людмила Александровна приосанилась — мгновенно прорезались повадки отставной актрисы:

«После Ленинграда он, бывало, мечется по комнате и восклицает: «Царева! Царева! Где ты, Царева?! Я стремлюсь к тебе, Царева!»

Коваленко как-то сник и совершенно затерялся в одежде. Из кучи курток и свитеров доносились отдельные реплики.

«Захожу». «Сидит». «Юбочка такая», — он отмерил длину ногтем. «Сидит». «Нога на ногу». «Сигаретой пыхтит». Юра показал, как именно Царева пыхтела: «М-п-а... М-п-а... Она: «Мне о вас... м-п-а... говорили...»

Вдруг я увидел, что Юра вписывается в кресло. Да еще как! Копна приобретала очертания... Царевой, Людмилы Павловны, в замужестве Орловой. И даже носки-колокольчики издавали какое-то мелодичное звучание.

Виртуальный образ заколебался и опал, и кресло трезво и горько пробормотало: «Ничего не было... Но все было... Потом...»

— Она говорила: «Коваленочко! Ты озарение!»

Я опустил глаза. Юра плакал.

Вспомнил. В винарке некоторые проглатывающие напиток стыдливо отворачиваются лицом к стенке. Это интимное.

А другие — ужасно! — ПЬЮТ СТУПЕНЯМИ. Недавно один такой, постУпенный, огромных размеров мужик, опрокидывал в глотку стакан прерывисто, пунктиром резких наклонов. Казалось, что прозрачная жидкость вот-вот начнет возвратное движение, что этот большой человек с ней борется, вгоняя в утробу толчками, словно гвоздь в сороковку. И при этом все было не так. Это, просто-напросто, был ЕГО СТИЛЬ.

На лестнице Юра пересказывал мне какой-то сюжет из Андре Моруа, в своем обычном стиле. Мы шли по делу, и он повеселел.

— Ну почему «ду-ура», — наседаю на него, — если она вообще начала рисовать на сколько-то десятилетий позднее тебя, что у нее ТЕПЕРЬ явилась такая потребность, разве она дура?

Нет, Мила умница. (О себе могу сказать, что с годами тоже поумнел, насколько мог. Хотя силы мои к тому времени были на исходе). Какой бесподобный шарж у нее есть — на Коваленко. Ретивый монах в клобуке, с выпученными глазами, ноздри баклажанчика раздуваются. Чистый Варлаам. Сейчас как изрыгнем низким басом: «Ду-ура!»

Не зря Зинка Хиппиус говорила, что есть люди, с которыми она превращается в дуру, и что это ужасно тягостно.

Всякое новое посещение Ленинградской (Петропавловской) — открытие. На этот раз я открыл для себя, что стаканы здесь все-таки ополаскивают: Демонстративно-символически (ритуально?). В такой плоскодонной шаечке из-под рыбных пресервов. Другие аналогичные емкости вмещали соответственно: сало, капустку и... соус! Задушевная мольба наливайщицы: «Негромко! Петр отдыхает...» В Коваленковской бороде серпантин капусты: «Привет Петру». Рычит ласково. Принимаем по сто. Во дворе-загончике три одутловатых жалких кента цепляются к этой бороде: «Лев Толстой!», «Сколько отращивал» и пр. Коваленко привычно пропатефонил: «А что? Я как внучатый племянник графа...» и т.д. В хату очередь. Чинная. Благородная. Принимаем еще по 150. Юра: «Тебе 46. Так ты ж мне сын». (Его самого усыновить надо. Алла пробовала.) «Усынови, — говорю, — в крайнем случае, уматери», ОН: «Ты знаешь закон Джоуля-Ленца?» Сивушные масла иногда внушают оптимизм: «Рассказывай». «А я тебе не рассказывал?» «Про Джоуля и Ленца еще нет». «Мати визивають до школи. Вчителька каже: "Ви знаєте, що він наробив?" Мати зніяковіла: "Боже мій, що? Скривдив когось?" Та: "Ні! Гірше!" "Може, вкрав щось?" "Ще гірше!.. Він... ма-лю-є!!!" Мати до неї: "Так що?! Це ж йому до серця". А та "вихователька": "Держава індустріалізується, а цей ма-лю-є. Нам потрібні фізики. Нехай краще вчить закон Джоуля-Ленца!" (В Юрином изложении звучало как имя и фамилия, вроде Джо Ленц).

Обида с почти пенсионным стажем. Сцена перед собором Василия Блаженного. В интерьере обшарпанной молдаванской улочки Ризовской. Уморили младенчика. А наши Боборыкины поют о Юре все ту же сказку про белого бычка. Впрочем, хор этот давно приутих. Завидев Коваленко, сказочники переходят на другую сторону дороги. Заласкали до смерти. Как та «обезьяна Мережковского».

Может, и правда — усыновить. Жаль моюс Викторию. У нее уже есть два экз. Маленький Федор и большой Я.

«Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку, да под свой».

(Мы, к слову, пошли помочиться под какой-то штакетник, и я вспомнил Горького:

На ширинке реет зипер — черной молнии подобный).

Кто придумал нелепицу, что, мол, ничего ужаснее нету, как только околеть пьяному под забором?!

Моя бабушка, Мария Александровна Казакова, моя любимая «бабушка Муся» — моя воспитательница и вдохновительница, — пролежала в своей постели почти десять лет, в здравом уме и при памяти. Праведница, безвременно похоронившая сначала дочь, а потом мужа. Что она передумал за эти годы? Я был ей слабым утешением.

Надо просто сидеть (лежать) под своим забором. У меня, пожалуй, так не получится. Так счастливо, как у Юры.

Не переживайте, Людмила Александровна, не надо!

Главное безобразие как раз в другом. В чем, в чем? А в том, что жизнь все-таки не цепь курьезных историй. (Фи, какая пошлятина).

Сюжетные компиляции Довлатова гениальны. И праздничны. А на самом-то деле все — как в детских песенках: «Серенький Козлик», «Зайка Серенький» и «Серенький Волчок», «Серая Шейка» и «Серая мышка».

Юрины повествовательные фрагменты — как отрывки из кинофильмов. Разумеется, яркие, разумеется, курьезные. Если сложить их в мозаику, получится красиво или, по крайней мере, оригинально, как пришитые к жопе уши. Как бывают красивы оксюмороны, которые я люблю. Как член на лбу, который локализованным там или где угодно, любят другие.

Серенькие, как Волчки, петербургские пейзажики расцвечены пост-фактум суетливым молодечеством. «Скачи, мон шер! Тряси хвостом, тугим упористым отростком... И я когда-то был подростком, с оскаленным по-щучьи ртом. И я резвился и алкал под колокольчиком шелковым. В погоне за каким-то новым. Но вот свое уж отскакал. И потускнел лица оскал».

Общага имени монаха Бертольда Шварца. Скубенты играют «на интерес»: проигравший голяком несется с третьего этажа на первый и назад. «Юра... и ты бегал?!» «А что я хуже других?»

Колюня, курсом старше, и его спонсорша — повариха, необъятная, как страна моя родная. Борщ и компот таскали выварками. Маргарин и сушеный горох «грузчики» доставляли в штанинах шаровар. (Или — ШАРО-ВАРОВ: варить на шару). Дом поварихи на Охте. «Подушек больше, чем у Кустодиева», — Юрин горловой смешок. «Кхи». «Колюня говорит: «Надо скорей напиться, а то клопы закусают...» «Кхи».

Два светлых пятна всего-то, кажется, и было. Невнятный вербально, но запустивший на орбиту Питер. И феерическая Германия — та, что не под забором даже, а под фантомом стены. Она — как в кои веки

загулявший лавочник. По-русски раскуражилась в пьяной сентиментальной благодарности, чтобы наутро поливать желчью всякий протриньканный пфеннинг.

«Три тысячи дойчмарок за мальчика с петушком, в резной деревянной рамочке». Практичные немцы, правда, и тогда не раскисали. «Менеджер купил холстик без подрамника за 400 дэ мэ. Натянул. И перепродал за 1200... Кхи». Гаштеты. Паштеты. Тет-а-теты. Юра убивает туповато-добродушных бюргеров «судьбочеловековским»: «..после первой (второй? энной?) не закусывают!» «Кхи».

Свирепеет, наблюдая облизываемых здесь германцев и К°.

«Над Рейном в Дюссельдорфе бал
И маскарадные пляски.
Весь замок в огнях.
Гремит оркестр.
И кружатся пестрые маски».

Вдруг. «Кхи-кхи, — расплылся, — как ты написал? Что мама говорила?» Повторяю, что записано со слов Доярки. Юра радуется, как привету: «Эх, мамо, мамо... Она может сказануть».

Через минуту: «Скажи еще раз, как она говорила». Несет эту фразу, поворачивает, как леденец. И снова просит повторить.

Что бы у меня ни сложилось, эти строки, растянувшиеся во времени, этот вещмешок вещдоков надо презентовать только в нашей винарке, на ее недекорированном фоне. Я нарисовал бы нас с Юрой в центре старого будильника, как две стрелки, показывающие без пяти час или без десяти два. Металлический томпаковый корпус — своды нашего подвальчика. Но часы стоят. А хронометрический крутень все полирует, только нас и за нами не прибирает — обтекает заботливой Лилящей («Привет тебе, привет!..»). Чтоб мы были противоударные, пылевлагонепроницаемые, как «Командирские». Антикоррозионные. Чтобы раз навсегда замкнулся круг воспоминаний, чтобы — как в китайской кумирне, — клубились, не проникая под корпус, изменчивые тени бытия.

И чтобы Коваленко нарисовал нас такими — на картонке.

Хорошо бы еще, чтобы Юра устроил праздничный скандал и отправил бы всех в жопу. Одни бы обиделись и ушли. Массовка бы, посмеиваясь, допивала. А третьи? Есть ли третьи? Третьим будешь?

«Пиши жестче». Юра — мне, жалующемуся на читательскую казуистику. «Вот меня обвиняют в том, что я ограбил мастерские Маринюка и Токаревой. Напиши об этом».

Что писать? Андрея тягали, Юру тягали. Ограбленные мастерские — дверь в дверь, а в Коваленковской — «улики», некоторые уворованные предметы. Все дело только в том, что у Юры давным-давно нет ключа от собственной мастерской. Изучает жизнь, привечает не сливки, но тырсу всяческого сброда (см. выше: о куртках — дюссельдорфской и Фернана Леже). Ключ отдал «Любителю живописи», «якомусь Михайлові Удовиченку (?)». Его еще знают, мне говорили, как «Зеленького», что ли, или голубенького. Натаскал проходимчик в необитаемую берлогу барахла. Жадно. До несварения. Да чохом и унесть не сподобился. А тут хватились. Слинял с концами. Кому ответ держать? Правильно, разгильдяю!

«На меня же не думают!» — гремит. А в глазах слезы.

И хочу возненавидеть этого Михайлу — так, чтоб в клочки. И не умею. Юра его даже не выматерил. Все — так, как оно есть. Таким образом.

«Пиши жестче. И пошли они в жопу. Пусть книжка не будет издана. Ты уже ее написал».

А ведь как, бывает, хвастаются. Что им (случайно!) удалось сохранить форму порядочного человека.

Чего я, собственно, хочу? В дневниковой форме рассказать о ЮКе как о явлении типологическом? Как о явлении природы? Или — я попросту внедряюсь им в мир?

Типологически? Это, например, российская категория «гордых пропойц». Остальное, все, что за схемами, апокрифично — оно не входит в реестр первой необходимости, широкого спроса, потребления и проч. Я обратил внимание: Зинка Хиппиус много спрашивает и мало отвечает. Зато — какие вопросы. Чистое золото.

И еще. Я проверяю себя на вшивость. Любопытно, что я выкину, когда любимый герой, «мистический хулиган», обосрет меня с ног до головы. С него станется. За что боролись, на то, как говорят, и напоролись.

Хватило бы говна. А повод найдется. Ведь сказано, что: «Еще отвратительнее, пожалуй, быть мясом литературным, чем пушечным».

Не получилось из меня приличного человека. Подвел Леночку Мирошниченко. А надо было обозвать Юру Гончаренком или Бондаренком. И лепить всю правду-матку. Три жены. Два раза сходил с ума: один раз — после Ленинграда, второй — после Дюссельдорфа. А что тут такого? На моем счету четыре жены, а ненормальность — уже хроническое. Писать правду мучительно трудно. И не потому даже, что боишься, а потому, что НЕ УМЕЕШЬ.

Пару дней назад, на совместном заседании «Одессики» и Общества охраны памятников, их председатель, человек-легенда, иронический циник и остроумец с довоенным стажем — профессор Михаил Ефимович Раковский, — рубанул ладонью воздух: «Мы должны быть тверды». И подмигнул мне. «Хотя бы местами», — продолжил я его мысль.

Когда я думаю о том, как будут приняты эти откровения, на ум приходит такой вот эпизод. Когда спускаешься к Таможенной площади по «канаве» (Карантинной балке), слева по порядку расположены (по крайней мере, так было относительно недавно) заведение по приему пустых бутылок и мореходное училище. Так вот, некоторое время тому назад вывеска «Пункт приема стеклотары» органично дополнялась соседствующей — «Приемная комиссия»...

Вот позакрывают, к чертовой матери, медвытрезвители, и это будет для нас с Юрой большая потеря. Почему? А вот почему. На презентации какой-то моей короедческо-краеведческой книжки наш выдающийся бытописатель и детективщик Валера Смирнов подарил мне как бы неразменный билет на комплексное, бесплатное и внеочередное обслуживание в вытрезвителе. В двух экземплярах! Там все честь по чести, с подлинными подписями и печатями — у Валеры обширные связи. И как эти грамоты выручали! Предъявишь гербовую бумагу — менты сперва опешат, потом посмеются. И ОТПУСКАЮТ!!!

«...он полагал, что русские люди суть пьяницы (...); русского человека с головой выдавал красный нос: Аполлон Аполлонович кидался, как бык, на все красное».

Охмеление бывает только негосударственным и платным, зато — начальным, средним, средним специальным и высшим.

Спрашиваю молодую киоскершу:
— «Литературная газета» есть?
А она, недоуменно:
Что? Так и называется?!

— Визуальная символика (живопись, графика, кино, ТВ и проч.) всегда имеет преимущество перед «скрижальной» (рукопись, книга, журнал и проч.). Это — как дилижанс и автомобиль. Разные скорости. Разная протяженность, длительность потребления. Залп и дегустация. Можно осмотреться (в дилижансе), а можно упиваться полетом (в авто). Можно сказать, что живопись отдается молниеносно, а книгу надо долго обольщать, она требует большей отдачи, если хотите, большего труда. Это — как спринтерские и стайерские дистанции. Как рассказ и роман. Потребление живописи ЭКОНОМИЧНЕЕ. И, повторюсь, ее можно брать штурмом. Овладевать стремительно огромными территориями. Становиться Чингиз-ханом («Чингиз-хан выступил из Бухары в Самарканд ранней весной, в Год Дракона...»). Слово, такое тиражное, размазано во времени. Неторопливо снимает свои одежды. Покупая билет, не представляешь состояния дороги, характера пейзажа — возможно, выйдешь на полпути. Чтобы брести пешком или пересесть на более подходящий вид транспорта. Может быть, это — письмо и телеграмма. И при этом Слово — всегда адаптированный символ. Ты так видишь и растолковываешь, что именно ты видишь. С тебя и спрос. «Визуалисты» — просто протягивают тебе свой лорнет: иди и смотри. Дальше многоточие...

Еще и не такого наслушаешься в нашей винарке.

— Прихожу на инсталляцию, а там бережно хранятся такие скромные какашки. Причем приобретшие очаровательно зеленоватый оттенок после вчерашнего возлияния. А вы говорите, что современное искусство это, дескать, что-то нереальное. Неправда. Что же может быть реальнее говна?!

Или:

— Ваши тусовки ритуализовались наподобие бюро одноименных услуг. Глотнешь с вами сероводороду. Регламентированные глотки, смешки, кивки, гримаски, спичи. Мумифицированный общественный

быт. Арт-галерейки, нисколько не располагающие к скандалу! Раньше хоть туалеты, любовниц и набитые женами морды демонстрировали. А сейчас... Приходят, чтобы отметиться: «А мы все еще живы!»

Осторожно, чтоб не разболелась голова, я задумался...

Мозги были так (странно) ясны, как зорьки под городом Горьким, в рабочем поселке...

«Печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных помыслов; ибо гнев желает отмщения; неуспех в отмщении порождает печаль».

Дракон электрогирлянды парил. Мы — Алла, Юра, Алеша, я, — притаились на периферии Горсада. Вместе с нашей водкой. На Думе пробило полночь. Нулевое: странное, час от нуля до единицы — есть, века от нуля до единицы — нет. 00. Пушкин плотнее закутался в чугун и бронзу. «Над морем ночь спускается, ребятам (вожатым) спать пора. Спокойной ночи, родина, до самого (светлого) утра...» Дракон пришпиленной бабочкой нависал. И — восточной угрозой.

«Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело, —
И мглою бед необозримых
Грядущий день заволокло»

Закусывать нечем было. Ни жестянки, ни сардинницы. Потому что жестянницу ужасного содержания — куда ее? Невы тоже не было. Были у всех глаза. Такие, будто все сильно какать хотели. Несытые. Налитые, как... как Красное Домино. Волчьи. «Это ты? Это ты, зимней сказки Коза?..»

«КОЗА (капризная). Элегантная, артистичная, влюбленная в природу, она могла бы стать самым очаровательным из знаков, если бы не была такой пессимисткой, беспокойной, надоедливой, все время колеблющейся. КОЗА никогда не бывает довольна своей участью. Она приводит в отчаяние окружающих своими капризами. Захватчица, хотя сама этого не признает. Ее недисциплинированность, систематические опоздания — у нее нет никакого чувства времени — делает ее невыносимой, и, вместе с тем, она умеет нравиться, когда это в ее интересах, использовать других и жить за счет других. Несмотря на это, у нее нет независимости, но она легко приспосабливается к любому образу жизни — с того момента, когда ей обеспечивают минимум безопасности.

...Она любит жаловаться. Ей нравится, когда о ней говорят, ею руководят, ей советуют, принимая ее вечные колебания, уловки и жалобы... Говоря о ней, можно сказать, что у нее безмятежный пессимизм.

Ее манеры мудры и нежны, но характер капризен... КОЗА кажется доброй и славной. Она на самом деле склонна к благотворительности, охотно делится с другими, более несчастными, чем она. К несчастью, то, чем она делится, не всегда ей принадлежит. Следует сказать, что у КОЗЫ нет никакого чувства собственности. Народная мудрость гласит, что «Коза, пасущаяся на хорошем лугу, будет спокойной и послушной по сравнению с Козой, пасущейся на лугу с плохой травой; такая Коза станет беспрестанно жаловаться и блеять». Ее жизнь зависит не от нее самой, а от других... Что бы ни произошло, это никогда не бывает по ее вине.

Однако недобросовестность КОЗЫ может привести в замешательство. У нее нет никакого чувства ответственности, никакой инициативы... Она не способна руководить, но при хорошем влиянии может преуспеть, даже блистать в каком-либо виде искусства. У нее есть вкус и талант. Она может успешно выполнить работу, которая одновременно сочетается с техническим и артистическим мастерством. КОЗА умна. Но она никогда не будет играть первую роль, и это для нее лучше...»

«...Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца» (Откровение, XII, 4).

Эта облекающая кухня с унитазом! Он стоит даже не в углу, а почти посредине, как какой-нибудь столик или табурет. Безо всяких будуарных занавесок. Должно быть, вся эта «кухня» — первобытно современный санузел. Если у кого-либо из застольников возникают мелкие физиологические проблемы, его ненадолго оставляют в одиночестве.

На этот раз Андрей застукал меня в винарке в момент проглатыванья, вытащил на поверхность, и вот мы вписались в совмещенную кухоньку. Светлана на скорую руку стряпает. Фитонциды близнецов-провансаль с луком летают коленами пещер носоглотки вакуумными бомбочками. Во вместительных Андрюшиных ладонях смачные фотокартинки: узловатые жилы прилукских ветвей, Густыня, монастырь, Юра в монашеском клобуке «делает козу» объективу (вот первоисточник Милыного шаржа!).

Юрий Андреевич Коваленко мирно сопит за кухонной стеной. Но скоро Штирлиц проснется, и тогда...

А ведь расколотил, мерзавец, граненые рюмки, вывезенные из детства. Весной порывался подарить их мне. Не взял. Как же, релик-

вия! А он швырял их по очереди в лицо неповинному унитазу. «Гори оно все огнем!» Разлетелась реликвия на мелкие печальные кусочки. «Какие рюмки, — рычал он, когда МАМА умерла?!»

«Всмотримся внимательнее в образ порочного круга, и мы ясно почувствуем ту гармонию, которая дает нам силу распознавать фальшь — круг во всех религиях есть символ бесконечности; но именно в качестве такового он служит и для изображения смысла, и для изображения бессмыслицы. Есть круг бесконечной полноты — это и есть то самое, о чем мы вздыхаем, к чему стремится всякая жизнь; но есть и бесконечный круг всеобщей суеты — жизнь, никогда не достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся сызнова. Это и есть тот порочный круг, который нас возмущает и лежит в основе всех наглядных изображений бессмыслицы в религиях и философии. Этот круг бесконечной смерти возмущает нас именно как пародия на круг бесконечной жизни — цель всякого жизненного стремления. Этот образ вечной пустоты существования возмущает нас по контрасту с интуицией полноты жизни, к которой мы стремимся (...)

Короче говоря, тот мировой смысл, который носится перед нами как цель нашего стремления, есть всеединство; это — тот мировой строй и лад, в котором всякое жизненное стремление достигает своего окончательного удовлетворения, всякая жизнь достигает полноты. Полнота жизни, окончательно восторжествовавшей над смертью, и единство всего живого в этой полноте в интуиции мирового смысла — одно и то же. Оно и понятно: полнота жизни осуществима лишь при условии окончательного прекращения борьбы за жизнь, разделяющей живую тварь».

Там, на Петропавловской, в базарный день, общались две полуприличные синеглазки в наежившихся синтетических шубейках. Тут же к ним присоединился хмырек в неизменной шапочке-презервативке. У бабочек рожи лиц — как картофелины в мундире, а у хмырька — фиолетовенькая. Одна: «Что-то я вам доложить хотела...» Думает. Не по делу озаряется: «О, анекдот». Докладывает: «Грузин говорит грузину: «Я полгода нэ был з жэнщыной». А тот: «Как это, а жена?!» Первый: «Ну да, ты бы еще маму вспомнил»...

Хихикают. Хмырек — тот скорее поперхивает. А анекдотчица вдруг как хлопнет себя по лбу — вспомнила! «Так Вова ж умер!» Они: «Ка-а-ак?!?!» Хмырь: «Мы же с ним вчера бухали!!» Она: «Так ОНИ его забрали, и он ТАМ умер. И его уже вернули».

Помолчали удивленно.

Тогда Хмырек, обретая другой оттенок: «Так, значит, на Ризовской, где стол был яств (он сказал «явств» — О. Г.), там гроб стоит?»

Все круто развернулись и радостно засеменили на поминки.

Я их после там видел. Отирались у гроба с увлажненными очами и утробами.

«Независимо от времени года, по вечерам пивная полна. Там весело, но не вполне благополучно. Параллель бытия, проходящая через каждую данную пивную, искривлена — правда, ненамного, всего на 6% алкоголя, которые содержатся в пиве, но все же... И, соответственно этому, сознание косит, словно клеенка, сдвинутая со стола нетрезвой рукой».

«Что-то случилось. Что-то слукавилось. Кто-то из «бедной ясли» вышел не тот.

И стало воротить «на сторону» лицо человеческое... И показалось всюду рыло.

И стал «бедный сын пустыни» описывать Чичиковых... Подхалюзиных. Собакевичей. Плюшкиных.

И куда он ни обращался, видел все больше и больше, гуще и гуще одних этих рыл.

И чем больше молился несчастный, кому — неизвестно...

Тем больше встречал он эти же рыла.

Он сошел с ума. Не было болезни. Но он уморил себя голодом. Застыв, обледенев от ужаса».

Довольно с вас. А недовольны, так — Енфраншиш вам!

Конец (века?)

Дело не в том, что Одесса космополитична — этот сюжет обглодан по-собачьи. Вкуснее одесское язычество во всех его сочных (и худосочных) проявлениях: в бородатых кариатидах (БелАго), избранных капищах (Оперный и Потемкинская лестница с Дюком), в геенне, которой пахнет в стольких-то верстах от нее, в мистическом обжорстве, в припадочном пляжничестве, в дешевых мистериях-«Юморинах» и т.д. и т.п. Вот почему Юра органично вписался в овал этой эластичной буквы О.

Агорафобия — здесь не вообще боязнь пространства, а лишь его эпицентра — Агоры, Акрополя. Собственно — как бы языческого капища. Поэтому анти-язычники, подобно первохристианам, скрываются на

задворках, в катакомбах винарок. Гуманизм самораспада заключается в том, что взаимопожирание сменяется самоедством.

«Застывая года над подъездом многоколонного дома, свисает кариатида подъезда: колосс.

Старый, каменный бородач!

Улыбался многие годы: над уличным шумом (...), и на его бороде поуселась ворона (...)».

«Серая кариатида нагнулась и — смотрит: на ту же толпу; нет предела презрению; и нет предела — отчаянию».

«Он видит, как потоки воды сбегают по черепицам и каменные чудища (*tarasques de pierre* — «каменные тараски») изрыгают их в темную бездну галерей, башенок, окон, парусов, колоколенок, крыш и балок, где серым пятном выделяется неподвижное продолговатое крыло ястреба».

«И вот вдруг среди этого множества округлых, продолговатых, квадратных бород, пушистых, курчавых, благоухающих амброй и росным ладаном, была замечена бородка, подстриженная клином».

«Их собралось с дюжину, и они хлебали варево из браги, и каждый держал в руке вместо ложки кость из плеча покойника».

Сегодня выковыривал 25-копеечную монету из-подо льда. Подвалил «аьтфатэрщик»: «О! Борода уже что-то нашел!» Понаблюдал, как я подцепил бледный кругляш ключом: «О! Считай, на 50 грамм имеешь!» Я: «Имею». Он: «Пусть бы они теряли, а люди собирали». Я, рассеянно: «Дать, пусть люди бросают». Он, сурово: «Люди не бросают! Люди подбирают! Пусть бросают магнаты — которые за две копейки удавятся!..»

Ищи там, где светло!

«К концу жизни он (Соловьев) понял, что государственности, как таковой, нет места в Царствии Божием, что Царствие Божие даже в земном своем осуществлении не теократично, а анархично».

«Подумал: что за человек? Почему он мной интересовался? Неужели моя борода магнитна для его глаз? Может быть, так моя борода отличается от других, что если поставить несколько тысяч стариков куда-нибудь на обширную площадь, то этот молодой человек найдет меня? Ты из его глаз и ума не скроешься, так ты остался в его памяти?!»

Улица Тираспольская. Домов 35. Почтовое отделение — одно. Аптека — одна. Техникум — один. Музыкальная школа — одна. Свадебный салон — один. Бильярдный клуб «Русский стиль» — один. Магазин «*Second hand*» — один. Табачная фабрика (как и в Прилуках) — одна (но очень большая). Забегаловок — восемь (без учета двух прилегающих площадей. Юрино «Старое дерево» повешено в баре «Кристина». И еще две пары «бородатых кариатид», на кресте Тираспольской и Новосельского (она же — Островидова, она же — Ямская, она же — Немецкая).

Одна из этих Конян (см.: «Коняна Скаку») мне запомнилась ситуационно. Мужа ее зовут Семеном. Отец мужа — тоже Семен. И дед у них был Сеня. Все трое единоутробных — страшные забулдыги. Так вот эта Коняна захаживала в подвал, чтобы депортировать оттуда двух своих поклажных Семенов Семеновичей. Имя ее самой остается для меня неясным, поскольку встречали свою бабу недовольным восклицанием: «О!.. Сыворотка притащилась...» Почему Сыворотка, тоже не установлено. Могу засвидетельствовать положительно лишь то, что под предлогом депортации бражников, Коняна и сама себе начинала прихлебывать беспощадно, а потом горланила с молодым озорством: «Ах вы... Сени, мои Сени...»

Это из Юры ребрами дижонские фризы выпирают — в три яруса. Оттого, что тужится, подпирая какую-нибудь Атлантиду. Такой себе атлант из Невера — утоптанный монашек с усеченной фигурой, напоминающий прилукских старух: капюшон? косынка? То он вдруг шартрский ослоголовец, лапающий двуличных матрон. То — задумчивый нотр-дамский вампир, философствующий за пустынным трактирным столиком. Готическая траектория. Но кто подпирает фасады, покуда Коваленко расслабляется бормотухой?!

«Крэкс-фэкс-пэкс» звучит как Бес-Перс-Пек-тивность.

«Кто-то заметил, что провидение — христианское имя случая; святоша, пожалуй, сказал бы, что случай — уличная кличка провидения».

«Это был известный режиссер, осатаневший от успеха своей деятельности, не стоящий гроша ломаного и возникшей только в результате проявленного им умения втирать очки, подлец, да просто столб, я бы сказал, столб в шубе. Если говорить художественно, то передо мной стоял столб в шубе, лица которого я даже не различал. Прекрасная шуба с расшевеленным ветром красивым меховым воротником.

«Дайте мне три рубля», — сказал я.

«Боже мой! Может быть, вам десятку?»

«О, это прекрасно!» — воскликнул я, уже повторяя себя, уже научившийся всяким приемам по части этого попрошайничества у знакомых.

«А это не ударит вас по бюджету?»

«Ну что вы, Ю. К.!»

Он снял перчатку и вдвинул руку за борт шубы. Там, в боковом кармане, как оказалось, стояли пачкой новые десятки. Он отъединил одну от пачки, и она протянулась ко мне, твердая и как бы даже звенящая в морозном воздухе.

«Спасибо! Я вам отдам! Я скоро буду богат! Очень богат!»

И я сказал ему то, что говорил всем, у кого брал деньги — что я пишу замечательную пьесу, которая скоро будет готова, и тогда (...).

Разумеется, он не верил, что я пишу пьесу; вернее, в этом смысле я не представлял для него интереса. Его интересовало, что я опустился, прошу деньги. Он, хотя я стоял лицом к нему, увидел бахрому на моих штанах... Я не мог в точности знать, конечно, что он думает сейчас обо мне, осуждает ли, жалеет ли, но мне с убедительностью представилось, что кроме всех чувств, он испытывал еще...».

(«...Октябрь злой сыростью дышит,
А у груш тончайшая кожа.
И было б, бесспорно, не лишним
Им сшить из сукна, предположим,
Хоть маленький китель, пальтишко,
В одежде им было б теплее.
Но к вам невнимательны слишком...
Ах, как я вас, груши, жалею!»)

Крещенские морозы у нас хилые: сегодня — минус восемь. Юра пишет свое «Явление» на квартире у благодетеля-Лукашова. Холст раскинулся перед ним, как поляна. Непонятно, как этакая громадина удерживается на козлоногом ломберном столике. Прихлебывает чай, автоматически сдувая пивную пену. Затерялся в толпе — явление Христа БАЗАРУ. В толчее — весь паноптикум в полном составе. Жопницы, плутоватые старички-боровички, розановские рыла и рыльца в пушку, которылые оборотни, беззащитное старичье и Пиня Котик собственной персоной. А вот и коваленковская «тараска» — Горгона-пенсионерка, отъевшаяся на 50 гривнах...

Мы инспектируем Новый базар — ни являлся ли кто. В «Красном баре» ничего не замечали. По Конной на осляти никто не проезжал.

— Что вы без шапки?

Юра потирает лоснящееся темя в ссадинах:

— Так нечего греть — сплошное говно.

Заботливый проходимец «делает рыло», и Юра уточняет:

— А чтоб не воняло, надо чтоб подмерзало...

Вставляю и свои рубль двадцать:

Воняет рыба с головы,
А мы — со всех концов, увы.

Коваленко — встречному:

— А вы что греете?

Тот:

— Мозги.

Движемся дальше. Юра:

— Вот, мудак, знает анатомию...

В мясном корпусе. Юра:

— Что это?

— Бараньи мозги.

— Да? А у меня и таких нету.

Направляемся как бы к Гере, на Петропавловскую, 26. Но журавлей относит ветром в даль. Почему-то застреваем в баре на Тираспольской, где к нам прибивается молодой налоговый инспектор Сережа. Должно быть, мучимый совестью.

Весь день за все расплачивается Коваленко: сейчас он работает — «малюет». Форма оплаты труда сдельная. На ЖИЗНЬ хватает.

«В двадцатых годах Коненкову заказали мой портрет.

Не знаю, как теперь, но в то время, прежде чем подойти к мрамору или дереву, он много и долго рисовал свою натуру.

Я с утра приходил к нему на Плющиху в мастерскую.

На столе все уже было приготовлено: карандаши, листы ватмана, штоф зеленого самогона, два граненых стакана, две луковицы, два ломтя черного хлеба, соль.

Коненков кончал работу, когда пустел штоф. Одновременно (...)

— Читывали мне вчерась старенький французский журнальчик, — рассказывал Коненков. — Этот журнальчик, видишь ли, распространил среди парижских художников и скульпторов анкету: «Кто и как работает». Только один ответил: «Я — пьяным!» Этот один и был гением! Вот какое дело, Анатолий.

Фамилии этого французского «гения» Сергей Тимофеевич, разумеется, не запомнил.

— А все остальные, — убежденно заключил он, — бездарности!

— Среди них и Ренуар был? — спросил я. — Среди этих бездарностей?

— Кажется.

— И Роден?

— Как будто.

Я кивнул головой без всяких возражений. А Коненков надулся».

Что значит ходить по — малому и большому — кругу, знают все выпивохи со стажем. Так называли обход винарок — в 1970-х. «Малый круг» — как правило, обозначался орбитой вокруг Нового базара, начиная от забегаловки на кресте Торговой и Садовой, затем — «Белый аист» — бар с молдавским привкусом кальвадоса, далее — везде. «Большой круг» стартовал от ж.д. вокзала, по Пушкинской, и знаменовался адекватно винными подвальчиками — что-то очень много на погонный километр пробега. Особым признанием пользовались сводчатые склепы близ универмага, на Осипова и Большой Арнаутской (в доме, что благополучно взорвался в 1987-ом, сильно повредив сознание моей подруги Белки Верниковой, погребенной под обломками) и на Базарной, угол Ришельевской.

Эта справка здесь затем, чтобы пояснить всего одну фразу, подхваченную в нашей винарке третьего дня:

— Она сказала, что я опять ходил по малому кругу. А я ей: «Я ходил не по малому, а по большому кругу, но... против часовой стрелки».

Коля маленький никогда не улыбается. Такое ощущение, что в винарке он всегда. Или — на подступах. Опрятный невозмутимый гномик. Круглосуточно пьющий трезвенник. Как стекло, что противоречит всем канонам желудочного всасывания: ведь у него на каждый кг веса нетто приходится больше алкоголя, чем у его бесчисленных — это какое-то нашествие! — сочарочников. О Коле я знаю только то, что он «затур-

канный болгарин», «неудавшийся суворовец» и что пирожок для него — это и обед, и ужин.

Впрочем, я пиздю, поскольку отлично знаю, что Коля — еще и неотъезжант: семья уехала в Штаты, а он остался, чтобы досмотреть и похоронить мать. Я знаю также, что Маленький — представитель вымирающей профессии профессиональных натурщиков, что «обычная поза — рупь с полтиной, а обнаженка — два семьдесят». Какое оптимистическое слово — ОБНАЖЕНКА. Обнадеживающая женка?

Коля Маленький живет один. Поэтому он живет в винарке.

У Юры он вплетен в ее герб — как бородатый купидончик.

Давеча я налил Коле, поднес свою закуску под названием «Сушеный член» (болгарские карнаци). Коля так согревающе обрадовался комплексному раритету. Спросил, приду ли еще. Я ответил, как мой друг Вова отвечает:

— А куда мы денемся с этой подводной лодки?!

Оставил его за столиком. Дома, в тепле, сообразил, что Маленький ждет меня СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС. И...

...И собрать их всех. Как избранное. Боту. Фасад. Колю Маленького. «Маримана». «Хирурга». Шурика Ройтбурда. Сережу Четверткова. Валю Сиренко. Аллу. Луизу. Коняну. Тюрюмина с Абрамовым. Валеру Сырова. Гену Гармидера. Аду. «Параджанова». «Наблюдателя». Боцмана. Толика-из-Горсада. Семена. В трех экз. Андрея. Короче, всех наших.

А вот Юра бы, пожалуй, не вписался. Он ведь солист. Солист-скандалист. Испортил бы НАМ СВОЙ праздник. Да ну его, заочника. Ленина не видно, но он близ...

Сыров праздники делать умеет. Себе и людям. По-хорошему. По-русски. Он же — с Русского Севера. Потомственный рукодел, из художников-ювелиров. Утром блоху подковывают, вечером горькую пьют. Настом похаживают — не мнут. Балагурят — не грубят. Баньку в речной долине затопят по-черному, но деликатно. Медовуху варят, а уста такие же. Потому Валера с тонкой материей работает — с акварелью, монотипией. Дело тонкое, а где тонко, там и рвется. Ювелирство на ощупь. На уровне чуда. А развернется душа — живопись, поярче, поживее, поконтрастнее, чтоб и самому разглядеть.

Сюжет, собственно, неизменный. Заглохший, задушенный чертополохом праздник первобытного коллективизма. Визуально — масленичный маскарад — аналогия средиземноморского (в том числе — одесского) карнавала: в канун «карне вале», мясопустицы. Слияние, единение, соборность расхристанных представителей всех этносоциальных группировок: ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни даже лица

кавказской национальности. Мифологема, конечно, но до чего же хочется в единую семью соединиться!

Банька — тоже единение, тоже празднество. Окуджавовская «Ель — словно Спас на крови», но ведь празднество, смолистый запах язычества. Масленичное гулянье как лейтмотив загадочной славянской — широкой, как страна моя родная, — души.

Я уже десять раз проговаривался, что пишу некий текст (книжку?) о Юре Коваленко. Получается, что и о Сырове. «Низовое барокко», «искренний примитив», лубок, живая искрящаяся память о предкультурном базисе, допотопном коммунизме, об Эдеме, которого никогда не было, но в который верится. Изоморфизм: у Юры — петухи, коты, у Валеры — исполинские же сомы и щуки. Но везде — конструирование праздника по-детски, каких-нибудь несостоявшихся именин.

Зональность темпераментов. Суровее широты — преснее вода. Закон природы, никуда не денешься. У южанина — разнузданность, у северянина — веселенький ернический абсентизм. Там — лошадиное ржание, тут — клекот, хрипотца. Теплее — топочут, брызги летят, в стужу — упругость улыбающегося наста. Природа одна, только эмоциональная децибельность разная. Там — «И-и-ха-ха!», тут — «Ху-ху»: одно — петушиное, другое — кукушечье.

А посередке, в Средней Полосе, токование, должно быть.

Кстати, почему Азия, Полоса и века — средние? Потому что невыразительные, середнячки, так себе. А тут — выпуклость, рельефность. Хотя смутно напоминает тинейджеровский максимализм. Впрочем, это максимализм природы.

В этом смысле я допускаю определенность. Снег — так уж он. Дождь — так уж ведро. А как же яйцо всмятку? Чтоб определенно всмятку!

Ни то, ни сё — это неудавшаяся акварель, наверное. Правишь — только грязь разводишь.

Чтоб полную определенность получить, Сыров как-то прожил несколько месяцев у брата — в Костроме, кажется, — и ежедневно писал один и тот же вид из окна. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Нет. Там была просто заснеженная средневековая улица. Краски почти неразличимые. Палитры никакой. Домишки едва угадываются под снегом. Замаскированные сосны-ели. В отдалении храм — марево. Я на такое безвременье насмотрелся в Угличе и Ярославле. Пусто. Обездвиженно. Только промельк розвальней. До следующей масленицы...

Валера тридцать вариантов сделал. Вытанцевался один. Можно выставку одной картины устроить.

А Юра 30 прилукских базаров выдохнет — все дышат. Потому что место теплокровнее. Праздники чаще. Хотя и не приедаются.

Эти области граничат — по санитарной (буферной) зоне, — той самой, Средней, контрольно-следовательной, полосе. И, в принципе,

созвучны любым широтам. Желание одно. Только аппетиты разные. Воспламеняющий тропический темперамент также вкусен, как тот, который «мой пламень делит поневоле».

Стержневое — подлинность. А это у Сырова кроветворное, генетическое. Его ихтиофилия возбуждает спрос. Дедки несут по Питерской свой улов прямехонько на вашу коммунальную кухню. (Люблю чистить рыбу! Аромат свежей рыбки, парфюмерный дух-амбрэ! Не знаю, как вы, а я точно палеонтологически водяной!).

«Картинки»-праздник!» Поскольку вокруг нас сегодня как раз ни то, ни сё. Повышенная влажность вместо ливня. Гололед вместо наста. Нахальство вместо куража. Сальности вместо шуток. Вирусная шизофрения без температуры. Суррогаты. Даже болеешь невнятно. Какой-то вялотекущий алкоголизм.

Краше хоть раз немузыкально каркнуть, выронив Сырова — в сугроб или чтоб воспарил. Чтобы лисички от СМИ провожали бы его не удивленным (какое удивление у пожилых нимфеток?), а, так, неуравновешенным, все еще многообещающим взором. Чтоб запрокидывали крылья, гривы и рога пластилиновые нервные коровы, вороны и санитары улиц.

Я тоже выбегу на морозец поглазеть, как дети грызут ледяные орехи и ловят снежки — глазами и ушами. Сейчас, сейчас! Только надену башлык — и выйду.

Незачем хитрить. Это был далеко не первый встречный. Но не каждый первый вяжет лыко или умеет внятно изъясняться в винарке, где я срисовываю нравы одесских закоулков.

— Я привык вас здесь наблюдать, — мой собеседник посмотрел на меня с сочувствием, — сообразил, что вы занимаетесь своеобразным мониторингом. И не ошибся.

— А вы? Что делаете вы? Наблюдаете или присутствуете?

— Как вам сказать...

Он пожевал губами.

— Скорее просто присутствую, хотя непроизвольно что-то замечаю. Что-то отмечаю. Я ведь профессиональный наблюдатель...

— ???

— Я учился в гидромете и попал на станцию в дельте Дуная, где занимался срочными наблюдениями водного режима.

— Что значит «срочные наблюдения»?

— Пусть будут «режимные», если хотите. Важно, чтобы они были репрезентативными, как социологические опросы. Допустим, мы сколько-то раз в сутки, в одно и то же время, будем проводить уровнемерные наблюдения, измерять скорость течения и т.д. Так на метеостанциях измеряется, скажем, скорость и направление ветра, влаж-

ность и пр. Понятно, что чем длиннее ряд такого мониторинга, тем легче делать прогнозы.

Если ты знаешь, что тридцать лет подряд ветер ведет себя почти неизменно, ты можешь вполне определенно предугадывать, например... результативность предстоящей рыбалки. Потому что, каков ветер, таково и волнение на водоеме. Такого рода «всемогущество» привязало меня к наблюдательной станции настолько, что бросил институт (на четвертом курсе!) и остался там работать. Такое себе гностическое одиночество...

— И насколько продолжительным оно оказалось?

— Оно продолжалось до тех пор, пока я не разочаровался в естественных науках. Почему разочаровался? Да потому, что исключение, по-моему, как раз и не подтверждает правило. Нам хотелось бы, чтобы оно подтверждало, мы придумали эту нелепую аксиому, чтобы запудрить себе мозги. Но я не хочу себя дурачить.

Осенью 1981 года на Черном море случился шторм двухпроцентной обеспеченности — это означает, что такой силы шторм бывает раз в 50 лет. Последствия его были драматическими. В кое-каких мелких портопунктах снесло причалы, затопило прибрежные территории, уморило отшвартованные суда. А Тендровскую косу залило так, что маячники едва спаслись на вершине своего «фонаря».

— И этот ураган опрокинул вашу веру в научные знания?

— Во всяком случае, сильно поколебал эту веру. Да, такой шторм бывает раз в полстолетия, но когда именно? Этого не знает никто. Мало того, два таких шторма могут произойти в одну неделю, а потом сто лет — тишь да гладь. Вот вам правила и исключения. Что важнее? Вот вы горды тем, что родились в Год Змеи...

— Есть чем гордиться: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953...

— Да, 12-летний, юпитерианский, цикл работает. Но, скажем так, на региональном уровне. Потому что, предположим, трагедия 1945-го, Хиросимы, вероятно, более глобальна. Можно, конечно, спорить. Но это «правило Змеи», если это правило, опрокидывается абсолютно ненаучным предсказанием Андрея Белого, назвавшего 1954-й год переломным для России.

Примеры можно умножить. Возьмите теорию игр и реальную игру. Любой игрок в кости понимает, сколь ничтожна вероятность выбросить покер, большой и малый «стрит». Но они выбрасываются практически на каждом кону. Так и в теперешней национальной лотерее: одно и то же число, а то и комбинация нескольких цифр, выпадают два раза подряд, а то и больше. Исключение снова перечеркивает правило.

— Вы говорите о том самом Случае, в который верили Германн, Печорин и их создатели?

— Не совсем так. Видение пушкинских игроков, похоже, было именно «математическим», т.е. они интересовались теорией вероят-

ности. И все же — разочаровывались. Потому что теория опять-таки расходилась с практикой.

— Мне кажется, что здесь все же больше мистики, веры в приметы, таинственное «сцепление событий». Ведь примета — всегда в тысячу раз более длинный ряд наблюдений, нежели «научный»...

— Вероятно, так. Но я клоню к другому... Дело не в том, что научный прогноз часто оказывается несостоятельным: у нас только выборы «научно» предсказуемы. Игра, ставка на Случай открыли мне, как ни парадоксально, иной аспект веры. Наблюдая за игроками, я понял, что везение — это состояние души. Не бывает везучих и невезучих, здесь полный демократизм. Есть внутреннее ощущение и даже предощущение выигрыша и проигрыша. Везуч тот, кто считает себя везучим.

— А мне отчего-то подумалось, что вы — о другой вере...

— Простите, что разочаровал вас, но... верю, как умею. Я верю, например, что приметы — здесь вы правы! — действительно работают. «На ловца и зверь бежит» и «Удача покровительствует смелым». Предрасположенность к удаче, возможно, природный дар, но его можно в себе и культивировать. Наверное, я богохульствую, но, по-моему, Господь особенно отзывчив к тем, кто верует в жизнь. А жизнь непредсказуема, «ненаучна». Я думаю, что верить в Бога и в Удачу — это одно и то же! Между прочим, в черновиках известной миниатюры «О сколько нам открытий чудных...» Пушкин прямо отождествляет Бога и Случай!

— А насколько, по-вашему, предсказуема наша встреча?

— Хороший вопрос. На который я, по традиции, отвечу вопросом: вам приходилось встречать неординарные фигуры в ваших «одесских закоулках»?

— Вопрос риторический...

— Конечно. Здесь куда больше счастливых людей и счастливой непредсказуемости, чем «на поверхности» — в «Галактике», «Парадизе» и проч. Потому что отечественные «трюфеля» и «фондю» условны, а водка и пирожок — безусловны. Даже скверная водка и скверный пирожок, которые тоже непредсказуемы.

— Но там ведь «чисто и светло»...

— Вы в этом убеждены? А я не уверен, что какая-нибудь разобиженная на «новых» мать-одиночка из кухарок не плюнула в ваш «кокот». Мир стоит на голове: подозрительная винарка место куда более безопасное, чем разные «Голливуды», где посетителей регулярно отстреливают. Тут научные прогнозы не требуются.

— А если брать в надежном магазине и потреблять дома?

— Надежный магазин — только свой собственный. Кроме того, при всей отстраненности, у нас есть какая-то социальная роль. Должен быть момент присутствия. Пусть даже как статистов — т.е. элементов социологического мониторинга.

— Зачем?

— По нескольким причинам. Во-первых, чтобы проверять при некотором стечении народа, жив ли ты на самом деле. Если на тебя время от времени орут и шикают — это свидетельство позитивное. Во-вторых, я все-таки остаюсь наблюдателем. Сейчас, скажем, меня интересует баланс добра и зла на поверхности и здесь, внизу.

— Ну и как?

— От теоретических прогнозов я, как вы знаете, отказался. Но судя по народным приметам, нашего полку прибыло...

Теперь понятно, что надо переиначить известный лозунг: в жизни всегда есть место... случаю.

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ НОВИКОВА

Не знаю с чего начать эту жалкую запись (зачеркнуто)

Воспаминании какого-то неудачника некоего художника, просто так сам себя во множестве линчуеш. Было со мной жизненное непонятие Тогда вроде учился позновал знание рисунка, короче говоря живопись, эту паскудную жизнь теперь проклинаю, мне это ни кчему слишком рано понял то что нисследовало бы и писать, эти жалкие полотна которым навожден наш мир, эту формальную огитацию которая мне претит до сегодняшнего дня. Сейчас я в лабиринте счастья, от холода и голода хотя и пают молодым везде у нас дорога. Дорога моя это бегство в рай, на теплую пастель подальше от сквазняков и неудачных поисках ночлега.

Что ты думаешь штат Калифорнии Техаская тюрьма 3 месяца тюремного режима пайка охрана и все заботы как кормят. Сони не думает об этом, он мирно выносит параши по установленному тюремного графика спит в доволь под конвоем прогулка, короче говоря устроился ниплохо за него думают за него мечтают за него беспокоются ведь скоро март весна его нужно выпускать на лоно пленэра, свежую в зелени квартиру в парке, где ни нужно заправлять койку, подобрав газеты можно оставить свою скамейку на попичение отдыхающих. Это штат Калифорния ул. Дерибасовская скверик где кафе Ветерок на падкове среди блатного мира ты замечен своей холеной рожей, когда спрашивают документы то фараон прежде смотрит на твою икону, тоесть рожу, рожа похожа на сморщенную репу цвета не плодородной земли моргалы красные и опухшие. И вот приятный всеми тон Собирайся бродягя сейчас выясним что ты за альбатрос Пошивеливай Видиш как свиньи в шляпах и галстуках ни довольны тобой.

И вот я шагаю рядом с формой метр восемьдесят по направлению в Жовтневый райотделение.

Идя в райотделение я вспоминал все свои похождении, бить не будешь? Зачем ты мне нужен? Ну гадится Дай закурить? На И я курю Этот наглый верзила тоже плохо зарабатывает, даже нет хороших сигарет, Памир мои любимые говорю я. Наслаждаясь солнцем и щебетом птиц. Сегодня я в дуртоме масса белых покойников кружатся угождая мне трихополом и едой Рай ей богу рай читай книги пастель меняют хожу в душ мыть свою пропитую кожу. Остановлюсь на другом мне затерянного счастья

Случай мне не нравится и нравится Было осень пленэр дышал бронзой слышным раем бродяг Золото осени манила меня на привоз Не куда мне ехать, то рай Одесщины тянул в пеструю гущу привоза базар кипел где-то в кутках мирно посапывали коты и я как рыцарь живописи взвалил этот этюдник прихватив холст направился в разношерстный праздник фруктов аващей и красочного люда мирно грело солнце тогда я верил в счастливую звезду да и настроение у меня как взведеный курок кольта кавбоя, горящие глаза видели цвет заранее, так что мой холст не пропал даром. И он оправдал себя Толпа окруженная меня ревела шумела плясала счастливые минуты, я не видел что продовалось не замечал спекуляции ругань обманы даже забыл о фараонах я видел праздник, праздник цвета праздник счастья в моем видении праздник вечно счастливых радостных скоморох. И это у меня было один раз Больше праздников я не видел.

Помню написал тогда базарные ряды, на первом плане в синеющем мареве купол вокзала на втором толпа дышащая пестрая в цвете, шум напоминал рокот жизни каждая живая клетка суетилась короче говоря счастье которое довелось чувствовать видить радоваться проснулась какая то гордость во мне, во мне обездоленного. Я был счастлив и счастлив тем что внутреннее чувство я передовал в холст передовал настроение в к расках, я был горд за самого себя что именно стоял за мальбертом.

Плечо мое резко опустилось вниз почувствовал тяжесть гнетущую, хорошо я дописывал холст подняв голову я увидел фараона, сматывай мазила без тебя тошно да поживей а не то со своей мазней в отделение пойдеш Забрав все пожитки покинул счастливую минуту веселых людей счастье цвета направляясь на трамвайную остановку, деньги что за вопрос били ли они когда ни будь, в чердаках моих гулял ветер паеду зайцем а жрать жрать пусть подумает желудок он полон как мешок наполненный гильзами легко тарахтят да и легче идти ни надо забот побурлит да перестанет. Вот 12-й трамвай, я как лучший магнат Одессы сажусь в экспресс и еду еду зажиточным мещанином курс мой ОГХУ 14/16 Но это только начало.

И вот я взгромоздился в вагон холст поставил в тамбуре корое погромыхал проч от привоза и сутолки Вагон душный полон всякой всячины Граждане на билеты, передайте задние давай давай пошиверливай толпа платить надо я уткнулся носом широко-массивные спины и ехал как добрый кролик Граждане граждане приобретайте билеты там задние как вам не стыдно платите платите Советская планета обеднеет, уж через чур 3 копейки состояние, одна копейка рубль бережет. Сварливая баба с протухшей мордой как яйо раздражал толпу, Заткнись быдла на да ни ори Чтоб ты околел вопила она ее открытая черная расщелина посылала отвратительное зловонье на окружающих милые девочки отворачивались а юнцы после военных год грозили скинуть с трамвая этот вонючий мешок, отравляющим жизнь, а главное аппетит, и так засранным котом я пробирался без денег и счастья все дальше и дальше в перед. Вдруг скарпионные зрачки весело направились на меня, я даже устыдился как балерина при выходе на манеж чё смотришь баба, денег нет давай давай заяц знамо как нет денег, плати а ни то остановлю вагон, не стыдно тебе да нет у меня ты что падла прицепилась ко мне, тебе на пенсию а ты здесь травишь толпу как мух И вот остановка выходи болван да пошиверливай пешком дойдеш, но я не растерялся я снял свои прахаря до потопно изодранные и кинул ей сидящей мумии на подол. Тварь моя ревела неиствовала на меня посылая в мой адрес всевозможные кондитерские маты выплескивая свою тупую злость толпа ревела смеялась была довольна мой выходкой.

Закончилась молебен о злосчастном трамвае и старухе с яичным лицом. Добравшись босый к своему училищу я вспаминал макароны с колбасой забыл за толпу которая провожала меня взглядами И вот училище мастерские с заплеснелой живописью как покойники в морге мальберты, кругом как обычно обтыканы репродукции натурный барабан приемник с пьяным хрипом выхрюкивал мелодию с пластинки, песня о забулдыге родившегося среди пряников и кабыльего коктейля. Словом вся та марцефаль на которую можно надеятся и стать учителем профиссионалом жалующих детей на грип и не умении рисовать.

Вся эта ласка в кулаках давно известна ни только мне но и дворнику И вот о чем мечтал то сбылось это временное явление нужно отметить бифштексом с соусом из конской мочи. Я здесь в лабиринтах нежности и забот счастье кинулось в объятия в руках нежных сестер цветы репейник, чего можно ждать ждать одного или не ждать ничего лучше ждать когда тебе беспечному лаботрясу подадут ужин жаренные гвозди кампот и трихопол после тряска и чесоточный сон, и так день за днем Уважение ко мне настолько трогательны что можно только кончить жизнь самоубийством

Предисловие о том как мы живем расскажет Вам человек который понял как удобнее спать в подъездах незамеченным соседями.

Я бы хотел рассказать еще кое-что но склероз от выпитого вина темнит мой рассудок Но все же попытаюсь вспомнить кое-что

...Ха смешные поминки не правда ли Жил чудак ну и добрый был малый мы как собутыльники жили его пожитками Бог милостив за добрую душу покойника А ты помнишь вереницы зарплат и авансов не скупился Жаль подох не кого подоить талантлив малый чего мы его не замечали пропал пьяница сгинул в черную расщелину от нас Помниш бывало появится у него призренный метал мы как пчелы у матки к нему липнем ну ей богу мягок он как воск напоит нас а мы и рады получку спокойно домой а ты добрая душа не мешай жить до аванса Да за честь его и доброту пьяньем скарпионы вытрем руки почище и по домам ему тепло в прописки нет надобности ему и двух метров хватит зачем ему ограда там найдет себе любителей искусства да будет их угощать вином Эх малый надо было чаще его хвалить да мы же улитки ум то не велик пару извилен мне даже не какой там поп-арт Колесо колесо таково наше матерое направление надуть выудить Жаль его сколько пропито его совести, нам что ха ха ха ха Плевать нам на его излияние в искусстве подумаешь гений клад ты наш нам вытирать руки от тебя нищего но все же жаль столько было перепито с ним почему он не мог держать деньги сквозняк у него а ни мозги Стоя где-нибудь средь черни паршивой одни всхлипывания серые черные красные синие белые каких только нет все же толпа эта живущая одной надеждой облобызать себе подобного да побыстрей то пьяница ведь у него рубль держись давай ты добряк подпитый угощает его и уходит завтра на работу голодным (последние три слова зачеркнуты).

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

/ Прага /

▮▮▮

Не знаю,
было у вас такое:
ничего не делаешь. Нарочно.
Чтобы жизнь медленно-медленно уходила сквозь пальцы.
Откроешь. Пчёл послушаешь.
Понюхаешь. Лизнёшь. Дурью помаешься.
Не дай бог: копать, сочинять, читать.
Люблю пустоту. Пустоту жизни.
Какой дурак говорил о ней, кривя губы?!

▮▮▮

Что она себе думала?
Что я — вещь, покупочка,
и меня можно сдать или поменять?
— Простите, не совсем подошло,
у меня в доме всё цвета обожжённого кирпича,
а он...
А между прочим, она брала на распродаже,
и никто не обязан брать меня назад.
А что же я? Шляпа? Соломенная... велюровая?
Я же знал, что она все покупки относит назад.
Примерит дома, поморщит нос —
и назад, в бутик.
И сестра у неё такая же:
Третьего мужа разменяла.
Помню, как второго выбирала:
— Мне, пожалуйста, египетского.
И получила, да, получила!

Ну, ладно, метафоры метафорами,
Но кому она меня будет сдавать?
Маме с папой? Так их уже нет.
Богу?
Ну, этот всё стерпит.
Этот — вроде меня.

▮▮▮

Интересное письмо передал он её мужу.
Писал зубами и бронхами
с использованием трахеи. На шее писал.
А она сначала не поняла.
Даже обольщалась.
И что же он написал?
Вот именно, что же?
Только теперь поняла:
«Задуши, задуши её!»
Вот так и написал. А она-то...
Каков. Даже это — чужими руками.
Нет, вы только поглядите на эту дурёху!
Да такую и душить никто не будет.
Смеху-то, смеху...

Маргарита ШАРАПОВА

/ Москва /

Первое сентября

Зрительный зал притаил дыхание. На экране целовались.

Нелка почувствовала руку Лобанова на своем запястье и напряглась. Ладонь его была липкой от пота. Нелка отняла руку и незаметно вытерла ее о платье.

Возвращались тихим переулком, усыпанным желтой листвой.

— Давай еще погуляем, — шмыгнул он носом.

— Уже поздно... — скучающе сказала она и с оправдательной интонацией добавила: — Завтра же первое сентября.

— Я люблю тебя, — обиженно буркнул он.

— Ну и что? — Нелка была равнодушна. — А я нет.

— Ты говорила, что любишь, — упрямился Лобанов.

— Брось... Мы еще дети, — она подавила зевок.

— Нет. Ты предательница. Я тебя зарежу.

Она усмехнулась: «Он выглядит как настоящий террорист». Лобанов достал из куртки перочинный ножик, выковырял лезвие и удивленно сказал:

— Вот.

Нелка презрительно усмехнулась:

— Никого ты не зарежешь... Лобанов!

Он молча протянул в ее сторону руку и замер. Лезвие дрожало.

— Идиот! — разозлилась она и толкнула юношу в плечо. Он неловко попятился и, оступившись, упал навзничь. Раздался звук раскололовшегося глиняного горшка.

Нелка ждала, что приятель тут же поднимется, но тот лежал неподвижно. Она пихнула его в подошву..

— Поднимайся — разлегся, придурок!

«Чтоб я еще с этим дешевым шутом связалась!» — проклинала она себя.

Лобанов не отзывался. Она наклонилась над ним. Лицо юноши было спокойным, будто он спал. Нелка дотронулась до его щеки. Изо рта струйкой поползла кровь.

— Лобанов! — вскрикнула она. Звонкое эхо покатилось по переулку.

Она потрясла его, судорожно расстегнула молнию на крутке и прижалась ухом к груди: «Умер!» Вскочила, попятилась и побежала, но за углом дома остановилась и выглянула назад в переулок.

Желтые листья слабо шевелились от ветра. Поперек тротуара лежал человек. Неожиданно вспыхнули фонари. Нелка вздрогнула и кинулась обратно. Лобанов лежал, как она его оставила. Губы юноши сделались белыми. Под затылком растеклась густая черная лужа крови.

Нелка села рядом и заплакала, но, увидев на другом конце переулка силуэт прохожего, вскочила, подхватила труп под мышки и поволокла в ближайший двор. Дотащив тело до помойных контейнеров, перекинула в один из бачков, засыпала листвой и захлопнула крышку. Тут же ее оглушил заливистый лай собачонки, вылетевшей из подъезда на прогулку. Следом показалась старушка с мусорным ведром.

Нелка рванулась прочь.

Бежала, пока резко и больно не толкнулось в груди сердце.

Это была набережная Москвы-реки. На противоположном берегу смутно различались купола храма Христа-Спасителя. Уже совсем стемнело. Вода казалась черной, рябилась электрическим отсветом.

Нелка спустилась по гранитным ступеням к берегу и села, обхватив колени. Ее трясло, зубы стучали.

— Ты что делаешь здесь, девочка? Одна, так поздно? — вдруг услышала участливый голос и обернулась. На три ступени выше стоял мужчина в длинном плаще с приподнятым воротником и шляпе с опушенными краями. С кейсом.

Нелка будто окаменела.

— Тебе сколько лет? — незнакомец оглянулся по сторонам и шагнул на ступеньку вниз. — Бездомная?

Глаза его сузились и стали похожи на прорези.

Нелка взвыла по-звериному и, подскочив, заплясала, ломаясь телом. Била себя руками по животу, голове, бухала ногами по плитам и хохотала.

Мужчина, испугавшись, немедленно скрылся, но лишь девушка успокоилась, появился вновь и осторожно приблизился.

— Эй! — окликнул вкрадчиво. Нелка не реагировала. Он подсел рядом, отложил кейс чуть в сторону. Обнял девушку одной рукой, а другой стал тискать. Нелка оцепенело молчала. Он задрал ей подол и навалился телом.

Нелка видела звезды и чувствовала нестерпимую боль, но оставалась равнодушной. Мужчина по-воровски отпрянул от нее, настороженно прислушался и заторопился вверх по лестнице.

Заморосил дождь. Нелка поднялась, одернула платье. Взошла по лестнице и побрела вдоль чугунного парапета. Дождь усилился. Забормотала исступленно:

— Мы шли под грохот канонады... Мы смерти смотрели в лицо...

Дождь хлестал стеной, и Нелка уже орала свою песню, маршируя по лужам и размахивая яростно руками, словно обезумела.

Внезапно ее ослепил свет фар. Откуда-то вынырнул газик, милицейский. Нелка побежала прочь. Юркнула в кусты, перелезла через забор, пересекла незнакомый двор и бросилась в арку. Тут навстречу ей вкатил все тот же газик.

— Стоять! — раскрылась дверца машины.

Нелка прислонилась к стене. Грудь ее часто вздымалась. Из кабины вылез молоденький сержант и, поигрывая автоматом, неторопливо подошел к ней:

— Попалась?

— Я не нарочно, — лепетнула Нелка.

— Что не нарочно?

— Лобанова...

Сержант приблизился к ее лицу, принюхался.

— Спиртным не пахнет. Наширялась?

— Чего?

Он пихнул ее в бок дулом автомата.

— Наркоманы вонючие! В машину быстро!

— Я не наркоманка! — инстинктивно Нелка отшагнула вбок. Тут же ее рука оказалась заломленной круто за спину, и она покорно пошла к газику.

Проехав немного, газик затормозил. Сержант приказал:

— Раздевайся... только тихо.

Нелка ошарашенно посмотрела на него, потом на водителя. Тот вполоборота скалился ей золотыми зубами.

— Нет! — пискнула она.

Сержант зажал ей рот и придавил к сиденью. Девушка заплакала, но сержант, расстегивая обмундирование, лишь посмеивался.

— Презерватив с ванильным ароматом нынче!

Из машины Нелку высадили, пнув прикладом. Газик укатил. Нелка, понурившись, побрела в темноту.

Домой явилась заполночь. Сразу же закрылась в ванной. В дверь заколошматила мать.

— Неля, открой немедленно! Где ты была?

Нелка пустила воду в ванну и разделась.

— Дрянь такая, открой! Мы тут с ума сходим, отец в милицию звонил, в морги, а ей хоть бы хны!

Нелка легла в воду. Приятно разлилась по телу теплота. Нелка, блаженствуя, закрыла глаза.

— О школе надо думать, а не шляться! Выпускной класс!

«Я не хочу жить, — подумала Нелка и испугалась, как просто возникла эта мысль. Раскрыла глаза. Струя из крана лилась беспрерывно. На полочке лежала отцовская безопасная бритва. — Вынуть из нее лезвие, надрезать запястье, подождать чуть-чуть, и всё — ничего не будет. Всё? Нет! Как это? Я есть и меня сейчас не будет? Но ведь меня когда-то не было, и мне это совсем не страшно, а того, что вдруг не станет, я боюсь...»

Она вылезла из ванны и пристально всмотрелась в свое лицо, отраженное в зеркале над раковиной. Мокрые волосы облепляли его. «Смысл жизни? Шестнадцать лет назад я появилась на свет для того, чтобы в последний день августа в десять часов вечера оказаться на холодных мокрых ступенях набережной и увидеть звезды в небе...»

Утром она проснулась и не сразу вспомнила вчерашний кошмар. В окно ласково светило раннее солнце. На спинке стула висело белое платье, заботливо приготовленное мамой к первому учебному дню. На тумбочке лежала записка: «Не опоздай в школу, гулена!»

Нелка машинально умылась, позавтракала и вышла из подъезда, как ни в чем не бывало: старшеклассница с рюкзачком за спиной и цветами в руках. Однако направилась в другую от школы сторону. Поток радостных ребячьих лиц всех возрастов двигался ей навстречу.

Где-то в подворотне Нелка выкинула свой праздничный букет, пришла в *тот* двор и оказалась возле помойной площадки. Постояв в отдалении, подошла к *тому* контейнеру, приподняла крышку и тут же захлопнула. Из жухлых листьев на нее смотрел мертвый глаз.

Она долго ходила по улицам, пока в одном из арбатских переулков не была застигнута дождем. Хотела извлечь зонт из рюкзачка, но рюкзачка за спиной не оказалось, и она не смогла вспомнить, где оставила его. Забежала в арку. В глубине заметила вывеску «Кафе «Надежда» и иронично подумала: «Пожалуй, это неспроста...» Решила зайти.

К полуподвальной двери вели узкие полуосыпавшиеся ступени. Над дверью горел тусклый фонарик. Нелка, придерживаясь за стену, осторожно спустилась и не без труда отворила тяжелую дверь.

В маленьком сумрачном зале никого не было. За стойкой бара патлатый парень со скучающим видом тренькал на гитаре.

— Кафе закрыто, — не глядя на вошедшую, произнес он.

— Там дождик...

— А-а, — протянул он и, сильно дернув тонкую струну, вдруг спросил. — Хочешь коктейль?

— Не знаю, — искренне сказала Нелка.

Парень с интересом посмотрел на нее. Дернул струну тоном ниже.

— Ты чего такая потерянная?

— Какая? — устало произнесла она и присела на краешек ближайшего стула. Руки безвольно опустила на подол платья между расставленных коленей.

Парень усмехнулся и вновь дернул струну, прозвучавшую еще ниже.

— Потерянная ты. Я сразу заметил, как ты вошла...

— Ты и не посмотрел на меня, — Нелка вымученно улыбнулась, но губы ее затряслись и, упав руками и лицом на стол, она заревела.

Парень, дернув все струны разом, отставил гитару, схватил стакан, налил в него кока-колы и кинулся к девушке. Она не могла пить, вся тряслась. Тогда он зажал ее голову локтем и стал насильно приспонять стакан к губам. Она закашлялась, захлебываясь. Парень отпустил ее голову и присел рядом. Нелка перестала дрожать и вдруг улыбнулась. Сама взяла стакан и отпила несколько глотков. Отставила стакан и махнула легонько ладошкой.

— Ничего...

— Как тебя зовут? — пристально всматривался парень в ее лицо.

Нелка ответила.

— Лот, — назвался он и потребовал. — Что с тобой?

— Лот? — удивилась она. — Какое странное имя...

— Лот, — кивнул он и спросил мягче. — Что случилось?

— Так просто... просто так.

— Не лги. Ты выглядишь потрясенной, будто убила человека...

Нелка остолбенела. Лот улыбнулся. Она промолвила в шоке:

— Я и убила человека.

Лот продолжал улыбаться. Нелка в ожидании смотрела на него и не могла понять его чувств. Затараторила:

— Я не нарочно... Я оттолкнула его только, а он упал и... умер! Сам!

Замолкла. Молчал и Лот, продолжая улыбаться.

— Что? — убито произнесла Нелка.

— Сделаю коктейль, — Лот поднялся и прошел за стойку. Сосредоточенно занялся приготовлением напитка. Нелка сидела неподвижно и безотрывно следила за его действиями. Наконец он вернулся и поставил перед ней фужер.

— Когда? — спросил это так буднично, словно о чем-то повседневном.

— Вчера вечером.

Лот повел плечами, будто внезапно до него дотронулись холодной ладонью, и переспросил:

— Вчера вечером?

Нелка кивнула. Лот сглотнул ком и проговорил:

— А где... она?

— Он. Он там, в одном месте. Его найдут уже сегодня, сейчас уже... или завтра!

— Или никогда, — процедил он и резко встал. — Идем!

— Куда? — Нелка тоже поднялась.

— Мы спрячем его, — по-деловому произнес Лот. — Я знаю хорошее место.

— Нет! — затрясла головой Нелка. — Не могу!

— Тебя посадят...

— Да? — поникла она. — Наверное, я этого не боюсь.

— Тогда ступай в милицию! — жестко сказал он.

— Ни за что!!! — вскрикнула она и тихо добавила. — Я не знаю, не знаю, как быть...

— Зато я знаю. Идем, просто покажешь, где это место...

Когда они приблизились к тому самому двору, то еще издалека было видно, что возле дома что-то случилось: возбужденная толпа, милиция. Лот и Нелка замерли, переглянулись.

— Опоздали, — усмехнулся Лот. — Ну и ладно! Пошли тогда обратно...

Но не успели они сделать и шага, как на Нелку прыгнула с лаем овчарка, которую держал на поводке милиционер. Нелка непроизвольно прижалась к Лоту и тот поцеловал ее в волосы.

— Фу, Аякс! — прикрикнул на пса хозяин, но тот по-прежнему оголтело рвался к девушке. — Да фу же, фу! Ищи, ищи след!

Нелка вдруг узнала в милиционере вчерашнего сержанта из газика, но тот совершенно никак не прореагировал на нее, будто никогда и не видел. «Может быть, мне уже мерещится?» — усомнилась она.

— Успокойте свою ищейку! — дерзко бросил Лот сержанту. — Порядочных людей зря пугаете!

— А вы не толкитесь тут! Проходите, проходите! Только следы затаптываете...

Молодые люди спокойно пошли прочь, а собака никак не унималась и все порывалась с истошным лаем за Нелкой.

Вернулись в кафе. Присели к стойке.

— Что теперь будет? — уныло произнесла Нелка.

— Не знаю, — пожал Лот плечами. — Впрочем, какая разница... Будем пока жить! Ты не уйдешь?

— Не хочу никуда идти.

— У нас сейчас кафе открывается. Посиди, подожди меня до закрытия, а?

— Угу, — и Нелка вдруг сказала. — Я уже не могу без тебя.

Лот вдруг помрачнел.

— И я тоже, — стиснув зубы, молвил он.

Вечером они направились к нему домой. Лот жил в огромной старой коммуналке, из которой уже были выселены почти все жильцы: оставались лишь он да одна дряхлая старушка.

Напились чаю в кухонке. Нелка испугалась возникшей вдруг пожилой женщины, но та была настолько подслеповата, что даже не заметила присутствия гостьи.

— Здравствуйте, Голда Марковна! — очень громко крикнул Лот.

— З... д... р... ас... т...

Лот налил ей чаю, и старушка уковыляла, растворившись где-то в лабиринтах коридора.

— Пойдем спать? — сказал Лот. Нелка кивнула.

Легли они в одну постель. Лот неловко обнял Нелку.

— Кажется, я люблю тебя.

— И я тебя тоже, — шепнула она.

— У меня никогда никого не было... ну, в этом смысле. Ты моя первая женщина...

— А ты у меня — нет.

Лот долго напряженно молчал, спросил осторожно:

— А тот, другой, который... он кто? То есть, ты его любишь?

Она усмехнулась уголком рта и не ответила. Она прижался губами к ее плечу.

— Ладно, когда-нибудь сама расскажешь...

— Когда? После тюрьмы?

— Может быть, обойдется, — Лот приподнялся на локте и хотел поцеловать ее в губы, но она шепнула:

— Мне не хочется жить.

Он лег на спину и долго не шевелился. Она, думая, что он заснул, вздохнула огорченно. Отвернулась к стене. Беззвучно глотала слезы. Но он вдруг тихо сказал:

— Знаешь, Нелли, я ведь тоже убил человека.

Она примолкла.

— Вчера вечером... опустошенно проговорил он.

Она расширила глаза, медленно приподнялась и повернулась к нему. Он лежал с закрытыми глазами и мирным лицом. Нелка решила, что ей послышалось, но он распахнул глаза — в них блестел ужас. Он стремительно поднялся и начал заполошно одеваться, говоря спешно, задыхаясь будто:

— Она приехала ко мне погостить на три дня... и уже собиралась уезжать обратно в деревню, она у сестры живет... Я не хотел ее убивать, не собирался, ты веришь мне, Нелли? Ты ведь знаешь, как это бывает?

На секунду он примолк и продолжил размереннее:

— Мы спускались по лестнице черного хода. Я нес ее чемодан, но внезапно поскользнулся на очистках помидора, а, может, на банановых

шкурках и упал на нее... Сшиб, мы грохнулись на кафель. Она пискнула, и так мерзко — как задавленная мышь... Я вскочил и стал поднимать ее. Поднимал и отряхивал. Поставил, но она не держалась. Я привалил ее к стене... А она была мертвая. Вот.

Нелка свесила ноги с кровати, промолвила высохшими губами:

— Кто?

Он застыл с полузасунутой в джинсину ногой.

— Моя мама.

Они вышли на тускло освещенную лестничную клетку черного хода, спустились в подвал. Темно, сыро, где-то хлюпала вода, воняло кошками, затхлой мышатиной и разлагающимися фруктами. Лот отвалил круглую тяжелую железную крышку люка в цементном полу и дико воззрился на Нелку. Она наклонилась над колодцем: в глубине виделись торчащие обувью кверху ступни женщины. Нелка отпрыгнула назад. Лот захлопнул крышку. Глухой лязг металла пополз по мрачному подземелью.

...Внезапно Нелка пробудилась. Возникло ощущение, что на нее кто-то смотрит в упор. Раскрыла глаза. Прямо впритык увидела лицо Лота. Вздрогнула. Он отстранился.

— Ты такой бледный, — как бы оправдываясь, сказала она.

Он хотел что-то ответить, но лишь вздохнул.

— Ты так и оставишь ее там? — решилась спросить Нелка.

— Кого? — произнес он непонимающе. Сам же протянул руку и взял с тумбочки зеркало.

— Свою мать.

— Где? — он посмотрелся в зеркало. — Моя мама живет в деревне у сестры. Они обе на пенсии. Наверное, мама в Москву больше не вернется, чего ей здесь?

Нелка растерянно смотрела на него. Он подставил ей зеркало.

— Ты вчера была рыжая...

— Но ведь ночью... — начала было Нелка, но осеклась. Незнакомая седая женщина взирала на нее с поверхности зеркала.

— Чего ты вдруг заговорила о моей маме? — говорил между тем Лот. — Если хочешь, съездим к ней, я познакомлю вас. И мы сообщим ей, что хотим пожениться...

Нелка не отводила взгляда от зеркала.

— Пожениться?

— Ага. Мы поженимся. Сегодня же пойдем в ЗАГС. Ты уже моя жена.

Он рассмеялся — радостно, свободно.

— Убери! — ударила она по зеркалу, и Лот отстранил его. — Какая женитьба?! Мне нет еще шестнадцати!

— Пусть! Зато я совершеннолетний. Мы будем теперь жить вместе. С этого самого дня и навсегда. Пойдем и сообщим об этом твоим родителям. Немедленно.

Она продолжала лежать. Выдернула волос из своей головы, убедилась, что седой, и отшвырнула.

— Я боюсь.

— Но ведь я теперь с тобой. Я — твой муж.

Она дико посмотрела на него.

— Я всего боюсь. И тебя тоже. Ночью... ночью — ведь это было ночью?!

— Я обладал тобой сегодня ночью, — он трепетно поцеловал ее в губы. — А потом мы спали.

Она отвернулась и пробурчала:

— Значит, что же... мне приснился кошмарный сон?

— Вероятно.

— Такой, что я даже поседела? — Нелка невесело усмехнулась и спросила. — А когда ты познакомишь меня со своей мамой?

— Хоть сейчас! — выпалил он и смутился. — Познакомлю... ну, чего ты такая? Все о-кей, сейчас попьем кофейку и пойдем к твоим. Главное — ничего не бойся!

— Угу. Да-да, — сомнабулически отозвалась она.

После кофе он подвел ее к входной двери.

— Давай спустимся черным ходом, — предложила она.

Они прошли в кухню и вышли на лестницу. На первом этаже Нелка остановилась. Поглядела в сумрак подвала.

— Идем же, — потянул ее на улицу Лот.

— Подошвы, — указала Нелка на пыльные ступени, ведущие вниз. Поставила на меньший отпечаток свою ногу: след совпал. Рядом был след рифленой обуви.

— Твои ботинки, — произнесла Нелка. Лот повел плечами.

Нелка сбежала к подвалу, дернула дверь, но та была заперта висячим замком: ржавым, заскорузлым, будто его не открывали много лет. Нелка обернулась.

— Приснилось... Конечно, все — сон. А может, и Лобанов — сон?

Лот начал спускаться.

— Не походи ко мне! — вдруг испугалась она.

— Ты что?! — он не послушался, подошел и обнял ее, крепко прижав к груди. Она всхлипнула:

— Я совсем, совсем запуталась...

— Пойдем, — шепнул он в ее волосы, — здесь мрачно, душно — вот и лезут мыслишки разные...

Вышли на улицу. Светило солнце. Не по-осеннему звонко щебетали птицы. Нелка беспричинно засмеялась. Стас приобнял ее, склонился к уху и проговорил:

— А вдруг не сон, а правда? И то, и другое, и это...

— Что? — она ослабла внезапно в коленках и начала оседать. Он подхватил ее под локти, приподнял, закружил, рассмеялся:

— Да шучу я, шучу!!!

И Нелка тихо засмеялась. И продолжала время от времени усмехаться — всю дорогу до собственного дома.

Возле двери в родную квартиру Нелка сказала:

— Давай я сперва одна зайду, а потом немного погодя позову тебя. А то сходу визг поднимут...

— Хорошо, — покорился он, — но если через десять минут ты не выйдешь, я буду звонить в дверь.

Лот отшагнул. Что-то выпало из его кармана и звякнуло о пол. Нелка машинально глянула и увидела большой ржавый ключ. Тут же вспомнила висячий замок на подвальной двери. Лот наступил ногой на ключ.

Нелка ткнула пальцем в звонок и тут же заколошматила ногами в квартирную дверь.

— Мамочка! Папа!

Дверь распахнулась и Нелка прыгнула внутрь. Тут же захлопнула дверь и придавила ее спиной.

Мать, утирая носовым платком глаза, безмолвно стояла перед ней. За ее спиной в комнате виднелись бесцеремонно расположившиеся на диване и в креслах мужчины в серых плащах с аккуратно подстриженными височками. Отец стоял у окна. При виде Нелки он шагнул ей навстречу, но один из присутствующих зыркнул на него, и отец замер.

— Здравствуй, Нелли, — спокойно произнес кто-то из серых плащей. — Мы ждем тебя.

— Мама, — лепетнула Нелка, — а я выхожу замуж...

Сергей САМОЙЛЕНКО

/ Кемерово /

▪▪▪

Сельская местность в потемкинской волости
с лампочкою Ильича.
Ночь шевелит поредевшие волосы
на голове рифмача.
Небо с серпом над откосами августа
вызвездило на заказ.
Глаз как у многоочитого Аргуса —
все они смотрят на нас.

Звезды висят над поволжской губернией
и осыпаются ниц.
Кто здесь поверит в систему Коперника,
кроме деревьев и птиц?
Падают с неба адамовы яблоки
в старый запущенный сад,
землю дубасят пудовыми ядрами,
терпкую, как виноград.

Северный ветер студеным дыханием
галок загнал под застрех.
Сердце, не зная законов механики,
падает, падает вверх.
Серый туман папиросной бумагою
кутает воды и твердь.
Навзничь на стог свежесметанный лягу я.
Здравствуй и ты, моя смерть!

Скоро мы станем азотом и фосфором,
пищей червя и грача.
Кровь моя, теплохолодная с возрастом,
что же ты не горяча?

Станем в процессе реакций химических
коловращеньем частиц.
Сорокаваттный огонь электрический —
вот он, мой Аустерлиц!

Старость не радость, без всякого Якова,
локти кусай не кусай.
К осени падают райские яблоки,
падает в поле роса.
Небо стоит над колхозным коровником,
держит созвездья в узде,
с вечера свет зажигая в терновнике,
в каждом терновом кусте.

■■■

Весь прошлый год я жил на кочерге
в стране, которой не было на карте,
как шкура неубитого медведя,
лежащей поперек материка.
Я обитал в шахтерском городке,
как Алексей Максимович на Капри,
имея в собутыльниках соседа,
сибирского простого мужика.

Весь прошлый год я не писал стихов,
лишь выходил сдавать стеклопосуду.
Встречая на пороге почтальона,
я говорил, что это не ко мне.
А если был с утра совсем плохой,
и чувствовал, что поврежден рассудок,
сосед меня лечил одеколоном
и сообщал, что нового в стране.

Сосед был не дурак принять на грудь.
Мы сели в сентябре, а встали в марте,
когда допили до последней капли
запасы самодельного вина.
Вверх-вниз скакала в градуснике ртуть,
в глазах троились контурные карты,
серп месяца, кривей турецкой сабли,
глазел в квадрат разбитого окна.

Пока мы пили горькую, на нет
сошла зима с дистанции загула,
и съежилась шагреневая кожа
державы, на дрожжах разбухшей вширь.
Из крана капала вода. Сосед
загнулся на полу, упав со стула.
Спросонья штору било крупной дрожью
и распирало мочевой пузырь.

Я похмелился. Наступил апрель,
и не спеша на горло наступила
неведомая новая эпоха
высоким косолапым сапогом.
Мне по мозгам ударила капель
с утроенною силой, как зубилом,
и я успел подумать: как мне плохо! —
сгорая без огня, как самогон.

1994

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

/ Киев /

Из книги «Лепестки Розы»

[...] ищу его. Извилистыми коридорами блуждаю, заглядывая во все залы, во все замочные скважины, во все зеркала. Ищу повсюду. Прислушиваюсь... Иногда ушей моих касаются нежнейшие перезвоны: будто где-то далеко-далеко ветер колеблет подвески из легкого металла. И я бегу, распахивая дверь за дверью, бегу на этот звон-перезвон, но... В лучшем случае нахожу узорную фарфоровую чашку с не остывшим еще чаем — и я допиваю его; или перо журавля — украшаю им свою шляпу; или золотую клетку с цикадой — отпускаю ее на волю; или медные монетки с отверстиями посередине — даже не прикасаюсь к ним.

Порой, во сне, слышу трогательные напевы хуциня. Гляжу — прямо над моим изголовьем старый Хунь По водит по струнам смычком. Глаза его закрыты, и музыка печальна. Я едва сдерживаю слезы, сердце мое разрывается: нет ничего прекраснее и ничего печальнее в целом мире, чем этот одинокий голос хуциня... Однажды, не сдержавшись, я схватился рукой за смычок... и тут же проснулся. Рядом — ни души, в руке — веточка ивы.

Должно быть, так испытывает меня совершенномудрый [...]

[...] задал ему давно мучивший меня вопрос: можно ли совершенномудрого человека считать великим, а великого человека — совершенномудрым?

На сей раз Учитель почему-то не стал обламывать свою бамбуковую палку об мою спину. Вместо этого он стал уменьшаться в размерах. Он уменьшался так стремительно, что в голове моей закружилась вся Поднебесная со всеми ее царствами, эпохами и династиями... Так совершенномудрый превратился в муравья, а я, палец о палец не ударив, — в великана. Он юркнул в какую-то щель и больше я его не видел.

Задумчивый, я побрел прочь. Лето стояло в разгаре. Был Праздник Прямого солнца, и великие поэты с орхидеями и стихами уходили к тихим озерам встречать рассвет [...]

[...] В часы отдыха совершенномудрый По любит гулять по кромке дождя [...]

[...] потому что тебе хорошо известно мое вечное стремление ко всему прекрасному. Так вот, друг мой, начал я с того, что постелил на полу циновки с узором, напоминающим рыбью чешую, обставился расписными ширмами и возжег курительные свечи — благовония ста смешений — на высоких треножниках в виде извивающихся золотых драконов. Я поставил перед собой дуаньсийскую тушечницу в виде клюва феникса и налил в нее литингуйскую тушь. Потом из сотни кисточек выбрал лучшую — из сюаньского волоса, с нефритовой ручкой, — и разложил перед собой листы яньсийской узорчатой бумаги... О, я был полон наслаждения уже от одного вида всех этих предметов и предвкушал предстоящее занятие каллиграфией. Но главное — мне не терпелось утереть нос этому дерзкому Котомышу Лаврентию Печерскому, который самонадеянно вознамерился соперничать с великой многовековой культурой. Ты ведь знаешь, что старый бессмертный По в совершенстве владеет более чем ста двадцатью стилями письма, и в настоящее время под его руководством я осваиваю «змеиную» и «заячью» каллиграфии. До последнего времени все шло как нельзя лучше. И вдруг завистливый Котомыш дерзнул противопоставить нашей изысканной красоте свою уродливую каллиграфию «участкового врача». А надобно тебе сказать, друг мой, что укоренение такой каллиграфии могло бы вызвать во всей Поднебесной наводнения, засухи, голодомор, эпидемии и, в конце концов, войны. Ну уж нет, этому не бывать! — думал я, беря в руку кисть и окуная ее в тушь, — дракон раздавит жабу. При виде лотоса от злобы зачахнет колючий репей...

В эту минуту явился мой Учитель. Он ворвался подобный вихрю. Он разбросал все, что с такой любовью я расставил и приготовил: расписные ширмы, благовонные свечи, узорчатую бумагу... Он вылил драгоценную литингуйскую тушь прямо на пол! Что же это такое!.. я чуть не плакал от обиды и изумления.

«Не о том думаешь! — сказал совершенномудрый По, нахмурившись. — Пусть листья древесные служат тебе бумагой, а вместо туши — сок полыни...» [...]

[...] Ну никак не давалось мне постижение этих двух заколдованных иероглифов. Девять кистей стер я до основания, раз за разом перенося на листы рисовой бумаги каждый из них. И, вероятно, длилось бы все это бесконечно, если бы внезапно потемневший взор мой не был озарен роскошным выездом Императора в сопровождении много-

численной свиты. Носилки под зонтами, пагоды на колесах, сияние шелков и парчи, сполохи вееров и цветов, смешливый смех мужчин и женщин и речь их, похожая на перезвоны колокольцев, на гудение гонгов: цзин... цзин-чжоу... дянь-цзин... чжао-чжоу-цзин... И над головой — небо, подгоняемое ветром, несется как стремительная река.

Идя по следам расстаявшей за горизонтом процессии, можно собирать прямо на дороге целые пригоршни изумрудов, жемчугов и бирюзы, драгоценные браслеты, головные украшения, туфли и мешочки с благовониями, чайники с недопитым вином, фарфоровую посуду и отломанные веточки ивы в знак прощания, трещотки из сандалового дерева и нефритовые флейты, записные книжки бицзи и даже императорские указы...

Пробудившись, я еще несколько дней благоухал ароматами, которые источали придворные императора [...]

[...] Жизнь моя и моя смерть кормят друг друга.

Я же — сам по себе — учусь насыщаться зарей.

В этот раз совершенномудрый По явился на исходе лета. Он сидел верхом на ослике. В руке — зонтик из лепестков лотоса, за спиной — долгие версты тишины и безлюдья.

Поравнявшись со мной, он слегка придержал ослика, закрыл глаза и молча произнес: «Когда, наконец, ты почувствуешь, что твое одиночество больше тебя самого, неизмеримо больше, — ты начнешь возрастать до его размеров».

Бессмертный По открыл глаза — и я тут же исчез.

Я так и не успел понять, друг мой, к кому обращался он: ко мне, к самому себе, или к ослику? [...]

[...] Милый друг мой, Адорнас!

Сегодня, в седьмой день луны, просушиваю в саду книги, дабы книжный червь не завелся.

Извини, что так долго не давал о себе знать. Не было сил взять перо в руки, так болели они, а особенно пальцы. Да и все тело до сих пор ломит. Ничего удивительного! Совершенномудрый неустанно занимается моим воспитанием, дабы мне поскорее войти в «праведный плод», и, надо сказать, изрядно преуспевает в этом. Ох и достается же мне от его палки из пятнистого бамбука с реки Сян! Это весьма красиво, но больно. Соцветие синяков, подобное тому, что украшает мое тело, редко встретишь в мире смертных. Они переливаются, как перья зимородков на головных уборах красавиц. При этом нужно еще задерживать дыхание и стараться бесконечно длить «аромат книги». И очень важно, чтобы зрачки мои ясно блестели. Друг мой, ты когда-нибудь кричал криком обезьяны?.. Я кричал. И во мне рождалась тоска по родине.

Так что не взыщи за корявый почерк: с перебинтованными пальцами — сам понимаешь, не до каллиграфии.

А пока проветриваются книги, пью силянчжоуское виноградное вино, тоскую по сердечному другу и слагаю эти печальные стихи:

Под сенью осени
Теплым вином услаждаюсь.
Сверчок — собеседник мой.

[...] Дождь — лучший повод к вину, стихам и молчаливым беседам. Кто навещает тебя в непогоду, когда за окном темная ночь, и бушует ветер знобкий, и кричат городские обезьяны — тот посланник небес, твой лучший друг.

Чашкой чая друга встречаю,
чашкой чая его провожаю...
Так, за чаем, и вечность прошла —
поместилась меж чашкой и чашкой.

[...] Там все реки с запада на восток текут. Учусь жить перпендикулярно своему прошлому [...]

[...] Можно, конечно, научиться усмирять волны и заключать огненных драконов в чайник с чаем, можно по воздуху переноситься за тысячи и тысячи ли и прогуливаться в коралловых лесах каменистого Пэнлая, или за один день целую жизнь прожить в Муравьином царстве, можно жениться на дочери Владыки драконов, как некий Ли Юань, — достаточно вызволить из беды красную змейку.

А еще можно превращаться в муху, таять облаком в небе, быть ударом меча и обращать врага в холодную воду, и со струёй чая можно падать и падать — ниспадать в занебесные пустоты.

«Но в этом ли истинный смысл Пути?» — спрашивает совершенномудрый По. — Почему бы тебе не стать дровосеком?» [...]

[...] И вот совершенномудрый По берет цитру и натягивает на нее вместо струн золотые и серебряные волосы своей бороды. Ах, что за дивный инструмент! То ли цитра становится продолжением мудреца, то ли мудрец — продолжением цитры [...]

[...] Первый музыкальный инструмент, на котором я учусь играть, вовсе не хуцинь, не цинь, не шэнь и не цисюаньцинь. Это старый, тяжелый и холодный чу-гун. О, мои огнем горящие ладони и онемевшие пальцы! И голова моя гудит, как это самый чу-гун. Или мой чу-гун гудит, как эта самая голова...

Старый По не дает мне уснуть: ведь стоит мне прекратить играть, как сразу исчезнут горы, леса и реки и парус в осенней дымке. И сама дымка исчезнет, и осень вместе с ней [...]

[...] Правда, это всего лишь моя догадка. Расспрашивать совершенномудрого я не осмеливаюсь: чуть что — он сразу хватается за палку или, как-то совсем не по-китайски, отвечает вопросом на вопрос. Однажды, перекладывая старинные книги, я наткнулся-таки на несколько упоминаний о «девяти напевах». Воздействие этой волшебной музыки необыкновенно, пишет Сыма Цянь. Едва зазвучит она — один за другим являются расчудеснейшие звери, а в довершение прилетают фениксы. О том же повествует и «Книга преданий» — «Шуцзын»: «Когда на флейте исполнили мелодию шао девять раз, фениксы явились на ритуал».

Ах, друг мой, еще не коснулась ушей моих таинственная мелодия шао, и неведомо мне, почему ее надо исполнять именно девять раз. Но я знаю, тебе это удалось. Как, должно быть, ты счастлив! И как мне хотелось бы достичь того же...

Пока же — я не сплю вот уже третьи сутки. Не смею спать — ибо каждые два часа бью в барабан. О, это целое искусство! Удар должен быть высшей пробы. Ведь в каждом из них заключены многие бесценные вещи: боевой дух, бдительность, благородство и самоотверженность хранителя мирного сна, музыкальность поэта, обитающего между бутонами ударов, между вдохом и выдохом [...]

[...] По снегу совершаем обоюдоострые прогулки [...]

[...] Десять тысяч звуков живут в одной ушной раковине. Одна нить связывает десять тысяч пространств.

Сквозь шепот ручья слушай прялки далекой стук. А за прялкой — пение иволги в пустынных полях. И в дальних далях полей — шорох болотных цицаний; слушай собаки лай и осторожную — по следу — поступь охотника с луком из рога. Слушай, как за его спиной нарастает безмолвие опустевшей хижины. Там, за плетеным забором, неприметная притаилась цикада; слушай, как звенит ее маленький сон.

И только теперь можешь взять в руки цинь, если, конечно, он еще тебе нужен [...]

[...] Благоприятно созерцать.

На террасе быть перескрипыванием шагов, у приречного подворья — плеском весла, течением вод. За городскими воротами — извивами проселочной дороги быть, исчезая за холмами.

Праведному мужу есть куда выступить.

По дороге шагая, пылью медленно оседать, быть безвременьем.

Счастье [...]

Светлана МАКСИМОВА

/ Москва /

Аргентинское танго

Лишь слово одно — «никогда» —
Есть храм для твоей победы.
Крылатая Ника: «Да!» —
Кричит с парапета.

Вот здесь ты умрешь, зато
Ты будешь свободным, свободным!
Танцуй в долгополом пальто
На кухне своей холодной.

Сметай рукавами то,
Что помнит лишь боль тупая.
Люби в разнополом пальто
Себя, на себя наступая.

Не помни, когда и где
Под воду ушла Итака.
Танцуй на воде, по воде
Свое аргентинское танго.

Во всем от Версачи и
Ногой попирая Китеж,
Иди по воде, иди!
И там ты себя увидишь

Танцующим на огне
На кухне с открытым газом,
С московской зимой в окне,
Косящим безумным глазом

Туда, где века подряд,
Возлюбленными возлюблен,
В шинели своей до пят,
В каком-то армейском клубе

На чьей-то чужой войне,
По чьим-то чужим контрактам
Танцуешь ты, как во сне,
Свое аргентинское танго.

Стекольщик

Однажды мне вырвут язык
За то, что молчание — золото,
Которое после грозы
Озоном запахнет и голодом.

И хлеб на газетном листе
Крошиться начнет безъязыко.
Вода прокричит в темноте,
Струясь вдоль затылка.

Не будет мне муки в словах.
И счастлива буду я этим,
Как белый буддийский монах,
Как черный монах на рассвете.

И кто-то мне стекла побьет
В окне на восточную сторону.
И Йорика череп споет
Веселую песенку ворону,

Мол, что ж ты кружишь, дуралей,
Как будто бы пьяный извозчик.
Летел бы отсюда скорей,
Пока не явился стекольщик.

Уж он застеклит мне глаза,
Уж он застеклит мое горло,
Чтоб билась и билась оса
В стеклянную розу покорно.

Он всех нас дурачить привык.
Он Бога и черта правее!
Он вырвет лукавый язык,
А после тюрьму застеклит
Прозрачною тенью Орфея,
Мол, вот тебе рай и Аид,
И пусть твое слово кричит,
Молчаньем своим багровея.

■■■

Кончен бал! И в козла превращается принц!
Сумасшедшая фея обеих столиц
На Дворцовую площадь выходит — адью!
Где-то между двенадцатью и девятью
Минуэтами первых полночных минут
Замыкает свой круг — то ли век, то ли кнут
Перехватом на горле, как будто лассо,
И дома оплетает безумной лозой.
Выхожу я на Невский и полночь давлю
Виноградными гроздьями и на твою
Наступаю тяжелую сочную тень,
Что вином забродила... И вот набекрень
Хромоногий прохожий сбивает колпак
И свирель достает из кармана... Итак
Начинается бал на полночной реке,
Где любовь, в сумасшедшем кружась колпаке,
Топчет, топчет судьбы моей яростный плод
На одном чердаке, где никто не живет,
Где играет мой Пан на свирели для крыс.
И безумье всю ночь оплетает карниз
Этой буйной лозой, замыкающей круг
Пуповиной, обвившею весь Петербург,
Что висит над Элладою вниз головой
И стекает в кувшин виноградной Невой.
И смеется, смеется полуночный Пан —
Зреет в козьей башке его сладостный план,
Как проснемся с тобою мы между колонн
В славном портике крохотном, где испокон
Пели, пили вино и Платон, и Сократ,
И давили ступнями хмельной виноград
Наших сочных теней, что свисали на них
С парапетов Невы и ночных мостовых.
Выливая вино на пурпурный хитон,

Ставит Пан наши судьбы с тобою на кон.
И бросает он кости — иль пан, иль пропал! —
На Дворцовую площадь и там у столпа
Отражает пузенью огромной своей
Голубые зрачки петербургских огней.
Все свершилось отныне и все решено —
Становлюсь я хромому Сократу женой.
И сварливой Ксантиппе теперь меж колонн
Снится каждую ночь недоступный Платон.
Кончен бал! Кончен праздник взбесившихся лоз!
Хромоногий прохожий хохочет до слез,
Загоняя в загоны баранов и коз,
Выпуская из клеток общипанных птиц...
И крадется в козла превратившийся принц

▮▮▮

Зови же меня сестрой,
Как звал бы в Древнем Египте
На ложе ночной порой,
Где смуглые мы, нагие...

Где головы на плечах —
То птичьи, а то шакальи,
Где плоть поет при свечах,
А души в белые ткани

Завернуты до бровей...
Однажды в полночной келье
Я вспомню, каких кровей
Слепое мое смиренье,

Монашеский мой покрой,
Надбровные эти платы...
Зови же меня сестрой,
Как было уже когда-то.

▮▮▮

Брат мой, Авель... И тут он скажет:
Погоди, это все не то...
Ты бы знала, какой здесь кашель.
Я, похоже, забыл пальто.

В этом вечном глухом покое
Кто-то кашляет без конца.
Карантин в музыкальной школе
И повязки на пол-лица.

В гардеробе сменная обувь
По числу затонувших кают.
Ты себя здесь найти попробуй —
Распустили сиротский приют

На каникулы... На каникулы...
И поныне то здесь, то там
С золотым башмачком Калигулы
Ищут Золушку по домам.

Зарывайся в золу, зарывайся,
Зарывайся в золу, сестра.
По ногам с головой укрывайся —
И стихи сочиняй до утра.

Вот такие-то недотроги
И придумали этот ад.
Ни к чему выбирать дороги,
Все дороги ведут назад —

В школу ангелов, в школу ангелов,
Куда нас посылала мать.
Там, где ты позабыла набело
Это небо переписать.

Ласточка

Мы почти не устали в пути...
Узнаешь этот старый чердак?..
Впрочем, ласточка, ты не суди,
Если что-то не так.

Ты мне глиняный город слепи,
Пой, люби и ликуй!
Крепит мир над фасадом слепым
Каждый глиняный твой поцелуй.

Ночью глина стекает с волос,
Ночью я и сама не своя...

Где же, ласточка, нам привелось
Этот глиняный рай изваять?

Средь каких почерневших колонн,
Над какою такою страной?
Это, ласточка, твой Вавилон,
Крепко склеенный детской слюной.

Это наш опустевший сосуд —
В камни старые вина ушли.
Молоко из развалин сосут
Молодые ужи.

И змея оплетает крыльцо,
Разбухая от зимних дождей.
Идол каменный брызжет в лицо
Из гранитных грудей.

Рассветает... почти рассвело...
Что, родная, с тобой?..
Это, ласточка, твой Вавилон.
Пой же, ласточка, пой!

Крылатые львы

Плывут и плывут — отчего их не видите вы?!
Зову и зову — это в небе крылатые львы!
Они на закат, на закат... и на запах свечей
Летят и летят в чешуе нераскрытых очей.
Мне дышится с ними морозно, свободно, легко,
Пока они пьют векового бельма молоко
До дна и до взгляда, до бездны ночного зрачка —
Им небо легко до последнего выпить глотка.
А там, на земле — всё, как в славном аду, — всё ату!
А там, на земле — и колени примёрзли ко льду.
И всё не оттаять, и всё не поднять головы.
А в небе — весна! Это дышат крылатые львы!
Как будто предвестье любви и предвестье беды
Дыхание их, что ломает январские льды,
Дыхание их, что в простуженной флейте поёт.
О, как мне знаком этот царственный томный полёт!
Покуда мы любим и спим в нищете и тщете,
Покуда мы любим и спим на позорном щите,

Взлетают они, не спеша, со своих площадей...
И мы уж не те... Не ищите заблудших детей
В заоблачном логове этих погибельных зим...
Покуда мы спим — и по-львиному в небе летим,
И каждым изгибом подобны мы царственным им,
И нас уже нет, — о, покуда мы, грешные, спим! —
Лишь уровень света в ложбинах изогнутых спин,
Лишь уровень крыльев да уровень гиблой Невы,
И всё, что есть мы, — это в небе крылатые львы!

Алексей КУРИЛКО

/ Киев /

Ты еще жив...

Головная боль усилилась. Стараясь не делать резких движений, я добрался до ванной и взял из аптечки две таблетки аспирина. Я попытался проглотить их, не запивая, но во рту пересохло. При глотательных движениях таблетки попросту рассыпались на шершавом языке и никак не хотели попадать внутрь горла. Пришлось присосаться к крану. Много пить было нельзя. Но меня мучила жажда. Вода была такой холодной, такой приятной на вкус. Реакция последовала незамедлительно. Меня рвало не меньше минуты, прямо выворачивало наизнанку. Пришлось вернуть все до последней капли — сверх того! — за водой пошла какая-то желто-белая слизь. Когда она кончилась, я был измучен и пуст, но все еще напрягался, открывая рот, как золотая рыбка на асфальте, так как желудок продолжал сжиматься. И я стоял, согнувшись, с вздувшимися венами, проговаривая в перерывах между спазмами: «О, Господи... о, Господи...»

Выпрямившись и брезгливо вытерев губы тыльной стороной ладони, я посмотрел в зеркало. Глаза налились кровью, зрачок был непривычно большим.

Меня знобило, но я точно знал, что через несколько минут стану обливаться потом, даже если сейчас разденусь донага. Уже через час или два меня будет и знобить, и кидать в пот одновременно, а затем... От одной только мысли, что будет затем, мое сердце забилось в истерике, пытаясь изнутри пробить грудную клетку, чтобы выбраться из тела, которое ждут такие муки. Слава Богу, мысли так стремительно проносились одна за другой, что сосредоточиться на какой-нибудь из них было невозможно.

...это только начало... сдохнуть можно... где Байрон... на черный день хотя бы кубик... все проходит... дотянуть до утра... будет еще хуже... плохая память на номера телефонов... сегодня уже не уснуть, потому что... сдохнуть можно... выбросить зеркало с трещиной... хорошо, что я утром побрился... чего там... это только начало...

Меньше всего я сейчас ожидал звонка в дверь. Когда тот раздался — долгий, настойчивый и чуть-чуть хрипловатый — я вздрогнул, задержал дыхание и замер.

Это менты! Или Фролов! Свои бы воспользовались условным знаком: стук и три коротких звонка. Что делать? После одиннадцати имею полное право не открывать. (Не открыть Фролову?!) Никого нет дома! Все ушли на фронт! Может, все-таки Байрон? Стоит ему упороться, и он забывает обо всем на свете. Разумнее всего выждать, затем выключить свет и посмотреть из окна, кто выйдет из подъезда.

Я осторожно подкрался к двери и припал к глазку. При этом подумал, что в глазок могут выстрелить. Увидел чей-то темный силуэт — и только.

— Кто там? — спросил я через дверь.

— Хорошо, что ты еще жив, Кура, — сказал силуэт женским знакомым голосом. Я впустил ее в квартиру, снова запер дверь и прошел за ней на кухню.

Она изменилась. Похорошела как-то. Правда, я никогда раньше не видел ее в платье. Когда-то она предпочитала носить джинсы и мужские рубашки. В основном — мои рубашки. И все из-за огромного бюста, разрывающего по швам платье любого размера: было сложно найти такое, которое ладно сидело бы на талии, плотно облегая в меру широкие бедра, и в то же время выдерживало мощный натиск груди.

— Что значит «ты еще жив»?

Она села на единственный стул, аккуратно опустив черную сумку, с которой пришла, себе на колени.

— Это чего? — она кивнула на повестку, одиноко лежавшую на столе.

— Арестович вызывает. Наш участковый. Что значит «ты еще жив»?

— Ничего. Просто слова. За те два года, что мы не виделись, я похоронила штук пять своих старых знакомых.

Я уютно расположился на подоконнике, чуть отодвинув в сторону цветочный горшок без цветка.

— Ты тесно общалась с людьми, которым с рождения смерть дышала в затылок.

— Не знаю, кто кому куда дышал, но люди мрут, как мухи.

— Может быть.

У меня закружилась голова, и снова стало подташнивать.

— Где мама? — спросила она. — Спит?

— Спит, — подтвердил я. — На Байковом.

— Давно?

— Года полтора.

— Вот и я говорю, люди мрут, как мухи.

Она глубоко вздохнула, и мне показалось, что я услышал треск материи.

— Ты похорошела.

— Честно? — она нахмурилась. — Ты выглядишь ужасно.

— Знаю, — согласился я. — Но чувствую я себя еще хуже, чем выгляжу. Слушай...

— Что?

Она вышла замуж за человека по имени Антон. Он был старше ее на четырнадцать лет. Больше я о нем ничего не знаю. Я даже не видел его, когда был у них на свадьбе. Впрочем, я пробыл там минут двадцать. И свадебного платья тоже не видел. К тому времени она уже переоделась в мою рубашку и джинсы. Мне было двадцать два, и я уже год сидел на системе.

— Ира, ты...

— Я к Максаковым шла...

— У них что-то есть?

Я ни на что не рассчитывал. Спросил просто, чтобы спросить, на всякий случай.

— Не знаю, никто не открыл. Решила спуститься к тебе. Проведать, жив ли ты...

— Спасибо. Ты хоронишь меня раньше времени.

— Ты сам себя хоронишь, — она помолчала. — Я так понимаю... сварить у тебя не проблема?

— Ты ведь спрыгнула. Или?

Но она спросила, не дав мне договорить:

— Кумарит?

— Значит, бывших наркоманов не бывает, — сказал я, чувствуя, как моментально вспотели ладони и в надежде заныла душа.

Она неопределенно пожала плечами и переспросила:

— Давно кумарит? Сможешь приготовить?

Какая она милая. И заботливая. Такая искренняя забота о себе, что хочется плакать от умиления.

Она достала из сумки литровую бутылку растворителя с номером 646 на этикетке, неполную бутылку уксуса, пачку соды и целлофановый кулек с перетертым маком. А также пачку «Мальборо». Я взял одну сигарету и сунул за ухо.

— Ангидрид у тебя, надеюсь, есть? — спросила она.

— А у тебя, что, нет?

Она изменилась в лице, побледнела и тихо сказала:

— Нет.

— Ладно, у меня есть.

Она выразительно постучала пальцем по лбу.

— Голова не болит?

— Болит, — признался я.

— Тебе это кажется смешным?

— Нисколько.

Из носа капнуло. Ну вот! Уже вовсю текут сопли.

— Давай быстрее! Меня здорово харит.

Я дал ей чистую кастрюлю, она пересыпала в нее тырсу из кулька и залила растворителем. Проделывая эту несложную операцию, Ира возмущенно бурчала:

— Я принесла ему все! Что еще нужно! Сделай и раскумарься! А он, жмот, какой-то вонючий ангидрид зажал. Это ж надо быть таким жадным... и наглым...

В чем-то она была, безусловно, права. Будь у нее хоть три децела ангидрида, я бы ни за что не дал свои последние полкубика. А ведь и для себя тоже делаю. Хотя почему «ни за что»? Сейчас я все готов отдать, лишь бы уколоться. Но... тем не менее. Как крысы, кроим друг от друга что только можно. И она такая же. Что я — первый год ее знаю?

Взяв кастрюлю, я бережно поставил ее на огонь, предварительно накрыв миской с холодной водой. Когда растворитель закипит и вода в миске нагреется, я отключу газ, поменяю воду и снова зажгу огонь. И так несколько раз. Главное — не спешить. Не так все это безопасно, как кажется. Растворитель и вспыхнуть может, бывали случаи. У одного штымпа вспыхнул в тот самый момент, когда он снимал кастрюлю с огня (дураков хватает), он дернулся, и вся эта полыхающая смесь — ему на грудь, на руки. Он вопил, метался по кухне, пытаясь горящими руками сбить пламя. Хорошо, я рядом был. Кинулся в комнату, схватил какое-то одеяло, повалил его на пол, накрыв одеялом. В общем, спас его. Он в больнице месяцев шесть валялся. Как я был зол на него, если б кто знал. Ведь без ширки оставил, урод.

А вот одна знакомая, тоже при мне было дело, сумела не потерять над собой контроль: сначала поставила кастрюлю на стол и только затем принялась тушить на себе огонь. Вот это выдержка, я понимаю. Сильная не телом, но духом. Духовитая баба! «Железная леди». Тоже, говорят, умерла.

— Почему ты молчишь? — спросила Ира.

— Думаю.

— Зачем? — она выдержала небольшую паузу и, не дождавшись ответа, предложила:

— Может, поговорим?

Покачав головой, я посоветовал:

— Ты лучше пойди поищи чистую тряпку. Скоро выкручивать.

— Иди сам ищи, — огрызнулась она и нервно закурила.

Я поплелся в комнату. Включил свет. Нашел в шкафу специально для таких случаев уже изодранную простыню. Кроме широкой полоски, я вырвал еще один кусок, чтоб хорошенько высморкаться.

— Ира! — крикнул я в сторону кухни. — Под умывальником пластмассовая бутылка стоит. Промой ее.

Она что-то прокричала в ответ, но я не расслышал.

— Что?

— Который час? — наконец догадался.

По старой привычке я глянул на часы, стоявшие на телевизоре, которые больше месяца показывали одно время: десять минут второго.

— Десять минут второго, — крикнул я, так как был уверен — сейчас действительно около часа.

Когда я вернулся на кухню, Ира уже сняла кастрюлю с плиты. Мы молча принялись за дело. Ира ложкой перекладывала из кастрюли в тряпку еще не остывшую потемневшую и разварившуюся кашицу маковой соломки, а я, обжигаясь и натирая мозоли на руках, выкручивал тряпку, выжимая из соломы все до последней капли в подставленную миску. Из миски и кастрюли я все перелил в пластмассовую бутылку, добавил грамм пятьдесят уксуса и, закрутив крышечку, как следует взболтал.

Я объявил трехминутный перекур.

Надо подождать, какой будет выход — чисто химическая реакция, при которой опиум оседает на дно бутылки, отделяясь от масел и прочей грязи.

Уже скоро, подумал я. Остается выпарить в чистой миске из опиума оставшиеся уксус и растворитель, капнуть ангидрида и подсушить. Затем разбавить водой и подкипятить. Как будто ничего сложного. Но если допустить хоть малейшую ошибку — пиши пропало.

При подсушке, например, если передержишь на огне — ширка подгорит, а снимешь с огня раньше — получится сырая. Или если слюна попадет, или пепел, или жир, не дай Бог. Поэтому и моют посуду перед всеми этими процедурами кипяченой водой с пищевой содой.

Готовили как-то у Мозгового. Шира получилась подозрительная. Грязная очень. Как вода в луже.

— Ладно, — говорю, — давай! Что с ней подыхать, что без нее.

— Ну смотри, — предупреждает Мозги, — ежели вдруг почувствуешь себя хреново, сразу выходи за дверь. Мне, — говорит, — только трупа тут не хватает.

Ладно, думаю, мне и самому в таком свинарнике умирать не хочется.

«Двинулся» я и... торчал у него всю ночь, да так, что до сих пор вспоминаю. Давно мне так хорошо не было.

— Как Антон? — спросил я Иру.

— Какой Антон?

— Ну, муж твой.

— А-а, Андрей! В субботу пришел, оставил бабки и исчез. Сказал, через полгода вернется.

— Да, семейная жизнь — это что-то особенное.

— Он скрывается от кого-то.

— Честным людям всегда приходится от кого-то скрываться.

— А мне тошно одной, — сказала она. — Я ведь нигде не работаю. И подруг нет.

— Почему?

— Скучно, — ответила Ира.

— Может, тебе надо было родить от него?

— Думаешь, с ребенком будет веселей? Да и кого я могу родить? После всего.

Она продолжала говорить, но я ее больше не слушал. У всех проблемы. Меня на всех не хватает. К тому же, все было готово. После переговорим.

Через барракуду я выбрал в двадцатикубовый баян двенадцать кубов ширева и перелил в стеклянный пузырек из-под таблеток.

— Рубин! — воскликнул я, имея в виду цвет ширева. Она молча вынула из сумки одноразовые шприцы.

— Сколько тебе?

— Два.

— Не много? — спросил я.

— Вчера впорола не меньше, — тембр голоса подрагивал, точно ее щекотали, но лицо оставалось серьезным, даже каким-то сосредоточенным.

Нисколько меня не стесняясь, она задрала платье, прижав конец подола подбородком, и, спустив трусики, ногтем указательного пальца отодрала корочку засохшей ранки левее и чуть выше лобка. Мне не хотелось смотреть, как она будет двигаться в паховую вену. Развернувшись, я ушел в комнату.

Зажав левую руку между ног — для того, чтобы вены набухли, я быстро ввел иглу в вену, взял контроль и погнал...

Приход был затяжной — секунд сорок — прикрыв глаза, я потихоньку съезжал со стула. Так и не вытянув шприц, я упал на пол, больно ударившись головой. Почувствовал, что отключаюсь.

Входит Ира, обводит комнату изучающим взглядом:

— Уютно.

Она подходит ближе и говорит ровным голосом, никак не интонируя:

— Я решила, человек не виноват в том, что он такой.

— Какой? — спрашиваю.

— Такой, какой есть.

— А кто виноват?

— Бог.

— Бога нет, — говорю.

— Был.

Ирино лицо совсем близко, мне не составляет особого труда при желании пересчитать ее реснички.

— Иногда хочется с кем-нибудь поговорить, — признается она. Все равно, о чем. Но ведь все равно, о чем, с кем попало не поговоришь. Ты понимаешь?

Мне нечего ей сказать.

— Встань!

— Не понял?

— Ты лежишь на полу — встань!

Она стоит надо мной, но ее голос звучит очень тихо.

— Поднимись Кура... Открой глаза... Кура...

Я приоткрыл тяжелые веки. Никого. А за окном та же ночная мгла. Душно. Я встал на ватные ноги, выдернул шприц и согнул руку в локте. Чесался нос, — постанывая, я с наслаждением потерся им о плечо.

На кухне меня ждал неприятный сюрприз в виде Ириного трупа. В том, что она мертва, я не сомневался: живые не лежат с посиневшим лицом в такой неудобной позе.

По всей вероятности, передозировка!

Среди царившего на столе бардака я быстро нашел закупоренный пузырек с ширкой и поспешно спрятал его в нагрудный карман на рубашке. Поближе к сердцу. Затем опустился перед Ирой на колени.

Наркоманов не учат оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Теоретически я знал, что ей надо открыть рот, вытащить язык и приткнуть его к нижней губе, чтобы не западал; надо сделать закрытый массаж сердца, искусственное дыхание; теоретически знал, а как это выглядит на практике — не имел ни малейшего представления.

Теперь от ментов покоя не будет.

Мне почудилось, что из-под полуоткрытых век за мной наблюдают ее насмешливые полуоткрытые глаза.

«Сука, — выругался я про себя, — ведь предупреждал ее! Все ей мало!»

И я, видать, накаркал.

Закурив ту самую сигарету, что торчала за ухом, я продолжал рассматривать труп.

Может, вынести во двор — и бросить у мусорного бака? Поди узнай, кто вынес. Я? Боже упаси! Всю ночь спал, как убитый (свет горел). Даже не спал, а наоборот, глаз не сомкнул. Бессонница проклятая совсем замучила. А? Ко мне? Нет, никто не приходил (соседи могли слышать). Ночью, правда, кто-то трезвонил в дверь, но я без кода никого не впускаю. Как? Хорошо, если что услышу, непременно позвоню.

Собираясь с мыслями, я докурил сигарету до самого фильтра.

Все нужно обдумать тщательным образом.

Да и подниму ли я ее? Она, как пить дать, потяжелее меня будет. Одна грудь чего стоит.

Я прикоснулся к ее груди, опустив руку за вырез платья. Грудь была еще мягкой, но холодной и... в общем, неживой. Казалось, под рукой не кожа, а резина.

Никак не привыкнуть, подумал я. Так серо и обыденно. Был человек — и нет человека. Не совсем, конечно, нет, — если бы! — остался труп и... проблемы с этим трупом.

Ладно, пора приступать. Вынести во двор можно, но надо реально оценивать свои силы. У меня же никаких сил не осталось — ни моральных, ни физических.

Я схватил труп за ледяные лодыжки и потащил в прихожую. Смерть явно прибавила ей пару лишних килограммов. Сбегав на балкон, нашел металлический прут. По дороге подобрал очень кстати валявшийся на полу обрывок газеты. Вышел на лестничную площадку. Бешеное биение сердца отдавалась во всем теле. Намочив слюной клочки газетной бумаги, я залепил соседям дверные глазки. Вызвал лифт и отправил его на последний, девятый, этаж. Когда треск работающего лифта затих, я, раздвинув створки внешних дверей, поставил на зажим (благо, имелся полугодовой опыт работы лифтером). Замер, прислушался, все ли тихо, и вернулся за трупом.

Припомнились Ирины слова о том, что люди мрут, как мухи. Еще бы! Два куба такого яду за раз. Я от своей обычной дозы — три кубика — и то как отъехал. А она после, как минимум, полуторагодового перерыва. Никакая муха не выдержит.

...Когда труп полетел ко дну шахты, я зажмурился. «Тух-ф» — подкинуло доморощенное эхо вверх звук упавшего тела. Меня прямо передернуло.

Вот и все. Нет трупа — нет видимых проблем. Остались одни воспоминания. Теперь только хорошие.

К горлу подступил ком.

Где-то на улице залаяла собака.

К утру появилось чувство голода. Я съел три ложки сахара и запил водой.

Зазвонил телефон. Я-то думал, его давно отключили. Я поднял трубку, но ничего не сказал. На том конце провода молчали. Помолчав в ответ, я дал отбой.

Надо отдохнуть.

Я раздавил таблетку димедрола в порошок и подмешал его в ширку. Эта смесь окончательно одурманила мой перегруженный от недосыпания мозг.

Приходили видения. Стоило мне прикрыть глаза...

В комнату входит Тимченко Сергей по кличке Бритва. Месяц назад его застрелила женщина-инкассатор.

Знакомо прищурившись, Бритва спрашивает:

— Торчишь, пацан? Не выкурил до сих пор: горько тем, кто хочет сладкой жизни. Ты ведь еще молодой. Завяжи ты с этим дерьмом. Стань человеком.

— Бывших наркоманов не...

— Знаю, знаю, не блатуй. Смени один наркотик на другой. Власть, говорят, тоже наркотик. Да мало ли! Скажем, риск...

— Дорого.

— А ты дешевка, что ли?

— Да тут не хватает...

— Была бы цель, — усмехается Бритва, а средства будут. Они уже есть.

Я понимаю его без слов. Бегу в прихожую, снимаю с вешалки дубленку (откуда там дубленка?) и вынимаю из кармана целую пачку денег.

— Во, не хило? — спрашиваю, возвращаясь.

Ира пожимает плечами, равнодушно наблюдая...

Встреча настолько меня взволновала, что, потеряв контроль над глюком, я на секунду приоткрыл глаза.

Серый потолок. Тонкая, поросшая пылью, сосулька паутины. И неугомонные мухи гоняются друг за дружкой.

...Ира пожимает плечами, равнодушно наблюдая за полетом мух.

— Ушел?

— Ушел, — подтверждает Ира.

— Говорят, он «белой» баловался.

— Он и «белой» кололся, и «черной», и «колеса» пил, и водку жрал, и план курил, и на женщин его хватало.

— Ты-то откуда знаешь?

— Знаю.

Она снимает рубашку и джинсы, легко, даже не дотрагиваясь до пуговиц, словно выскальзывает из этой одежды. Вещи падают к ее ногам и она, переступив через них, опускается на диван. Нижнего белья на ней нет. Запрокинув голову, она непристойно раздвигает ноги. Рука ее скользит по животу, медленно приближаясь к лобку.

Прислонившись к стене спиной, я изумленно смотрю на Иру.

— Иди ко мне, — шепчет она.

Я не услышал, скорее догадался. Безропотно приблизившись к дивану, я опускаюсь на колени.

— Прости меня... — и склоняю голову к ее руке...

В этот момент меня кто-то поднял и швырнул в другой конец комнаты. Я влетел в самую глубь шкафа, спиной припечатав остаток дверцы к самой стеночке. Сжимая кулаки и матерясь сквозь зубы, я выбрался из этого полуразвалившегося гроба и бросился на Фролова. Его второй удар, который пришелся по носу, повалил меня на пол и отбил всякую охоту сопротивляться. Свернувшись калачиком, втянув голову и

прикрываясь от ударов, я зажмурился. Как в детстве надеясь, что тогда стану менее заметным.

В голове не к месту вертелось:

Не поймать меня на дряни,
На прохожей паре чувств...

Окончания этого четверостишия я не помнил. Более того, я не помнил, помнил ли я его вообще.

Фролов схватил меня за волосы и рывком приподнял.

— Где мой товар?

Я изобразил на лице что-то вроде сочувствия.

— Миша, разве можно волку доверять пасти овец?

— Убью! — гаркнул Фролов мне в ухо и снова швырнул куда-то вдаль.

Приземлившись и чуть не потеряв сознание, я все же нашел в себе силы ответить:

— Если убьешь, кто же отдаст тебе долг?

Он как-то вдруг успокоился, улыбнулся, грузно ступая, подошел ко мне, присел и ударил в живот чем-то блестящим и острым. Я только ахнул. А он еще раз ударил. Что-то отвратительное стало хлюпать, когда он повторял удар за ударом. Его улыбка превращалась в оскал, а от светло-голубых глаз остались только черные щелочки.

И вдруг я вспомнил. Вспомнил две недостающие строчки стихотворения:

Не поймать меня на дряни,
На прохожей паре чувств.
Я ж навек любовью ранен —
Еле-еле волочусь.

Какое блаженство, когда память, сжалившись, подбрасывает то, что казалось совершенно забытым.

Вальдемар ВЕБЕР

/ Мюнхен /

▪▪▪

Черный ворон приехал,
шептались ночью мои родители,
когда забирали соседа...
Я лежал в темноте
и не мог понять,
почему приехал,
а не прилетел.
Наверное, это ворон,
разучившийся летать...
Нарушая запрет,
я пробирался к окну,
вставал на цыпочки,
глядел и глядел
в ночную воронью тьму,
и не мог ничего разглядеть.

▪▪▪

Старое фото в семейном альбоме.
В группе детей улыбаюсь вместе со всеми.
Никому, кроме меня,
не видны за улыбкой
та тревога, тот страх,
та жажда успеха...
За нею вся жизнь —
все, что было и будет.
Каждый из нас знает,
чего стоит его улыбка
на групповом портрете.

Колесо счастья

Напрасно ожидать сочувствия
у рулетки.
Вся опустевшая площадь —
в лотерейных билетах,
опавших листьях праздника.
Если думать, что всё — карусель,
то ничто — не трагедия.
Счастливый билет все равно достается
дождю и снегу.

Сны

Им снилась кровь.
Но даже себе
они не хотели
сознаться в этом.
Говорили о пурпуре
будущих зорь.

Петербургские белые ночи

И я его пил,
это вино,
этот вечно длящийся сумрак —
коктейль из отчаявшегося света
и нерешительной тьмы.

■■■

Выжженные ландшафты сердца.
Каждый раз думаешь:
уже ничему не взрасти
на этих погубленных нивах.
Но взгляни —
вновь цветет,
разрастается буйно крапива
на благодатном,
на благодарном прахе.

▮▮▮

Все Богом покинутые края,
все заклятые тропки-дорожки
вновь обживаются,
вновь проходимы,
строят из себя
забывчивых стариков
и верят, что все обойдется...

▮▮▮

Посмертные бумаги Мандельштама,
сибирские бесследные снега.
На них углем своей последней боли
писал он, зная, что никто на свете
тех строчек, кроме Бога, не прочтет.

Раннее средневековье

Строили храмы Божьи,
словно их высекали
из воздуха, из скалы.
Навечно.
К строительству собственных жилищ
относились не столь истово.
Считали их не бессмертней,
чем гнезда птиц
под крышами храмов.

▮▮▮

Ночь,
настоянная на обидах дня,
полная сомнений, страхов,
чувства пресыщения, безразличия...
Утром стихи пишутся редко,
утром ещё не теряешь веры
в себя...

▮▮▮

Чужому счастью завидуют.
Чужому горю
радуются одни идиоты.

У большинства же
оно вызывает легкую грусть,
не из сочувствия — где там! —
им ненадолго, но все же приходится
задуматься
о хрупкости собственной плоти...

▪▪▪

О, оркестры моего детства!
Духовые, передовые,
марширующие, мобилизующие...
Всех заметнее трубачи,
краснорожие усачи,
работяги, не ловкачи,
все серьёзные, даже грозные...
Поиграют, поиграют,
а потом плюются, плюются,
слюну выбивают из мундштуков.

▪▪▪

Тяжёлый сон
посредине счастливого лета,
говорящий, что запахи земли — обман,
что чёрная краска, царящая в этом сне —
цвет самой вечности,
что наше наличие в этом мире —
лишь вспышка в ночи,
прореха
в бесконечно черном заборе...

▪▪▪

Всюду, куда не пойдёшь,
слышишь скрип этих ржавых
незапертых старых ворот,
и всегда где-то рядом...
Ты их ищешь уже давно.
Ты их ищешь вечно.
Ты их хочешь еще найти...

На родине предков

В астраханской степи кирхи с выклеванными глазами. Ни могил, ни домов. На месте Страсбурга, родины бабушки, когда-то большого села — овраги, колючки, ковыль. Храмы торчат из земли пустыни, как великаны, умершие от жажды на пути к какой-то своей одним им известной цели.

▮▮▮

Природа ни к чему не обязывает.
Можешь ею наслаждаться,
сколько душе угодно.
Наглядеться, наслушаться, надышаться...
Она как стихотворение,
которое от тебя ничего не хочет.
Даже твоей похвалы.

▮▮▮

Вечер, такой огромный,
такой властный,
такой прекрасный...
Останавливается у нашего порога,
медлит,
позволяет ночи
опередить себя...

▮▮▮

Самоубийства
совершаются от бессилья
спеть песню
своего отчаяния

▮▮▮

Тебе хочется знать,
как мы жили?
То был коллективный забег
с барьерами из колючей проволоки
на дистанцию без финиша,
без желания обогнать,
без возможности не бежать.

▮▮▮

О города,
сквозь которые я прошагал
и почти ничего не запомнил!
Краеведческий хлам,
грязь, крапива, мостки,
мухи в столовых и чайных...
Силюсь вспомнить — никак:
только свалки, да шлак,
только мусор, колышимый ветром...
О, города-пустыри,
что вам в том,
если я повинюсь перед вами!

В таджикском ауле

Девушки мимо проносят
глиняные кувшины.
Дым кудрявый из трубок старцев
тянется им вослед.

▮▮▮

Вновь дышит лето
персиковой кожей икр
сладким запахом подмышек
а полуоткрытые губы
делают женщин похожими
на откупоренные амфоры
с еще непочатым вином

Гитлер с эстетической точки зрения

Д. А. Пригову

Всем известно, что Венская Академия
не разглядела в Гитлере гения.
Известно также, художнику позволено многое,
что он совершенно особенное двуногое,
что нужно быть снисходительным к его чудачествам,
равно как и всякого рода качествам.
Словом, скажем открыто, набравшись духа,

что вся эта заваруха,
все эти руины и пепел,
и дым над родным континентом
были его
художественным экспериментом.

▮▮▮

Экзамены в музыкальной школе. Весна. Сирень. Льющийся в сад Шопен. В паузах слышно, как в одной из комнат щелкают счёты.

▮▮▮

Римский саркофаг. Гирлянды винограда, цветущие деревья, колодец. Голова жертвенного быка. Полнокровие жизни! Кто-то должен быть принесен ей в жертву.

Берлин, 1973

▮▮▮

Выскочить из горячей бани в тёмную синь бескрайней сибирской ночи, пройтись босыми ступнями по жёсткому снегу, как по осколкам звёзд...

▮▮▮

Вагон электрички, дребезжащий, как старое расстроенное пианино. Грязный пол, немытые стёкла. Два спящих алкоголика. Вагон мотает, кажется, он вот-вот развалится, и все же мы продвигаемся к цели. Пассажир, что сидит напротив, чистит апельсин. Запах апельсина завоёвывает вагон. Лица теряют напряжение. У окна красивая девочка с нотной папкой под мышкой при очередном взвизгивании рессор кривит лицо, как от фальшивой ноты.

1977, Расторгуево

▮▮▮

В ЦДЛ за пьяным столом один писатель из российской провинции, имени которого я так и не узнал, говорил мне, что после каждой написанной вещи ощущает себя сжатым полем, и что каждый раз посещают его сомненья: станет ли вкусивший с того поля хоть на кроху добрее? Коль не так, говорил писатель, то зачем и кому нужна наша писанина, одна лишь помеха миру.

Борис МАЙНАЕВ

/ Саарбрюккен /

Воля

Молдавия восстала против своего господина — сиятельной Порты. Вызов султану Селиму бросил еще вчера покорный и исполнительный господарь Ивон Вода Лютый. Большую часть сознательной жизни он провел в Запорожской Сечи, а на турецкую службу пришел сам и уже здесь своей храбростью и воинским умением доказал свою преданность султану. Тот не только приблизил его к себе, но и поставил правителем одной из провинций. Кроме чисто человеческих черт, как считал Селим, верным залогом покорности Лютого было то, что, молдаванин по рождению, он был чужаком на родине. И вот этот вчерашний казак бросил вызов грознейшему государю, но султан поначалу решил договориться с господарем. Его гонец отвез Ивону милостивую грамоту, приглашающую того в Стамбул и обещающую тройное увеличение жалованья. Тот не принес покорную голову. Тогда султан послал людей, чтобы убить гордеца — они не прошли дальше охраны. После этого к берегам Дуная двинулось стопятидесятитысячное войско.

* * *

...Была ночь. Войска передовой линии, возглавляемые молочным братом молдавского господаря, большим боярином Фокой, спали.

Тяжел и прозрачен сон воина перед боем. Он вроде спит, но все слышит и в глубине души продолжает молить Бога, чтобы защитил его в завтрашней сече. Бодрствовала охрана и лазутчики, ушедшие к берегу, чтобы следить за передвижением войска противника. Не мог сомкнуть глаз и сам Фока.

По шелковому пологу его шатра метались рогатые тени свечных фитилей. Черноволосый тонколицый боярин задумчиво следил за игрой огня.

«Трехкратный перевес, — тяжелые думы одолевали Фоку, — но даже не это главное. Войска-то нет. Десять тысяч служилых, да пять —

запорожцев, а остальное — вчерашние крестьяне. Что они могут? Косой махать да цепом бить. Махмуд-паша прихлопнет нас, как муху».

— Расея нас не оставит, — он невольно повторил слова Лютого. — Мы единоверцы, у нас одно дело — защищать от поругания святую Церковь.

«Тьфу. А она, Расея, мешок золота да благословение прислала. Тоже, помощь».

Боярин повернулся к свечам и стал заворожено следить за прозрачными язычками пламени.

«Послать гонца к Махмуду? Турок — сегодня он сделает вид, что на все согласен, а завтра, после боя, обезглавит. Вот если бы в самом начале, когда Ивон только задумал восстание, да тайного гонца — в Стамбул, — кривая усмешка исказила пухлые губы боярина. — Тоже, брат. Шлялся по Сечи, а потом поцеловал туфель у султана и получил господарскую шапку. Брат... Предать, а клятва, крест святой целовал? Но ведь другие бояре припали к престолу Селима — и ничего, живы».

Фока опустился на колени:

— Вразуми, Господи. Храм поставлю, век молиться стану!

Фитиль свечи затрепетал, косматая тень заметалась по шатру, разбрасывая по углам темень.

— Кто здесь?! — почему-то шепотом произнес Фока, и в его руке сверкнула сабля.

Человек, стоявший у входа, молчал.

Боярин схватил левой рукой тяжелый подсвечник, а правой — поднял саблю. Горсть лучиков света рассыпалась на бриллиантах ожерелья, припавшего к тонкой девичьей шее.

Фока опустил взгляд ниже.

Тонкая черная туника, отороченная серебром кружев, незаметно переходила в полупрозрачный шелк шаровар. Из остроносых кожаных башмачков виднелись розовые пятки.

— Кто ты и как попала в шатер? — с трудом разлепил неожиданно высохшие губы воевода.

Девушка молчала.

Золотистый свет свечей, без труда пробившийся сквозь дымку ее туники, обнажал ложбинку между высокими грудями. Боярин поставил подсвечник и схватил незнакомку за руку.

— Ну, говори! — он вывернул ее тонкую кисть.

В девичьих глазах вспыхнула боль, и она впилась зубами в губу.

Фока сжал руку сильнее.

— Ну!

Легкая ткань туники съехала вверх, обнажая тонкую талию и нежный холмик живота. Боярин рванул незнакомку к себе и вдруг почувствовал, как под его руками потекла прохладная кожа. Девушка вскрикнула, ее грудь судорожно вскинулась, придавленная к лежанке тяже-

лым мужским телом. Воевода услышал свое дыхание, и острое наслаждение пронзило его до корней волос.

Несколько минут Фока лежал без движения, потом поднял голову. Прямо перед ним теплело обнаженное девичье бедро. Какое-то мгновение мужчина смотрел на него, затем рывком подтянул к себе и вцепился в него зубами. Судорога боли пробежала по розовой коже, и чуть слышный девичий стон отрезвил Фоку. Неожиданно для самого себя он забормотал что-то, чувствуя желание загладить свою вину. Приподнялся, провел шершавыми пальцами по покрасневшей коже и припал к ней, покрывая жадными поцелуями. Душная волна желания вновь захлестнула боярина.

Что это было — страсть, страх или неосознанное желание скрыться в девичьих объятиях от надвигающегося боя и страшных мыслей о предательстве, — наверное, не знал он сам.

— Кху-кху, — послышалось у входа.

Фока в ярости оглянулся. В шатре, низко склонив голову, стоял турок.

— Измена, — воевода потерял голос и принялся лихорадочно шарить по ковру в поисках сабли.

— Не шуми, боярин, охрана спит. И не волнуйся, тебе ничто не угрожает, я просто хочу поговорить с тобой.

Воевода поправил одежду, поднялся и вложил в ножны найденную саблю.

— Нам не о чем разговаривать, турок. Мы встретимся завтра, на поле брани.

— Господарь, ты говоришь так потому, что не думаешь о своем народе.

— Я не господарь.

— Извини, боярин, у меня фирман султана, да проживет он тысячу лет. — Турок неуловимым движением достал откуда-то сафьяновую трубочку с большой алой печатью, подвешенной на длинном шнурке, и с благоговением поцеловал сургуч.

— И еще, — незнакомец поднял голову и прямо посмотрел в глаза воеводе. — Махмуд-паша привел сто пятьдесят тысяч воинов. Во всей Молдавии не наберется столько мужчин. Завтра мы разобьем войска отступника Ивона и покроем твою страну пожарами. И только в твоей власти защитить ее, приняв шапку господаря. Ты моложе, умнее брата, а всего лишь воевода и остался бы им до самой смерти, до которой, может быть, осталось совсем немного. Кроме того, по праву ты должен властвовать на этой земле. Ты! А не пришлый казак.

— Где же ты был раньше? — усмехнулся Фока. — Или Селим поумнел перед боем?

— Уж не хочешь ли ты сказать, что мы боимся горстки нищих крестьян? Аллах велик, — поднял руки турок, — он ниспослал нам это испытание. Твой брат околдовал султана. Теперь, когда его голова будет вздернута на спицу у ворот Стамбула, чары падут, и щедрость повелителя прольется на твою голову. Это будет, но уже сегодня султан послал тебе двадцать тысяч кошельков золота, столько же получит твое войско. А эта невольница и конь из конюшни повелителя — знаки высшего расположения к тебе султана Сулима.

— Нет, — вскрикнул Фока, — нет, он мой брат!

— Ты предпочитаешь позорную смерть трону господаря? — легкая усмешка тронула губы собеседника. — Что же, это твое право. Только вспомни, что ты — на берегу, а значит, умрешь первым. Ведь ты — мужчина и не побежишь?

Боярин вскинулся и потянул из ножен саблю.

— Я почти мертв, — Фока вдруг увидел твердый взгляд аспидных глаз турка, — и моими устами с тобой говорит сам Аллах. Ты можешь слушать его, а можешь не слушать, но я скажу. Твой брат — на второй линии и всегда может уйти к своим запорожцам или русскому царю. Ты же просто погибнешь, тем более что мы уже начали переправу, которую твои дозорные проспали.

Воевода вырвал саблю из ножен и шагнул вперед. Турок сузил глаза и ровным голосом произнес:

— Верни невольницу.

— Что?! — Фока оглянулся, и ярость покинула его.

Девушка сидела на лежанке, придерживая рукой разорванные шаровары. Ее ожерелье вдруг показалось воеводе намыленной петлей. Он шагнул к девушке и рванул с ее шеи украшение. Блестящие камешки россыпью слезинок раскатились по пушистому ковру.

Турок молчал.

«Может, это последний шанс, — подумал Фока, — даже если не стану господарем, то не сгину в сече. Сделаю вид, что влюбился в девушку, а когда все кончится, вздерну ее на осине».

— Оставь ее, — нарушил напряженную тишину неожиданно охрипший голос боярина.

Посланец склонил голову и исчез.

Фока сидел, глядя на ковер, у него не было сил пошевелиться. Девушка, так и не проронившая ни слова, осторожно перевела дыхание. Воевода вздрогнул и пришел в себя.

— Открой рот наконец, — он поднял кулак.

— Не понимаю! — вскрикнула девушка по-турецки.

«Ах, вот в чем дело, — успокоился Фока. — Селим подарил мне турчанку».

Он оглянулся. Посреди шатра стояли четыре пузатых бочонка. На одном из них, на разукрашенном золотом блюде, лежал фирман султа-

на Селима. Воевода опять почувствовал себя обманутым. Турок заранее все предвидел, даже о золоте позаботился. Боярин кинулся наружу.

У потухшего костра, привалившись плечом к седлу, дремал воин. Сабля Фоки со свистом опустилась на его голову. Раз, другой, третий. Боярин рубил, выкрикивая ругательства. Наконец он устал и опустил саблю. Вокруг стояли его воины.

— Пошто гневаешься, воевода? — видя, что он успокоился, спросил казачий сотник, командовавший охраной.

— Спал, собака, — боярин пнул ногой мертвое тело. Воин упал на грудь, и все увидели витую рукоять турецкого кинжала, торчавшую из-под лопатки мертвеца.

— Турки, — выдохнул кто-то. Казаки схватились за оружие.

Фока спокойно оглядел их и швырнул саблю в ножны.

— Сотник, пригласи бояр и старшину ко мне в шатер. — Воевода шагнул в сторону. — Да, когда соберутся, сам от входа ни ногой, чтобы ни одна душа не подслушала.

Казак молча склонил голову.

Бояре собрались быстро. Сначала они говорили тихо, потом, распаляясь, все громче и громче. Сотник отвел казаков подальше от шатра, а сам сел у костра и принялся рассматривать кинжал, которым был убит караульный.

Широкое лезвие в свете костра отбрасывало кровавые сполохи.

«Обычный турецкий кинжал, — размышлял казак, — в лагере таких много. Но кто и зачем убил часового? Фока рубил мертвого, не зная, что он мертв, и не испугался вести о турках...»

В шатре зазвенели сабли, закричали люди, и тотчас же грохнули два выстрела. Сотник выхватил саблю и влетел в жилище воеводы. Тот, держа в руках две пистоли, стоял посреди ковра, рядом лежали два боярина. Остальные молча сгрудились у противоположной стенки.

— Ну? — не глядя на ворвавшихся казаков, рявкнул Фока.

— Мы с тобой, господарь, — почтительно произнес один из бояр, и все склонили головы.

— Уберите, — ткнул стволом пистоли в сторону убитых воевода.

Сотник кивнул казакам и вышел. Вслед за ним вышли бояре и разъехались по своим отрядам. В предрассветной тишине загудели тысячи голосов — лагерь проснулся раньше срока.

— Пошто шумят? — Сотник повернулся к одному из своих казаков.

— Воевода жалованье раздает.

— Жалованье? — удивился сотник и задумался. Неожиданно для самого себя он вспомнил лицо Фоки, когда тот рубил мертвого дозорного, и в его груди шевельнулось недоброе предчувствие. Вспомнил он и то, что один из бояр назвал Фоку господарем. — Скажи казакам, —

пусть коней заседлают да от меня держатся неподалеку. Жалованье, — повторил он, растягивая слоги, — откуда же появились деньги?

Занялась заря. Запели трубы, ударили барабаны. Войска построились. В центр выехал воевода, за ним — его бояре и телохранители.

— Султан Селим простил нас, — вставая в стременах, закричал Фока, — он подарил войску двадцать тысяч кошельков золота. Его только что вам раздали.

— Измена! — казачий сотник рванул из ножен саблю и бросился к воеводе. Тот толкнул ногами своего коня и оказался в окружении телохранителей. Десятки копий, защищая Фоку, нацелились в казачью грудь. Запорожец поднял на дыбы коня и развернулся.

— За мной, казаки!

— Не выпускать! — Высокий голос боярина на какое-то мгновенье перекрыл бешеную дробь конских копыт.

С десяток казаков, во главе со своим сотником, сшиблись с плотной стеной воинов. Сначала показалось, что все они разбились об нее, как горсть стеклянных шариков. Но разошлась пыль и все увидели, что двоим удалось пройти сквозь частокол копий.

— Не выпускать! — вновь крикнул воевода. Вслед казакам ударили гулкие пищальные выстрелы. Задняя лошадь споткнулась на всем скаку. Всадник соскочил с седла, выхватил саблю, но едва успел повернуться лицом к преследователям, как был поднят на их копья. Последним усилием воли казак поднял голову — сотник был уже далеко.

— Упустили, — скрипнул зубами Фока и добавил: — Может, оно и лучше, что сразу узнает.

Высокий рыжий жеребец сотника легко оставил позади погоню. Чувствуя твердую руку хозяина, он уверенно скакал в сторону лагеря господаря Ивона Лютого. Когда впереди показались шатры и скачущие навстречу казаки, конь вдруг почувствовал, что повод ослаб и всадник ткнулся лицом в его шею. Жеребец тревожно заржал, вскинул голову и перешел на мягкий, осторожный шаг.

— Сотник, — позвал кто-то из поскакавших.

— Господи, — удивился другой, — да у него вся спина в крови. Никак ранен?

Жеребца схватили под уздцы, и группа вновь понеслась вперед.

Молдавский господарь Ивон Вода Лютый — высокий, черноволосый мужчина с тонкими, крутыми бровями на красивом, благородном лице, метался по шатру. В углу, на узкой лежанке, покрытой персидским ковром, сидел запорожский атаман Иван Свирговский. Он единственный из всех старых друзей Лютого отозвался на его призыв и привел своих казаков в Молдавию.

Господарь, сам бывший казак, поднимая восстание, надеялся на помощь России, и уж казачества во всяком случае. Но ни того, ни дру-

гого не было. Русь не решилась начинать войну с Турцией, а казаки посчитали свои дела более важными. И только Свирговский, о ненависти которого к туркам ходили легенды, решил разделить с другом все опасности борьбы с Портой.

— Трусы, изменники, продажные крысы! — кричал Лютый. — Свиньи они, а не бояре. Называют себя благодетелями народа, а сами торгуют им. Даст бог, разобью турок, всем головы поснимаю. Все союзники ушли к туркам, только брат еще остался.

Свирговский молчал. Да и что он мог сказать? Султан вручил Лютому господарскую шапку в надежде, что, чужак на родине, он будет служить ему верой и правдой. Бояре же сразу возненавидели своего нового господина и в любой момент были готовы растерзать его. Их сдерживало только войско, боготворившее своего предводителя. Но вот час настал, и они не могли упустить случая ударить господаря в спину. Да и потом, уже во время восстания, Ивон снова всколыхнул эту ненависть, призвав под свои знамена крестьян. Свирговскому доносили, что старшина поговаривает о том, чтобы во время сражения подставить крестьянские полки под огонь турок. «Уж лучше пусть их убьют, — говорили бояре, — а бабы потом новых нарожают, а то кто знает, что могут удумать холопы, вернувшись с войны».

— Господарь, — на пороге появился казак, — сотник из охраны, что ты вчера брату своему дал, прискакал.

Говоривший от волнения задыхался. Свирговскому показалось, что тот с сочувствием смотрит на Ивона.

Вошли трое. Сотник висел между двумя казаками, широко охватив их руками.

— Что?! — Лютый шагнул к нему.

Казак мутным взором оглядел шатер.

— Измена, — бледное лицо его скривила судорога, — твой брат перешел к тур... — сотник уронил голову.

— Лекаря! — крикнул господарь.

— Не надо, — сказал Свирговский, выпуская руку своего сотника, — он уже отошел.

В шатре воцарилось тягостное молчание. Ивон прикусил губу и, казалось, потерял дар речи. Свирговский, не мигая, смотрел на полог, куда только что унесли убитого сотника.

Под навес тихо, один за другим, входили военачальники. Новость уже разнеслась по лагерю, и люди хотели знать, что будет дальше.

Запорожец осторожно тронул Ивона. Тот поднял голову и увидел товарищей, стоявших вокруг. Лютый дернул ус и сжал пальцы в кулак.

— Я не стану их ждать! Мы нападем на них сами!

— Как, теперь, когда их в пять раз больше?

Господарь вскинулся всем телом и резко повернулся к вортнику Думброву, осмелившемуся перебить его. Тот смутился, но глаз не опустил.

— Прости, государь, дозволь слово молвить?

— Говори.

— Турок много, может, лучше отсидеться в осаде?

— У нас нет мощной крепости, а в поле мы не выдержим долгого сидения. Выход один — жалить их, как шершень, и тут же отскакивать назад. Только бы они не окружили нас. Войска сейчас же перестроить. Бой начнем так: впереди три линии легко вооруженной пехоты служилых. За ними три ряда копейщиков, позади них — все пушки и огневой снаряд. Потом опять копейщики, служилые, а по бокам и после всех конница, вся конница — и моя, и запорожцы. Мы будем катиться на турок, как ёж, пусть попробуют взять его в руки.

Ивон повернулся к Свирговскому:

— Тебе, гетман, вручаю всю кавалерию и честь нашу. Те турки, что все линии пройдут, пусть лягут под саблями казачества.

Запорожец снял шапку и низко поклонился, благодаря за оказанную честь.

— С Богом!

* * *

Казачье-молдавское войско было почти неподвижно. Воины, увидев перед собой во много раз превосходящего противника, поняли, что умрут, и утвердились духом.

— Пошли! — резко рубанул саблей воздух Ивон Вода Лютый.

Тяжело заскрипели колеса ста сорока тяжелых пушек, которые все годы своего правления собирал молдавский господарь. Он на своем опыте убедился, что от количества пушек и умения с ними обращаться в бою зависит многое. Навстречу крохотному войску восставших бросилась конница султана Селима. Ей в лицо ударили пушки. Град ядер опрокинул атакующих. Кони, взбешенные огнем и грохотом, понесли, атака не удалась.

Восставшие, вместо того, чтобы, как в привычном бою, отступить, снова шагнули вперед. И опять залп ста сорока пушек смел и поверг в ужас ряды — теперь уже турецкой пехоты. Пока заряжали орудия, конница врага кинулась на противника. Ее встретили выстрелы казачьих пищалей и длинные копья крестьян. Снова туркам не удалось опрокинуть войска Лютого, не удалось сойтись с ними лицом к лицу.

Господарь понимал, что ближний бой для его воинов — верная смерть. Турки же, зная, что их намного больше, лезли напролом!

Пушки молдавского господаря грохотали не переставая, лишь изредка, когда смолкал их раскатистый голос, лихорадочным вскриком рассыпалась дробь пищалей и самопалов. Как ни странно, почти окру-

женное врагом молдавско-казачье войско тяжело и упрямо двигалось вперед. Со стороны это движение с каждой минутой уменьшающегося войска походило на катящуюся вперед каплю ртути, оставляющую после себя многочисленные блестки — убитых воинов: и своих, и чужих.

Сам Ивон Вода носился по полю и рубился, словно простой казак. Казалось, он забыл о своем месте — полководца, но это было не так. Просто бой вступил в такую стадию, когда руководить им невозможно, когда каждый воин сам чувствует, что ему делать.

Турки стали пятиться. Они не могли понять, что происходит и почему им не удается опрокинуть малочисленного врага. Пушки непокорного господаря сеяли в их рядах смятение и неразбериху. Фланги турецкого войска, вместо того, чтобы сомкнуться вокруг восставших, отступали! Бой вели только те воины, которых столкнуло лицом к лицу.

Не сразу, но и Махмуд-паша, возглавлявший турецкое войско, вспомнил о своих орудиях. Он приказал собрать шестьдесят пушек и выстроить их так же — колесо к колесу. По его приказу турки, оказавшиеся перед орудиями, разбежались. Шестьдесят стволов разом смели первые ряды войска господаря молдавского. В ответ тут же выдохнули смерть орудия восставших, но их войска остановились. Над их флангами тотчас же нависли турецкие полки. Это было равносильно гибели...

— Гетмана, гетмана к господарю!

Белый конь запорожца был залит кровью, Лютый вздрогнул, но в тот же миг понял, что Свирговский цел.

— Если сейчас же не отбить пушки или не заткнуть им пасть — мы погибли!

Атаман кивнул головой и понесся к своим казакам. Они рассыпались и густой лавой во весь опор понеслись к батареям. Турецкие канониры успели зарядить почти половину своих орудий и встретили казаков градом ядер. Многие из них пали под ударами янычар, защищавших орудия, но оставшиеся в живых прорвались к пушкам.

Свирговский спрыгнул с коня и одним ударом вбил мягкий гвоздь в запальное отверстие ближайшей пушки. Турецкое войско замерло от неожиданности. На их глазах горстка смельчаков забивала их пушки. Часть успели испортить, часть просто сбросили со станков. Атамана, уже успевшего вскочить на коня, со всех сторон прикрывали запорожцы. Эта небольшая группа оставшихся в живых казаков едва успела проскочить между разошедшимися рядами служилых полков. И снова загрохотали пушки восставших, и их войско, как усталый косец, смахнув пот со лба, двинулось вперед. Казалось, что невидимая сила провела заколдованный круг вокруг крошечного войска, и оно не убывает, а, наоборот, с каждым шагом все грознее нависает над турецкими рядами.

И тут случилось непредвиденное. С неба, исчезнувшего за пороховым дымом, хлынули потоки воды. Ливень был так обилен и внезапен, что в считанные минуты весь порох в корзинах и мешках вымок и превратился в бесполезный песок. Очерченный огненным пальцем смерти круг исчез. Со всех сторон на горстку восставших кинулись враги.

Ивон Вода Лютый с одного фланга, гетман Свирговский с другого — с оставшейся кавалерией — с трудом сдерживали натиск турок. С большим трудом восставшим удалось, не потеряв порядок, отступить к деревушке Рокшаны. Стена проливного дождя отгородила их от преследователей.

Когда к вечеру выглянуло солнце, Махмуд-паша увидел перед собой укрепленный лагерь. Он располагался на холме, по низу шли окопы, а ближе к вершине стояли пушки. Их было вполовину меньше, чем в начале боя, но они были прекрасно снаряжены и готовы к многодневному бою.

До самого утра ничего не происходило. Некоторые даже решили, что турки, усилив свои гарнизоны, уйдут за Дунай. Восставшие всю ночь укрепляли лагерь, пытаясь сделать из него крепость. На другой день, когда солнце поднялось на высоту копья, турецкие войска принялись обстреливать лагерь. До самого вечера каменные ядра скакали по склонам холма, разбивая брустверы и опрокидывая пушки, но существенного урона обороняющимся не принесли.

На следующий день, едва рассвело, в атаку пошли вчерашние союзники Ивона Лютого — валашские полки. Их расстреляли из пушек, а, когда они побежали, господарь сам повел вниз своих служилых и казаков. Валахи, усеяв склоны холма телами своих воинов, бежали под прикрытие турецких батарей. Только добежать не успели — Махмуд бросил вперед конных спагов: хотел навязать господарю бой на открытой местности. Спаги потоптали своих союзников, но сойтись с восставшими не успели. Лютый предвидел это и не дал своим увлечься. Как только лава спагов пошла в атаку, его воины отошли в окопы и встретили врага пушечными и пищальными выстрелами.

Атака стала захлебываться. Тогда вперед выбежали воинствующие дервиши. Безоружные, в лохмотьях, они бесновались под пулями и ядрами. Их молитвы, благословения-фетихи и страстные призывы довели религиозных турок до экстаза. Крики «Аллах Акбар», «Иль Алла» почти перекрыли гул пушек и хлопанье пищалей. Отбросив в сторону огнестрельное оружие, с одними ятаганами и кинжалами в руках и зубах, турецкие воины пошли вперед. В них стреляли, их рубили бердышами и саблями, но, даже корчась на остриях копий, они тянулись к горлу неверных и сыпали проклятьями.

Бой начал стекать в окопы. Казалось, все кончено: нет силы, способной остановить врага. Ивон Вода Лютый, в белой одежде со свер-

кающими алмазными пуговицами, в высокой меховой шапке господаря, рубился с нападающими. По его бледному, застывшему лицу было видно, что он предпочитает умереть, только бы не видеть позора поражения. Тогда Свирговский собрал запорожцев и повел их вниз: перерубить не иссякающую реку вражеских воинов у основания. Гетман построил казаков плотной колонной, и они понеслись на турок. Удар был так жесток и внезапен, что враги, не успев понять, что произошло, были изрублены или раздавлены конями. Янычары, у подножия холма подгонявшие своих, попятились назад. Свирговский повернул казаков наверх. Резня была страшная. Пешие турки отчаянно сопротивлялись, но уже ничего не могли поделать против конных казаков и вышедшей им навстречу служилой пехоты.

Атаман тяжело спрыгнул с коня и попал в крепкие объятья господаря молдавского.

— Хочу побрататься с тобой, спаситель наш, — Голос Лютого дрожал от волнения. — Прими от меня в знак любви и дружбы этот перстень.

Ивон снял с окровавленной руки бриллиант и надел на палец запорожского атамана.

— Спасибо, государь, — поклонился Свирговский, — за почести нам, казакам, верным твоим братьям. Денег, что ты нам обещал, не надо. За веру бьемся православную, за освобождение от поганого басурмана.

Потери с обеих сторон были такие, что даже турки ужаснулись и в этот день больше не стреляли. Когда солнце стало клониться к закату, мусульманское воинство, плотно обложившее холм, встало на вечерний намаз. Огромная толпа людей, покрывшая своими шатрами землю до горизонта, повернулась лицом к Мекке и коленопреклоненно отбивала положенные поклоны Аллаху.

— Вот бы сейчас на коней, да вниз, ведь ушли бы, — густо заговорили казаки.

— А служилые как же? — спросил кто-то, — они-то пеши далеко не убегут. Не было того и не будет, чтобы мы товарищей своих бросали.

С этим скрепя сердце согласились все. И вновь тягостная тишина опустилась на лагерь.

Утром Ивону доложили, что в лагере почти нет воды.

— Как нет?! — закричал он, хватаясь за саблю.

— Нет, господарь. Хочешь казни, хочешь милуй. Все взяли — и еды, и огневого припаса вдосталь, а про воду забыли. Что была в бочках у орудия, да в баклажках у седел — вот и вся вода.

— Копать колодцы!

— Высоко мы, на холме — и в месяц не докопаемся.

Это было самое страшное и непредвиденное. Еще три дня атаки сменялись обстрелами, обстрелы — атаками. Над лагерем восставших стоял не стихающий стон: раненые просили пить. Турки, прознавшие про это, издевались, устраивая купание коней на виду осажденного войска.

Ивон целыми днями метался по лагерю, приказывая копать то в одном, то в другом месте, но воды не было.

— Государь, — к нему подошел один из бояр, — турки на переговоры зовут.

— Пошли людей, выспроси их условия.

— Ивон, — Свирговский положил руку на плечо отчаявшегося господаря, — они голову твою потребуют.

— Пусть, сам ее повезу Селиму, только бы вас выпустил. Не удалось мне свалить Порту, освободить Родину, так загину с честью.

К ним подошел давешний боярин:

— Они требуют, чтобы ты, государь, гетман Свирговский, все бояре и военачальники сложили оружие и поехали на суд в Стамбул. Тогда-де остальные пусть идут по домам. В этом на Коране поклялся сам Махмуд-паша.

— Созывай Совет, думать будем.

Я виноват перед султаном, мне и быть наказанному. Воинство же хочу спасти для будущих битв. Мало чести в том, чтобы помереть от жажды или попасть в плен от слабости. Уйдете живыми, расскажите людям, как мы дрались за свободу веры и земли своей.

Не видя иного выхода, молчали бояре, молчали и воины. Лишь Свирговский встал:

— Иду с тобой, Ивон, по своей воле, но не верю я клятве турка.

Пряча глаза, обнял его господарь, поцеловал трижды, прощаясь. Оделись все от первого до последнего воина во все чистое, помолились и проводили своих предводителей вниз, в турецкий лагерь. Жуткая тишина стояла вокруг, только раненые по-прежнему стонали и просили пить.

* * *

На что надеялись Лютый и его сподвижники? Может, на Господа Бога, на чудо? Каждый понимал, что если их и довезут до Стамбула, то и там всех ждет страшная, мучительная смерть. Может быть, они верили, что их кровь спасет жизни простым воинам? И это навряд ли, потому что по законам того времени все, поднявшие оружие против султана, в лучшем случае были обречены на медленную смерть в рудниках или на галерах. Нам, глядящим на них из далекого будущего, трудно понять, что повело их добровольно сдаться в руки врага. Можно только поклониться их мужеству и обнажить головы перед их памятью.

* * *

Они шли, держась вместе, во главе с господарем молдавским. Ближе всех, у его правой руки, шел названный брат, запорожский гетман Иван Свирговский. Он был известен каждому турку своей храбростью и необузданной лихостью.

Янычары вплотную нависли над молдаванами и запорожцами. Так, одни со спокойными, отрешенными, а другие с горящими ненавистью лицами, дошли они до шатра Махмуд-паши.

Ивон Вода Лютый плотно надвинул шапку на голову и вошел внутрь... Тут же послышались звуки борьбы.

Свирговский рванул саблю из ножен, — напрасно. Янычары зарубили всех на месте, а на обезглавленный лагерь кинулись войска. Спастись удалось только шестнадцати казакам.

Турки мазали кровью Лютого и Свирговского ятаганы и морды лошадей. Считалось, что кровь храбреца делает их непобедимыми и бесстрашными.

Головы господаря молдавского и запорожского атамана привезли в Стамбул и выставили на бунчуках у главных крепостных ворот.

И долго еще пели кобзари:

«...как срубали голову того атамана, что Свирговский гетман, срубали и на бунчук вешали...»

Борис ТУЛИНЦЕВ

/ Санкт-Петербург /

Квинтет Шнитке

Есть на свете композитор Шнитке.
Сочинил квинтет он фортепьянный,
из судьбы выдергивая нитки,
памяти своей покойной мамы.

Нету памятника превосходней,
только рано праздновать победу:
не проснется мать во мгле Господней,
не кивнет любезному Альфреду.

Ах, ты, Шнитке, маменькин сыночек,
царственного Игоря внучонок,
современной музыки цветочек,
поразивший даже Дом ученых!

Дорогую маму вспоминая,
из какого рая ты услышал,
как смычки, воздушно замирая,
шелестят все тише, тише, тише,

как стучит, стучит о крышку гроба
фортепьяно тихим молоточком,
как в тисках божественного грома
музыка внезапно ставит точку.

Как они играли! Вместе, вместе;
катится впотьмах забытый мячик.
Жизнь есть сон, и топчутся на месте
время, Шнитке, музыка и мальчик.

Слышу баритон виолончели,
пенье скрипок и альта глухого:
эта музыка — как бы качели.
В этом нету ничего плохого:

даже славно на земле качаться
в дебрях ностальгического вальса.
Только — с мамой где же повстречаться?
Негде, Шнитке. И не утешайся.

1981

Карлик-Шуберт

Карлик-Шуберт, скромный уголок,
никакого скарба даже нет;
вечный небосвод, как потолок,
и ничей, как голубя, привет.
Комната и мельница, ручей,
и в окошке — призрак, полусвет;
бьют часы, и каждый миг — ничей,
никакой не долетит ответ.

Карлик-Шуберт — гений, видит бог,
но и дьявол знает: это так.
Потому и пуст его чертог,
потому и тих его чердак.
Тридцать лет он прожил среди нас
и еще один какой-то год —
я его не помню светлых глаз;
знаю, что он был почти урод,
что никто его не полюбил, —

только песня вертится в мозгу!
Сколько, сколько на земле могил,
я забыть о смерти — не могу;
так и тянет, как в небытие,
к Шуберту, в Германию, навек,
где зима как зеркало встает,
где в пустом окошке — человек:
карлик-Шуберт, тихий наш двойник,
ангела прилежный ученик.

31. 1.82.

Юрий ШИГАШОВ

/ Санкт-Петербург /

В конце столь долгой зимы

Поднялась привычно рано. До света. Еще полностью не проснувшись, зашлепала босыми ногами по грубому, холодному полу, пошла в чулан. Наткнулась на загремевшие ухваты:

— Фу ты, Господи...

С печи прыгнул кот. Подошел, потерся об ногу. Брызнули холодные капли из умывальника. Кот отскочил, обиженно фыркнув. Неожиданно громко задребезжал радиодинамик, «воронка». Она никак не могла привыкнуть и пугалась, когда радио внезапно по утрам начинало работать. Вначале хотела совсем обойтись без этого новшества, да Мишка-монтер все уговаривал, и она согласилась.

Зажгла керосиновую лампу с пузатым стеклом, горловина которого закоптела дочерна; свет неровными полосами осветил убогие вещи, традиционные фотокарточки, мозаично помещенные в деревянные рамки. Электричество утром не тратила — берегла деньги.

Одевшись, прикрыв голову белым платком, начала с того, что исполняла каждый день: стала на колени посреди избы, вернее, чуть ближе к переднему углу, где прочно засела темная, тяжелая икона, отсвечивая холодными латунными бликами оклада и росписи.

Тихо в избе... Продолжает свою раннюю болтовню динамик; ее шершавые губы что-то тихо шепчут, она крестится сдержанно, но с почтением.

Помолившись и поднявшись с колен, подошла к печурке, тряхнула коробком спичек, пошла в угол к иконе. Достала стеклянную темно-зеленого цвета лампадку, поставила ее на полочку перед иконой и зажгла. Лампаду зажигала редко, по особым, торжественным дням.

Она жила одна. Ее муж давно, еще до войны, «сгинул за язык», сын ушел в город так же давно — лет десять минуло, изредка присылал деньги, которые радовали ее прежде всего как известие о сыне. Ей нужно было мало, так как она была чиста и родилась без прихоти в ду-

ше. Вся ее обида сводилась к бесхитростной обиде на город, все ее недоумение обращалось на город. Однажды побывав в Г-ом (и то только у вокзала) и увидав там спешащих, толкающихся городских людей, она решила: «как заведенные игрушки, ничего не слышат», «видят — только перед собой». И убедила себя, что не возвращается муж и ушел сын потому, что они оглохли и ослепли, как все городские, и что, значит, уже не найдут дорогу обратно. Так думала эта одинокая женщина, но вчера она получила известие: приезжает сын.

Ее изба стояла к улице боком в конце тихого, сонного проулка. Прежнюю свою избу, срубленную еще хозяином, она сменяла лет восемь назад с Иваном Капелькой, бригадиром огородной бригады. Взамен большой сосновой избы она получила маленькую, да еще пятьсот девяносто пять рублей. Прежняя изба была в улицу, на виду; правда, она подветшала, но Иван гнался не за избой — за местом, а женщине тоскливо было одной в большой избе, да и хлопот больше. Дрова, сад, земли двенадцать соток, а здесь кроме огорода — ничего.

Она пришлась по нраву соседу, Игнату Васильевичу, он «подсоблял» ей дровами, сеном, хворостом, и жила она тихо, неприметно. Но иногда одинокая жизнь одолевала ее как-то особенно назойливо и все чаще заставляла думать о старости, о несуществующих внучатах. Она не понимала, в чем дело, и думала, что ее мучит «хворь в душе», и, случалось, длинными зимними фиолетовыми вечерами бесцельно кружила по избе, без надобности переставляла вещи, гремела ухватами, разговаривала с радиодинамиком или котом. Когда была еще не очень стара, знала в себе силу и умение работать, искала в этом защиту от своей «хвори в душе», но, постепенно уставая, поняла, что за этим стоит старость, которая еще больше отделит ее от других, еще дальше уведет от всех, оставив одну с ее болью, ноющей, ждущей чего-то все время. Она не боялась, что придется нищенствовать, «жить Христа ради» (сколько ей надо-то?), и ей казалось, что и другие знают, что, мол, с голоду она не умирает, а чего же еще? Господи, да ведь она не только ест и пьет!

И отуманенная своей бестолковой (как ей казалось) жизнью, жалела что-то безвозвратно-ушедшее; ей казалось, что вся эта новая, ненужная торопливость, машины на пыльных деревенских улицах, провода («тенета») в небе — все от города, все «чтоб спастись от глухоты», так как и деревенские, мол, уже никак не понимают ни себя, ни друг друга. И уж совсем «сумасшедшие», как она полагала, мысли приходили ей в голову. Этих мыслей она боялась даже, она думала, что нет, мол, человека, который — угадал бы, что ли, ее мысли, который мог бы ее «словами говорить»: вот она думает о чем-то, а уж другой кто-то ее словами рассказывает про то, что она думает и как думает, и чтобы тому человеку было бы так же больно или так же хорошо, как ей. Однажды она попробовала пожаловаться на свою хворь Поле, снохе Игната

Васильевича. Та испуганно таращила глаза и жалела про себя, и ей чудилось, что соседка действительно больна чем-то непонятным и страшным. («Может, сглазил кто со злости иль с зависти? Господи, да чего ей завидовать-то? Фекле-то Семеновне?») Поля пыталась успокоить Феклу Семеновну и все торопливо повторяла:

— Христос с тобой, теть Феколк. Чай, не одна, люди кругом...

И все эти мысли, думы, все это нетерпение смирили женщину, сломали. Она как-то постарела в момент и затихла.

Вам, конечно же, приходилось видеть эти старушечьи глаза и лица, заштрихованные морщинами. Наблюдать их детское недоумение, смешанное с суеверным убеждением, что «так всегда и будет». Странное ощущение охватывает при виде этих беззлобных, умудренных опытом и высушенных солнцем хранительниц рода человеческого. И такие, наверное, чаще встречаются в деревне.

Окружающие же эту корявую, земляную мудрость воспринимают по-разному. И часть деревенских увидели в перемене с Феклой Семеновной досадную неприятность: «Фекла-то умом тронулась. И смотрит, смотрит, бабыньки, и все куда-то в точку, в точку, как пришибленная, и... молчит. А то — иконы поснимала. Хорынька насилу уговорила: повесь, мол». Кто-то предлагал Феклу в «район», в больницу, но возразили: «На што зря беспокоить, може, так все пройдет».

Она же увидела к себе новое отношение. Бабы разговаривали с ней тихо, осторожно, будто боялись обидеть чем-то. Она почуяла эту доброту, но мучения о «главном» не проходили. Она была настолько религиозна, насколько может быть религиозной русская деревенская женщина ее времени, пережившая как хорошее, так и много плохого, но ей пришла на ум вдруг нелепая мысль: «Уж не дьявол ли вселился в меня?» Потому что в искренних словах и отношении к себе улавливала притворство. А может быть, и не улавливала, а хотела бы уловить?.. Вот этого-то и не знала Фекла Семеновна, это и мучило ее больше всего и заставляло и в себе подмечать все время притворство, неправду. Она молилась. Радиоприемник уговаривал: «Наши дела идут хорошо, все светлей, все краше становится жизнь нашего советского села». Но какой-то «прах» сидел в ее совсем бесхитростной голове, что-то лишнее, не нужное никому плело из слов сети: «...Господи... Богородица Пресвятая Мать... Да сколько терпеть-то? Мужик-то не виновен, не виноват Тимофей Петрович!.. Какая уж «краса» в селе? Кто сел верхом, тот и поехал... Умру скоро, а внучаток нет. Сын... сын...» В этих словах ей чудилось что-то против Бога, ей казалось, что она «перечит», «гневит Господа», но женщина вдруг обнаружила, что чем-то она «перечит» и дьяволу, что ей от дьявола не укрыться молчанием, ибо видела, как увязает в полуголодной и полураздетой жизни деревня. И она окончательно растерялась, когда вдруг поняла, что ведь и ему, дьяволу, тоже нужно, чтоб она молчала, чтоб хоть молча соглашалась, что терпит и

согласна терпеть! А тогда выходит, что и Бог, и дьявол — заодно, «оба вместе»... И один, один человек со своей душой! И уж не знала она, кто ее услышал: то ли Бог, то ли дьявол...

.....

Утро набирало силу; солнце неожиданно вспыхнуло в избе сквозь заледенелое окошко и повисло пятном на переборке, отгораживающей чулан, где яростно топилась печь. Синевато-малиновые всполохи дышали и двигались по чулану. Казалось, в избе вместе с усиливающимся светом и расходящимся теплом растет нетерпение.

— Стало быть, к заполдню прибудет?

— Видать...

Поля рассучивает на столе тесто, Фекла Семеновна громко, как-то по-особому ловко, шурует ухватами. Такое утро! Хотелось что-нибудь сказать, но Фекла Семеновна боялась спугнуть в себе ощущение покоя и тишины: ей подумалось, что — ну вот и вся ее «хворь в душе» разрешилась разом, еще до того, как должна разрешиться. И на совсем малый миг для этой деревенской женщины приоткрылась безграничная распахнутость, ласковая откровенность, рожденная такой простой радостью; все это вмещалось в ее тихий, глубокий вздох, в ее молчание, в ее торопливые шаги...

Сын появился просто и тихо: Фекла Семеновна слышала, что кто-то возится в сенях, стучит, сметая с обуви снег веником, но подумала, что это кто из соседей или ребятишки... Наконец дверь отворилась, и в избу неуклюже, неловко закидывая через порог ногу, пролез человек. Пушистая котиковая шапка тяжело восседала над необычайно крупными колесами очков, еще было зимнее пальто с каракулевым воротником и хромовые перчатки. Человек был бледный и замерзший. Он держал черный портфель-баул. На ногах — зимние суконные ботинки «прощай молодость». Вошедший постоял немного, смущенно потоптался, словно показывая, что чувствует, что виноват, что не узнали его. Помедлив, далеко с затылка на лоб, как провинившийся школьник, стянул свою меховую шапку.

Так вот он — ее сын! Она испытывала странное чувство: что-то сильное, жесткое даже, толкало ее к нему, но другое, не менее сильное, кричало в ней: «Да сын ли это?» Она с искренним удивлением рассматривала его очки-колеса, большую почти лысую голову с зачесанными слева направо длинными, белесыми волосами, его нелепую фигуру. Внутри что-то кольнуло, какое-то смутное воспоминание, тревога, и в ее воображении возник похожий человек, которого она силилась вспомнить и не могла. Скользнув взглядом по портфелю, вздрогнула, испугалась, что стоящий перед ней напоминает чем-то одного из тех, которые когда-то давно, так давно... приходили за ее мужем. И опустив ослабевшие руки, не соображая, о чем спрашивает, сказала:

— Батька-то где? Ни одной ведь весточки от него. Не слыхал ли чего?

Сын по-прежнему стоял у порога, держал перед собой портфель и шапку; влажные пятна подтаявшего снега темнели у него под ногами.

— Со станции-то пешком? Озяб, поди?.. И тут она, будто вынырнув из безнадежной толщи воды, судорожно вздохнула, сжалась вся и метнулась к нему, и утонула в незнакомых, совсем новых для нее запахах, чужих, резких. Она пыталась по-звериному, по-собачьи уловить что-то свое, родное, узнаваемое в этих витающих возле него запахах, которые годами отвоевывали его у нее, у матери. А он гладил ее костлявые, изработанные лопатки, смотрел сквозь очки на тонкое колечко волос вокруг аккуратной головы и бледную полоску пробора до темени. Какой безнадежно-хрупкой выглядела сейчас эта женщина, так долго бившаяся с непроницаемым одиночеством!

.....

А вечером, как раньше, при хозяине, в праздник, у Феклы Семеновны собрался народ, в основном это были «сродники» — двоюродные братья Тимофея Петровича с женами, с ребятишками, кумовья, сосед Игнат Васильевич с семьей, молодежь какая-то, гармонист Колямаленький.

На стол подавали Поля и племянница Феклы Семеновны, вином (самогонкой) обносил кум Иван. Сын сидел в переднем углу в белой сорочке, в очках, при галстуке. Деревенские стеснялись перед ним, женщины обращались на «вы», мужики степенно называли по имени-отчеству:

— Федор Тимофеич, попробуй нашей самодельной, отвык, чай.

— А что? И то — гожа! Я вот никак не могу казенную, душа не принимает.

— Грибочков отведайте. Мамаша, чай, сбирала.

Сын же больше молчал или отвечал односложно: «да», «нет», «работаю в учреждении», «зарплата приличная», Фекла Семеновна смотрела на него, и не казался он ей уже чужим, посторонним. То ли выпитая стопка, то ли обстановка растопили ее душу, и все-то уже она признавала и принимала в нем: и очки, и лысеющую голову, и галстук.

Настал момент, когда, наевшись, но еще не опьянев, требуют перерыв, когда беспрестанно начинают хлопать дверью во двор, когда в избе появляются первые «махорочные» клубы дыма, а некоторые «жаркие» мужики рассаживаются на корточках вдоль стены, у порога, к холодку поближе. Дети полусонно светятся глазами с печи. А гармонист, чуткий еще к желаниям публики, словно угадывая ситуацию, неторопливо наигрывает какие-то вальсы, новые выученные на слух мелодии, словно хвастаясь перед окружающими своим уменьем. Девки, да и некоторые бабы помоложе, смеха ради вышли танцевать. Кто-то пригласил Федора, и Фекла Семеновна видела, что он не пошел. Кум

Иван, уже захмелевший, начал обносить «еще по чапурке», Федору отдельно из бутылки «под белой головкой». Фекла Семеновна с удовлетворением отметила, что Федор не курит, много не пьет, но заметила также с грустью, что нет уже в сыне чего-то невыразимо-деревенского — то ли лихости, то ли крепости мужицкой, хваткости, и легкую досаду вызывало то, что Федор держал стакан двумя пальцами и по-бабьи нарочито-брезгливо морщился перед тем, как выпить.

Порядочно опьянев, потребовали веселья. Молодухи растаскивали лавки, распихали по углам табуретки, отодвинули столы. Коля-маленький, красненький, довольный, сидит чуть не посреди избы и, вскидывая полупьяную голову, заводит неторопливую «Семеновну», а молодка в синей кофте уж плывет по избе, выводя нарочитым голосом:

Ах, Семеновна, чего наделала,
Из худых лаптей галоши сделала.

Фекла Семеновна смотрит с тихой радостью, с улыбкой и застенчиво машет рукой: «Да ну вас, охальники». А изба уже завертелась, замелькала в звонком гуле припевок:

Полюбила я его, а он, девушки, шофер,
У него насчет любови то кабина, то мотор.

А другая жаловалась, отвечая, с игривой иронией:

Полюбила я его, а он, девушки, косой,
Пойду с горя отравлюся в магазине колбасой!

Коля-маленький заломил вдруг такой вихрь, такое бульканье гармони, такие переливы и переборы, что даже Федор, как видела Фекла Семеновна, поежился, и ей показалось, что он под столом заперебирал ногами, притоптывая. Игнат Васильевич поднялся — огромный, хромой, нескладный — и, стоя на одной ноге, стал сильно бухать по полу другой — без ритма, в разлад с музыкой, а все одно, видимо, испытывая бешеный восторг. На середину выкатилась Рябушка — огромная слониха в коричневом платье, с красно-кирпичным, обветренным лицом и голосом, мощным, здоровым, пробасила:

Колхознички, да кенареички,
Проработали вы год без копеички!

Мужичонка, дальний родственник из соседней деревни, случайный гость, выскочил в круг против Рябушки и выкидывая, вывихивая в присядке ноги, утяжеленные стоптанными, пудовыми кирзачами, звонко выкрикнул:

Сверху выдали программу,
срать велят по килограмму,
а как насрешь килограмм,
когда съешь всего сто грамм?!

Публика пьяно загоготала, раздались взвизги смеха, а Фекла Семеновна видела, что Федор после прибаутки нахмурился, помрачнел, посерьезнел и вдруг одним махом глотнул целых полстакана водки... Через полчаса он был круто пьян, громко требовал своих городских песен, начальственно стучал по столу и особенно поносил своего отца — Тимофея Петровича («мало дали... расстрелять гада надо было!»). Фекла Семеновна беспокойно, испуганно суетилась среди гостей, во дворе кто-то дрался, трещали колья, глухо кричали пьяные. Федора перенесли на кровать, не разбирая постели. Когда снимали очки и переносили, он брыкался, вырывался и кричал, что он «им, навозникам, покажет за крамолу кузькину мать...»

Родичи разошлись около десяти торопливо, будто спасаясь от беды.

.....

Ночью Фекла Семеновна никак не могла уснуть. С печи слышалась ее возня, вздохи и тихие причитания. Луна, любопытно заглядывая в окошко, видела погромный беспорядок; опрокинутые табуретки, сдвинутые лавки; на столе мутно-граненые стаканы, а кот — черно-синий в чистом свете луны, — победителем бродил по столу, среди объедков, вылизывал миски и пугливо косился на лунные блики от оставленных на столе очков, светящихся недремлющими, но бездушными бельмами...

Федор неслышно затерялся в кровати, вот и прошло все то, чего ждала столько лет, а в избе те же тени, те же полати и даже как будто беспорядок на кровати тот же. Господи, и зачем только такая вражда меж людей? А хозяина нет. Говорят, сидит где-то... Ей казалось, что «сидит» — значит сидит в буквальном смысле, то есть, смирно сложив руки и ноги, сидит где-то в полутемной каменной комнате, в тесной деревянной клетке. «Господи, мука-то какая!» Так и видела его в синей сатиновой рубахе-косоворотке, в какой увели, на деревянной скамейке, руки по бокам, и спит, наверное, то же самое — сидя. «А сын-то! Сын. Чего это он так сильно ругал его, Тимофея-то? А я одна, одна да тени. Вон сколько. И кружат. Чего кружите-то?! Все одно, все так же! Все как было! Вроде должно было измениться что-то, ан нет. Такой же день, только шума больше». И мелькали в сознании засыпающей женщины то слова, то обрывки видений, то пятна какие-то. Особенно четко, как болезненное видение, стояли перед лицом, перед глазами очки-колеса и строго и молчаливо смотрели на нее, в самую душу, мешая видеть родные постепенно тающие силуэты.

Проснувшись, она удивилась, что уже так поздно. Холодные тени одиноко бродили по избе. На кровати, где спал Федор, было пусто, беспорядочно морщилась так и не разобранная постель. Ее сознание заработало вяло, словно по инерции, ей казалось, что мысли живут сами по себе, а руки, тело, вся она — действуют самостоятельно: забыла

умыться, но старательно застегнула все пуговицы на кофте, валенки надела с шерстяными носками, затем вышла во двор без платка, набросив на плечи фуфайку.

Одинокое, какое-то незаметное, белое солнце замерло в бесконечном, туго натянутом небе. На колхозном дворе однообразно, с завыванием ноет пилорама. Фекла Семеновна увидела Федора. Сын стоял у перекошенной калитки. Уныло-матовые с просинью сугробы обступали Федора. Сын стоял спиной к крыльцу, маленький, жалкий, и неподвижно смотрел куда-то: то ли на провисшую, растрепанную крышу пустого двора, с торчащей из-под снега соломой, то ли на солнце. Что-то подступило к сердцу Феклы Семеновны: жалость это или тоска, а может быть, обида, раздражение, но все происходящее вдруг показалось ей ложным, безжизненным и окостеневшим.

.....

Федор обернулся, и, смутившись, осторожно пошел к крыльцу. Она увидела желтые скважинки в белом снегу — причину его неподвижности — и еще большая, необъятная жалость и к нему, и к себе поднялась в ней.

— Мне нужно ехать. У меня здесь, в вашем районе, дело.

Фекла Семеновна приняла эти слова безразлично. Она не удивилась этому, тем более, вроде не жалела, однако нечто ноющее все равно было: прозрачная и недосягаемая пустота — как это небо, это поле без резких пятен, без помарок — только кое-где прошлогодние стебли репейника торчали из крахмального снега и наводили грусть.

В избе все так же беспокойно блуждали фиолетовые и прозрачно-золотистые пятна света. Было холодно и, несмотря на солнце, неуютно. Фекла Семеновна томилась своим безразличием и вялостью. Федор наблюдал за ней, и она чувствовала что-то нелепое в своих действиях, знала, что сын смотрит, но, думала, так и нужно:

— На «таганке» сварить чего? Печь уж одно топить не буду. Хочешь, яичко сварю? Може, похмелиться надо? Есть еще вино-то.

Сын начал молча собираться. Напялил шапку, полез для чего-то в свой баульчик. Достал скомканный сверток:

— Вот, возьми, забыл вчера...

Она аккуратно вытерла руки о передник, взяла пакет, достала конфетку, маленькую, без обертки, и, положив в рот, сказала печально, по-детски:

— Подушечки, хорошие конфетки. Стара уж я стала...

Сын, вроде, не обратил на слова внимания, но они, видимо, как-то задели его. Он начал собираться торопливее.

— А я и не знаю, чего гостинчику-то послать. Може, в лавку сбегать...

— Не надо, мне некому.

Она промолчала, но снова удивилась своему равнодушию. Федор влез в пальто, пошел к порогу, потом, раздумывая или ожидая чего-то, долго копошился во внутреннем кармане и, достав несколько сотенных, не считая, положил на стол:

— Вот...

Как-то боком подошел к ней, ткнулся носом в щеку, «ладно... ладно, напишу тебе... может, летом заеду», у порога обернулся виновато и вышел из избы.

Она совсем некстати вспомнила, как пьяно плакал вчера Федор, вспомнила, как уходил он первый раз из дома...

Не одеваясь, поспешила на крыльцо, в проулок. Сын равнодушно и медленно, не оборачиваясь, спускался по деревенской улице вниз, в соседнее село, к невидимой станции.

И уже уплывала сама Фекла Семеновна, медленно, плавно превращаясь в непонятное корявое существо, застывшее в неудобной позе, с заломленной к глазам рукой, загораживающей солнце. И ее изба, и проулок, и ветви вишневых садов уменьшались, погружались и тонули в зимнем, раскаленном морозом воздухе. Избы постепенно превращались в затаившиеся холмики на скорбном лике равнины. Какие-то еле уловимые тени скользили по морщинам на белом снегу. Солнце продолжало упрямо сверкать.

Андрей ГРИЦМАН

/ Нью-Йорк /

К публикации нью-йоркских поэтов в «Крещатике»

Все когда-то казалось таким естественным, доступным, данным по рождению. А вот поди ж ты... Мерцают на горизонте жизни дрожащие огни дальних имен: Крещатик, Девичье Поле, Садовое, Плешка, Стрелка, Петроградская, Лонжерон — далее везде. Имена эти давно стали не только названиями мест, но такими же (и лишь в малой степени ностальгическими) понятиями искусства и истории, как Муром, Карфаген, Бастилия, Вандея, Соловки или Сахалин. Как же быстро это отдаление от родных имён произошло, они растаяли во взлетном тумане аэропортов, стали символами. Ну вот, и дежурный вздох по быстротекущей жизни. Но это допустимо, простительно. Ведь мы говорим о стихах. Ностальгия по (...) — главная (если по правде) тема лирической поэзии. А есть ли какая-нибудь другая? Или все остальное — это другие жанры, ближе к журналистике, беллетристике, театру или цирку?

Вот подбор нескольких «нью-йоркских» поэтов (в основном москвичей и питерцев) в журнале «Крещатик», германском русском издании выходцев из киевской литсреды. Вот шизофрения нашей теперешней жизни. А она стала нашей — эта геокультурно разбросанная жизнь. И нам ее вроде надо любить. Другой нет. А если кто, не веря в это, пытается, прищурившись, сфокусировать свой внутренний хрусталик (кристаллик) на дальние миражи, то теряет фактуру реальной жизни вокруг себя. А язык, как текучая вода, проникает всюду и пропитывает все. В одну реку нельзя и т.п. Но на месте той течет другая. Поезд ушел — и далее везде.

Удивленно-брезгливо-скептический поворот «столичной головы»: а это кто еще такие? Не учтены в (пресловутом) «литературном процессе» в стране Антибукерии.

Этот самый «процесс» есть там, где есть один, а тем более несколько, живых одаренных людей (неважно, откуда произрастающих), которые дышат вечерним влажным воздухом одной большой реки (в

нашем случае Гудзон). И воют на одну, на всех выданную, луну. Общность места, судьбы, привыкания к окружающей культуре. Вот и возникает в чужих сумерках и остаётся навсегда: русские Париж, Берлин, Харбин, русский Нью-Йорк, русский Франкфурт-Кельн. Очень, конечно, важно притереться плечами в одном кафе, отхлебнуть из одной кружки пива и, расслабившись и снизив тон, выплеснуть порой «к собеседнику» «все, что накипело». Интернет, однако, несколько меняет ситуацию, и уже можно говорить всерьез об электронных общинах: германской, уральской, пражской, иерусалимской, нью-йоркской. Такое вот литературное *cybercafe* с чтениями по вечерам или по утрам, в зависимости от часового пояса.

Линия (и цвет, почти по одесситу Бабелю) рождается от насыщения культурно-исторического пространства тоской и страстью, которые и составляют энергетический вектор поэзии. И вот — получается гуд, «шум времени», составленный из разных голосов. В нашей странной сфере занятий — обычно лишь нескольких голосов.

Ирина МАШИНСКАЯ

/ Нью-Йорк /

Годовщина

Но я заспала этот час,
а годовщина совершалась,
И лодка черная неслась,
и дна песчаного касалась.

За нею след не заживал,
полоска узконожевая.
И, глядя в воду, ты сказал:
— Я кончился, а ты живая.

И полетел тяжелый снег
НА СВАИ влажные вокзала.
Но никого уже из тех,
кто был с тобой, я не узнала.

Там кафелем календаря
пустые клетки отливали
в сиянье слабом фонаря,
хотя его не зажигали,

он растекался по холсту
платформы, комкая белила,
где мы стояли на мосту,
наваливаясь на перила —

над светлой горечью литой,
над щепок головокруженьем,
над уходящей вниз водой,
как над проигранным сраженьем,

и низких сумерек слюда,
как лупа, приближала пятна,
где я еще плыву туда,
а ты уже плывешь обратно,

как спичка мокрая, скользя
под этот мост неосторожно,
и удержать тебя нельзя,
и вот, расстаться невозможно.

1998

Блюз

Памяти Эллы Фитцджеральд

Вот опять закат оранжев, на стене квадрат пылится.
Уезжаю, уезжаю, стану уличной певицей,
отращу вот грудь и голос, стану уличной певицей.

На углу поставлю кружку, вот такое платье в блестках,
уезжаю, уезжаю, стану петь на перекрестках.
Пусть идут себе, не смотрят, стану петь на перекрестках.

И однажды в желтой майке молча втанет рядом с тумбой
черный маленький с маримбой, звук ее как капли пота
Будут думать, мне любовник, только разве важно это?.

Так и надо жить поэту, как сказал поэт поэту.
Как чернело на закате, выгибалось по кювету,
как стемнело, я не помню, как мело меня по свету.

Чайки метят на МакДональдс —
значит, где-то рядом море.
Я на юг, наверно, еду, но застряну в Балтиморе.
Потеряюсь на неделю, то-то будет людям горе!

Может быть, из-за названья, — так корабль идет красивый.
(А на самом деле — сухо, вон забор зарос крапивой).
Этот город грязноватый, но зато закат красивый.

Ух, как дворники по морю быстро-быстро заходили,
капли в лоб мне полетели — они просто обалдели.
Справа сердце, слева дверца — так текло б на Пикадилли.

Капли, как цыплячьи лапки, быстро-быстро — и с обрыва,
они шлепаются в стекла, словно маленькие взрывы.
Даже радио не надо, только слушать эти взрывы.

Так бы ехать бесконечно, только б маленькая Элла
тихо пела, ну, конечно, чтобы только Элла пела,
и стоять на светофоре, и чтоб вывеска горела,

чтобы в зеркале, и сбоку, перекошены рубином,
вертухаи неподвижно за рулем как с карабином,
тьмою тикая карминной, выжидали по кабинам.

Ты-то знала, чем заплатишь ЭТИМ СПИНАМ, ЭТИМ лицам,
ты-то знала, ты-то знала, как швырять свою свободу
до горючих слез охочим, на лицо летящим птицам.

1997

■■■

В полседьмого навеки стемнеет.
Я вернусь в городок никакой.
Пусть он взвоет, пускай озвереет
мотоцикл за Пассаик-рекой.

От платформы до серой парковки
как пойду в темноте, пустоте?
По реке города, как спиртовки,
и над ними Ничто в высоте.

Никого моя жизнь не спасает.
Светофоры горят из кустов.
Это тихое слово Пассаик
пострашнее татарских костров.

Вы рубились на темной Каяле,
нам темнее знакомы места:
тут машины весь день простояли
у восточного края моста.

Все же странно, что с этой горою
неподвижной — по небу лечу.
Я примерзшую дверцу открою
и холодное сердце включу.

1995

■■■

Пространство, я тебя не опечалю
еще незавершенностью одной.
Не уходи, я тоже не отчалю.
Не береди, побудь еще со мной.

Холодное теченье Куро-Сио —
вот так блестят такси на авеню.
Как все-таки ты в сумерки красиво!
Повремени, и я повременю.

Так путник на закате одеяло
скатает, обернувшись на посад, —
там облако, как Троица, сияло,
но все погасло пять минут назад.

Что возвращенья может быть глупее?
Но если это так, то отчего
твой образ, как монета голубая,
на самом дне смиренья моего?

2000

Copyright © 2001 by Irina Mashinski.
All rights reserved wordlwide.

Игорь ЛОЩИЛОВ

/ Новосибирск /

Езиды и аксолотль

Замедленная съемка показывает, как грустны все движения человека.
Но интереснее было бы снимать не ходьбу или падение, а человеческое лицо.

Л. Липавский. Разговоры

Дети этого дома были достаточно злы. Утром Евгений видел, как они играют и скачут и от времени до времени дразнят хромую девочку:
— Кривоногая нога захотела пирога...
Они исполняли это как античный хор,
то приближаясь, то отдаляясь от своей жертвы.

К. Вагинов

Будь слухом (ушаст) созерцаль!
И смотряка.

В. Хлебников

В истории бывают переломные эпохи.

Случаются в ней и переходные моменты.

Пачка «Астры», произведенная фабрикой «Тбилтабак», долгие годы стоила в Новосибирске восемнадцать копеек. Потом стала двадцать. Потом вовсе исчезла из продажи, как и другие сорта дешевых сигарет, а чуть позже и прочие виды табачного зелья. Было это на границе восьмидесятых и девяностых годов. Потом их стали продавать по талонам, стоили они уже все двадцать пять, но полагающихся на мою душу четырех пачек в месяц — не могло быть и речи о том, чтобы этого могло мне хватить. На вокзальной площади и возле сгоревшего ныне ЦУМа цыганки стали продавать сигареты из-под грязной своей полы — по рублю за пачку. «Сигарэты, сигарэты, сигарэты», — быстро повторяли они, проходя мимо. (В школьные годы я склеил из черного картона цилиндр, как у Пушкина, Бурлюка или Карабаса-Барабаса, и хо-

дил иногда в нем гулять. «Эх ты, кастрюля...» — сказала на это одна цыганка.)

Я стал частенько ходить на вокзал. И однажды я увидел, как танцуют бомжи.

Я не смог тогда и не смогу сейчас описать этот танец. Скажу лишь, что этого не должно быть на свете — не может и не должно. Но и ничего кроме этого — на самом деле — на нем нет.

Смотреть на это нельзя. Но и оторвать глаз невозможно.

Потихоньку собиралась толпа. Притихшие люди смотрели в это странное зеркало, и лишь я один знал, что ни в одном самом смелом и всемирно прославленном театре ты не увидишь подобного. С непереносимой грацией радовались они последним вечерним лучам заходящего солнца и глотку пива в нечистом брюхе, и радость эта тут же переходила в печальные жесты медлительной обреченности — на глазах у всех. Трем танцорам, впрочем, было не до посторонних глаз, а по окончаниям некоторых из их движений можно было предположить, что самим им чудится в пляске невиданные доселе удаль и молодечество. Танец был медленный, в динамиках бешено что-то тарахтело, но между музыкой и движением не было противоречия; была громом поражающая гармония совпадения — места и времени, — как места со временем: удар в удар, зубчик в зубчик. Не нашим трещоткам будить примерившихся «чепчик счастья»...

Люди стали в кружок. Хозяйка киоска звукозаписи сменила кассету, но не в музыке было дело. Хотя и в ней тоже. Некоторым было смешно, но никто не смеялся.

Всё вместе — бомжей, киоск, маленькую толпу зевак — следовало бы аккуратно вырезать из площади при вокзале и бережно перенести на сцену театра «Одеон» в Париже, в Карнеги-Холл, еще куда, — и дело запахнет миллионами долларов, которых с лихвой хватило бы на всех бомжей, наводнивших все и вся в те дни. Эта смесь из «Бони Эм», «Тристана», «Архипелага ГУЛАГ» и «Москвы — Петушков» как-то очень уж ощутимо дорого стоила, так дорого, что оплатить это зрелище не под силу никому из тех, кто, как говорил Велимир, уже «родились, но еще не умер». Но нет, это была другая опера. Это был страшный подарок, как отрубленная голова, скатившаяся к чьим-то ногам и завернутая в тряпку...

Покрытые синяками и язвами насквозь проспиртованные тела их, как придется обернутые в невыносимое тряпье, оплывали золотом. Солнце меркло в моих глазах и становилось черным. «А ведь кроме меня здесь и Ницше-то никто не читал», — догадался я и как-то сразу понял, что буду ходить сюда каждый день — и не только за сигаретами. Что танец этот отменил все сразу — как стук копыта в начале хлебниковского «Николая», — и никто не виноват в этом — ни я, ни они, ни те, кто смотрят. А кому сказать «спасибо» — тоже неизвестно; но это бы-

вает только здесь. Нигде больше такого не бывает... Гимн солнцу нельзя пропеть солнечней, но и горькая песня эта не станет ли тут же праздником мести — мести всему, что не есть оно?..

Но если глаз мой не будет передавать это в мозг мой, и это не найдет себе места там — на маленьком точнейшим образом искривленном экранчике напротив зрачка, переворачивающего любую картинку вверх дном, — то и самому мне нет места на этой земле.

И вот теперь прошло десять лет, и сам я стал как бомж и хуже бомжа. Нет, неправда, не хуже и не лучше, а это еще хуже, чем хуже, и лишь небо над головой. И вот во мне, едва вмещающем в моем древнем теле бури моего воображения, начинает всходить, как колос, и надувается, как пузырь, рассказ «Езиды и аксолотль».

Рассказ этот — не коллаж-монтаж, не ребус и не центон. Он обращен к *начальнику хора*, и исполняется он *на струнных орудиях*, ибо <...>

Я написал рядом эти два редкие слова и подумал — не без подловатой гордости, — что никому, наверное, и никогда не придет в голову написать их рядом. Гордость эта чем-то напоминает надежду, хотя не лишена она родства и с грехом гордыни — так нищий надеется на милостыню. Я вспомнил, как, глядя на свои уродливые от рождения пальцы, автор «Козлиной песни» любуется ими: «Вот ведь какая я гадина...» (Или «уродина»?) Он пьет, раздевшись догола, горячий шоколад, и изо рта у него пахнет малиной. И мне опять становится стыдно, ибо поводов для любви и заботы нет, а жизнь идет, как шла, а рассказ «Езиды и аксолотль» писать не стоит. (Какая невыносимая пошлость — назвать так свой рассказ!)

Ибо он уже написан, этот рассказ. Нужно только, — прежде, чем нажать кнопку *Esc*, — понять — кто его написал.

Феликс Кривин

АКСОЛОТЛЬ

У саламандры Амблистомы сынок Аксолотль еще совсем дитя, а уже размножается.

— Перестань размножаться! — делает ему замечание Амблистома. — Разве ты не понимаешь, что хорошие дети так себя не ведут?

Аксолотль ничего не понимает, но думает, что он все понимает. Он думает, что он уже взрослый. А какой он взрослый? Он еще ни на шаг от воды, даже по земле не научился ходить. А ведь для того, чтоб стать взрослым, нужно сначала стать на ноги.

Может, вырастет — поумнеет, — утешает себя его бедная мать.

Но Аксолотль не растет и не становится на ноги. Чтобы ему стать на ноги, нужно, чтобы в пруду высохла вода или произошло еще какое-то бедствие...

Неблагоприятные условия действуют на Аксолотля благоприятно, и он перестает быть легкомысленным Аксолотлем — теперь он саламандра Амблистома, этому научила его нелегкая жизнь. И он говорит своему сыну Аксолотлю, для которого, кажется, созданы все условия:

— Аксолотль, перестань размножаться! — и утешает себя: — Может, вырастет, поумнеет.

И создает ему все условия, в которых никогда не поумнеет и не вырастет Аксолотль. Потому что такой уж он, Аксолотль: только неблагоприятное для него благоприятно.

Хулио Кортасар
АКСОЛОТЛЬ

Было время, когда я много думал об аксолотлях. Я ходил в аквариум Ботанического сада и часами не спускал с них глаз, наблюдая за их неподвижностью, за их едва заметными движениями. Теперь я сам аксолотль. Случай привел меня к ним одним весенним утром, когда Париж распускал свой павлиний хвост после медлительной зимы. Я проехал по бульвару Пор-Рояль, миновал бульвары Сен-Марсель и Л'Опиталь, увидел зелень среди серых массивов и подумал о львах. Мне нравились львы и пантеры, но никогда до тех пор я не входил в сырое и темное помещение аквариума. Я оставил велосипед у ограды и пошел посмотреть на тюльпаны. Львы были уродливы и печальны, а моя пантера спала. Я решил зайти в аквариум, мельком глянул на обычных рыб и неожиданно натолкнулся на аксолотлей. Я простоял возле них целый час и вышел, уже не способный думать ни о чем другом. В библиотеке святой Женевьевы я справился по словарю и узнал, что аксолотли — это снабженные жабрами личинки тигровой амблистомы из рода амблистом. То, что они мексиканцы, я увидел по ним самим, по их маленьким розовым ацтекским физиономиям и по табличке над аквариумом. Я прочел, что в Африке находили экземпляры, способные жить на суше в периоды засухи, и что они продолжают свою жизнь в воде при наступлении периода дождей. Я нашел их испанское название, ахолоте, упоминание о том, что они съедобны и что их жир применялся (по-видимому, сейчас уже не применяется) так же, как рыбий жир. Мне не хотелось изучать специальные труды, но на следующий день я вернулся в Ботанический сад. Я стал ходить туда каждое утро, иногда днем и вечером. Сторож в аквариуме недоуменно улыбался, надрывая мой билет. Я опирался на железный поручень, огораживающий стеклянные стенки, и принимался смотреть на них. В этом нет ничего странного, ибо с первого же момента я понял, что мы связаны, что нечто бесконечно далекое и забытое продолжает все же соединять нас. Мне достаточно было в то первое утро просто остановиться перед стеклом, за которым в воде бежала вверх струйка пузырьков. Аксолот-

ли сгрудились на мерзком и тесном (только я знаю, насколько он тесен и мерзок) полу аквариума, усыпанном осклизлыми камнями. Их было девять экземпляров, и почти все, уткнувшись носом в стекло, глядели на посетителей своими золотыми глазами. Я стоял смущенный, почти пристыженный; казалось чем-то непристойным торчать перед этими молчаливыми и неподвижными фигурами, сбившимися на дне аквариума. Мысленно выделив одного, находившегося справа и немного в стороне от остальных, я внимательно изучал его. Я увидел розоватое и словно прозрачное тельце (при этом мне пришли на память китайские статуэтки из молочного стекла), похожее на маленькую пятнадцатисантиметровую ящерицу с удивительно хрупким рыбьим хвостом, самой чувствительной частью нашего тела. Вдоль хребта у него шел прозрачный плавник, сливавшийся с хвостом, но особенно меня поразили лапки, изящные и нежные, которые заканчивались крохотными пальцами, миниатюрными человеческими ногтями. И тогда я обнаружил его глаза, его лицо. Лицо без выражения, где выделялись только глаза, два отверстия с булавочную головку, целиком заполненные прозрачным золотом, лишенные всякой жизни, однако смотрящие; мой взгляд, проникая внутрь, словно проходил насквозь через золотистую точку и терялся в призрачной таинственной глубине. Тончайший черный ореол окружал глаз и вписывал его в розовую плоть, в розовый камень головы, пожалуй, треугольной, но с закругленными неправильными краями, которые придавали ей полное сходство с изъеденной временем статуэткой. Рот находился на самом подбородке треугольного лица, и только в профиль угадывались его значительные размеры; в фас на безжизненном камне едва виднелась тонкая щель. По обе стороны головы, там, где полагалось быть ушам, у него росли три красные веточки, точно кораллы — растительный придаток, по-видимому, жабры. И это было единственное живое в нем: каждые десять-пятнадцать секунд веточки жестко выпрямлялись и вновь опадали. Порой одна из лапок чуть шевелилась, я видел, как крохотные пальцы мягко погружались в ил. Мы вообще не любим много двигаться, да и аквариум такой тесный: едва тронешься с места, как наталкиваешься на чей-нибудь хвост или голову; это вызывает недовольство, ссоры, в результате — утомление. Когда мы неподвижны, время идет незаметно. Именно это спокойствие заворожило меня, когда я в первый раз наклонился над аквариумом. Мне почудилось, что я смутно постиг его тайное стремление потопить пространство и время в этой безразличной неподвижности. Потом я понял: сокращение жабр, легкие касания тонких лапок о камень, внезапное продвижение (некоторые из них могут плыть, просто волнообразно качнув тело) доказывали, что они способны пробуждаться от мертвого оцепенения, в котором они проводили часы. Их глаза потрясали меня сильнее всего. Рядом с ними, в других аквариумах, прекрасные глаза прочих рыб, так похожие на наши, отливали простой глупостью. Глаза

аксолотля говорили мне о присутствии некой иной жизни, иного способа зрения. Прижав лицо к стеклу (иногда сторож обеспокоенно покашливал), я старался получше рассмотреть крохотные золотистые точки, этот вход в бесконечно медленный и далекий мир розовых существ. Бесполезно было постукивать пальцем по стеклу перед их лицами; никогда нельзя было заметить ни малейшей реакции. Золотые глаза продолжали гореть своим нежным и страшным светом, продолжали смотреть на меня из неизмеримой глубины, от которой у меня начинала кружиться голова. И, тем не менее, как они были нам близки! Я узнал об этом еще раньше, еще до того, как стал аксолотлем. Я узнал об этом в тот день, когда впервые подошел к ним. Антропоморфические черты обезьян, вопреки распространенному мнению, подчеркивают расстояние, отделяющее их от нас. Полное отсутствие сходства между аксолотлем и человеческим существом подтверждало, что моя догадка верна, что я не основывался на простых аналогиях. Только лапки-ручки... Но у ящерицы тоже такие лапки, а она ничем не похожа на нас. Я думаю, что тут дело в голове аксолотля, треугольной розовой маске с золотыми глазами. Это смотрело и знало. Это взывало. Они не были животными. Тут было легко, почти очевидно обратиться к мифологии. Я стал рассматривать аксолотлей как результат метаморфозы, которой не удалось уничтожить таинственное сознание их человеческой сути. Я представлял себе, что это сознательные существа, рабы своего тела, навечно приговоренные к подводной тишине, к размышлениям и отчаянию. Их слепой взгляд, маленький золотой диск, ничего не выражающий и однако пугающе разумный, проникал в мою душу, как призыв: «Спаси нас, спаси нас». Я замечал вдруг, что шепчу слова утешения, стараюсь внушить им ребяческие надежды. Они, не шевелясь, продолжали смотреть на меня; внезапно розовые веточки жабр поднимались. В этот миг меня пронзала смутная боль: быть может, они видели меня, улавливали мое усилие постичь их непостижимые жизни. Они не были человеческими существами, но ни в одном животном я не находил такой глубокой связи с собой. Аксолотли были как будто свидетелями чего-то, а порой грозными судьями. Перед ними я чувствовал себя виноватым, такая жуткая чистота виднелась в этих прозрачных глазах. Они были личинками, но личинка — личина — означает также и маска, а еще — призрак. Какое обличье ожидало своего часа за этими ацтекскими лицами, невыразительными и в то же время неумолимо жестокими? Я боялся их. Думаю, что, если бы рядом не было других посетителей и сторожа, я не осмелился бы остаться с ними наедине. «Вы прямо пожираете их глазами», — смеясь говорил мне сторож, наверное считавший меня немного тронутым. Он не понимал, что это они, в своем золотом каннибализме, медленно пожирали меня глазами. Вдали от аквариума я думал только о них, они словно воздействовали на меня на расстоянии. Я стал ходить туда каждый день, а по ночам

рисовал себе, как они неподвижно висят в темноте, как неторопливо вытягивают руку и внезапно встречают руку другого. Быть может, их глаза видят и ночью, так что день для них длится бесконечно. Глаза аксолотлей лишены век. Теперь я знаю, что тут не было ничего странного, что это должно было произойти. Каждое утро, когда я наклонялся над аквариумом, я узнавал их все больше. Они страдали — и каждой клеткой своего тела я ощущал их немое страдание, недвижную муку в толще воды. Они словно высматривали нечто — давнее утраченное господство, эпоху свободы, когда мир принадлежал аксолотлям. Казалось невероятным, чтобы такое жуткое выражение, побеждавшее вынужденную неподвижность их каменных лиц, не означало бы скорбную весть, не служило бы доказательством вечных мучений в этом жутком аду, где они жили. Напрасно я пытался убедить себя в том, что моя собственная обостренная чувствительность проецирует на аксолотлей отсутствующий у них разум. Они и я знали. Потому не было ничего странного в том, что произошло. Мое лицо прижималось к стеклу аквариума, мои глаза старались проникнуть в секрет этих золотых глаз без радужной оболочки и без зрачков. Я видел очень близко, за стеклом, неподвижное лицо аксолотля. Без перехода, без удивления я увидел за стеклом свое лицо, вместо лица аксолотля увидел за стеклом свое лицо, увидел его вне аквариума, по другую сторону стекла. Потом мое лицо отодвинулось, и я понял. Только одно было странно: продолжать думать, как раньше, знать. Понять — это означало в первый момент почувствовать леденящий ужас человека, который просыпается и видит, что похоронен заживо. Снаружи мое лицо снова приблизилось к стеклу, я смотрел на свой рот с губами, сжатыми от усилия понять аксолотлей. Я был аксолотлем и теперь мгновенно узнал, что никакое понимание невозможно. Он был вне аквариума, его мысль была мыслью вне аквариума. Зная это, будучи им, я был теперь аксолотлем и находился в своем мире. Ужас пришел, — я понял это сразу же, — оттого, что я счел себя пленником в теле аксолотля, переселившимся в него со своей человеческой мыслью, заживо погребенным в аксолотле, осужденным разумно существовать среди неразумных тварей. Но это прошло, когда чья-то лапа коснулась моего лица, когда, чуть отодвинувшись в сторону, я увидел рядом с собой аксолотля, глядящего на меня, и понял, что он тоже знает, знает так же ясно, хоть и не в состоянии выразить это. Или я был тоже и в нем, или все мы думаем, как люди — неспособные к самовыражению, когда все сведено к золотистому сиянию наших глаз, смотрящих на лицо человека, прижатое к стеклу. Он возвращался много раз, теперь приходит реже. Иногда не показывается по целым неделям. Вчера я видел его, он долго смотрел на меня, потом резко повернулся и ушел. Мне кажется, что он уже не так интересуется нами, что ходит сюда по привычке. И поскольку единственное, что я могу делать — это думать, я много думаю о нем. Мне прихо-

дит в голову, что вначале мы еще были соединены, и он чувствовал себя больше, чем когда-либо, связанным с неотступной тайной. Но мосты между ними разрушены, ибо то, что было его наваждением, стало теперь аксолотлем чуждым человеческой жизни. Я думаю, что вначале я мог еще в какой-то степени стать им, — ах, только в какой-то степени, — и поддерживать в нем желание узнать нас получше. Теперь я окончательно стал аксолотлем, и если думаю, как человек, то это лишь потому, что все аксолотли в своей личине из розового камня думают, как люди. Мне кажется, что из всего этого мне удалось сообщить ему кое-что в первые дни, когда я еще был им. И в этом окончательном одиночестве, — ибо он уже не вернется, — меня утешает мысль о том, что, может быть, он напишет про нас, — веря, что придумывает, напишет рассказ про аксолотлей. (*Перевод В.Спасской*)

Георгий Гурджиев

ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ»

В Александрополе я столкнулся с другим феноменом, которому не могу найти объяснения. Напротив дома моего дяди росли тополя, это было очень красивое место, и я любил ходить туда, прихватив с собой книгу или какую-нибудь работу. Здесь всегда играли дети, которые приходили сюда из разных районов города. Тут можно было встретить ребятишек с любым цветом кожи: греков, курдов, татар. Их игры подымали невероятный шум и суматоху, которые, впрочем, мне совсем не мешали. Однажды я сидел под тополем, погруженный в работу, заказанную мне соседом, свадебный подарок его племяннице. Я должен был вырезать на дощечке монограмму, состоящую из инициалов племянницы и ее будущего мужа, а также день, месяц и год этого памятного события. В то время, когда я усердно трудился над выполнением заказа, вдруг раздался пронзительный крик. Я вскочил, уверенный, что с одним из играющих детей произошел несчастный случай. Я увидел мальчика, который стоял в окружении детей, громко рыдал и делал странные движения. Другие ребятишки смеялись над ним. Подойдя поближе, я спросил у них, что случилось, и узнал, что плачущий мальчик был езидом, вокруг него нарисовали круг, из которого невозможно выбраться, пока его не сотрут. Ребенок изо всех сил пытался выйти из круга, но у него ничего не получалось. Я подошел и стер часть круга, что позволило мальчику выйти из него.

Я был так поражен этим феноменом, что просто прирос к месту, и далеко не сразу ко мне вернулась способность двигаться. Хотя я не раз слышал о езидах, но никогда не верил в это. И только увиденное собственными глазами заставило меня изменить точку зрения.

Заметив, что дети вернулись к своим обычным играм, я в глубоком замешательстве занялся прерванной работой над монограммой,

которую необходимо было закончить в течение сегодняшнего дня. Ведь это был подарок молодоженам, чья свадьба была назначена на завтра.

Езиды были сектой, члены которой проживали в Закавказье, главным образом возле горы Арарат. Их называли сатанистами.

Спустя много лет после описанного случая я проделал специальный эксперимент с целью изучить этот феномен и убедился, что если вокруг езида начертить круг, то он и в самом деле не сможет из него выбраться, как бы ни старался. Внутри окружности движения человека не ограничены, и чем шире этот круг, тем больше пространство, по которому он может перемещаться, но пересечь эту магическую линию он не способен. Какая-то сверхъестественная сила, значительно превышающая физическую силу человека, удерживает его внутри.

Меня никак нельзя назвать слабаком, но я не смог вытащить из такого круга хрупкую женщину.

Когда езида пытаются вытолкнуть из круга насильно, он немедленно впадает в состояние, похожее на каталепсию, из которого выходит после того, как вновь окажется внутри круга. Но если этого человека не вернуть в круг немедленно, то он приходит в себя только через тринадцать или двадцать один час.

Привести его в нормальное состояние раньше невозможно, по крайней мере, мне не удалось это сделать, несмотря на то, что я обладаю довольно глубокими познаниями в области гипноза и мне не раз приходилось выводить людей из состояния обычной каталепсии. Только особо просвещенные сектанты могут это сделать при помощи таинственных заклинаний.

Итак, несколько придя в себя, я отправился в русский квартал Александрополя, где жило большинство моих друзей и знакомых, в надежде на то, что они помогут мне разобраться в увиденном. Русский квартал был таким районом города, где жила местная интеллигенция.

Должен заметить, что примерно с восьмилетнего возраста, благодаря счастливому стечению обстоятельств, моими друзьями в Александрополе, а также и в Карсе, были люди не только старшие по возрасту, но и принадлежавшие к семьям, занимавшим более высокое социальное положение. В греческом квартале, где прежде жили мои родственники, у меня не было друзей. Все они жили в другой части города и были детьми офицеров, чиновников и духовенства. Я часто ходил к ним в гости и таким образом вскоре стал своим почти во всех домах этого квартала.

Помнится, первым человеком, с которым я обсуждал поразивший меня феномен, был мой близкий друг Ананьев. Он даже не дослушал до конца, заявив, что дети просто разыграли меня.

«Вы слишком наивны и доверчивы, вот они вас и провели. Но какие ловкие эти проказники!» — добавил он и пошел в соседнюю комнату, чтобы надеть форму перед уходом на службу. (В те дни Ананьев ра-

ботал на почте.) Затем он предложил мне проводить его, но я отказался, сославшись на нехватку времени, а сам отправился к другому приятелю, жившему на той же улице. Павлов, так его звали, был бухгалтером и отличным парнем, несмотря на его любовь к крепким напиткам. У него я застал дьякона — отца Максима, офицера артиллерии Артемина, капитана Терентьева, учителя Стольмаха и еще двоих, с которыми я не был знаком. Когда я вошел, они пили водку и предложили мне присоединиться к их компании.

Должен сказать, что я выпивал и раньше понемногу, и, когда мне предлагали, как в данном случае, я обычно не отказывался. Привычка к небольшим порциям водки возникла у меня после одного случая в Карсе. Однажды утром, после ночи, проведенной за чтением увлекательной книги, я собрался лечь спать, но неожиданно за мной зашел один солдат, который предложил мне отправиться в собор. В этот день должна была проходить служба, не помню, в честь чего, и в последний момент было решено вести ее в сопровождении хора певчих. Во все концы города за ними были посланы денщики и солдаты.

Не сомкнув глаз ни разу за всю ночь, я так устал, поднимаясь к расположению гарнизона по крутому склону, что едва передвигал ноги. После церковной службы был накрыт стол, и хормейстер, сам большой любитель выпить, видя мое состояние, предложил мне рюмку водки.

Выпив ее, я почувствовал себя гораздо лучше, а после второй рюмки всю мою усталость как рукой сняло. С тех пор, когда я уставал физически или нервничал, я выпивал одну-две рюмки водки.

В этот вечер я выпил только одну рюмку за компанию и больше не притрагивался к спиртному. Собравшиеся еще только приступили к выпивке, но я заранее знал, чем она закончится. Отец-дьякон, например, почему-то начинал петь заупокойную Александру I. Другие вели себя не лучше. Учитывая ситуацию, я задал свой вопрос как бы в шутку.

Мою историю выслушали с большим интересом и наперебой начали высказывать свое мнение. Первым заговорил капитан, рассказавший, что он своими глазами видел нечто подобное: несколько солдат начертили на земле окружность вокруг одного курда, а тот со слезами на глазах начал умолять их стереть эту линию. И до тех пор, пока капитан не приказал своим солдатам сделать это, курд не мог выбраться из круга.

«Я думаю, — добавил капитан, — что они дали клятву никогда не выходить из замкнутого круга. Они не выходят из него не потому, что физически не в состоянии сделать это, а потому, что не хотят нарушать данную клятву».

А вот что сказал отец-дьякон: «Эти сатанисты прекрасно знают, что их господин не причинит вреда своей пастве, но они как бы соблюдают внешние приличия, демонстрируя, какой властью он над ними об-

ладает. Дьявол ведет себя со своей паствой точно так же, как Филин со мной».

Филином звали жандарма, который стоял здесь же на углу и иногда за небольшое вознаграждение ходил за сигаретами для всей компании, когда в этом возникала необходимость.

«Положим, — продолжал отец-дьякон, — я окажусь на улице в сильном подпитии. Этот Филин как представитель власти должен немедленно арестовать меня и доставить в полицейский участок. Чтобы не вызвать нареканий прохожих, он для вида так и сделает, но как только мы зайдем за угол, отпустит меня на все четыре стороны, не забыв взять на чай». Офицер артиллерийских войск заявил, что никогда не слышал о подобном феномене и что, по его мнению, все это чушь. Он удивился, что интеллигентные люди могут в это верить и даже ломать голову над разъяснением подобной загадки.

Учитель Стольмах возразил, что убежден в существовании сверхъестественных явлений, найти объяснение которым современная наука не может, но с ее дальнейшим развитием существование метафизических сил непременно будет доказано. «Что касается вашего рассказа, я думаю, это один из магнетических феноменов, еще не изученный современными учеными». Он собрался еще что-то добавить, когда Павлов прервал его:

«Черт побери этих всех сатанистов. Дать им всем по бутылке водки, и тогда никакой дьявол не затащит их обратно в круг. Давайте выпьем за здоровье Исакова». (Исаков был владельцем местного винокуренного завода.)

Эта дискуссия нисколько не помогла мне понять, что же я видел собственными глазами. Наоборот, с этого момента я начал сомневаться в том, что мои друзья обладают глубокими знаниями.

На следующее утро я случайно встретил доктора Иванова, главного врача госпиталя тридцать девятого дивизиона. Его вызвали к больному армянину, и он предложил мне пойти с ним в качестве переводчика. Доктор Иванов был в нашем городе очень уважаемым человеком и имел обширную практику. Я хорошо его знал, часто встречая у своего дяди. После окончания визита я сказал ему: «Ваше благородие (он был в звании генерала), пожалуйста, объясните мне, почему езиды не могут выйти из круга?» — «А, вы имеете в виду этих сатанистов? Это всего лишь проявление истерии». — «Истерии?» — переспросил я. — «Да, типичное истерическое состояние психики», — и он прочел мне небольшую лекцию об истерии. Все, что я смог узнать из этой лекции, это то, что такое истерия. Но я это знал и раньше, проштудировав к этому времени гору книг по нейрофизиологии и психологии, которые брал в библиотеке. Но ни эти книги, ни речь доктора Иванова не разрешили моих сомнений и не дали объяснения этому феномену.

Чем больше объяснений я слушал, тем труднее мне было понять, где истина и чему верить. Тому, что написано в книгах, или тому, что я видел собственными глазами.

Александр Пушкин
ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ В АРЗРУМ
ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829 ГОДА»

В войске нашем находились и народы закавказских наших областей и жители земель недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина, в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая басня; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

ЗАМЕТКА О СЕКТЕ ЕЗИДОВ[1]

Из многих сект, возникших в Месопотамии среди мусульман после смерти их пророка, нет ни одной, которая была бы столь же ненавистна для всех прочих, как секта езидов. Имя езидов происходит от шейха Езида, основателя их секты и заклятого врага рода Али. Учение, которое они исповедуют, есть смесь манихейства, магометанства и верований древних персов. Оно сохраняется среди них по преданию и переходит от отца к сыну без помощи какой бы то ни было книги; ибо им запрещено обучаться чтению и письму. Это отсутствие книг и есть, без сомнения, причина того, что магометанские историки говорят об этой секте лишь вскользь, называя этим именем людей, погрязших в богохульстве, жестоких, диких, проклятых Богом и изменивших вере своего пророка. Вследствие этого о верованиях езидов нельзя получить никаких точных сведений, кроме того, что удается в настоящее время наблюдать в их среде.

[1] Текст, не включенный Пушкиным в «Путешествие в Арзрум» при публикации очерка в «Современнике».

Первое правило езидов — заручиться дружбой дьявола и с мечом в руках вставать на его защиту. Потому они воздерживаются не только от произнесения его имени, но даже и от употребления какого-либо выражения, близкого по созвучию к его имени. Например, река на обычном языке называется *шатт*, и так как это слово имеет отдаленное сходство со словом *шайтан*, именем дьявола, езиды называют реку *аве мазен*, т. е. *большая вода*.

Точно так же турки часто проклинают дьявола, пользуясь для этого словом *ноль*, т. е. *проклятие*. Езиды тщательно избегают всех слов, имеющих какое-нибудь соответствие с данным словом. И вместо слова *наль*, означающего также *подкова*, они говорят *соль*, т. е. *подошва башмаков лошади*, и заменяют словом *солькер*, т. е. *сапожник*, обычное слово *нальбенда*, что значит *кузнец*. Всякий, кто посещает места, ими обитаемые, должен очень внимательно остерегаться, как бы не произнести слов *дьявол* и *проклятый*, и особенно: *будь проклят дьявол*; иначе он сильно рискует подвергнуться побоям и даже смерти. Когда езиды по делам приезжают в турецкие города, нельзя им нанести большего оскорбления, как проклясть в их присутствии дьявола, а если того, кто совершил эту неосторожность, езиды встретят в пути и узнают, то он подвергается большой опасности испытать на себе их месть. Не раз случалось, что члены этой секты, схваченные за какое-нибудь преступление турецкими властями и приговоренные к смерти, предпочитали казнь предоставленной им возможности избегнуть ее, прокляв дьявола.

У дьявола нет имени на языке езидов. В крайнем случае они называют его иносказательно: *шейх мазен*, великий начальник. Они признают всех пророков и всех святых, которых чтут христиане и имена которых носят монастыри, расположенные по соседству. Они верят, что все эти святые, во время своей земной жизни, были отличены от других людей в той мере, насколько в них пребывал дьявол. Особенно сильно, по их мнению, он проявился в Моисее, Иисусе Христе и Магомете. Словом, они думают, что Бог повелевает, но выполнение своих повелений поручает власти дьявола.

Утром, едва покажется солнце, они босыми бросаются на колени и, повернувшись лицом к светилу, молятся, повергаясь ниц. Для совершения этого обряда они удаляются от людей; они делают все возможное, чтобы их не видели при выполнении этого долга, от которого они даже освобождают себя, смотря по обстоятельствам.

У них нет ни постов, ни молитв, и, чтобы оправдать несоблюдение этих религиозных обрядностей, они говорят, что шейх Езид выполнил их за всех, кто будет исповедовать его учение, до самого конца света, и что он получил в этом положительное уверение в своих откровениях; вследствие этого-то им запрещено учиться читать и писать. Однако все начальники племен и больших селений оплачивают магометанских гра-

мотеев, чтобы читать и разъяснять письма, адресованные им турецкими вельможами и пашами, и чтобы отвечать на них. По поводу же своих собственных дел они никогда не обращаются к человеку другой веры: все свои приказания и поручения они передают устно через людей своей секты.

Не зная ни молитв, ни постов, ни жертвоприношений, они не имеют и никаких праздников. Однако на 10-й день после августовского новолуния они собираются неподалеку от могилы шейха Ади. Это собрание, на которое стекается множество езидов из отдаленных местностей, длится весь день и всю следующую ночь. В течение пяти или шести дней до и после такого собрания небольшие караваны рискуют подвергнуться в равнинах Моссула и Курдистана нападению этих паломников, путешествующих всегда по нескольку человек вместе, и редкий год проходит без того, чтобы это паломничество не дало повода для какого-нибудь печального происшествия. Говорят, что много женщин-езидок, за исключением, впрочем, незамужних девушек, приходят из окрестных селений на это собрание и что в эту ночь, после обильной еды и попойки, гасят все огни и больше уже не разговаривают до зари, — момента, когда все расходятся. Можно себе представить, что творится в этом молчании и под покровом тьмы.

У езидов нет запрета ни на какой род пищи, кроме латука и тыквы. Они никогда не пекут у себя дома пшеничного хлеба, а только ячменный; не знаю, какая тому причина.

В клятвах они пользуются теми же выражениями, какие в ходу у турок, христиан и евреев, но самая сильная клятва между ними, это клятва *знаменем Езида*, т. е. их верой.

Эти сектанты питают очень большое уважение к христианским монастырям, находящимся по соседству. При посещении монастыря они, еще не войдя за ограду, разуваются и, идя босиком, целуют дверь и стены: они думают этим снискать покровительство святого, имя которого носит монастырь. Если им случается во время болезни увидеть во сне какой-нибудь монастырь, то немедленно по выздоровлении они отправляются туда с дарами — ладаном, воском, медом или чем-нибудь другим. Они остаются там около четверти часа и перед уходом снова целуют стены. Они без всякого колебания целуют руку патриарху или епископу — настоятелю монастыря. Что касается турецких мечетей, то они избегают входить в них.

Езиды признают главой своего вероучения шейха того племени, которому поручена охрана могилы восстановителя их секты — шейха Ади. Эта могила находится в области князя Амадийского. Вождь этого племени всегда должен избираться из потомков шейха Езида; он утверждается в своем звании князем Амадийским, по представлению езидов, подкрепленному подарком в несколько кисетов. Уважение, которое эти сектанты питают к своему духовному вождю, столь велико,

что они почитают большим счастьем получить одну из его старых рубах себе на саван: они верят, что это обеспечивает им лучшее место на том свете. Некоторые платят до сорока пиастров за подобную реликвию, и если им не удается получить целую рубаху, то довольствуются частью ее. Иногда шейх сам посылает в подарок одну из своих рубах. Езиды тайно переправляют этому верховному вождю долю всякой награбленной ими добычи, чтобы возместить ему расходы, вызываемые гостеприимством, которое он оказывает членам своей секты.

Глава езидов всегда держит при себе другое лицо, которое они называют *кочек* и без совета которого он ничего не предпринимает. *Кочек* считается оракулом вождя, потому что он пользуется преимуществом непосредственно получать откровения от дьявола. Поэтому, если езид колеблется, предпринять ли ему какое-нибудь важное дело, он отправляется к *кочеку* и спрашивает его совета, который, впрочем, невозможно получить без некоторой мзды. Прежде чем ответить на вопрос, *кочек*, чтобы придать больше веса своему ответу, ложится наземь, растянувшись во весь рост, и, укрывшись, засыпает или притворяется спящим, после чего говорит, что во сне ему открылось свыше то или иное решение; иногда для сообщения ответа он берет отсрочку на две или три ночи. Следующий пример покажет, сколь велико доверие к его откровениям. Еще лет сорок тому назад езидские женщины так же, как и арабские, носили, для экономии мыла, синие рубашки, крашенные индиго. Однажды утром, совершенно неожиданно для всех, *кочек* явился к главе секты и заявил ему, что минувшею ночью ему было откровение: синий цвет есть цвет дурного предзнаменования и не угоден дьяволу. Этого было достаточно, чтобы немедленно разослать по всем племенам с нарочным приказ изгнать отовсюду синий цвет, разделаться со всякой одеждой этого цвета и заменить ее белой. Это приказание было выполнено с такой точностью, что, если бы ныне езид, остановившись у турка или христианина, получил синее одеяло, он предпочел бы спать в одной своей одежде, чем воспользоваться таким одеялом, будь это хоть в самое холодное время года.

Езидам запрещено подстригать усы, они должны предоставлять их естественному росту: поэтому среди них есть такие, у которых едва виден рот.

Эта секта имеет также своих сатрапов, известных в районе Алеппо под именем *факиран*; их в народе называют *карабаш*, так как они носят на голове *черную шапку* с завязками того же цвета. Плащи их, или *аба*, тоже черного цвета, но нижнее платье — белое. Сатрапов очень немного; где бы они ни появлялись, им целуют руки и встречают их как посланцев благодати и предвестников удачи. Когда их призывают к больному, они возлагают руки ему на шею и на плечи и получают хорошее вознаграждение за свои труды. Если они приглашены для того, чтобы обеспечить покойнику блаженство на том свете, они перед оде-

ванием тела ставят его на ноги и слегка касаются шеи и плеч; затем они ударяют его ладонью правой руки, в то же время обращаясь к нему со следующими словами по-курдски: *ара бехешт*, т. е. *иди в рай*. Им дорого платят за этот обряд, и скромным вознаграждением они не довольствуются.

Езиды верят, что души умерших отправляются в место успокоения, где они наслаждаются блаженством в большей или меньшей степени, сообразно заслугам каждого, и что иногда они, являясь в сновидениях родным и друзьям, дают знать о своих желаниях. Это верование они разделяют с турками. Они убеждены также, что в день Страшного суда они проникнут в рай с оружием в руках.

Езиды делятся на несколько народностей, или племен, независимых друг от друга. Светская власть верховного вождя их секты распространяется только на одно его племя; тем не менее, когда несколько племен враждуют между собой, его долг взять на себя посредничество в их примирении; и редко употребленные им усилия не увенчиваются успехом. Некоторые их племена живут во владениях князя Джулемеркского, другие на земле князя Джезирехского, некоторые в горах, подчиненных Диарбекиру, другие находятся в области князя Амадийского. К числу последних относится самое родовитое из всех племен, известное под названием *шейхан*; шейх этого племени, которого они зовут *мир*, т. е. *государь*, является верховным духовным вождем езидов и хранителем могилы шейха Ади. Начальники селений, занимаемых этим племенем, происходят все из одной семьи и могли бы оспаривать друг у друга первенство в случае какого-нибудь несогласия. Но самое могущественное и самое грозное из всех племен — это то, которое живет на горе Синджар между Моссулом и рекой Хабур; оно поделено между двумя шейхами, из коих один правит восточной частью, а другой южной. Гора Синджар, обильная плодами всякого рода, малодоступна, а племя, ее населяющее, может выставить свыше шести тысяч стрелков, не считая конницы, вооруженной копьями. Года не проходит без того, чтобы какой-нибудь крупный караван не был ограблен этим племенем. Езиды этой горы выдержали несколько войн против пашей Моссула и Багдада; в таких случаях, после большого кровопролития с той и другой стороны, всё в конце концов улаживается за деньги. Эти езиды повсюду наводят ужас своей жестокостью: когда они занимаются вооруженным разбоем, они не ограничиваются ограблением попадающих им в руки, они всех поголовно убивают; если же среди них находятся *шерифы*, потомки Магомета, или мусульманские законоучители, они убивают их особенно жестоким способом и с особенным удовольствием, полагая, что это составляет большую заслугу.

Султан терпит езидов в своих владениях, потому что, по мнению магометанских ученых, следует признавать правоверным всякого, кто исповедует основные догматы: *Нет Бога, кроме Бога, и Магомет — про-*

рок его, хотя бы он и не соблюдал ни одного из остальных предписаний мусульманского закона.

С другой стороны, курдские князья терпят езидов ради своей личной выгоды: они даже стараются привлечь в свои владения возможно больше племен этого народа, ибо езиды отличаются испытанной храбростью, они хорошие воины, как пешие, так и конные, и очень пригодны на всякое смелое предприятие и на ночной грабеж в селах и деревнях; вот почему эти князья пользуются ими с большой выгодой как для усмирения непокорных магометанских племен в их владениях, так и для борьбы с другими князьями, воюющими с ними. К тому же магометане твердо убеждены, что всякий, погибший от руки этих сектантов, умирает мучеником: поэтому князь Амадийский постоянно держит при себе палача из езидов для приведения в исполнение смертных приговоров над турками. Езиды того же мнения о турках, и в этом отношении между ними наблюдается взаимность: если турок убивает езида, он совершает поступок, весьма угодный Богу, а если езид убивает турка, он совершает дело, весьма достойное в глазах *великого шейха*, т. е. дьявола. Пробыв несколько лет на службе у князя, амадийский палач оставляет свою должность, чтобы предоставить своему преемнику также возможность заслужить благосклонность дьявола; и куда бы палач, сложив с себя эту обязанность, ни являлся, езиды везде встречают его с уважением и целуют ему руки, освященные кровью турок. Напротив того, персы и все магометане, принадлежащие к секте Али, не терпят езидов в своих владениях; более того, им запрещено оставлять этих сектантов в живых.

Во время войны с езидами туркам разрешается обращать в рабство их жен и детей и либо оставлять для собственной надобности, либо продавать их; езиды, не имея того же разрешения по отношению к туркам, убивают всех. Если езид желает стать турком, ему достаточно, вместо всякого исповедания веры, проклясть дьявола, а затем спокойно учиться молитвам по турецкому обычаю: ибо над езидами совершают обрезание на восьмой день после рождения.

Все езиды говорят по-курдски; среди них многие знают по-турецки или по-арабски, потому что им часто случается обращаться с людьми, говорящими на этих языках, а также потому, что они находят более выгодным и надежным вести свои дела без помощи переводчиков.

Без сомнения, у езидов есть еще немало других заблуждений или суеверий, но, так как у них нет каких бы то ни было книг, изложенные мною являются единственными, о которых мне удалось получить сведения. Кроме того, многое у них подвержено изменениям вследствие так называемых откровений их *кочека*, что еще более затрудняет основательное изучение их верований. (*Франц.*)

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

/ Нью-Йорк /

Набросок

Какие предместья глухие
встают из трухи!
Так трогают только плохие
внезапно стихи.

Проездом увидишь квартиры, —
так чья-то навзрыд
душа неумелая в дыры
стиха говорит.

Но разве воздастся усердью
пустому её?
Как искренне трачено смертью
твое бытиё!

Завалишься, как за подкладку,
в домашнюю тишь,
и времени мертвую хватку
под утро заспишь.

Ночной экспромт

Морось цеха серебристого.
Что-то вроде наваждения:
воздух крестится неистово
в каждой точке нахождения.

А вернее: точка крестится
и мерцает, богомольная.
В прах рассыпанная лестница,
неба фабрика стекольная.

Над кустом ли звезд кустарная —
вот — работа, чтоб он рос, поди.
Или пыль висит словарная,
чтоб сгуститься в слово, Господи.

Театр[1]

Свет убывает, в темноте
поднимут занавес,
дохнёт со сцены — я секунды те, —
сырым холстом, прохладой, — о, я помню весь.

Макарова: «Светает... Ах!» —
и пухленько бежит к часам, — «седьмый,
осьмый, девятый»[2], и ленивый вздох
Дорониной, дородной ведьмы,

в кулисах, дышит и вздымает грудь.
Их простодушное притворство,
их обезьянничанье. Взять бы в прутья
створ сцены, створ

вдруг освещён, театр, театр,
от слова «бельэтаж» идёт сиянье,
вращающийся круг, к вам Александр
Андреич Юрский, на Фонтанке таянье

и синеватый и служебный свет,
экзаменационный воздух.
Где ж лучше? Где нас нет.
Нас двух автобус двадцать пятый вёз, о, вёз двух,

мы в тёмном уголке, вы помните? вздрогнём
у батарей в парадной,
когда проезжих фар окатит нас огнём
и перспективою обратной.

---

[1] В стихотворении упоминаются фамилии актеров, игравших в знаменитом «Горе от ума» Г. А. Товстоногова.

[2] Цитаты, данные в основном без кавычек, соответствуют грибоедовской орфографии.

Гонись за временем, гонись,
дверь скрипнет, ветерок скользнёт, и
за ним Лавров с бумагами-с,
и фиолетовые фортепьяно с флейтой ноты

захлопнуты. Его ли предпочтёшь на выпускном балу,
созвездье ли манёвров и мазурки?
Театр, о, монологи с пылу,
бинокли, жестяные номерки,

Стржельчик жив ещё, внутри фамильи
своей весь в мыле проскоча,
бежит ли вдоль Фонтанки, «нон лашьяр ми...» ли
поёт, театр, сверкают очи,

он пьян, он диссидент, вон, вон
из Ленинграда, в Ленинграде
спектакль закончен, мост безумный разведён.
Вы раде?

Я призван этот клад зарыть,
точнее, молвить слово
во имя слова: ах, что станут говорить
Карнович-Валуа и Призван-Соколова?

Дядя в 1955 году

(Гольдберг. Вариации)

Гольдберг, Гольдберг,
гололёд
в Ленинграде, колкий — сколь бег
на коньках хорош! народ —
лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли —
валит, колкий снег, вперёд.

Гольдберг мимо инженерит
всех решёток, марш побед,
пара пяток, двери пара,
фары, фонари, нефрит
улиц хвойного базара,
парапет.

Блеск витрины, коньяки леском
и ликёры, зырк, и сверк, и зырк,
апельсины в Елисеевском
покупает Гольдберг, Гольдберг —
будет жизни цирк
вскачь и впрок.

К животу он прижимает куль
и летит, дугою выгнув нос,
а двуколка скул,
а на повороте вынос,
Гольдберг, коверкот, каракуль,
коверкот, каракуль, драп.

Сколько кувырков и сколько
жизни тем, кому легка.
Пусть в прихожей Гольдберг — колкий
тает снег — споткнётся-ка:
катятся цитрусовые из кулька,
Гольдберг смеётся, смерть далека.

Copyright © 2001 by Vladimir Gandelsman.
All rights reserved wordlwide.

Уве КОПФ

/ Гамбург /

Алая буква

«Считай, что тебя трахнули». Этот сутенерский жаргон я слышу в Бамберге, в маленьком городе Верхней Франконии, от каждого здания которого веет поздним романтизмом и ранней готикой. Знатоки утверждают, что Бамберг — самый красивый город во всей Германии. Весной в особенности эта красота просто невыносима. Стало быть, последнюю весну уходящего тысячелетия я провожу в Бамберге, куда в свое время, тоже весной, сбежал поэт Томас Бернхард, которого я взял себе за образец во всем, что касается ненависти и повторяемости, он родился 9 февраля и умер 11 февраля, а мой день рожденья 10 февраля, точно как у Бертольта Брехта, это что-то да значит. Хотелось бы только знать, что именно. И вот я сижу в трактире на Лангенштрасе, в Бамберге, и вспоминаю, что эту фразу — «Считай, что тебя трахнули» — я последний раз слышал лет этак двадцать тому — фраза была модной среди людей, которые любили друг друга подогревать сексуально, особенно при свидетелях; я был уверен, что фраза давно отмерла — так же, как тип мужчин, которые использовали ее в своей речи, но вот там сидит этот тип, пьет пиво и говорит женщине за соседним столиком: «Считай, что тебя трахнули». Он похож на киноактера Хайнера Лаутербаха, в какой-то момент я даже подумал, что это он и есть, но нет, скорее, это просто поразительное сходство. Лаутербах мне стал уже сниться по ночам — так сильно я его презираю за все, что он делает и говорит со всей этой его так называемой «мужественностью».

Как раз прошлой ночью, в поезде, который вез меня из Гамбурга через Вюрцбург в Бамберг, мне снова приснился Лаутербах, и *what a dream it was*: Лаутербах был преступником, но не в кино, а в действительности: полиция и все население преследует Лаутербаха, газета «Бильд» на первой своей полосе повествует о злодеяниях Лаутербаха — тот крадет женские трусики в прачечных, натягивает их дома поверх своего трико, потом относит обратно, и дамы, надевая их, обнаружива-

ют, что трусики почему-то стали велики. Специальный агент израильской разведки «Моссад» должен взять след Лаутербаха в лесу, агент — еврей, переодетый в Ясира Арафата, при этом еврей этот и сам преступник, у которого в рюкзаке лежит бутылка очень дорогого красного вина, — он украл ее из винного погреба ведущего телевизионной программы «Темы дня» Ульриха Виккерта — и вот так бредет еврей по лесу и вдруг видит на одной полянке людей, играющих в квача, выбегает полуголая женщина, ее трусики болтаются на бедрах, эхо доносит из леса знаменитый смех Лаутербаха, и когда женщина приближается к агенту Моссада, тот с ужасом замечает, что у нее лицо Йозефа Геббельса. В этот момент из кустов выбегают трое мужчин, это актеры Марио Адорф, Хайнц Рюман и Гетц Георг, они хватают Лаутербаха, бросают его на землю, срывают с его тела всю одежду и поют, показывая на него пальцами: «Нет пениса меньше, чем у Хайнера, об этом знает мама Баймера!», и так как это правда, Лаутербах тут же сходит с ума от стыда.

Сон не имеет никакой структуры, и вряд ли вообще что-то значит, но конец мне все же понравился, потому что я ненавижу Лаутербаха. После того, как двойник Лаутербаха, сидящий в Бамбергском трактире, сделал этот знак внимания женщине за соседним столиком, он берет себе еще одну кружку пива и какое-то мясное блюдо и режет кнедель ножом на маленькие кусочки... нельзя же так делать, за это я бы тоже дал ему пощечину, но не даю, — мужчина выглядит так, как будто на пощечину ответит нокаутирующим ударом.

Женщина, которой он сказал «Считай, что тебя трахнули», никак на это не реагирует, она продолжает пить яблочный сок, курит сигареты без фильтра и смотрит в пустоту. Ей, наверно, лет тридцать, чернота ее глаз вызывает шок, но Лаутербах сказал ей «Считай, что тебя трахнули», скорее всего, потому, что она крашеная блондинка, — мужчине наподобие Лаутербаха это само по себе должно казаться чем-то блядским.

Женщина склонна к полноте и слишком тепло одета, — сейчас конец марта, но здесь, в Бамберге, почти 20 градусов тепла, а на ней пальто, плотные джинсы, вокруг шеи — шарф, и на пальто слева, примерно на уровне сердца, вышита алая буква «*A*».

Такую букву «*A*» должна была носить на своей одежде Эстер Принн. Эстер — героиня романа Натаниеля Готорна «Алая буква», действие которого происходит в XVII веке в пуританской Новой Англии, и ярко-красная буква «*A*» означает «адюльтер», супружескую измену — Эстер родила ребенка не от своего мужа, и она отказывается называть подлинного отца. Женщина в Бамбергском трактире носит эту букву, как Эстер Принн, но при этом (во всяком случае, так кажется с первого взгляда) у нее нет гордости Эстер, ее силы и ее страсти — женщина кажется полной развалиной, несмотря на то, что она здорова. Вот она

встает, кладет на стол пару монет, как бы между прочим трогает алую букву «*A*» на своем пальто и выходит из трактира, а Лаутербах, пережевывая мясо, смотрит ей вслед так, будто хочет сказать: «Уходишь, куколка, но мы еще встретимся, а впрочем — считай, что тебя трахнули!»

С меня довольно, такое чувство, что я задыхаюсь от характерного запаха, который распространяет вокруг себя Лаутербах, я плачу официанту за стойкой, и хотя я ни о чем его не спрашиваю, он говорит мне, что женщина с буквой — с приветом, хотя, впрочем, она никому ничего плохого не делает, только сидит тут все время и пьет яблочный сок, и никто не знает, что означает эта буква у нее на пальто. Некоторые мужчины (официант делает кивок в сторону Лаутербаха) предполагают, что у женщины СПИД, и она поэтому свихнулась и повесила эту букву «*A*» («*Aids*»), но ни один житель Бамберга не видел ее никогда с мужчиной, собственно, вообще с каким-то другим человеком — она живет уже очень давно в Бамберге, в полном одиночестве, в пансионе который находится в другой части города. Чаще всего она ошивается в «Хижине ведьмы», это такой кабачок на Нюрнбергштрассе.

Так как мне самому нужно найти себе какой-нибудь пансион, я принимаю решение пойти на Нюрнбергштрассе. В центре города, где находится Лангенштрассе, я не могу оставаться: студенты, повсюду студенты и студенческие кафе и бары, и магазины, в которых студенты покупают свою еду, свои книги и одежду, а Нюрнбергштрассе находится в мелкобуржуазном районе, куда студенты не ходят — поэтому туда иду я. Студенты завладели Бамбергом точно так же, как гомосексуалисты завладели Сан-Франциско, только район вокруг Нюрнбергштрассе свободен от студентов, и красоту Бамберга можно оценить только после двух часов ночи, когда закрываются все студенческие бары и студенты исчезают в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть от своей студенческой жизни.

Кристоф Шлингензиф, режиссер и мастер перфоманса, заехал на два дня в город и собрал сегодня утром так же много студентов вокруг себя на Маркт-плац, как незадолго перед ним народный актер Гюнтер Штрак, который снимает в Бамберге криминальный сериал «Король» и взял сотни студентов в статисты. Но Шлингензиф обворожил бамбергских студентов своими докладами о том, как нужно изменить государственное устройство, — там, на площади, он раздавал открытки с изображением себя обнаженного, студенты их расхватали, потому что от Шлингензифа отдает улицей, андеграундом и революцией.

Студенты не видят, что Шлингензиф их презирает, и чтобы никто его с ними не спутал, скрывает свою яйцеголовость пышной прической и докладывает студентам об успехах и целях своей партии «Последний шанс», и студенты рукоплещут Шлингензифу, он для них спаситель, соединивший в своих чертах все лучшее от Джона Леннона и Хельге

Шнайдер, от Иисуса Христа и Че Гевары. Он хочет поставить спектакль, в котором будут задействованы шесть миллионов безработных Германии, спектакль (как всегда у Шлингензифа) о крови, половых органах и о кукольных фашистах. Студенты Бамберга верят, что Шлингензиф силой и серьезностью всей этой бредятины может привести Германию к обновлению.

После своего выступления Шлингензиф сообщает, что он теперь направляется к Бамбергскому собору — чтобы вымазать спермой знаменитую скульптуру Бамбергского всадника. Тут же появляется полиция и арестовывает Шлингензифа за богохульство, а студенты разбредаются по домам — они достаточно трусливы, чтобы защищать своего любимого Шлингензифа от произвола полиции.

После этого перфоманса я оказался в трактире на Лангенштрасе, и там Лаутербах сказал женщине с красной буквой: «Считай, что тебя трахнули», и теперь, когда я гуляю по набережной Прегница, залитой вечерним солнцем, мне кажется, что у Лаутербаха есть какая-то тяга, ностальгия по смерти, потому что он трактовал букву «*A*» на пальто этой женщины как «*Aids*», и если Лаутербах говорит больной СПИДом: «Считай, что тебя трахнули», то это в высшей степени странно, нет?

Я прохожу по мосту к зданию Бамбергского суда, — здесь пять лет назад состоялся процесс против родителей, которые убили своего ребенка и выбросили его на мусорку. И вот уже я в «Хижине ведьмы» на Нюрнбергштрассе, заказываю две кружки пива *Maisel Pilz*, и когда мне их приносят, я выпиваю одну кружку залпом и заказываю третью, а уже после этого пью вторую, намного медленнее, чем первую, но только так (заказав две кружки, опрокинув одну, — и тут же заказав третью, и задумчиво попивая вторую), только так может небаварец снискать уважение баварцев.

Справа в углу сидит женщина с красной буквой, пьет сок, курит, смотрит в пустоту, через две минуты женщина снова уходит, а я спрашиваю у официантки, где находится ближайший пансион. Она советует мне «Красный конь» — он в двухстах метров, напротив мебельного магазина, и когда я регистрируюсь у портье «Красного коня», снимаю номер — для начала на три недели, — я вижу в буфете пансиона женщину с красной буквой, она ест бутерброд с вареной баварской колбасой, смотрит на меня, — эта женщина-руина вселяет в меня ужас, я не выдерживаю ее взгляда и секунды, и в своем номере на третьем этаже я ложусь на кровать и пытаюсь отвлечься от этой женщины, для чего я мобилизую все свое ожесточение, всю свою злобу на всех женщин без исключения, потому что женщины плохие, это точно, по крайней мере, со мной они ведут себя плохо, я пробовал все это с несколькими женщинами, с одной это было здесь, в Бамберге. Трагедия заключается в том, что женщины всегда стремятся меня уничтожить, хотя я принадлежу к так называемому типу «любимцев женщин», но не такому, как Хай-

нер Лаутербах — я похож на Марлона Брандо в той его фазе, когда он танцует последнее танго в Париже, и так же, как Брандо, я притягиваю женщин своей меланхоличностью и инфернальностью, а потом они снова убегают от меня, потому что чувствуют себя отравленными, — вот так я это объясняю.

Я лежу, чуть не плача, на кровати Бамбергского отеля «Красный конь» и вдруг слышу голос, он доносится из комнаты подо мной, — невозможно сказать, на каком языке говорят, точно так же, как нельзя сказать, мужчина это говорит, женщина, или ребенок. Кажется, что там кто-то стонет, что-то требует, без злобы и без нажима, и когда я концентрирую внимание на этом голосе, он умолкает, — я слышу только поскрипывание деревянных половиц, а потом ничего не слышу, засыпаю, но в полтретьего ночи голос снова возвращается, это женский голос, и требования теперь кажутся какой-то мольбой, но ничего сексуального в комнате подо мной не разыгрывается, голос охает и дрожит, как в лихорадке, и в какой-то момент я почти уверен, что слышу слово «ужас» и слово «любовь».

На следующее утро я встаю очень рано, в семь часов, спускаюсь по лестнице в буфет выпить кофе — и вижу женщину с алой буквой, она выходит из той комнаты, что находится под моей, и я хочу, наконец, знать, не Эстер ли это из романа Готорна. Я стою перед этой женщиной и, опуская глаза, спрашиваю: «Эстер?», и она ничего не говорит в ответ. Когда мне удается поднять глаза, я вижу, что она не поняла и не могла понять, она понятия не имеет ни о какой Эстер, и с нарушением брачного закона эта женщина тоже не имеет ничего общего, и она не идиотка, и не подражает персонажам книг, но вот она что-то говорит мне, она говорит: «Нет. Я никого и ничего не боюсь. Если бы я боялась... я бы не узнала тогда этот ужас».

Через час я уеду из красивейшего города Германии Бамберга, хотелось бы только понять — куда.

Пер. с нем. А. Мильштейна

Из итальянской поэзии

Винченцо КАРДАРЕЛЛИ

Венецианская осень

Холодное и сырое, на меня надвигается
дыханье осенней Венеции.
Теперь, когда лето
с его испариной и сирокко,
словно по волшебству, прошло,
жесткая сентябрьская луна
предвещая дурное,
освещает город из воды и камня,
что открывает свой лик медузы,
гибельно и заразно.
Мертвенна тишина затхлых каналов
под водянистой луной,
кажется, в каждом из них
покоится труп Офелии:
могилы, усыпанные разложившимися цветами
и прочей растительной гнилью,
где под плеск воды проплывает мимо
призрак гондольера.
О венецианские ночи —
без петушиного крика,
без шума фонтанов,
мрачные ночи в лагуне,
ничей нежный шепот не оживляет их,
зловещие завистливые дома,
отвесно стоящие над каналами,
спящие бездыханно,
сейчас, как никогда,
тяжесть ваша на сердце моем.

Нет здесь ни порывистых погребальных ветров,
как в сентябре в горах,
ни запаха срезанной виноградной лозы,
ни купаний заплаканных ливней,
ни шелеста листопада.
Пучок травы, желтеющий и умирающий
на подоконнике —
вот и вся венецианская осень.
Так, в Венеции, времена года бредят.
Вдоль ее площадей и каналов —
одни растерянные огни,
огни, грезящие о доброй земле,
душистой и плодородной.
Только зимнее кораблекрушение подобает
этому городу — не живущему,
не цветущему, —
если только он не корабль в глубине моря.

Пер. с итал. Г. Киршбаума

Виктор САНЧУК

/ Нью-Йорк /

Художник в городе

Мне нужно написать о двух встречах с человеком из разряда тех, кого принято обзывать великими, известными и т. д., но при этом, на мой взгляд, и впрямь очень примечательным. Сделать это непросто. Трудность в том, что сам я терпеть не могу мемуаров. А вот поди ж ты... «Время какое-то хамское» — эта фраза запала в мое сознание четырнадцать с половиной лет назад в столице советской солнечной Грузии городе Тбилиси. Общеизвестно, что в те доперестроечные времена Тбилиси и вообще Грузия действительно были неким оазисом хоть какой-то живой жизни на ледяных просторах империи. Эдакой «советской Грецией». Может быть, сказывалась и реальная, давняя и приглушенная, но прямая и непридуманная связь с античной ойкуменой. А может, это объясняется не в последнюю очередь фактором просто климатическим. Так, при моем вылете в середине февраля из Москвы термометры ночью во Внуково показывали минус двадцать, а в Сухуми, куда почему-то — видать, за каким-то левым грузом, завернул самолет тбилисского рейса, днем было уже плюс двадцать... Ну и соответственно: вино... женщины... фрукты... И плевать веселые грузины хотели на глупую «борьбу с алкоголизмом», как раз в ту пору затеянную московским руководством. И издавали в своих типографиях на русском языке обожаемого Мандельштама, тогда как в собственно русских столицах достать его можно было или в самиздатских бледных, с массой опечаток, копиях или — в «посевовском» закордонном варианте — все еще под страхом нешуточных кагэбэшных кар. И подрабатывать давали всяким полуофициальным деятелям искусства, вовсе не спрашивая о членстве в советских творческих союзах... Собственно, именно на предмет получения заказа на литературный переводик (известная синекура в советском литературном быту) мы и отправились в этот город. По крайней мере, внешне это было обставлено именно так. А «мы» говорю потому, что, хотя летел я туда в одиночестве, встретили меня уже в Тбилиси два моих ближайших тогда друга, прилетевшие из Моск-

вы днем раньше. Друзья были старше меня и опытнее. В том числе — по части веселого молодежного разгула. Один, правда, в соответствии с духом времени уже начал перестраиваться на трезвый и здоровый, правильный образ жизни, в каковом благополучно и преуспел в дальнейшем, другой же оставался тверд во всех своих пристрастиях, может быть, отчасти вследствие чего спустя несколько лет нелепо и трагически погиб. Но в том году все были живы, веселы, дружны. Все мнили себя «русскими поэтами». И сегодня, оглядываясь на то время, могу вполне искренне и убежденно заявить, что имели, по крайней мере, тогда, и впрямь некоторые к сему основания. Оказался в городе и еще один наш, — то есть именно моих старших друзей, — товарищ. Кажется, он знал в городах и весях СССР вообще всех достойных и значительных людей и, похоже, действительно сделал много для всяческого увековечения и популяризации... «Сейчас к Параджанову пойдем, — заговорщически и веско объявил он, лишь только мы воссоединились всей компанией в центре Тбилиси. — Я договорился». Имя Параджанова мало что мне говорило. Я слышал какие-то смутные легенды, окружавшие эту фигуру. Но мало ими интересовался. Кто-то его знал, что-то рассказывал... Например, что пришло однажды ему приглашение то ли на Каннский фестиваль, то ли на какой-то престижный международный конгресс, а его, естественно, никуда из страны не выпускали. И вот гэбнюки, пригрозив очередными репрессиями, потребовали, чтобы он сам под каким-нибудь предлогом отказался. Тогда, якобы, Параджанов отправил на имя председательствовавшего — то ли Феллини, то ли Антониони — кого-то, в общем, из своих корешей, — телеграмму о том, что не может участвовать, потому что у него, мол, нет соответствующего костюма. Телеграмму зачитали на открытии мероприятия. Зал покатился со смеху... Так рассказывали. И это было смешно. Но мало ли о ком что рассказывают. А киноманом я никогда не был, да и вообще в искусствах изобразительного ряда разбираюсь не очень. Но в тогдашней моей компании мне и в прямом, и в переносном смысле было все равно, куда идти. С тем товарищем, который пить не бросил, мы на радостях, после московской сухой голодухи, набрали целую сумку удивительно дешевого, на всех углах продававшегося вина, прихлебывая которое и отправились следом за нашим сусаниным. Поднялись по небольшой, круто шедшей в гору улочке в старом городе. Домик, в котором жил режиссер, стоял тоже на склоне, поэтому с той стороны, откуда подошли мы, выглядел вроде как двухэтажным и был запрятан в глубину двора, образованного какими-то еще, другими домами. Входить в него надо было, поднявшись по деревянной лестнице, после чего попадаешь на маленькую типично тбилисскую лоджию.

Миновав ее, вчетвером мы гуськом вошли в квартиру, если так можно было назвать одну обширную комнату с кривым, с наклоном от входа, полом. «А-а..., московские поэты пришли!» — раздался откуда-то из глубины комнаты голос. И сразу за тем: «Ой, да они еще и выгля-

дят как поэты!» Повторюсь: оба моих товарища, и четвертый — наш проводник, все были лет на шесть-семь старше меня. Причем все трое в благообразных православно-иудейских бородах — по стандартной моде либеральной интеллигенции шестидесятых-семидесятых, двое к тому же носили очки. У меня же, насколько теперь понимаю, вид действительно был эдакий общепоэтический (борода в принципе растет плохо, зато буйно в то время кучерявилась голова), ходил я в очень длинном тридцатилетней давности пальто, перешитом некогда еще из отцовской шинели времен войны и найденном мной в старом чулане. К тому же в лице присутствовало некое внешнее отдаленно-пародийное сходство с одним из великих персонажей серебряного века, что служило постоянным поводом для насмешек и эпиграмм столичных дружков. Говорю это к тому, что, естественно, фразу о «похожести на поэтов» я принял (и уверен, что не без основания) в первую очередь на свой личный счет. Сказанные слова исходили от показавшегося пожилым и каким-то бесформенным человека. Тоже очень бородатого. Это и был Параджанов. Ну — сказал и сказал... Он пригласил присаживаться. В глубине комнаты стоял прямоугольный, довольно большой стол. Расположились в таком порядке: хозяин с широкой стороны стола, той, которой он был придвинут, кажется, к кровати; двое на стульях напротив; один из моих товарищей в торце, по правую руку от хозяина, но в отдалении от него; я же оказался тоже в торце стола, но от Параджанова слева и совсем вблизи. Мы с пьющим другом выгрузили на стол закупленные бутылки сухого. Тут же перед нами появилась какая-то питейная посуда и тарелки с зеленью или сыром. Еще в комнате была, тоже выглядевшая пожилой и бесформенной, эдакая «простонародная» кавказская женщина, говорившая по-русски с очень сильным акцентом и, как показалось, несколько нарочито грубовато. Параджанов назвал ее имя. «Она вдова вора тут одного, убили его недавно, — сказал он, — а она вот теперь за мной присматривает, хозяйничает здесь и пить мне не дает». Так за все время наших посиделок он к вину и не притронулся. Мы же — с пьющим моим другом — по своему обыкновению налегли. Может быть, именно вследствие этого я теперь не могу хронологически точно и достоверно реконструировать весь ход тогдашней беседы. Да это, наверное, и ни к чему. Беседой, впрочем, это можно назвать условно, так как говорил преимущественно Сергей. Мы все слушали. И вот отдельные его фразы и общий колорит происходящего мне не только очень резко врезались в память, но, уверен, были чем-то, что, как мы понимаем значительно позже, так или иначе, формирует наш последующий образ мыслей и саму жизнь. Хотя внешне, кажется, — ничего особенного... Так — треп и треп... Во-первых, та первая фраза о «похожести на поэтов», конечно, не была случайной. Не думаю, что, будь Сергей Параджанов жив сегодня, он бы припомнил тот эпизод с одним из тысяч его безвестных посетителей, «знакомых» и «друзей» той поры... Но уверен, что в тот момент именно между ним и мной

с ходу наметился некий антагонизм (плевать, что прочтется это: вот, мол, и я удостоился!). Думаю, если не иметь в виду «соизмеримость» величин, мы с ним в одной (его) комнате оказались, словно двумя представителями абсолютно разных миров. Это касалось всего: эпох, сформировавших самих «представителей», образов жизни и мыслей, вкусовых пристрастий, общих представлений буквально обо всем... Но было поразительно, что это «все», включая и «разность», и «противоположности», он чувствовал и точно называл не то что тут же, по обнаружении, а зачастую даже раньше, чем собеседник мог об этом вообще подумать. При том, что я никогда не был и не стал безусловным поклонником творчества этого человека, я должен сказать, что на меня при разговоре с ним буквально повеяло какой-то чуждой гениальностью. Параджанов только недавно вернулся из лагеря. Понятно, что и сам он весь был наполнен соответствующими рассказами, реалиями, темами, ассоциациями, лексикой и образами. Но, полагаю, что на нас, четверых столичных штучек, не нюхавших параши, он вывалил свой огромный информационный багаж «по этой проблеме» еще и не без доли актерства, или, как бы это сказать, «режиссерства», ну то есть, в любом случае, потому, что он — это он, а мы — это мы... Кроме того, мне все время казалось и чувствовалось, что он и вообще испытывает определенный восторг сладострастия, повествуя об ужасах и грязи «мира сего». Кажется, Константин Леонтьев о Достоевском написал «в произведениях данного автора чувствуется известное пристрастие к темным сторонам жизни» (цитирую по памяти). Вот и здесь было нечто подобное. Рассказывал он кучу историй, из числа тех, что, впрочем, чуть позже, с началом перестройки, были настолько растиражированы и разрекламированы «свободной прессой», что теперь пересказывать все их было бы уже даже банальным. Но тогда смотрелось «правдой жизни» и действительно порядком «било по мозгам». Показывал фотографии людей, сидевших с ним, зековские «альбомы». «...Вот: это отец с сыном. Они мать съели. Ну, просто: жили в деревне, в доме на отшибе, стали выпивать. А хозяйка ходила вокруг и скандалила: хватит пить да хватит. Ну, они ее в запале и огрели чем-то тяжелым, а может, топором зарубили... А сами дальше пьют... А с трупом-то надо что-то делать... Ну, взяли ее сварили и съели... Вот это (фото) сын. Он в самодеятельности нашей пел...» Рассказывая, периодически приговаривал: «Да... Русь-матушка... Так-то вот живет народ-то наш богоносец...» Или другая его тема: «А посадили меня в последний раз за то, что, как сказано в следственном протоколе, я сто членов коммунистической партии в ж... в...л. (Надо тут заметить, что речь его была сплошь напичкана тем, что, порой называют «ненормативной лексикой». Хотя в случае с Сергеем она оказывалась настолько именно «нормативной» и мотивированной, что передать весь колорит, избегая ее, было бы просто невозможно.) Но мне-то запали, как сказано, как раз не эти его страшилки-правдилки, не витиеватый мат, не гомосексуальный эпатаж,

выдававшиеся, к тому же, как кажется, вполне по накатанному, а вот то, что было «между ними». Его неожиданные резкие и точные до того, что аж в испуг от его проницательности бросало, моментальные афористичные характеристики и суждения обо всем. О присутствующих, о великих, об искусстве, о времени. Причем в одной фразе, комментируя, например, слова собеседника, зачастую даже, — как в нашем случае, — абсолютно ему неизвестного, он умудрялся дать и точную характеристику человеку, и одновременно всему его поколению что ли, эпохе. И все, как казалось, с привязкой уже к каким-то вневременным, над- (или уж там не знаю — «под-») мирным понятиям, точке отсчета. А многое из мгновенно схваченного им и тут же в шутовской, как правило, скабрезной, форме выраженного и обозначенного, выявилось и стало очевидным для меня и вовсе только спустя годы. Я не случайно подробно сказал о расположении сидевших с ним за тем столом. Среди прочего Параджанов показывал нам большой альбом с фотографиями: сплошь знаменитости: Высоцкий, Алла Пугачева, кажется, Шукшин... «А этими фотками, — говорит, — я в зоне спасался... Ну, там люди как увидят: я, а рядом Высоцкий, сразу отношение-то ко мне другое...» Четвертый из нашей компании, знавший всех и вся, написавший уже и к тому времени, и позже массу умных статей об этом всем и всех, экскурсовод то есть наш, сидел напротив хозяина. Взяв со стола альбом, он стал его вяло листать и рассматривать под звуки параджановского голоса. Тот вещал очередную историю — то ли о матери, которая под видом жены ездит на свиданки к посаженному на долгий срок сыну, чтобы отдаваться ему, то ли об одесском хулигане, который заставил для хохмы свою напомаженную подружку сделать минет статуе обнаженного мальчика в парке, а мальчик оказался из мягкого туфа, и теперь след от помады гуляет по всему пористому телу статуи, а подружка получила срок за порчу социалистического имущества. Вдруг он резко прервался. Взглянул на рассматривающего альбом, а может, даже выхватил его из рук. «Ну ты, — говорит, — мудак, я тебе гениальные вещи рассказываю, а ты все библиографию смотришь...» Как я сказал, мы с одним из друзей постоянно пригубляли сухое из наших многочисленных бутылок, так что к середине визита были уже достаточно пьяненькие. За столом все курили. На столе, справа от меня, поблизости от Сергея лежала пачка моей «Явы», которую я, лишь только движения мои стали менее координированными, начал периодически смахивать на пол, после чего мне все время приходилось нагибаться за ней к ногам Параджанова. Несколько раз я поднял ее, приговаривая дурацкое «извините». Наконец Сергей внимательно посмотрел на меня и произнес ту самую фразу: «Да что ты все время извиняешься! Время какое-то хамское...» Спустя еще какую-то серию баек вдруг говорит: «А вот у меня в зоне друг был. Тоже, кстати, поэт (он назвал какую-то фамилию). Не слыхали? Ну, он известный... Я ему так в шутку говорю: а ты (имя не запомнилось), давай в рот у меня возьми... Тот отвечает: нет,

Сереж, я стесняюсь, давай, знаешь, через платочек... Через платочек, мол, возьму... А я ему: давай! Через платочек. А только я платочек потихонечку оттягивать буду». Разговор, понятно, перекинулся на «литературную тему». «Кто там у вас, в Москве, теперь главным считается? Мандельштам, говорят... Маяковского уже не любят... Вот книжку даже написал один: «Воскресение Маяковского». Читали? Не любите, значит...» И потом, обращаясь сразу ко всем за столом, несомненным на тот момент адептам и «последывателям Мандельштама»: «А хоть кто самая красивая женщина двадцатого века, знаете?» С этими словами он снял откуда-то и выложил на стол небольшую черно-белую фотографию сухонькой старухи в некоем, как показалось, вовсе не соответствующем возрасту наряде. «Что?! — это уже лично ко мне, — не думаешь, что это самая красивая женщина века?» Я не думал. Да, честно говоря, и думать не хотел. «Н-нет, не думаю», — ответил под его явно вызывающим взглядом. «Ну а кто же, по твоему мнению, «самая красивая?» «Моя жена», — отвечаю, толком не сознавая даже, кого имею в виду, так как уже был на тот момент жизни женат пару раз. «Ай, маладэц!» — подает голос женщина с другого конца комнаты, подметая пол. На том, кажется, и расстались. По крайней мере, про тот общий «поэтический» наш визит к Параджанову больше ничего мне не вспоминается. «А чей это портрет он показывал?» — спросил я у друзей. «Как! Это же Лиля Брик! Он же был ее последней любовью! От нее, говорят, и ушел в гомосексуалисты!» «А-а...»

Зато хорошо мне запомнился следующий эпизод, имевший место спустя неделю после первого.

Я сказал: Тбилиси... вино... женщины... фрукты... В первый вечер моего пребывания в городе у меня случился роман. С веселой очаровательной девушкой — тоже из общей всесоюзной компании моих бывалых друзей, в дом которой меня определили на ночлег. При этом в последующие дни мы так все и выпивали с моим пьющим товарищем, непьющий все ходил по редакциям и издательствам, «библиограф» — по каким-то своим делам. Потом все вдруг вспомнили о московских заботах и проблемах и отбыли в столицу СССР. Я же сдал билет и остался еще на неделю. Как ни переполнен я был вспыхнувшим новым нежным чувством, как ни увлекал и ни будоражил меня удивительно шумный и веселый, по контрасту с мертвой ледяной Москвой, Тбилиси, а все мне казалось: что-то томит, словно бы зовет. Какая-то недосказанность. Влекло еще раз пойти в ту комнату с кривым полом. Я не мог сформулировать себе — зачем. Сказал подружке, что хочу еще раз пойти к Параджанову. Она скорчила легкую гримасу неприятия, проговорив что-то, типа «это общество не для нежных юных созданий прекрасного пола... Если хочешь, иди один». Я пошел. Был вечер. Немного ветреный. Чуть-чуть тревожный. Великолепный. Вечер ранней весны в Тбилиси. С этим невообразимым, непередаваемым запахом... Подозреваю, что запах ранней кавказской весны — едва ли не самое с тех

пор сильное ощущение из испытанных мной в жизни. Я нашел ту, круто идущую в гору улицу. Домик. Лоджия была ярко освещена электрическим светом. Параджанов сидел в ней за столом, или, может быть, уже в комнате, но у самой двери на улицу — по крайней мере, мне кажется, я увидел его именно с улицы. А он поначалу меня не замечал, потому что был весь поглощен какой-то кропотливой работой. Я поднялся по лестнице, поздоровался. Он оторвался от своего занятия, взглянул, говорит: «Привет», кивнул на пустой стул. Я присел. Кроме него в доме никого не было. Помолчав, говорит: «Ты чего пришел?» Я ответил: «Просто так». Теперь уже мы оба помолчали. Он говорит: «А я вот фонарик крашу. Кузбасслаком. Нашел на помойке. Красивый». В руках у него действительно была кисточка, и он аккуратно покрывал черной краской какой-то старенький — то ли спиртовой, то ли газовый ржавый фонарик со стеклышками на гранях. Помолчали еще. Он опять говорит: «Ты чего пришел-то?» Причем, в словах этих совсем не было агрессивной интонации, мол, тебя не звали, проваливай! — по крайней мере, я ее не услышал. Не переставая раскрашивать, он сказал: «Может, тебе нужно что, — говори». Менее чем когда бы то ни было мне было что-нибудь конкретное нужно. «Нет, — говорю, — ничего мне не нужно. Просто так пришел — в гости к вам». И тут он сказал нечто, пронзившее меня таким диким чувством, которое бывает только в детстве, если тебя вдруг застукали за каким-то непристойным, постыдным занятием. Он сказал: «Что? Пожалеть меня пришел?» У меня едва ли не закружилась голова, хотя, кажется, я улыбнулся и пробурчал что-то типа: «просто поговорить хотел». Какое-то время мы снова молчали. Вдруг он вглянул на меня, глаза у него загорелись, он заулыбался и говорит: «Ой! А, знаешь, хорошо, что ты пришел! Я тебе сейчас своего перса покажу... Иди сюда», — и быстро встав, пошел вглубь комнаты. Я за ним. Оказалось, что в большой комнате, где мы сидели той компанией в первый наш приход, есть дверь. Она вела в другую, маленькую комнатенку. Открыв ее, Параджанов вошел внутрь и позвал меня. Пока он не включил свет, в комнатке был полумрак. И переступив порог, я буквально столкнулся со странной неподвижной человеческой фигурой. Это был манекен. Обыкновенный манекен в человеческий рост, как в витринах универмагов. Но весь причудливо и изумительно разнаряженный в цветные шали, ленты, тряпочки и пояски. Действительно очень похожий на какого-то экзотического перса. «Что? Нравится? — говорит Параджанов, — хорошо, что ты зашел, а то я его через полчаса уже в милиционера переодевать буду, если б ты не посмотрел, никто бы не увидел уже... А вот еще, — смотри: красиво?» — включив свет, он показал на стену, потом на другую. На стенах висели странные, небольшие картины. Я уже сказал, что не являюсь большим знатоком живописи. Но эти картины вообще были чем-то, никогда не виданным мной. Вроде бы — иконы. Но как будто написаны абсолютным примитивистом, с детской неумелостью, но с поразительной, какой-то сверхчело-

вековой глубиной. Вроде бы присутствовал пейзаж, людские фигуры. Но при этом были невообразимые тона, сочетания цветов. Например, ярко фиолетовый нагло соседствовал с откровенно салатовым. А при этом все находилось в удивительной гармонии. «То-то! — он говорит, — это иконы. Униатские...» Мне как-то доводилось слышать, что, снимая в западной Украине «Тени забытых предков», он проник в запертые униатские храмы. Униаты в СССР существовали подпольно, будучи преследуемы и советской властью, и, что круче, советской православной церковью. Так вот, после того, как Параджанов якобы вытащил из их церквей иконы, несчастные, мало сведущие в политической ситуации деревенские униатские батюшки пошли жаловаться на заезжего режиссера властям. И этим, так сказать, засветились. Тут-то их всех и помели. То есть, он, якобы, спровоцировал целую очередную кампанию посадок в лагеря очередных жертв режима. Справедлив ли этот слух, я не знаю. Но мне совсем не кажется бытование подобной сплетни в отношении этого человека странным. Как-то чувствовалось: запросто даже могло быть. Проведя эту маленькую экскурсию, Параджанов сказал: «Ну вот, такая у меня тут комнатуха есть. Я так-то ее особенно никому не показываю. Если надо, оставайся. У меня, кстати, двуходка, — с этими словами он распахнул дверь, второй выход, прямо из комнатки на соседнюю улицу, — всегда уйти можно. Приходи, ночуй. У меня иной раз останавливаются. Здесь вот спать можно. Я не спрашиваю...» Потом говорит: «Может, деньги тебе нужны?» «Нет, не нужны» «Ну, если нужны будут, скажи. У меня деньги сейчас есть. Много. Дам, если надо». Потом, словно бы вдруг вспомнив о своей пожизненной гомосексуальной роли, говорит: «Да нет! Просто так дам, считай, одолжу... — и чтобы подчеркнуть бескорыстность предложения, добавил: — а тому, другу своему, викингу, — (сразу понятно стало, что говорит он об одном из моих товарищей, бывших у него в первый, описанный день, самом рослом и представительном из всех нас), — скажи, чтобы ко мне приходил, я ему тоже де-енег дам...» Он изобразил на лице блудливую улыбку. Я вышел из маленькой комнаты на уже другую вечернюю улицу. Больше я этого человека никогда не видел. Спустя пару лет, кажется, в 88-м году, включив дома, в Москве, радио, услышал в программе «Голоса Америки» обрывок интервью с Параджановым из Нью-Йорка. Слова звучали удивительно чисто. Радиоголоса к тому времени уже не глушили. Но дело было не в этом. Просто было полное ощущение, что говорящий находится рядом с тобой в комнате. Почему — не знаю. Включил я радио уже в конце передачи и услышал только заключительные фразы. Очень живо и как-то молодо и естественно он говорил: «...и что там все пишут какие-то глупости о том, что «в Америке нет культуры», что они, американцы, бездуховные...» Да здесь — все культура! От дверной ручки до высочайшего небоскреба! Я хожу по Нью-Йорку, как по сплошному музею...» (тоже, конечно, цитирую по памяти, но за точность смысла ручаюсь). Потом

изменил интонацию и сказал с грустной нежностью: «Но я возвращаюсь в Россию. В свою бедную, нищую, Россию...»

Понятно, что перестройка, случившаяся в те годы, оказалась полным переворотом всей жизни. Я иногда вспоминал о тех — в общей сложности, наверное, двух часах общения с этим человеком. Но вовсе не то чтобы «всегда помнил его...». А вот в каких-то очень конкретных ситуациях. Не стоит, уж конечно, и говорить о вещей метафоричности того, как сплошь и рядом «дают (и берут) в рот через платочек», который потом повсеместно «потихонечку оттягивается». Сие — на поверхности. Я вспомнил об униатских иконах, когда рассматривал евангельские изображения в Эчмиадзине в 88-м году, — что-то было в них очень созвучное тем пейзажам и ликам в комнатке Параджанова. «У нас нет икон, — пояснил мне заговоривший со мной армянский батюшка, — в нашей церкви не иконы, а картины; мы считаем, что благодати на изображениях нет...» и потом провел меня по всем сокровенным местам храма, так что я трогал пальцами грубые кресты, вырубленные рукой святого Григория Просветителя прямо на камнях прежнего языческого капища. Кстати, позже, побывав в Ереване, я узнал, что Параджанов жил теперь там. Но у меня даже не возникало мысли вновь повидать его. Я посмотрел фильм «Легенда Сурамской крепости». Он очень красивый, и многое напоминало мне в нем того перса. Но если уж смотреть кино, то нравятся мне другие фильмы. Я держал в руках и долго завороженно смотрел на икону четырнадцатого века, некогда случайно обнаруженную теперь уже тоже покойным другом в глухой вологодской деревне. «Сошествие во ад». Фантастическую, ни на что из известного мне прежде не похожую... И опять вспоминал те, униатские...

В Тбилиси я после ужасных и бестолковых постсоветских войн больше уже никогда не был. Спасаясь от них, в конце восьмидесятых навсегда уехала из разлагавшегося СССР моя давняя подружка. Два года назад я впервые попал в Нью-Йорк и вновь вспомнил Сергея Параджанова, ошалело бродя в телячьем восторге по этому ни с каким другим на земле не сравнимому городу. Я и сейчас здесь. И пишу эти строки по просьбе редакции нью-йоркского журнала. А с подружкой, кстати, мы тогда же, то есть два года тому назад в Нью-Йорке, вновь встретились. Теперь она моя жена. Конечно же, самая красивая женщина века. Только вот не знаю какого: еще двадцатого или уже двадцать первого. Кажется, на этот счет, — о рубеже тысячелетий, — бытуют разные мнения.

4 августа 2000

Мадлен РОЗЕНБЛЮМ

/ Нью-Йорк /

■■■

Папе

Зловещая звезда Звиада
Нависла низко над Курой.
Добьют: не пулей — так прикладом,
Не на горе — так под горой.

Беги, на шаг опережая
Разбой, осаду и погром,
Пока сама себе чужая
Не рухнешь где-то за бугром.

Очнешься в сытом Зазеркалье,
Без Бога, друга и жилья.
Судьбы вертлявое лекало —
В руках небесного жулья.

Круты мои метаморфозы —
Служу, вожу автомобиль.
Ни песен не пишу, ни прозы.
Какая боль! Какая гиль!

Здесь музы шпарят по-английски.
Здесь нет врагов. Здесь нет друзей.
Мой дом тбилисский, прах тбилисский,
Я ваш беглец. Я ваш музей.

21. 01. 1996

Соперник

Виктору Санчуку

Твои заметки на полях
Важнее книги.
Семнадцатое февраля.
Разлом интриги.

У книги узкие поля —
Скупы заметки.
От гениального враля —
Два слова метких.

У гениального враля —
Все может сбыться.
Смеялся: «Ваньку не валяй!
Жми за границу!»

Скользнули восемь февралей
Со снежной горки.
Я стала сдержанней и злей,
Живя в Нью-Йорке.

Я стала тише и добрей
В Нью-Йоркском гаме.
Частят недели все скорей
В мажорной гамме.

И натиск вагнеровских нот
Черней и громче.
Я тоже не люблю длиннот
И троеточий.

Я тоже знаю, как слагать
Стихи. Я тоже
Умею так волшебно врать —
Мороз по коже!

январь 98

Copyright © 2001 by Madlen Rosenblum.
All rights reserved wordlwide.

Виктор САНЧУК

/ Нью-Йорк /

В Америку!

Снова в путь пора! Только вот денег — жаль —
Нету. (А это ж сегодня главное).
Все остальное — пустое, как дирижабль —
тупиковая ветвь в истории воздухоплавания.

Цеппелинами чувства мои, словно груши, повисли,
и так же, тучнея, качаются в небе черном.
Все чаще ко мне теперь приходят о смерти мысли.
Словно упорный борей, гоню и гоню их в сторону.

Тогда улетают куда-то на юг, туда,
где их разбирают какие-то очередные болванцы,
и потом терроризируют мирные веси и города.
Засранцы!

Все это придумал однажды немецкий граф,
нагрузившись своим мозельвейном или какою другою брагой.
И я теперь вправе сказать: граф, ты не прав!
И подняться на борт
воздушного средства
с ракетной тягой.

1998

■■■

Несущественные, словно вещи без тени, —
и тогда в них вчерашняя ночь проглядывает,
может, как слова, лишенные ударений,
и рассказчик сплевывает их или проглатывает.

Так и этого лета вечера и дни —
вроде в ворохе, рядом, да вот ведь — края оборваны.
Я один, ты одна, он один, — мы на свете *одни*.
Так — астронавты, летящие в разные стороны.

Там земля дотлевает. Больше нет для посадки мест.
Неприкаянность, как невесомость, уже и не кажется странной.
Никогда не увидеть мне теперь Южный крест.
Да и ты никогда не дотянешься до звезды Полярной.

1996-1998

■■■

Памяти «лесных братьев»

Как черный рычажок,
когда ты тушишь свет:
чуть слышимый щелчок,
и ничего вдруг нет.

Уснувшая страна —
держава забытья.
И жизнь твоя странна,
как вовсе не твоя.

Не страшен, но безлик,
мрак бродит по углам,
да лестницы язык
цепляется к ногам.

Лес приоткрыт, как слог —
(«во рту растут грибы»?) —
Ах, черный рычажок! —
внутри стальной скобы.

А руку б согревал
металл быстрее стен, —
в какой всю жизнь мечтал
сжимать систему «Стен».

1983-1999

Дорожная песенка

Когда вот она — та черта,
за которой, знать, ни черта.
Или чудных садов газон
(но скорей всего — как раз *он*).

Вспоминаются голоса.
Поднимаются волоса.

И тростник-головастик всяк
обращается в дрожь, и ниц
льнет к болоту времени, как
знаки падающих страниц.

Это ветер в деревьях вдруг
тут запутался. Слышу гул.
Слушай, ветер, ты шел на юг,
да вот к северу повернул.

И листаешь теперь блокнот,
мной раскрытый, — наоборот.

Словно ластик, стирай слова.
Под тобою растет трава.
Впереди города, леса.
И гудят внутри голоса.

Перепутавшиеся, те
что зовут и меня к черте,
за которой уже, видать,
ни хрена не переписать...

1999

Copyright © 2001 by Viktor Sanchuk.
All rights reserved wordlwide.

Борис КОНСТРИКТОР

/ Санкт-Петербург /

Как устроиться на работу в Америке

Было это в начале девяностых. Почти как в романе Виктора Гюго. Мы с младшим братом моей жены Мишей (а старшая сестра моей жены — Ры Никонова-Таршис, ейская авангардистка всех времен и народов — как утверждает славист из Кентукки Джеральд Янечек) валили лес на шести сотках садоводства «Актер». Урочище мустомякского мха. Карельский перешеек, бывшая Финляндия, по территории которой Урхо Кекконен всегда проезжал в купе с занавешенным окном. Кстати, участок уже несколько лет безуспешно продается (коллега Борис Кудряков соорудил мне там сарай в духе «Строителя Сольнес»: во всяком случае, голова кружилась, когда рубероид прибивал на крышу), может быть, на вырученные деньги удастся купить сыну новый смычок.

Прихожу полуживой (см. одноименную поэму у Алексея Крученых) домой вечером. Не успел еще поставить лопату между дверей, как на пороге встречает возбужденная жена. Два раза звонил из Москвы Руслан Элинин, у него на даче гостит новый русский, готовый купить твою графику.

Третий звонок. Занавес поднимается. Руслан вещает в духе категорического императива: садись на поезд, утром мы тебя встречаем на БМВ.

Я человек болезненный, ревматический, мне надо ноги в тепле держать, тем более — после сюжета «Рубка леса». Но таинственный монтекристо Яша взбудоражил воображение средней Таршис. Занимаю деньги у соседки, складываю графику в папочку и мобилизую Мишу в качестве инкассатора. В Москву! В Москву!

Билетов на вокзале, конечно, нет. Едем в служебном купе, к неудовольствию молоденькой проводницы, которую сарданапал-бригадир переводит на ночь к себе. В столице нас никто не встречает. Мы без устали звоним в загадочную Валентиновку, которая хранит безмолвие мавзолея. Наконец на сто десятом звонке в трубке раздается раз-

битый голос Руслана. Договариваемся о встрече на загородной платформе. Не выспавшиеся, злые стоим там, на пронизывающем ветру. Начинает накрапывать. Элинина нет и в помине. В конце академического часа ожидания он вываливается из подошедшей электрички.

Лик его ужасен. Волосы всклокочены. Глаза воспалены, как щечки диатезного младенца.

Из одного кармана мышиного пальто торчит литровая бутылка водки «Черная смерть», из другого — не менее угрожающего вида, — Бальбюк какого-то вина. В этот момент я испытываю нечто вроде сатори и постигаю великую мудрость недеяния трех сестер. Мой час настал, и должен я погибнуть. Но ведь есть еще в запасе, как у Чехова и Окуджавы, маленький военный оркестрик — мистер Твистер.

Молодой миллионер Яша валяется на неприбранной постели с длинноногой герл из Болшева. Она занимается, как это теперь принято называть, аэробикой и голосует за Жириновского. Судя по активности манипуляций юного нувориша, сексапильная большевичка (см. выше) держит оборону не хуже маршала Маннергейма. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствует пьянки российской заразум!

Я так и не могу вспомнить, смотрел ли Яшка-артеллерист («Свадьба в Валентиновке» — см. ниже) мою графику или нет. Знаю, что впоследствии служебный БМВ у него украли, фирма прогорела, и бедняге пришлось продать свою московскую квартиру. Теперь он снимает комнату в коммуналке, а наехавшие на него и на всю страну бандиты — виллу на Канарке. Каждому — свое, учит нас германистика.

Мы гуляем с Элининым по элизиуму сада, в траве валяются крупные яблоки-цитаты из мультфильма Норштейна «Сказка сказок». Буль-буль. Дача принадлежит референту Гайдара. Буль-буль. Руслан снимает у нее комнату. Буль-буль. А Гайдар — сбережения у населения. Буль-буль.

Через несколько часов младший Таршис не выдерживает и сваливает в Питер, а потом и вовсе в Германию. В России людям со слабыми нервами... Буль-буль. Оставшись один (без инкассатора), со страхом перебираю в кармане купюры: только бы хватило на обратную дорогу. Буль-буль. Большевичка с одеялом через плечо и подушкой в руке, вызвав у меня болезненные ассоциации с вольтеровской профанацией жития Орлеанской девственницы, удаляется по лесенке (приставной) на чердак. Буль-буль. Начинается вторая серия фильма «Вертикаль». Доктор Фрейд, доктор Фрейд, улыбнитесь. Элинин с Яшей наперегонки пытаются штурмовать Эверест. Так, кстати, называется по сию пору неизданная пьеса моего коллеги по церберской вечности Бориса Кудрякова. Альпинисты активно обсуждают нюансы технологии восхождения. В моем отравленном алкоголем мозгу качаются не перья страуса, а кадры из одноименного фильма Ларисы Шепитько.

Спускаясь в базовый лагерь, Руслан беспрерывно вызванивает кого-то, ловя на живца (Б. Констриктора). Он подсекает Андрея Урицко-

го: мозговая атака выездного бюро «Библиотеки неизданных рукописей», для ее проведения необходим провиант, а то от бунинских яблок у нас оскомина.

Андрей, нагруженный закусками, как мамаша Кураж, уставший, после работы, оказывается вовлеченным в наш шабаш. Буль-буль. В этом благодушном состоянии мы занимаемся визуальной поэзией, макая в какие-то серые чернила клочок бумаги. Потом один из перлов Руслана оказался в «Черновике». Заседание продолжается. В полночь заваливается хозяйская дочь с компанией. Буль-буль. Все смешалось в доме референта Гайдара. Руслан и Яша, вооружившись громадными кухонными ножами, бегут ночью в соседний поселок за водкой. Я тихо шизею и вспоминаю фильм «Сталкер». Мои скудные средства тают, и добраться до родимого болота патриот-кулик Констриктор сможет разве что на электричках. В разгар этой вальпургиевой ночи раздается потусторонний (междугородный) звонок. Лена Пахомова, жена Руслана, просит встретить ее на вокзале, она из Одессы везет тираж книги «Как устроиться на работу в Америке».

Автор — Свидригайлов. Оживление в зале. Между бесчисленными буль-бабулями. Элинин посвящает меня в свои проекты. Я как-то писал уже, что он был новым Пиранези эпохи постмодернизма. Так, он хотел объявить о своей мнимой смерти и обустроить (не Россию!) могилу со своим надгробьем, чтобы фиксировать на видео, как бесчисленные поклонницы катаются на могильной траве и рвут на себе белые одежды.

Эндшпиль. Тишина в студии. Лестница больше не скрипит. На ее ступеньках сверкают «Снега Килиманджаро». Беккет и Хемингуэй, взявшись за руки, как две первоклассницы, тихо покидают мой мозг. Оборона Маннергейма прорвана. И спускаемся мы с покоренных вершин... Меня к этому моменту вопросы скалолазания и психоанализа перестают волновать совершенно. С одержимостью скупого рыцаря я пересчитываю оставшуюся мелочь и никак не могу понять, хватит ли мне ее, чтобы добраться хотя бы до Москвы. Буль-буль, буль-буль, буль-буль.

В этот драматический момент зазвонил телефон. Кто говорит?! Не слон, не бегемот, не Лидия Чуковская, ни даже Софья Петровна. Это Сергей Сигей! Муж Ры! Мой свояк! Он в Москве. Буль-буль. Он при деньгах (что-то продали там). Буль-буль. Мы с ним встречаемся. В шесть часов вечера. После войны. На Красной площади. В офисе Элинина.

Буль-буль. Это мы уже в конторе Руслана (который успел по пути назанимать кучу денег) пьем сухое. Потом — на Киевский вокзал встречать Лену. По-моему, мы опаздываем. В сознании запечатлелся следующий кадр: Лена с изяществом японской гейши торгуется с носильщиками, которые грузят тираж на свои тележки, а в это время Сигей с Элининым отправляют естественные потребности, стоя на краю плат-

формы Киевского вокзала. Народ безмолвствует. Пока грузят книги в зеленый фургон, три товарища пожирают сосиски с пивом. Машина с компанией уезжает без нас. Мы начинаем преследовать ее на такси. Ремейк Ремарка. Но гонки получаются с препятствиями, ибо Сигей выскакивает у каждого кооперативного ларька, пытаясь купить какой-то экзотический ликер. Наконец мы оказываемся в ставке покоренной герл — в Болшеве. Гараж Эльдара Рязанова, куда должны были сгрузить американскую каку из Одессы, закрыт. Малохолия в капоте продолжается. Да здравствует мирсконца: вперед в Валентиновку! Там вся компания в сборе. Пей до дна, пей до дна, пей до дна.

Утром сваливаем. Сигей блюет у забора, по его словам, первый раз в жизни. Похожий на тень отца Гамлета, он утверждает, что сухое вино, которое мы пили на Красной площади, было отравлено: там плавали какие-то порошинки.

Опохмеляемся в Москве, по старой методе питерского поэта Евгения Вензеля, кефиром. Нам предстоит встреча с господином профессором Джеральдом Янечеком, если воспользоваться громоздкой формулой одного самарского деятеля. Впервые я увидел Джерри у себя в коммуналке на Исаакиевской. Шел первый съезд народных депутатов СССР, Джерри позвонил в дверь в тот момент, когда на трибуну взгромоздился Юрий Афанасьев и начал знаменитую речь об агрессивно-послушном болшинстве (sic!). Янечек был потрясен моей электроникой: изображение давал старый-престарый телевизор, а звук — доисторический ламповый приемник — благо, в те годы трансляция была тотальной. Да, зрелищ в начале перестройки хватало, чего нельзя сказать о первой части древнеримского минималистского шедевра.

Мы тащимся по бесконечным переходам метро, я уже почти ничего не соображаю и поэтому ничуть не удивляюсь, получая при встрече деньги за какие-то свои старые труды. Я лишь тупо счастлив, что, наконец-то, унесу отсюда ноги, а может быть, если повезет чуть-чуть, даже голову.

Но, как в «Ицзине», этот конец еще не конец. Спустя некоторое время Руслан был в Питере. В гостях у Александра Горнона он вытащил из горы книг свою — «Как устроиться на работу в Америке». Этим изданием живо заинтересовался присутствующий поэт и переводчик из Нью-Йорка Ян Пробштейн. Книгу на русский переводил именно он и за перевод не получил, как это принято в стране гипербореев, ни копейки. Но Пробштейн не стал заводиться на манер юродивого из оперы Мусоргского, и застолье пошло своим чередом.

P.S.

Когда с Русланом случилось несчастье, я долго не мог поверить в окончательность приговора врачей. Ведь Элинин был скорее ветром, чем человеком. Невозможно себе представить его — замкнутого в стенах квартиры, фактически переставшего жить. Руслан пострадал от

громадности силы, которую всучила ему судьба. Неизрасходованная в творчестве энергия уводила его в суровые запои. Даря мне книгу стихов Ивана Лаптева, он сказал: «Да, это был знатный борец с жизнью». Не последним человеком в этом виде спорта был и он сам. Сколько еще таких бойцов невидимого поэтического фронта сложат свои головы в кровопролитных боях за слово как таковое. Бог или бытие (кому как больше нравится) продолжает свою грандиозную игру в бисер. Может быть, Элинин был тысяче первой попыткой Пушкина. Руслан не справился со своей партией. Но какая ему была поручена роль!

P.P.S.

* * *

Руслан Элинин пьяный в стельку
Приехал в Питер на недельку.

Он не нашел «Гостиный двор».
Забил вещами коридор.
Дышал на чаек перегаром
И книги раздавал задаром.

Съел на обед одну сардельку,
Перевернул в саду скамейку.

Менял валюту на рубли,
Чтоб улететь быстрей с земли.

* * *

Элизиум. Элениум. Элинин.
Элегия о сломанной судьбе.
Ты стал, Руслан, как дитятко, невинен.
Проснись, мой друг, я помню о тебе.

* * *

Нет Элинина Руслана.
А вообще он где-то есть.
Я гуляю вполупьяна,
И мне кажется, он здесь.

Слышу голос из-за тучи,
Вижу серое пальто.

Дагестанец был могучий.
Полюби его Ничто.

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

/ Нью-Йорк /

■■■

Кто вколотил последний гвоздь
В церквушку на горе,
Кто окна закупорил и
Распотрошил алтарь?

Где пастор, неужели он
На ферме — пастухом,
И не врачует душ людских,
И стережет коров?

Давайте сделаем привал
У церкви на горе,
И выпьем красного вина,
Закусим сухарем —

Во славу церкви на горе —
Распятой на горе, —
Где козы щиплют травку и
Бодают крест в стене.

Макбет

Я говорил: «Кремень изгрыз,
Пока строку сучил поэт».
Но был диковинн твой каприз:
«Пойдем отсюда, это — бред».

Мы уходили. Нам вдогон
Хрипели ведьмы: «Ты — король!

Во всей Шотландии трезвон,
Но скоро вам испить юдоль

Паучьих праздников». Позволь,
Останемся и до конца
Изучим кукольную роль
Жестоковыйного лжеца.

К чему добро и зло делить,
Когда они в одной руке
Соединились? Если быть,
То быть от зла на волоске.

Сейчас его перекуют,
Спиралью скручивая боль,
Чтоб крепче потаенных руд
Твердил зазубренную роль:

«Пускай в преддверии беды
Растет, что ком, твоя вина,
Казни, десница, до руды!
Дай руки отереть, жена,

Плесни в бокал и спой мне всласть,
Как кровь лилась, как кровь лилась».

Поэт в Нью-Йорке

Але Свечарник

Нарастающий гул — подголоском стекла и бетона —
Распрямляет хребет над свинцовым потоком Гудзона.
То не ангел хрипит, — жарят медные флейты вокзала
Босоногое «яблочко». Ветер доносит к причалу
Клочья старых листовок и облака рыхлую тушу...
Если глину уже поделили на воду и сушу,
Если Лота жена, как синица в руке, околела, —
Врет фарватера глубь и двудольная давность раздела!
Что ваш хор аонид, — здесь сирена ревет неотложки,
Льют косые дожди, и судьба семенит хромоножка,
Топчет корку асфальта по курсу манхэттенских линий,
Видит пену у рта, слышит походя хохот павлиний.

Ей назад обернуться, да знает, — не быть превращенью
В соляную колонну, пусть тешит себя приращеньем
Пузырящихся в бирже процентов и банковским ростом.
Если надо сравнить, я сравню этот город с погостом.
Здесь под мрамором — море и в мраморном тонет угаре,
Половину отжив, я опять посетил колумбарий,
Камнеломни Гадеса, куда, от удушья шалея,
Я спускаюсь опять сквозь луженую глотку сабвея.
Чтоб увидеть, как мухи слетятся и выпьют из лужи
Красноперого пойла, что яда цикуты похуже,
Как смеркается день, и душа отлетает наружу.

Copyright © 2001 by Grigoriy Starikovskiy.
All rights reserved wordlwide.

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

/ Прага /

Чаще наблюдается у женщин и детей

1

Мужчины и растения способны плакать. Попробуйте просверлить отверстие в стволе, полоснуть кору электропилой, отсечь ветку ножом или топором, и растение тотчас пустит слезу. Плакать может даже пень на срезе. Особенно ранимы растения весной в период набухания почек (так наз. весенний плач). Ценители берёзового сока сверлят кору дерева именно в эту пору. Помимо берёзы, любят всплакнуть клён, бук, виноградная лоза. Выделению слёз способствует повышение температуры воздуха. В тропических лесах из-за слабого испарения листья могут разразиться непроизвольным ливневым плачем.

Из всех мужчин громче всех на свете плакал пророк Иеремия. Можно сказать, что ему удалось создать жанровый канон плача. Падение Иерусалима, опустошение Иудеи и пленение народа иудейского вавилонянами глубоко опечалили Иеремию, но решающую роль в формообразовании жанра сыграл лирический дар пророка: «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал как вдова... Горько плачет он ночью, и слёзы его на ланитах его...око моё, око моё изливает воды... Потоки вод изливает око моё о гибели дщери народа моего». Дщерь, она же вдова и данница — это столица, Иерусалим. Горько-солёный плач Иеремии набирает мощь с каждым стихом и звучит едва ли не ликующе: «Лей ручьём слёзы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих». Даже из скорби норовит человек извлечь удовольствие.

Несколько слов о слёзно-носовом канале, слёзном аппарате и слёзных железах. У зародышей гадов, птиц и млекопитающих канал имеет форму желобка. У человека этот канал раздваивается и завершается слёзной точкой (*punctum lacrymale*). В отличие от амфибий, у гадов и людей слёзная железа дифференцируется: одна ложится у носо-

вого угла век, а другая — у височного угла глаз, дабы увлажнять их поверхность. Слёзный путь ведёт слезу в канал. Так наз. полулунная складка, особенно развитая у малайцев и негров, поглощает слёзный поток. В углу глаза лежит слёзное озеро (*lacus lacrymalis*), откуда слеза поступает через слёзные пункты в носовую полость. Острое воспаление слёзной железы лечат теплом, в том числе душевным. При сужении канальцев слёзы не проходят в слёзный мешок и текут по щеке. Лечение — оперативное. По обстоятельствам. Последствием безучастности бывает упорное слезотечение, усугубляемое ветром, холодом, чёрствым хлебом, так наз. глухотой. В каждой глазнице человека имеются две слёзных железы. Они-то и выделяют водянистую жидкость, в состав которой входят вода, поваренная соль и слизь (муцин). Через десять тонких трубочек (выводных протоков) слёзы поступают на поверхность слёзного яблока, откуда при частом закрывании век прогоняются к особой выемке во внутреннем углу глаза (см. выше с л ё з н о е о з е р о), где всасываются слёзными точками. При этом слёзы, которые сначала поступают во внутриклеточные секреторные капилляры, впоследствии изливаются в канал и через системы вставочных и выводных трубок попадают в коньюнктивальный мешок.

2

Повторяю. Слёзы — это слизь, жир, белок, эпителий, хлористый натрий, фосфорнокислый натрий, известь. Естественно, что они (слёзы) дают слабощелочную реакцию и обнаруживают солоноватый вкус. Положительно, что они поддерживают глаз во влажном состоянии, хотя и выделяются при плаче, рыдании, вое, стенании. Через край век влага переливается в результате усиленного слёзотечения, зависящего от чувствительности так наз. души, а также глубины обиды, досады, горя, радости и прочих душевных движений. Воля бессильна над актом слёзоотделения. Грудные дети во время плача и рыданий не проливают слёз. Глаза их остаются сухими. Женщины более склонны к слезам, нежели мужчины, из-за большей возбудимости слёзоотделительного аппарата. С течением лет способность людей к проливанию слёз ослабевает почти до полного исчезновения.

Стоит отметить, что культура слёз напрочь отсутствует у некоторых племён Африки (терр. бывшей Танганьики) и индейцев Северной Америки. В июле 1913 года марбургский профессор Гном Цумбайшпиль предпринял попытку привить культуру причитаний (нем. *Totenklagelied*, франц. и англ. *lamentation*) в одном из племён чироки (самоназв. ани юн уия). С этой целью он привёз к индейцам трёх олонецких плакальщиц. Эксперимент продолжался год, вплоть до начала Первой мировой войны. Записи и дневники Г. Цумбайшпиля, как и он сам, исчезли, но в частном письме доценту Эдинбургского университета Дуорфу Маклаю немецкий исследователь не без горечи констатирует «не-

пробиваемость» краснокожих. Скромного успеха плакальщицам удалось добиться лишь с детьми трёх-четырх лет.

3

Группа детей из 12 человек за 9 месяцев наплакала 320 граммов слёз. Химический состав детских слёз Г. Цумбайшпиль намеревался подвергнуть анализу в Марбурге, в который он так и не вернулся. Что до Д.Маклая, то он погиб в июле 1917 года под Ипром, не сумев оперативно воспользоваться противогазом во время химической атаки противника. О судьбе олонецких плакальщиц и вовсе ничего не известно, но, судя по прецедентам, они должны были влиться в брачно-родовую структуру чироки и отказаться от традиционного оплакивания невест, рекрутов и усопших (так наз. покойнишного воя).

В заключение — о физиологических характеристиках плача. Он сопровождается особой мимикой и изменением дыхания. При плаче за вдыханием следует не одно выдыхание, а ряд то коротких, то протяжных выдыханий с изменчивым ритмом. Подобно хохоту, плач сопровождается попеременно протяжными и отрывочными голосовыми звуками. Сходство механизмов плача и хохота часто мешает отличить плачущего человека от хохочущего. Дело решает мимика. Она резко рознится у человека в радости и в горе. При плаче происходит нахмуривание, т.е. притягивание бровей вниз и внутрь к основанию носа, веки плотно закрываются и производят морщины вокруг глаза, пирамидальные мышцы носа сокращаются.

В научной лексике форма и свойство слезы могут использоваться фигурально. См. с л ё з к и в ботанике (народные названия некоторых видов гвоздики, трясунки, грушанки), с л е з н и к в архитектуре (оконный желобок для стока воды), с л ё з ы с в. Л а в р е н т и я в астрономии (поток падающих звёзд в августе, в день св. Лаврентия).

г. Венеция

Бронхиальные страсти

Мне было лет четырнадцать, когда я внезапно на сеансе «Чистого неба» понял, что кино — это не только увлекательная история в картинках, но особый язык. В «Чистом небе» смерть Сталина — это весенний ледоход. Мне в голову тогда не приходило, что этот образ заимствован из пудовкинской «Матери». «Мать» я смотрел в детстве, ещё не открыв для себя грамматики кино. Мне трудно сейчас судить о достоинствах «Чистого неба», но я до сих пор помню эту ленту: благодаря ей кино стало для меня глубоким и замысловатым.

Жизненная сила поэзии открылась мне чуть раньше. Помог мне в этом Эдуард Багрицкий. В ту пору я страдал астмой. Припадки с судорогами, стеснением в груди, извержением мокроты могли длиться несколько часов, а порой и недель. Однажды мама в разгаре приступа улетела со мной в Одессу. Прямо из аэропорта она привезла меня на пляж и велела стать лицом к морю. Через час я задышал полной грудью. Но переехать в Одессу навсегда мы не могли.

Поводы для припадков находились на каждом шагу: любимый котёнок Хрюша, перхоть на вороте отцовского пиджака, пыль под кроватью, прожорливые аквариумные рыбки, птичий пух и перья, эманации тараканов и пчёл. Заслышав первые хрипы, мама стягивала с меня рубашку, лила на голову холодную воду из лейки, совала в анус твёрдый клюв клизмы, жгла под носом бумагу, пропитанную селитрой. Приступ сходил на нет, но после вновь и вновь возвращался. Я пытался жить осторожно, в полсилы: не влюблялся, не злился, не трусил. С последним было трудней всего — страх мог схватить меня за грудки в любое время суток, особенно ночью и на рассвете. Я садился на кровать, откидывался на подушку и глазел на дрожащие пальцы. Если в носу зудело, а подбородок чесался, то я знал наверняка: сейчас в груди хрипло заиграет дырявая гармонь и будет наяривать на разные голоса, пока изо рта не потечёт густая слюна. Я возненавидел рассветы, утреннюю прохладу, чистые трели птиц. В конце концов, я решил поменять местами день и ночь, и в этом мне помогли книги. Однажды астма взялась за своё, когда я читал «Смерть пионерки» Багрицкого. И вот тут-то случилось чудо.

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)

Я делаю глубокий вдох.

Надо мной склоняется
Плачущая мать.

Выдох. Я вслушиваюсь в себя. Гармонь тоже вслушивается.

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —

Вдох.

Не погибла молодость.
Молодость жива!

Выдох. Гармонь ещё в засаде, но что-то её смущает.

Но в крови горячечной
Подымались мы.

Вдох.

Но глаза незрячие
Открывали мы.

Выдох.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,

Вдох.

Над больничной койкой
Детская рука.

Выдох. И снова вдох. И трахеей идут отряд за отрядом пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Ногина. Не верю я, что стихи эти — про скарлатину. Про болезнь — да. Про какую — понятно. Багрицкий, как и я, страдал астмой. Почему меня спасли его стихи, а он умер? Может быть, он не знал наших аллергенов?

Крепче Майн-Рида любил я Брэма!
Руки мои дрожали от страсти,
Когда наугад раскрывал я книгу...
И на меня со страниц летели
Птицы...

Давно уже я не боюсь спать по ночам, люблю утреннюю прохладу, свежие трели птиц. Летом они прерывают мой сон о чистом небе (вдох), о матери (выдох), об угасающей пионерке Вале.

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

/ Провиденс /

Ухо земли

(поэма)

Я покажу тебе
ухо земли
поехали или пошли
в лощину лещину
в одну чертовщину
где тело так бело
так ласково-цело
калачиком пело
свернувшись готово
родиться в любви
я покажу тебе
ухо земли
поехали или пошли
там пашни
там черви
там пчёлы
шмели и шершни
заводят весенние шашни
с тобою
они

О не болтай чепуху
не взывай к небесам
хочешь
отдай чужаку
сладкие телеса
душу не сможешь отдать
душа твоя вечно со мной
с каждым всхлипом пера
с каждой строкой

О не болтай чепуху
глупости не мели
я покажу тебе ухо
ухо зелёной земли
я покажу тебе ухо
живое ухо земли

Милая милая милая
взгляд не смоли
майских соцветий метели
наши пути замели
милая милая милая
мы на мели
милая милая милая
взгляд не смоли
я покажу тебе ухо
зелёное ухо земли

Как вино
зелено
как тоска
высока
ухо
лоно
руно
чуже-друже-рука
стуже-уже-метель
переверни постель
полюс перемени
подлость повремени
лоно
руно
рука
сгинули наши дни

Яблони на холмах
лоно твоё и страх
робкий бредёт чудак
тропкой грядёт чужак
к уху земли припасть
нашей любви пропасть

Пропасть любви проложить
мне без тебя не жить

Ты зелена
как вино
ты желанна
как мёд
белеет
тело твоё
калачиком на холме
яблони-фонари
спорят с правом луны
лить отраву любви
в сумасшедшие сны
милая на холме
в Гефсиманском саду
Пётр отнюдь не скала
третьих не ждёт петухов
тела испил
и таков
братьями
до петухов
продан Иосиф
урон
урн
уркаган
фараон
милая
тело
на склон
смятое
откати
мята
мускус
Коти
запах-эротоман
ухо земли
обман
завязь чужой любви
в лоне
логове лжи
раны мои залижи
остры осоки ножи
вожжи любовной лжи

1992 — 1999

Copyright © 2001 by David Shrayer-Petrov.
All rights reserved wordlwide.

Максим Д. ШРАЕР

/ Бостон /

Выходя
из бара вечером

Недопитое пиво
мы оставили там
лесбиянкам пугливым,
их бродячим рукам.

Там барменша устало
протирает стакан,
там за стойкой остался
хмельной старикан.

Там за столиком слева
у холодной стены
наше счастье в наследство
оставили мы.

Закат на берегу Блэкстоун-ривер
в Провиденсе,
штат Род Айленд

Белые лебеди плыли. Дым, оранжевый от заката,
облако наполнял. Заводик на том берегу
дул в соломинки ржавых труб.
— Этот завод горбатый, эта река мне начинают казаться
видом из моего окна в Нью Джерси... Милый, я не в бреду? —
ты сказала, бросив травинку на мокрый уступ.

Серый гранит. Ланиты обветренны и горчащи.
Солнце завязло в паутине моста. Старый рыбак
прозвал этих рыбин голубыми — в честь твоих глаз.
— Девочка, слышишь, как пересмешник кричит все исступленней,
все чаще?
Вот так и память моя без тебя. Заснул заводской барак.
В сумерки канул, затих конвейерный лязг.

Ласки твои речные. Выбившаяся бретелька
черного лифчика. Ключица, жаркая на ветру.
Вокруг потускневший пейзаж, пьяные огоньки. Ни зги.
— Милая, может останешься? Мост по ночам не монстр,
а только абрис,
под которым лебеди плавают парами, не сходясь вкруг,
да тюлени пируют за кружкой речной мелюзги.

На шоссе поздно вечером

Радиомузыка, видеофильм на стекле лобовом.
Ты в черном рыбьем трико на песке меловом.
Ты в дымчатом баре пьешь коктейль Маргарита.
Ты танцуешь в ритме некогда модного Рио-Рита.
Ты танцуешь, а шоссе в кошмаре горит,
так больно слепит глаза фарами и фонарями.
Машут с обочины дерева ночными нарядами:
длинными платьями и газовыми косынками...
Ты их любишь поярче позеленей расписанные косыми
черточками вроде моих стихов, вроде пути тормозного
(если на сельской щебенке ..... среди августовского зноя).

Ледышка коктейльная, отраженье мое ночное.
За что же мне это свиданье заочное?!
Не прервать расставания, я прирастаю к рулю.
На автостраде тебя люблю, минуя и пестуя расстояние.

Copyright © 2001 by Maxim D. Shrayer.
All rights reserved worldwide.

Евгений АНТИПОВ

/ Санкт-Петербург /

Сад расходящихся тропок

Не блевал же вот, не блевал: в трамвае. Это священное. Транспорт поэтов и вечерней грусти. Случалось, впрочем: в тамбуре пригородной электрички, в холле метро на могучую мраморную колонну, скромненько на ступеньках троллейбуса, в такси, приоткрыв интеллигентно дверцу, блевал пешком на улице такой-то и такой-то, на приличной лестнице, — зачем-то просунувшись между перил, — и даже на витрину Елисеевского магазина. Вот ведь оно как. Что ж, оно жизнь. Жизнь прошедшая, ушедшая, с нотами сентиментальными, как юность. А если меня спросят, а в вагоне метро? только честно? Подниму лицо, вздохну тонкими ноздрями и скажу: блевал.

А как широко, как по Тверской-Ямской, я блевал в Кисловодске!

Кисловодск — город моей популярности.

Приходил Приам к Ахиллу и плакал; накануне ноябрьского дня приходил ко мне персонал санатория имени кого-то, не помню, чтобы я знамя санатория нес. Загадочный, в эсесовском пальто, одиноко-задумчивый и непостижимый для суетных глаз. Еще бы. Курортные дамы так и смотрят, так и смотрят, ведь они сюда неизвестно зачем приехали, фальшивые, а я-то по родным местам хожу. Вот и загадочный. Ранее, во времена спортивной молодости, обсуждая мои безумные километры, Кисловодск бурлил и полемизировал: от восхитительного уважения до скепсиса. Все правильно, в рекордных километрах большого практического смысла нет. Но в поступке смысл есть. Я послюнявил карандаш, подсчитал, что в бегах стоптал 25 пар «*adidas*», 7 пар «*karhu*», 3 пары «*nike*», 2 пары «*botas*» (Чехословакия), 1 пару «*puma*», 1 пару «*asigs*» и еще полтора десятка пар от фирм, упоминания не достойных. Любые подвиги бессмысленны, но история жизни требует только поступков. Не на публику, это не в счет. Пусть не громких, но поступков. Иначе не будет воспоминаний, будет одна жалость, безвозвратно гля-

дя в окно. И уж ни один санаторий твоей биографии — ни один — с именем или.без, знамя свое, оторвав от поцелуя, к ногам не положит.

405 км интенсивного бега — не за месяц, говорю, за неделю — это вам что? Кровеносные сосуды от голени по бедрам на живот заползли, тонкими щупальцами на грудь просятся. Будто сошел я из рассказа Бредбери. Вот это здорово, вот это герой нашего времени. Самоотречение не самоцель — необходимость. Не скули, Сыроежкин, и сквозь асфальтовую аскезу пробьется тихая жизнь. На той самой неделе (а это, если начистоту, под 60 км в суточки) день рожденья у старшего лейтенанта Алешина получился — ох, не спортивный. И возраст его вызывал только сочувствие. 27 лет, ничего впереди, глубокий ветеран. Сначала было мирно, потом коньяк, потом еще коньяк. Если бы только коньяк, блевать никому бы и в голову не пришло. Но с вином, со случайным... Вот, Моцарт, где змея зарыта.

Направление, в котором я ушел, пионеры определяли по размашистым букетам на проезжей части. А пошел я, как Данко в темноте, хоть и без цели, но уверенно. Сборная жила в «Кавказе». Дурного слова не сказал гостиничным церберам, пришел к Эллу. Они, с Валеркой из Москвы, в глаза мои прямые глянув, матрас без лишних слез постелили. Элл нашим позвонил, что все нормально, и лежал я, в знак своей скорби раскинув руки, Ильей Муромцем, Вещим Олегом, и жаль было в жизни всех, участников больших трагедий и маленьких — и Моцарта, и кого-то еще, и Сальери. Бедный, бедный, проклятый за здорово живешь, разве не помогал он Моцарту? Разве не устраивал протекции ко двору? Все попытки исторической реабилитации тщетны, инерция сильнее: музыка твоя — не известна, бездарность твоя — вне сомнений. Моцарт убит. Но мотив банальный, как мир, и вечный, как мир: женщина. Замешано лицо высочайшее, отсюда и туман. Для современников загадок не было: когда лицо садилось в ложу, музыканты выходили из зала.

Я открыл глаза тревожно, ночь кромешная, дошел до душевой, она же санузел, и, что ж: блевал, о Моцарт, во весь человеческий голос блевал.

Как живое существо может употреблять и на следующий день, я не понимаю. Не понимаю я. Это против законов физики. Тут и кофе-то пьешь муторно, пьешь... Не понимаю. А Элл мог и на следующий день. Не сразу. В юности он тоже блевал, но не часто, а потом как-то замкнулся и блевать перестал. Пил уже без шума и напролет. Для меня это что, приключение шапкой об пол. Или по уважительной причине. А для него стало холерой.

В нашем дуэте Моцарт — это Элл. А я, соответственно, кропотлив. Кровати наши стояли рядом с 14 лет. Он слегка такой, сукин сын. Я опекал даже, так, вполоборота, но рассудительно, как Энгельс своего мохнатого шалопая. В смысле, Маркса. Впрочем, что это мы тут, не

такой уж он и шалопай, как его черти малюют. Он вполне рассудительный. После того, как Луи Блан от дел отошел и остался из триумвирата только Бакунин, Маркс ехидно почесал ладошки. Кто такой этот Бакунин, спрашивается? Основоположник, видите ли, анархизма. Аристократ-романтик, благородный, понимаешь, офицер, покинувший царскую армию после подавления восстания в Польше в 1830 году. И хотя анархия — это совсем не то, что про нее рассказывают, а скорее наоборот, но двух вождей мировая революция не потерпит. Пусть Маркс и не аристократ, но уж и не офицер благородный. Женился на аристократке, это конечно, это пожалуйста, но, вскинув голову, ни на какие парижские баррикады вместе с Бакуниным, упаси Бог, в 1848 году не ходил. 30 лет через форточку Берлинской библиотеки буйно подстрекал трудящие массы, тихой такой сапой. Пока Бакунин в ушаночке лопату осваивал, Маркс забрал Лондонскую организацию и в нескольких странах в качестве помощников посадил зятьев. Ни цинга, ни 12 сибирских лет не уменьшили авторитет Бакунина, в Швейцарии создал Интернационал, но на съезде в Гааге был торжественно отовсюду исключен. Нет, Элл так со мной бы не поступил. Он добрый и почерк у него аккуратный. Мне чем-то симпатичны люди с аккуратным почерком. Элл как на уровень вышел, совсем спокойный стал. А то, что уровень ему звездный, всегда прочитывалось.

Нас путали.

Нас путали, и доходило до гротеска.

На даче Бенуа в Петергофе Университет проводит сборы. В гостях сто девушек Киевского Университета. Мы же проводим дискотеки. То есть олимпийскими богами спокойно возвышаемся над аппаратурой и лишь снисходим в сумеречный зал, дабы размяться с ними, сплясать без затей. Или, по-гусарски разболтанно, уходим в комнаты и что-то пьем разнообразными стаканчиками. С чего началось, кто ж это вспомнит — я не смог, — но была одна, и было ей Нина имя. Рассказывал курьезы про коротышку-Канта, извивался козлом и куда только не запускал артистичные руки. На берегу толстенное бревно в мазуте и волны шелестят. Пока то да се, мазут да волны, потерялась сережка, стали искать, пафос прошел, на лирику ее потянуло. Уже доказано, что рядом со мной даже курящие девушки перестают цинично сквернословить и тихо мечтают о хризантемах. Ситуация дохлая. Я что-то пообещал и удалился на лихом попутчике: эх, моему бы силуэту Пушкинскую трость.

Удаляясь, мы узнали, что 412-й Москвичок умеет развивать 160км в кромешной мгле. Когда Хасбулат удалой попросить вышел, мы только переглянулись с Эллом круглыми глазами и стали молчать дальше, посрамленные. Слушая, как надменно журчит Хасбулат, я поежился, я прижимал пакет с пластинками. А пластинки были знатные. Сколько же их скопилось. У, об этих вещах только с красной строки.

Весь *Pink Floyd*, до 80 года.

Весь Led Zeppelin, включая «*Coda*».

Кое-что из *The Beatles*, есть серьезный раритет, где они еще с Шериданом.

Black Sabbathы, кое-какие, есть.

Doors.

Deep Purple. Тут и самая первая их пластиночка, заезженная, еще на *Parlophon'e*. Компетентные снобы любят поговорить, что все лучшее у них сделано вторым составом, с Гилланом, я же отвечу так: нет, с Ковердейлом. Слушаемте: вместо залихватских выкрутасов они только мизинчиком намекают, что могут ведь и голову снести. Тяжеловесы. Парнишка-американец Томми Болин пришел и обозначил огромный талант, богатырский. И тоже — моду взяли от дури помирать. Балбес.

На букву «е» — *Emerson, Lake & Palmer*.

Gasts, через эту группу прошел то ли Вейкман, то ли Шон Андерсен.

...Вся такая воздушная, к поцелуям манящая *Kith Bush*.

м: *Mc'Cartney* и Манфред Манн со своим земным оркестром

н: *Nazareth*. (*Nazareth*, ты меня не буди. Романс).

п: *The Police*.

кью: *Queen*.

р: *Rainbow* и вечно занудливый *Rolling Stones*, у Джаггера ни слуха, ни голоса.

Отморозки *Slade*. Но какие мажорные, какие мажорные хиты!

Жутко работоспособные *Status Quo*.

Shocking Blue.

Three Dog Night.

Такой вкра-а-адчивый, такой ностальгический *Tyrannosaurus Rex (T-Rex)*.

Uriah Heep. До смерти Байрона хорошая группа, а диск «*Sweet Freedom*», который обычно обходят высокомерные летописцы, жемчужина. А какие лаконичные, какие задумчивые сольники Кена Хенсли и самого Байрона, а?

Дальше Cerrone в одном экземпляре.

Yes! Yes, он и есть *Yes*.

И что там еще? *White snake*.

Затесались, конечно, и *Abba*, и *Smokie*, и *Space*, и *Scorpions*. Кстати, была такая венгерская группа Scorpio, приличная была очень. Ну, венгры, у них пятнадцать склонений, в рок-музыке это вторая держава. Одна *Omega* чего стоит. Даже чехи разродились (единственной) группой *Olympic*, а та где-то в конце 70-х разродилась альбомом, который не уступит и «*Wish You Were Here*». Есть с полдюжины Чеслава Немена, поляка смелого, бескомпромиссного...

Их имена, как баллада. 124 пластинки в сумме, вот и вся юность Максима, я вытираю ладошками лицо.

Что-то слезлив я стал. Вернемся к сиамской саге. Через день Элл приехал в Петергоф и отымел эту Нину на скамеечке. Сама к нему бросилась. Закатывает глаза и мое светлое имя шепчет. Хорошо, сказал Элл, и отымел от моего имени. На скамеечке.

А еще через день нам передали письмо (Элл отмахнулся и капризно забыл), в котором она звала меня (?) в Киев, что она с бабушкой, двухкомнатная квартира и т.д. Задорная история, оперетта. Если б не письмо.

Диалектика — какой-нибудь кленовый листок переворачивает всю интонацию сюжета. Однажды, годы спустя, прочел на платформе объявление. Одинокая, и рукодельница, и по хозяйству, хочет познакомиться с человеком 30-35 лет, станция такая-то, домик такой-то, можно без взаимных обязательств. Прочел, а долго потом стоял. Вот и все: «без взаимных обязательств».

Каждому кажется, что мир вращается вокруг него, отсюда хаос, броуновское движение, суета в умах. А в 23 заканчивается юность, в 28 молодость, после 30 уже ничего нет. Ах, говорят, и на том склоне есть милые цветы. Цветы-то есть, да склон-то тот. Есть в жизни нечто, от чего всякая радость кажется наивным развлечением. Если об этом не думать, то и хорошо. А если думать? Когда ветры лицо мучают, неторопливо идет дождь или погода какая-нибудь невнятная, тогда все просто. А вот ровное небо над озером вечереет, что тогда? Только тихое отчаянье от этой сладкой гармонии вползает в душу. От дикорастущих деревьев с желудями, но композиционно расставленных, от иной ли ландшафтной архитектуры, от неулыбчивой белой статуи, от любой красоты, кроме человеческой, всегда на душе становится странно. Красота — категория высокоумственная, ею нельзя умиляться. Испытывать смятение — вот что надо от этого. Хотя у меня вопрос: это положено всем — или некоторым, или мне? Что чувствует, глядя на ровное небо, эй, гражданин, да-да, вы. Или тот же Элл?

Голубоглазый и успешный, он стал международником, неоднократным чемпионом страны, рекордсменом, но чемпионата Европы ему не простили. Он понимал, какую птицу выпустил из рук. Птицы не возвращаются. На следующий год он достиг высшей своей тютельки, а вместо чемпионата мира ему сказали: хм. Лебединая песня осталась с текстом неразборчивым. Он еще пару сезонов побегал, да не тот был Элл. С женой начались, опять же, прения. Катька, что про нее скажешь — ничего не скажешь, красавица. Голова для Голливуда, сама вся высокая, узенькая, а груди, как две пудовые гири. И как это она? Соски с ладошку. Положила однажды на мое плечо эту свою голову и произносит имя мое с уменьшительным суффиксом. Влюбилась, то есть. С девушками это случается. А я, что мог я ей ответить? Ведь в статусе не-

весты, ведь и свадьба вот-вот, а я еще и свидетель. Нечего мне было ответить. Молодые мы были, прекрасные.

Что о себе рассказать. В высоту у меня 181 см. Бывало 182, бывало 183. Но чаще 181. Да, не король Артур, не Конфуций, но и не Оле-Лукойе. Волосы длинные, под душем достают десятого позвонка, в сухом виде весело взвинчиваются. Глаза серые, умные, с хитрецой. В правом (если на меня смотреть) — рыжее пятно на роговице. Патология, увы. Комплекция ничего, но есть философская такая сутуловатость. Живот в профиль немножко девичий, будто статуя, а ноги, как у мерина, не подходи. Пульс в покое — 33 удара в минуту. Число редкое в обоих смыслах. Сердце вы мое, сердце необъятное.

Подтягивался 30 и отжимался 120. А счастья не было. Я о мировосприятии. Девушки влюблялись, да — кто рыдал на коленях, кто по телефону, а кто инкогнито с фотокарточкой у щеки. Стихи писали, талантливые стихи. Думал, за красивые глаза влюбляются, — когда понял, аккуратен стал, сочувственен. Ведь только горечь и боль имели, несчастные мои, горечь и боль. Нет, не Дон Жуан вовсе, даже наоборот, как слаломист, обходил открытые губы. Кто пришел в мир с печалью и для печали, будь скромнее, не прикасайся к людям. Природу печали шампанским да анекдотами не обманешь.

Вот и о шампанском.

Что ж. Весело было жить при Леониде Ильиче. В яблочный сок, как подпольщики, разливать «малька» (забытое, забытое слово) под угрожающей надписью, что приносить запрещается. Продолжить праздник Октября не где-нибудь, но в аэропорту: там весь стол уставить пивными бутылками, как Карпов — Каспаров, пить же умиротворенно. Без всякой человеческой грубости меланхоличными движеньями жевать сухую котлету. На устах отнюдь не скабрезности — Аристотель, софистики-схоластики, у нейтрино таки есть масса покоя... Нет, не скабрезности, токмо канты и кванты на устах. Гегель, Мегель, великий и ужасный Антидюринг и во веки веков Ленин. Философия. Из-за этих столов вышли «отрицон» и «материалектика». О, небо в квазарах! По маршруту 39 вернувшись на кольцо, на площадь, физики наши и лирики, будущие доктора и кандидаты, закусили хрестоматийными бычками в томате. Как открыли эти консервы, не знаю, нет версий. А тут и Ленин: огромен-то он, огромен, а романтик, в луну кепкой прищурился. Мы в елках запретных шампанское и открыли. Дружинники пришли, в чувствах своих не разберутся, переминаются. Мы тем временем давай бежать (дело-то политическое), бутылку как эстафетную палочку передаем, красота со стороны, просто карнавал какой-то. Когда уж домой добрался, по телефону разговариваю, а сам все вижу: рука, шампанским облитая, красная, капилляры кровоточат. Не принимает мой организм алкоголя даже по касательной. Токсины это, мамочки, токсины. И ведь люди-то блюют не от удовольствия, какое там, от противоестественности. Нет

такой твари Божьей, чтобы в вагоне метро среди бела дня блевать с усмешкой. А какие усилия совершаются иной раз ради их, пассажирского, спокойствия. Какие только глаза, полные ужаса, ради спокойствия этого их.

И Елисеевская витрина — не ухарство молодецкое, не акт свободомыслия. А родился у меня сын, в Рождество родился, крошечка. И принес я на «Зимний стадион» целую сумку итальянских вин, солнечных, с этикетками радужной жизни. Пусть и начальство наше, мужественное, к иной радости приобщается. Служба моя в воздушных войсках была спортивная, в предыдущий день выступил на славу. Только великолепному Торопову проиграл. Колоссальный парень был Торопов, вот уж кого вихри потом кружили, от сборной до фуфайки.

Я напился по всем правилам субординации. Вроде бы к метро шел, а тут Михалев. Товарищ майор, говорю, и бутылку, не помню чего, протягиваю. Он деловито ее распечатал, запрокинулся и так на одной ноте и выпил. Я посмотрел-посмотрел, прислонился лбом к витрине, да и стошнил диагонально. Вот: в виртуальный конфликт с Елисеевым вступил. По объективным причинам. Посредством витрины. А Степан Петрович — Елисеев — в общем, хороший мужик был. Дворянин крестьянского происхождения, эрмитажная коллекция Родена — это ему спасибо. Так что низкий тебе поклон, Степан Петрович, от благодарных потомков. За витрину не обессудь, не по злобе. Хоть Роден твой, раз уж прямой разговор пошел, грешит недостатком вкуса и ремесла. Публике хотел нравиться.

Я вот стою лбом в витрину, и какое мне дело до публики.

Меня от витрины отлепили и в гости еще повезли, совсем люди совесть потеряли. Хорошо вот, сложили вместе с пальто на диване и не тревожили человека. Только в конце тайную подлость сделали, под шумок покормив сосисками с чаем.

Ох уж мне эти сосиски с чаем.

Есть некоторые, но очень тошнотворные вещи. Из них, я убедился, сермяжный наш портвейн, все крепленые вина, а с ними вермут и тягучие ликеры. «Шартрез»! Слово не человеческое, свыше всяких сил, не говоря про цвет. А «Капитанский джин»? Ну до чего гадость, Боже мой, до чего гадость. Мы для Кубы со всей душой, а они нам — «Капитанский джин». Это ни в какие эмбарго не лезет. Впрочем, я про советские времена рассуждаю, теперь-то, наверное, все изменилось. Теперь и жуликоватые негры в шляпах. Тоже вот, омерзение для телезрителей придумали. К чему эти звуки, в шляпах на лысу голову?

Но стойте. Закрою рукавом страницу памяти, выпью терпкого вина, эх вина!

Нет, не выпью, в нынешних не разбираюсь, личных впечатлений не имею, помочь нечем. Поздно мне вам. Беседы уже не поддержать.

Первое мое отравление состоялось четверть века назад и было обставлено очень скромно. Возвращались из Москвы, в купе всякое, много, но запомнился «Старый Таллин». Хорошо запомнился рыжий. И ночной холод. Рыжий не вышел за порог юношеского спорта, а надежды подавал большие. У него не сложилось в семье, он отучился в двух институтах и, спустя годы позвонив, невнятно рассказал, что у него пропитая морда, что утратил кое-какие зубы и деградировал как личность. Рассказал правду. А тогда, в купе, рыжий прижимал полотенце к губам, словно что-то дорогое, памятное сердцу, и блевал, что твой Самсон, безобразно. Я не блевал, нет. Но и не осуждал товарища из-за угла. Последующую неделю всякая пища была мне уже чужда. И рыжий тут ни при чем. Липкий вкус «Старого Таллина» стоял в глазах, как кровавые мальчики.

Соснора пил, отчего умирал дважды.

Кто-то, когда-то и постановили: без питья не стать гением. Дичь. В России пьют все, а гениев — с Гулькин нос, где остальные, спрашивается? Или не то пьют? Я пришел взглянуть на него, одним, что называется, глазом. Взглянул. Сед, глух и длинноволосs, сказать что-то хочет, да не может, только скрипит трагически. Старик с лицом алхимика и мага. А лет алхимику 49. На мои рукописи свою медленную речь начал простой притчей в лоб: к старому Сократу приходит молодой Платон... Да, за пять лет Сократ Платону всю голову замутил. Ничего читать не могу. Пусто стало в мире книг. И пишу — вот пишу, а на чьем языке, не знаю. Язык мой, будто неандерталец, промежуточный. Отчего и глубоко необходим для граждан, как розеттский камень. За настроением алхимика и мага не уследить, вздорен. Обижать умеет и любит. Он тоже тогда не пил, от маринадов бледнея, но говорил по секрету: нас пугают адом, но ад — это Земля. Сам-то Соснора здесь недавно, несколько столетий, так что, кто кого по кругам водить должен, это вопрос, но от чего-то он меня все время предостерегал, я думал, сгущает старик, а он недоговаривал. Когда от маринадов бледнеть перестал, он поправил на шее веревку, сигаретку зажег и налил цикуту. В «Книге пустот» обо мне, как и положено, одну строку.

В отрочестве его убивали немецко-фашистские захватчики. Конечно, у него же экзальтированная Венера на асценденте. Звезда заветная, священная, минувших дней, гори-гори... Куда он с этим? Поэтому, думаю, пил он по наитию, а не для гениальности.

...Гениальность. Когда иду я вечерним августом вдоль Невы, надо бы приостановиться возле Академии и подумать высоко. Но чайки засрали весь парапет. Только одна, тихоня, встала на дощечку и плывет с грустью в открытое море.

Сколько гибели приносит жизнерадостный алкоголь. Возьмем войну за чужие идеи в Афганистане, равную 15 тысячам за десять лет. Десять перестроечных лет уносили на волне алкоголя по 25 тысяч в се-

зон (в рекордном 1994 году в России 45 тыс. народу сгорело голубым огнем), еще по 60 тысяч, на это глядя, отвечали суицидом. Что лучше — вечный вопрос бытия. В России пьют не для комфорта, но разговор о стрессах какой-то странный. Кетоновые тела вместо эритроцитов — это не похоже на полезную медицину. Цифра официального алкоголизма в 17млн чел. — это ведь добротная европейская страна.

Произнес «кетоновые тела» и словно озираюсь испуганно. Разбегается память по тропкам, скачет и назад, и в сторону, путая хронологию. Да, помню: ртутными глазами в лицо посмотрел, в зеркало. И не справился с удивлением. Бледен, как смерть, мистически красив. Мистически. Грудь вот чего-то болит, жаба, наверное. Бледность анализирую издалека, с постепенным вступлением.

Первое. Если подойти к балконной двери, только без резких движений, и прислониться любовно лицом к стеклу, то стекло всегда холодное, даже в жару. Судьба есть судьба.

Второе. От судьбы не уйдешь. Давеча, казалось бы, уж и доехал, и ничто не предвещало трагедии. Но произошло возвратное движение внутренних соков и всех этих сумбурных нектаров. Не усвоились. Спасая майское расположение сограждан, щеки мои вздулись в титаническом напряжении. В таких поединках я не новичок, и остановочка вот-вот, заветная, не беспокойтесь, граждане. (Ему бы на желтый проскочить, а он, сволочь, у перекрестка встал). Никому не известная женщина в расцвете лет на вздутость мою слишком осуждающими глазами вспыхнула, аки грозный царь, аки Иоанн Василеович. Зря она, только себе хуже. Потому что от этого недоверия разжались мои мускулы, и произошло непоправимое. Отряхнул лицо независимым жестом, а тут и они распахнулись, двери! Подошел спокойно к столбу, как к старому приятелю, левой рукой оперся, а голову опустил, будто в корень смотрю. Будто вот он я, Козьма Прутков, прошу любить таким, какой есть. Стою в скульптурной позе, а сказать по существу нечего, только кашляю, кашляю. Деловито прокашлялся, основательно и бесповоротно, до самых закоулков души. И поднял тяжелые очи на светлый, в общем-то, мир. Кошка на газете сидит, фифочка, губы презрительно поджала и морду воротит. Ах, киска, я ж не из хулиганских побуждений кашлял, сегодня Т. замуж выходит. Простой знакомый человек. Где-то там, в Москве. Еще на кухне меня кудрявая Ира спрашивала, знаю ли я, что сегодня Т. замуж выходит? Я, глаза к потолку поднимая, всем своим видом вспоминал, кто такая Т., ах Т., та самая Т.? Помню Т., как же. Пирожные водкой запиваю, а слезы бегут, как у поросенка. Что же она в свои восемнадцать-то ранних лет? Горе, горе-то какое, господа.

А ну-ка я! А ну-ка встану, а по полю пройду пешком!

Я помню все, нимфетка. Молочный рот, узенькие ноги и спортивные плечи. На светло-русой голове совсем светлая прядь. Знак чего-то. Наверное, проклятья. Кто только не прикусил язык, глядя на такой

юный перламутр. Потом все это назвали «милирование» и запустили в моду. Мода, она ведь для тех, у кого ничего своего нет. Ни пяди, ни пряди. Где же ты, мое Сулико.

Понимая цену, она и ходила-то очень демонстративно, ногами както вперед, расправив скромненькие груди. Т. — призер первенства страны. В сборной много прошло таких, вызывая слюни.

С толстыми деньгами, она и не собиралась отказывать себе в роскошных пустяках. Но роскошь свелась к российской прозе.

Второй муж, могучий и тихий — как дирижабль, — монолитный чемпион СССР, сплошной римский мускулюс, редеющий волосами на интеллигентной голове, терпеливый, заботливый, образцовый, влюбленный в собственную жену, в обреченную. Терпеливый, да не вытерпел. Недотрога в трезвом виде, недоступная и воображению, после маленькой рюмочки оттаивает взор ее, и глядит безропотно куда угодно.

Тише вы, фанфары, дальше одна печаль.

В кабаке ей били свинским кулаком в чувственные, захмелевшие губы, силой брал поношенный папочка ее подруги, без усилий — сама подруга, брал член Союза — писатель нравственных рассказов, брал безнравственный заведующий кафедрой за пятерку в дипломе, Элл со товарищи и граждане дружественной Финляндии брали в мотеле «Ольгино», брало отделение милиции с районным номером, соседский хор мальчиков допризывного возраста брал, затаив дыхание, и брали многоя, многоя прочих.

Вы, дано ли вам чуять утробную жалобу в сердце, глядя на ее молодые трясущиеся пальцы? Зачем так примитивно разлагалась, красивая. Знавшая грязь, но не страсть, как задумчиво смотрит она в глаза утром. Как странно, милая, как странно слышать слова благодарности. От незатейливых таких признаний бегут смущенные мурашки, но не подам и виду.

Влюбленный молоденький еврей Сеня пытался отлучить от бутылки. На полгода смог, дальше не смог. Куда ему, молоденькому. Сеня катал ее в масле и рассыпался бисером. Она же кричала и плакала мне в телефон, хотела купить все мои работы — я только криво молчал в трубку. Потом уехал Сеня с иностранною женой в Гамбург по бутерброды. Мудрый зэк в тренировочных штанах приютился на ее жилплощади и что-то стирал в тазике. Но ты был всегда, — говорила она, прижимаясь робко. Я слизывал слезы с ресниц ее.

Никаких но. Встреча состоялась без всяких там, а разлука была в десять лет. Когда я женился — на той же неделе она развелась. Таких ассонансов судьбы у нас много, к чему перечислять. У нее двое детей в двух браках, я же писал свои катрены. А приснилось в августе что-то смутное, и загрустил глубоко. Две недели ходил неопределенный, и — звонок, она. Где-то, через кого-то нашла мои цифры и сказала «приходи», и как пришел, с порога отдалась вся. А десять лет? Какая вспоми-

нается прелесть! Ей 15, мне 17, обнимались беззаветно, целовались, целовал не только губки, но до всего Шекспира не доходило. Нужно ли было так долго ждать, закусив нервы? Кто ж знает, может, ради того и живем. Человеческая жизнь во Вселенной не нужна, нет от нее проку. А когда человечек источает высокие флюиды в высокие небеса, высокие небеса смотрят вниз, ну что ж, говорят, неплохо.

После этих лет постели мало. Задушить и съесть маленькими кусочками? Что толку. Но секса уже мало. И Земли.

Ты это ты и никто другой, говорила она, когда я задавал наводящие вопросы. Я знаю, что это я. Однако интересно у них. Уму не вразумить. Какой тут ум, если офелией среди приматов покупала ларечный денатурат и пила осатанело один на один с пришельцами из других миров, с господином Луарвиком в сверкающем костюме. Ее увозила белая машина, потом увозила снова. Моя ли вина, голубчика, что не взял поводья твердой рукой. Ведь покорна была до непристойности. Что тут я, я тщетен. Я рыдал во сне, это плохо. Я видел снов мучительных: она — вот она. Наяву я лишь прислонялся щекою к несчастной спине, будто срочный терапевт прощупывает все и везде дышит. Что она могла? Она физиологически выгибалась, кусала подушку. Воистину, воистину занятие для оголенных рук — взволнованно и вдохновенно мять ее хорошее тело, выворачивать гладковыбритые ножки. Каково для алчного слуха это мучительное «мама» или глухое, словно предсмертное, краткое «о». И в последнем порыве такой удивительный, непостижимый, распахнутый навзничь и божественный ее фонтанчик. Горьковатый во рту.

Александр СТЕСИН

/ Нью-Йорк /

Памяти Бориса Поплавского

И вот курящий натощак
строптивец долгих вакханалий
спустился вниз на круг финальный,
едва ли вспомнив о вещах.

Не согреваемый плащом
иль выступая, как Акакий,
он примерял шинели, фраки,
с опаской справившись: «Почем?»

Так проходило тридцать три
парижских или вифлеемских,
как вспоминал начальник земский
в своем романе «Мой Борис»...

А небо взвилось к куполам,
как будто мессой эпохальной
провозгласив исход летальный,
оставив на столе журнальном
стихи с грехами пополам.

Copyright © 2001 by Alexandr Stesin.
All rights reserved wordlwide.

Олег ВУЛФ

/ Нью-Йорк /

■■■

Сентябрь и небо. Месяц решкой.
На дальней даче, где чигорин
районной власти движет пешки,
с негодованьем пьют цикорий
сенные в световых заплатах.

Сентябрь. Дворовый лаз залатан
куском фанеры. Небо. Игры
листвы, ушедшей по закату
в дворовую команду Истры
на расстояние задворок.

На расстоянии затвора
чем свет собака и художник
с чужой женой. За разговором
впотьмах нашаривает дождик
их двор, и сад и часть округи.

Их двор, и сад и часть округи
принадлежат не ей, но мужу.
Не мужу, так его подруге
давно плевать на эти лужи,
на жизнь и на ее потуги.

Так мыслит, умывая руки,
художник. Только то в зачете, —
он произносит вслух, — что улей
приносит мед. Отнюдь не пчелы...
И валится в обнимку с пулей.

▮▮▮

Итальянец это обычно мужской пассажир, как правило без очков.
Милях в семи над почвой он мыслит о женских ртах,
говорящих люблю. Адрес его почтов,
пока он поет под душем в аэропортах
арию Фигаро. В странах чужих и дальних часы его отстают
минут на сорок. Официант
приносит сто грамм тьмутаракани. В окне снуют
снега и нищие. Как офицер циан,
итальянец кусает локоть: «Зачем я тут!»,
пока снега заносят его по грудь.
Но экспедиция англичан, расчищая путь,
находит его невредимым в 2036 году.

▮▮▮

В среду живут и белят.
Город румын и беден.
Вторник и понедельник
пахнут водой, как бредень.

Жизнь есть четверг, но после
ливня. Четверг с обратным
адресом. Вроде почты
в местных помарках марта.

Вроде намокшей почты
бывшему адресатом.
Здесь это знаешь точно,
ибо урок не задан.

Copyright © 2001 by Oleg Woolf.
All rights reserved wordlwide.

Александр АЛЕЙНИК

/ Нью-Йорк /

Небо воспоминаний

Крестика золотого
касалась она ладонью.
Двух полушарий карта
с точечкой Ленинграда.
Мы оказались в левом,
за голубым океаном.
А что помним — истлело
в правом том, окаянном.

Нам ничего не вынуть
звёздочкой из мороза.
Строит на окнах иней
из кристалликов розу,
папоротник, осоку
молочную, ледяную
чащу широт и сроков,
в которых жить не рискую.

Лошадь на постаменте
топчет змею галопом.
Бешеный всадник метит
перескочить Европу.
Заколочены в доски
грации спать всю зиму.
На небесах — полоски
реактивного дыма.

Можно купить билеты
в стылый чухонский ветер —

в декорацию бреда,
да разве *туда* приедешь?
Разве раздвинешь чащу
странных напластований.
И наверное слаще
небо воспоминаний.

11 марта 96

Порт

В. Гандельсману

Как зябнущий воздух был нужен, был жалок,
заужен в недужных портовых кварталах,
он жался под тонны бетона, к каркасам
скрежещущих кранов, к железу без мяса.

Там пахло подвалом и кислой водою,
там ночь голодала, питаясь слюдою.
Горели софиты и оба буксира
крутили баржу и базарили сипло.

Там цепи ржавели, душившие кнехты,
к груди сухогруза прижавшись заветной,
держа его жёстко, короста аж слезла
с шпангоута бурого, с трубок железа.

Я видел всё это из чрева трамвая,
он бег замедлял здесь, потом, наддавая,
взбирался на спину дрожавшего моста
и порт раскрывался, как ржавая роза.

Я помню, как свет проходил осторожно,
прикованный к ветру, как к тачке острожной,
тоской пробужденья в пейзажах унылых,
у ртутной воды на мазутных стропилах.

Как там поднимаются лица с подушек
за окнами в локонах тюлевых кружев,
и как там не хочется из одеяла
высовывать руки, вставать, жить сначала.

апр. 94

Copyright © 2001 by Alexandr Alejnik.
All rights reserved wordlwide.

Тиберий СИЛЬВАШИ

/ Киев /

Вермеер или Лицо живописца

Что-то особенное знал этот человек, сидящий к нам спиной в черном камзоле. Черный берет на пышной шевелюре. Белая рубашка, красные и желтые чулки. Рука, держащая кисть, слегка опирается на муштабель...

У нас нет ни одного его достоверного изображения.

Он не пожелал открыть свое лицо. Фигура, повернутая к нам спиной, для всех потомков — живописец Вермеер.

Что мы знаем о нем?

Раннее признание — уже в двадцать два член гильдии живописцев св. Луки, впоследствии дважды избиравшийся ее деканом. Безвыездная жизнь в Голландии в провинциальном Дельфте. Почти полный отказ работать по официальным заказам. Торговля живописью, чтобы зарабатывать на содержание дома и семьи. Крайняя неподатливость запросам художественного рынка (большая часть картин, а их не много, всего лишь около сорока, так и не были проданы при жизни). Высочайшее чувство артистического самосознания, когда во главу угла ставятся только творческие интересы. Изоляционистский, консервативный Дельфт для меланхолика Вермеера, с его склонностью всматриваться в мир вещей через чёрный ящик камеры-обскуры и ловить мельчайшие градации света, с его медленным, методичным письмом, был идеальным местом. Работая вне главных европейских центров, их интенсивной художественной жизни, вне того, что сейчас мы бы назвали актуальным (связанным определенным социальным заказом) искусством, он создавал вещи удивительной силы и оригинальности.

И в возрасте тридцати девяти лет, за четыре года до кончины, отказ от живописи.

А потом полное забвение, до середины XIX века.

«Мы не располагаем ни письмами Вермеера, ни единой страницей какого-нибудь дневника, ни записью или строчкой даже, касающейся его отношений с женой, членами семьи, друзьями, недругами, — совершенно ничего из того, что могло бы пролить пускай самый тусклый свет на его жизнь. Все, что мы можем сделать, чтобы удовлетворить свое любопытство, это заняться изучением его картин, предаваясь досужим размышлениям...»

(Людвиг Голдшейдер)

Если живопись — рукотворный отблеск «Большого взрыва», то существует и ее особое уплотнение, наподобие «черных дыр», поглощающее время и пространство и лишающее зрителя точки опоры. Изымая нас из реальных безусловностей, она рождает «резонанас» с не поддающейся измерению реальностью сна.

Где-то в середине семидесятых годов в Пушкинский музей Москвы привезли коллекцию работ из Нью-Йоркского музея Метрополитен. Стояли громадные очереди. Пускали на часовые сеансы. Обладатели билетов Союза художников проходили через служебный вход. Пройдя на несколько минут раньше основной массы посетителей, мы имели счастливую возможность побыть наедине с работами. Мельком взглянув на Веласкеса, Эль-Греко, Рембрандта (к ним я решил подойти попозже), сразу направился к отдельному стенду с Вермеером, дальше все происходило, как во сне, и вернулся я к реальности, как это и бывает во сне, от звонка. Звонок отмерял физический час сеанса, а я так и простоял целый час перед «Девушкой с лютней».

Что-то необъяснимое для меня произошло в короткий промежуток времени. Обычный анализ, который всегда творит профессиональный мозг, отсутствовал. Это не было забытьем в наслаждении прекрасным или экзальтированной взвинченностью. В моей памяти — и то, я думаю, постфактум — осталось удивление оттого, что тон тени на лице девушки светится, а стул глухой массой занимает ближний к нам край...

Потом переживание провала времени и пространства я буду испытывать не раз, и оно станет для меня определяющим в узнавании уплотненной живописи.

Ткань визуального восприятия не бывает сплошной. Свет и тень структурируют ее.

Для живописи свет и тень — это что, оптическая иллюзия?

Являются ли они средством презентации изображаемых предметов? Или свет сам становится предметом изображения?

Тут оппозиция, которая отличает живописца Вермеера от его современников.

Стен, Тербох, Метсю, Хоох, Останде строят мизансцены, ведут тонкий рассказ о жизни, выбалтывают анекдоты, показывают мелочи быта, увлекаются эффектным реквизитом, при этом с максимальной иллюзионистской точностью. И все, что относится к картине, находится внутри нее. Распахнутое окно в чужую жизнь. Они не лишены дидактики, трогательного участия или пафоса.

Не то Вермеер, этот заблудившийся в нескольких комнатах своего дома ловец мельчайших частиц света; исследователь границы между забытьем и бодрствованием. Его интерьеры — пластический вариант «Тысячи и одной ночи» — комнаты ожидания, земные чистилища. Воздух, слепленный из плотной, вязкой материи краски. Царство оксюморона.

Стройность вертикалей и горизонталей вермееровских композиций отзовется через два с лишним столетия решетчатой структурой Мондриана.

Чтение письма, музицирование, взвешивание жемчуга, наливание молока — частная жизнь, мгновения земного существования, увиденные словно впервые, как будто взором инопланетянина. Никакого умиления, никакой психологии, никаких толкований. Только гранулы света, только дымка, в которой растворяются предметы. Только живопись.

Предмет, теряя четкость контура, становится частью световой среды, вплотную приближаясь к плоскости картины, которая является только красочной поверхностью. В этом удивительный эффект истинных живописцев — возникновение фигуры из среды и ее возвращение обратно. Нерасчлененная потенциальность, которая не дает зафиксировать какое-то одно значение, уместить смысл в исчерпывающую формулировку.

Это вечное движение между видимым и невидимым.

В году есть день, он может наступить в разгаре лета, но чаще в августе. В этот день впервые обозначается граница между летом и осенью. Еще вчера зной лишал пространство ориентиров, расплавлял его до состояния ртути. А сегодня из пейзажа как будто выкачали воздух, и тень от тополей, притворившись цитатой из Матисса, перевела его в состояние трехмерности. И тепло с освещенной стороны узаконивает холод тени. Все пронизано особым пронзительным светом. Есть места с таким светом — таков свет Средиземноморья, таков свет Калифорнии и Нью-Йорка.

У нас такой свет бывает день-два в году. И только однажды этот свет лился все лето — чернобыльское лето 1986 г. Тогда под гул вертолетов и жужжание газонокосилок Киев мыли несколько раз в день, и воздух был наполнен каплями влаги.

Наверное, такой свет иногда бывает в Дельфте, но всегда — у Вермеера.

Это свет границы. Границы суши и воды, границы времен года, сна и яви, где переход из комнаты в комнату является событием не менее важным, чем отплытие корабля.

.....

В эти дни, когда я писал этот текст, пытаясь разобраться в феномене живописи Вермеера, главная мысль пришла ко мне ночью во сне.

Мне снился сон-живопись.

Темные залы. Догадываюсь, что по сторонам на стенах — невидимые мне картины. Я иду туда, где брезжит свет. Я знаю, что увижу комнату, отгороженную толстым ковром, стену, залитую светом и карту на ней. И Клио — музу-андрогина, поменявшую время истории на пространство метафизики живописи. В руках — труба и толстый фолиант. На губах — блуждающая улыбка Коры из Эрехтейона. А перед мольбертом — он, в черном камзоле с прорезями, в белой рубашке, красных и желтых чулках. Иду как можно тише. Хочу подойти незаметно и, заглянув за эти пышные локоны, увидеть его лицо. Но, видимо, мои шаги — из материального мира. Рука над муштабелем застывает, и, когда голова медленно начинает поворачиваться в мою сторону, — я просыпаюсь.

Природа мудро останавливает нас перед вещами, которых мы не должны увидеть, перед знанием, которое нам не дано.

Или подает знак, что искать нужно в другом месте...

.....

Лицо живописца — поверхность его живописи.

2000

Андрей ГРИЦМАН

/ Нью-Йорк /

Москва

Это я ни к кому.
Закрываю глаза и плыву
в Карфаген моих зим,
где посыпаны солью дворы,
где татары живут
с незапамятно-мутной поры,
и где в пять пополудни
давно уж не видно ни зги.

Желтый булочной свет
на сугроба холодной муке,
и в кромешности труб
блеск летит по незримой реке.
Там в глухую играли
у сытных парных кабаков.
А теперь ты стоишь
у трамвайных бессмертных кругов.

Ты стоишь у прудов,
на закраинах дуг голубых,
на старинном снегу.
Говоришь ты, но голос твой тих.

Я тебя не встречал
ни с друзьями, ни в школьных дворах.
Лишь порой на семейных
обрамленных фото,
что стоят на комодах

в теперь опустевших домах.
Там, где шарят впотьмах
звезды, фары машин
в тишине и при ясной погоде.

Я тебя узнаю. Закрываю глаза и плыву,
абонент всех сетей,
по бездомной теперь Божедомке.
Ты меня не ищи,
ни по спискам, ни в ликах витрин.

Я живу далеко,
у какой-то невидимой кромки.

1994

▮▮▮

Ситуация грустная, моя дорогая.
Воздух распадается на хладные глыбы.
Мы в них живём, оберегая
каждый своё, я, например, — губы.

Сколько лет я шепчу, прошу слова.
Мы с жизнью всю жизнь говорим о разном.
Я не прихожусь ко двору и каждый раз снова
ищу полосу жизни, за которой — бездна.

Но и к бездне глаз привыкает устало.
Там что-то знакомое движется и мерцает:
мешки, головные уборы, без конца и края
тоска — пересадка, толчея вокзала.

▮▮▮

Телефонный звонок из зиянья забвенья,
где все по-прежнему: трубка, черно-белое фото,
обрезки ногтей,
недочитанных книг вереница — театром теней.
Те же стены, с другими обоями —
обман зренья и света.
Номера на обоях — коридорная азбука детства,
чужого ремонта жирный розовый след.
Блики лампы, гранит пресс-папье,

твой бессмертный янтарь, Грин и Диккенс на полке,
и кастрюля укутана в клетчатый плед.
Я из школы пришел, левая ноет рука —
потерялась перчатка. В конце имени скачет «й».
Зазвонил телефон — но и звук превращается в лед.

1997

■■■

Услышав голос тихий и глухой,
остановлюсь с протянутой рукой,
сжимая прошлогоднюю газету.
Снег падает по направленью к лету
и замирает где-то за рекой.

Гудок оттуда хриплый и глухой
все тянется без эха, без ответа.
Я в сумерках ищу источник света
за городской невидимой чертой,
давно уже от стаи той отсталый.

Слетает незаметно снег усталый.
Его ловлю я ртом, и, застегнув пальто,
гляжу в незамерзающие лужи,
гордясь лишь мне заметной красотой,
и радуюсь: могло бы быть и хуже.

И странно, что оставлена была
за рубежом осеннего стекла
рукой рассеянной полоска этой суши.

■■■

Я — пейзаж после битвы
в стране, оставленной утром,
где проходят войска
в пыли пяти континентов.

Стекленеет листва.
На ветвях — воздушные змеи и ленты.
Воздушные замки — в снегу
до второго пришествия лета.

Я — судьба пересохших ручьев, подлесков,
бездонных оврагов.

поселений, где ходят к могилам врагов.
Черный ветер полуночи
шелестит улетевшей бумагой
неотправленных писем.
Светлый ветер забвенья играет травою
на стыках железных дорог
в глуши городов.

Пахнет гарью, сиренью, железом и солидолом.
Безногий посыльный за пазухой греет письмо.
Я смотрю на карту метро, как антрополог
близоруко и долго
глядит на скелет в берлоге лаборатории,
не слыша посыльного, что стучит третий век
в слюдяное окно.

Здесь темнеет к утру,
и я наконец засыпаю.
Снится женской души сквозная
летящая ткань.
Я — пейзаж после битвы в стране,
где снег выпадает лишь к маю,
и где на воскресенье
выпадает последний наш день.

В. Гандельсману

Так по одному сходим мы с ума,
по своим углам прячемся в стихах.
Во первых строках длится тишина,
стынет тень в дверях, говорит: устал.

Говорит за нас, за себя, за всех.
Если и не слог, то хотя бы вздох,
остановленный на отлете рук,
что устали звать всех, кто стал далек.

А когда один — эхо из души:
ты, мой дорогой, лучше поспеши.
На двенадцать строк подбери слова,
чтобы нам с тобой не сойти с ума.

Copyright © 2001 by Andrey Gritsman.
All rights reserved wordlwide.

Грета ИОНКИС

/ Кельн /

Генрих Фогелер: зигзаги судьбы

Светлой памяти моего отца

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак...
О. Мандельштам

Впервые имя немецкого художника я прочла по складам на его могильном кресте. Было это в годы войны в пору эвакуации в далеком Казахстане. Моя бабушка умерла от тифа в колхозной больничке и похоронена была неподалеку от могилы неизвестного немца. Запомнился глинобитный давно не беленый домишко с низкими оконцами: мутный мигающий глаз коптящей керосиновой лампы, в углу на табурете оцинкованное ведро с водой и с жестяной кружкой — почему-то на цепи, едкий дым кизяка, которым санитарка топила печку, смешанный с запахом карболки... В этом бараке в июне 1942 года кончил свой земной путь знаменитый мастер Генрих Фогелер.

За два месяца до кончины тот, чьи работы украшали многие музеи и художественные салоны Европы, бродил в поисках пропитания по забытой Богом деревушке, значившейся в государственных анналах как колхоз 1 Мая. В ветхой одежде, болтавшейся на его вконец отощавшем теле, заросший клочковатой бородой, с воспаленными слезящимися глазами, немощный старик топтался у саманных дувалов, не решаясь постучать, обеспокоить хозяев и попросить милостыню. Прибывший в карагандинские степи из Москвы в сентябре с первым эшелоном «эвакуированных граждан немецкой национальности», он все это время — скорее из-за общей неразберихи, нежели по злому умыслу, не получал своей жалкой пенсии, а потому в возрасте семидесяти лет подрядился

на земляные работы на строящуюся поблизости плотину. Наступила зима. На пронизывающем ветру, без спецодежды, голодный, и более молодой бы не выдержал. Фогелер тяжко занемог. Вещи, которые можно было выменять на хлеб, кончились. Вначале он брал в долг у хозяев, соседей, затем стал попрошайничать. Денежный перевод из Москвы от друзей пришел лишь в начале мая. Он смог раздать долги: последнее утешение для честного немца перед смертью.

Пути Господни неисповедимы. Кто бы мог подумать, что на исходе века, на излете жизни я окажусь в Германии и вновь «пересекусь» с Генрихом Фогелером?! Дела вели меня в Гамбург. Миновав Бремен, проскочили указатель на Ворпсведе. Взгляд скользнул и зацепился. Меня подбросило. Боже мой! Это ведь то самое Ворпсведе! Рильке! Фогелер! Лет тридцать назад ухватила в Комсомольске-на-Амуре сборник Рильке (в Москве было не купить!), в который вошла часть его монографии о немецких художниках группы «Ворпсведе». Их было пятеро: Отто Модерзон, Фриц Макензен, Ганс ам Энде, Фриц Овербек, но лишь Генрих Фогелер получил известность за пределами Германии.

Родившийся в семье бременского торговца металлом на заре бисмарковской эпохи, Генрих не пошел по стопам отца, как положено старшему бюргерскому сыну. Его пристрастие к карандашу, перу, кисти проявилось очень рано. Оно определило выбор профессии, поступление в Академию искусств в Дюссельдорфе. Ему было 22 года, когда он поселился в Ворпсведе и вместе с друзьями студенческих лет, художниками, создал товарищество (*Kunstler-Verein, Worpswede*).

«Это странная земля, — пишет Рильке. — Стоя на песчанном взгорке Ворпсведе, видишь, как она расстилается вокруг, подобная тем крестьянским платкам, на фоне которых кое-где глубокими тонами поблескивают цветы. Она лежит плоская, почти без единой складки, и дороги, и русла далеко уводят за горизонт. Там начинается небо, неописуемо изменчивое и огромное. Оно отражается в каждом листке. Кажется, все предметы заняты им. Оно везде. И везде — море. Море, которого больше нет, которое тысячи лет назад вздымалось и падало здесь... Предметы не могут этого забыть. Великий шум, которым преисполнены старые сосны на взгорке, кажется его шумом, и ветер — пространный, могучий ветер — приносит его запах. Море — история этой земли. Едва ли у нее есть другое прошлое».

Перед молодыми художниками, пришедшими сюда искать себя, возникли бесчисленные загадки этой земли. Почти два десятилетия здесь продолжалась серьезная, уединенная немецкая работа. Подобно французам — «барбизонцам», опередившим их на полстолетия, художники «Ворпсведе» сосредоточились на окружающем ландшафте, находя поэтическое и прекрасное в обыденном, включая в пейзаж местных жителей-крестьян, рослых, медлительных, живущих тяжким трудом — добычей торфа. По свидетельству Рильке, художники не стремились

изменить жизнь этих людей, столь на них не похожих: «Они не помогают этим людям, они не поучают их, они не улучшают их. Они ничего не привносят в их жизнь, остающуюся по-прежнему темной и жалкой, — но из глубины этой жизни они извлекают правду, которая растит их самих...» Поэт оказался пророком: его друг, Фогелер, отягченный бременем добытой правды, не сможет жить по-прежнему, новое знание кардинально изменит его жизнь и судьбу. Но будущее пока темно, а творческая жизнь только начинается...

Успех не заставил себя долго ждать. Уже в 1895 году далекие от академизма работы затворников Ворпсведе оказались гвоздем ежегодной международной художественной выставки в Мюнхене. Натуральное почвенничество странным образом сочеталось в них с изысканной утонченностью и изнеженностью, от них веяло свежестью и наивностью. На радостях Фогелер приобретает крытый соломой дом, получивший имя *Barkenhoff*, который он с упоением до- и перестраивает более десяти лет, особое внимание уделяя саду и благоустройству территории. Он стал настоящим режиссером сада. В результате его увлечения дизайном и архитектурой Баркенхоф превращается в «Остров Красоты». Любопытно, что и мюнхенское издательство, и берлинский журнал модерна, с которыми он сотрудничал, назывались «Остров» (Insel). Заглавные листы «Инзеля», начавшего выходить в 1899 году, выполненные Фогелером, — настоящее чудо графического искусства. Не удивительно, что журнал «Мир искусства» воспроизвел в 1900 году одну из этих обложек. Задолго до того, как художник оказался в России, там появилась его «визитная карточка». Тогда еще никто и он сам не знали, какое место в его жизни займет эта страна.

Время от времени Фогелер покидает свой «Остров». Еще до того, как осесть в Ворпсведе, он ездил в Голландию, Бельгию (Брюгге) знакомиться с искусством старых немецких и нидерландских мастеров, глубинная связь с которыми просматривается в его раннем творчестве. Бывал он и в Италии. Именно здесь, во Флоренции, встретил он в 1898 году Райнера Мария Рильке. Их знакомство, переросшее в дружбу, оказало огромное влияние на судьбу художника. Рильке не раз живал в Ворпсведе. Нигде в Германии — ни в Берлине, ни в Мюнхене — не чувствовал он себя так легко, как в этой сельской местности. Ему хорошо работалось в творческой атмосфере Баркенхофа, в этом культурном оазисе, где всех объединяло, помимо художественных интересов, еще и чувство большой Семьи. Дух Семьи царил и в Прерафаэлитском Братстве. О деятельности этих английских художников в Ворпсведе были не просто наслышаны. Это была своего рода модель.

В гостеприимном доме Фогелера всем хватало места. По вечерам собирались в Белом зале: читали стихи, музицировали, танцевали, разыгрывали сценки, дурачились. Здесь царил культ красоты, а следовательно — культ женщины. Всеобщей любимицей была Паула Беккер,

грациозная белокурая художница. «Ее волосы — флорентийского золота. В ее голосе — складки, словно из шелка» (Рильке). Она излучала веселье, жизнелюбие, ее внутренняя свобода, непосредственность влекли к ней и мужчин, и женщин. Ее автопортрет можно сегодня увидеть в музее Людвига в Кельне. В Паулу были влюблены все. Весной 1901 года в Баркенхофе играли одну за другой три свадьбы: Фогелера и красавицы Марты Шредер, Рильке и ученицы Родена Клары Вестхоф, Отто Модерзона и Паулы.

Из трех женщин, несомненно, самой одаренной была Паула, но это поняли далеко не сразу. Рильке, удивительный портрет которого она не закончила, понял. Она умерла первыми родами в 1907 году. Ей шел тридцать первый год. С ее уходом начался распад большой Семьи. Спустя год Фогелер организовал ее выставку, и его стараниями работы Паулы ушли в известные частные собрания Бремена, Ганновера, Эльберфельда, а оттуда разошлись по музеям. В тот же год Рильке создал стихотворный реквием подруге, в котором сформулировал свое понимание любви: «Вся любви премудрость — давать друг другу волю». Фогелеру был близок этот новый этос любви.

От художественного братства к рабочей коммуне — такова внутренняя логика развития Баркенхофа, но она еще скрыта от хозяина. А пока он покорен поэтической и музыкальной культурой Рильке, но еще больше его духовной широтой. С интересом внимает он рассказам друга о его недавних поездках в Россию, куда его увлекла «русская Муза» и возлюбленная, писательница Лу Андреас-Саломе. Рильке потрясен и поглощен русскими впечатлениями, он настойчиво и всерьез учит русский язык, читает стихи Лермонтова и прозу Толстого в оригинале. Фогелер заразился восторженной любовью Рильке к России, это чувство будет медленно зреть в его душе. Восхищаясь друг другом, Рильке и Фогелер строят совместные планы. А пока что он охотно иллюстрирует сборники и отдельные стихотворения поэта, в том числе и написанные по-русски.

В начале XX века Фогелер — признанный мастер графического искусства. Через экслибрисы он приблизился к пониманию духа книги. В его активе иллюстрации к «Затонувшему колоколу» Гауптмана, сказке Уайльда «Рыбак и его душа», к томику стихотворений Бирбаума, к драме Гуго фон Гофмансталя «Император и ведьма». Поэзия символизма созвучна его художественной манере. В его графике — в удлиненных, причудливо переплетающихся и будто колышущихся линиях — ощутимо непреходящее влияние английских прерафаэлитов и Обри Бердсли. Но, вероятно, более прав Рильке, который считал, что несравнимо большую власть над ним имел его сад, который с годами разрастался, густел, меняясь от весны к лету. «С этим садом, с ненасытными запросами этих деревьев, чьи ветви переплетаются, выросло искусство Генриха Фогелера». В его орнаментах оживают ритмы природы. Язык его

линий, поначалу напоминавший жидкие тоненькие саженцы, редкую сеть их ветвей, сквозь которую сквозит небо, менялся по мере того, как рос его сад. Сад разросся, разветвились кроны деревьев, образовались настоящие зеленые кружева, и в его рисунках наметилось стремление заполнить пространство. «Это новое намерение дает себя знать в более поздних гравюрах, но подлинного осуществления достигает лишь в рисунках пером. Лишайником из многих тысяч нитей распространяется рисунок по листу, окутывает его своим богатством, увеличивается, словно ткань под микроскопом». Сопоставьте его ранние листы из альбома «К весне» (1896) с упоминавшимися титульными листами к журналу «Инзель» (1900) или с рисунками пером «Благовещение» (1912), «Мелюзина» (1914) — вы убедитесь в правоте Рильке. Сегодня мы имеем возможность познакомиться с работами этого художника, видеть их в ретроспективе. В 1989 году по случаю столетия Ворпсведе как художественного центра была организована выставка Генриха Фогелера и издан ее роскошный каталог. На его основе создавалась книга Бернда Штенцига «Ворпсведе — Москва» (*Bernd Stenzig. Worpswede — Moskau. Worpsweder Verlag*, 1989), знакомство с которой взбудоражило меня. Возвращаясь мыслями к личности Генриха Фогелера, на мой взгляд, удивительно цельной, несмотря на превратности и зигзаги судьбы, я искала и открывала в его динамичной жизни отражения и приметы нашего трагического бурного времени, сходство с судьбой близких мне людей. Лучший способ избавиться от навязчивых мыслей — поделиться ими. А потому вернемся к раннему Фогелеру.

Сотрудничество с Рильке выходит за пределы иллюстрирования его книг. В начале 1902 года они вместе работают над постановкой «Сестры Беатрисы» Мориса Метерлинка, которой решено отметить открытие бременского Выставочного зала. Фогелер расписывает декорации, он — оформитель спектакля, Рильке — режиссер. Обращение к театральной живописи — предвестье увлечения Фогелера станковой и монументальной живописью.

Стремление к синтезу искусств, отношение к декоративно-прикладным вещам как к произведениям искусства, ориентация на органические формы, если хотите, «витализм», характерны для эпохи модерна. Рильке поощряет искания и отмечает успехи друга в области прикладных искусств. «В его характере, приверженном к осуществлению, должно было быстро развиться желание изготовлять вещи». Поначалу это были вышитые переплеты, стенные ковры на шелке, плетение кружев, затем облицовка стен, изготовление витражей. Баркенхоф был своеобразным опытным участком, где шли поиски новых форм, нового стиля. Фогелер овладевал различными материалами, он научился обрабатывать шелк, серебро, дерево, стекло так, чтобы проявились все достоинства материала. К чему бы ни прикоснулись его руки, все обретало красоту.

Для многих художников рубежа веков характерно стремление внедриться в быт. Пионерами были англичане: Уильям Моррис и компания, создавшиие фирму по производству гобеленов, тканей, мебели, фурнитуры. В России на исходе XIX века тоже появились художественные центры: вначале подмосковное Абрамцево (усадьба Аксаковых, а затем мецената Мамонтова), затем смоленская усадьба Талашкино, приобретенная княгиней Тенишевой, где были открыты столярные и гончарные мастерские. Рильке ездил в Абрамцево и, конечно, делился в Ворпсведе своими впечатлениями. В Абрамцево работали Репин, с которым Рильке познакомился лично, и Васнецов, о котором он написал большую статью. В Талашкино в эту пору жил Малютин, оформивший интерьер театра, построивший и расписавший там церковь и волшебной красоты домик. «Теремок» — это продолжение тех сказок, которые он иллюстрировал. Рильке, хоть и не побывал в Талашкино, привез в Ворпсведе книги, оформленные Малютиным. Сказочные сюжеты Малютина не могли не увлечь Фогелера, создавшего немало графических листов и полотен на сказочные мотивы, предложившего свой вариант эстетизированной сказки о Мелюзине, в частности. В письме русскому знакомцу П.Д.Эттингеру, критику, библиофилу и собирателю, Рильке сообщает, что его друзья в Ворпсведе в восхищении от Малютина и просит прислать еще несколько его книг: «Вы не можете себе представить, до какой степени художники Ворпсведе очарованы искусством Малютина!» При этом он не упускает случая рассказать об успехах друга: «Сейчас Г.Ф. здесь (в Берлине — Г.И.), он участвует в большой коллективной выставке, на которой собраны прекрасные новые работы: около 10 картин маслом, множество гравюр и рисунков, мебель и изделия из серебра (большой серебряный гарнитур, лампа и зеркало, оправленное в серебро)». Серебрянные изделия Фогелера вызывают его восторг: «Быть может, лунный свет над его садом навел художника на мысль о серебре, которым он теперь владеет, как поэт владеет своим словом. Кто, кроме него, так понимает девичью нежность этого общительного металла!»

В 1904 году Фогелер получает престижный заказ — оформить зал в бременской ратуше (*Guldenkammer*). В оформлении стен он использует не столько сюжетные, сколько декоративные мотивы. Живописные панно как бы продолжают ритмику и формы деревянных панелей, «подлаживаясь» под архитектуру. Мебель в зале имеет приблизительно те же пропорциональные членения, что и архитектура. Скульптурные рельефы, помещенные над каминами, становятся архитектурными деталями. Увидеть зал нам не дано: он погиб в огне бомбежки. Сохранившиеся эскизы и фотография зала 1907 года позволяют судить о том, что Фогелер как дизайнер держится «полумодерна» (немецкий искусствовед Р. Мутер относит Фогелера к романтикам стиля бидермайер), это не чистый Югендстиль бельгийца Виктора Орта или австрийца

Климта, тем более это не Гауди, но если вы окажетесь в лондонском Музее королевы Виктории и принца Альберта, вы увидите три зала, интерьеры которых близки Фогелеру.

В живописи Фогелера Рильке отмечает ту же эволюцию, что в графике и рисунках: цвет усиливается. Свет уже не падает широкими полосами сквозь редкую сень ветвей, не течет светлыми струями в берегах очертаний. Теперь на картинах играют подвижные живые краски, в которых — радостное знание и видение мира. Художнику не терпится передать их на холсте. Одно за другим возникают новые полотна. Рильке написал свою монографию «Ворпсведе» в 1902 году, находясь у истока эволюции собрата-художника, но проявил при этом редкостное, доступное лишь большому поэту ее понимание. «Так много еще ненаписанного, может быть, ничего не написано», — завершает он главу о Фогелере. И действительно, лучшие живописные работы впереди: «Летний вечер» (1905), «Мечтания» (1906), «Марта под каштановым деревом» (1907), триптих «Мелюзина», «Меланхолия» и «Ожидание II» (1912). Декоративностью, стилизацией они напоминают картины Константина Сомова, но пронизаны они иным настроением, имя которому — кротость и умиление. Умиление! Теперь и слова-то этого не услышишь. Лишь мой учитель, профессор Пуришев, с особым чувством произносил это прекрасное слово, рассказывая нам об иконах Рублева и фресках Дионисия. Фогелеру еще доведется их увидеть.

Рильке глубоко постиг своеобразие раннего творчества Фогелера, понял и оценил его человеческие достоинства: «Потому и напоминает Генрих Фогелер о старых мастерах, что его жизнь — не от мира сего, простая и праздничная, скромная и великая. Не знаешь, как назвать его. Он художник тихого, немецкого Жития девы Марии, которое проходит в маленьком саду». Сам Рильке записал в гостевую книгу Ворпсведе стихи о Марии. Фогелер намеревался их издать со своими иллюстрациями. Спустя десять лет Рильке вернулся к ним, переписал —так возник поэтический цикл «Жизнь Марии» (1912) о преимуществе женской «природы», наделенной мощью чувств. Показательно, что свой новый сборник поэт посвятил другу. Вот это посвящение: «Генриху Фогелеру с благодарностью за старые и новые поводы к этим стихам». Стихи эти получили конгениальный отклик в музыке Пауля Хиндемита (1923). Но когда Рильке в начале века, в 1902 году, писал о художниках Ворпсведе, о «садовнике» Фогелере, даже ему не дано было предугадать, какая буря в не столь далеком будущем пронесется над этим садом. Однако главное слово — «не от мира сего» — сказано. Фогелер, и в самом деле, был человеком не от мира сего, хотя бы потому, что в век разнузданного индивидуализма, торжества «*Ego*» он посвятил свою жизнь служению общественному делу, миру в старорусском понимании этого слова (на языке крестьянина «мир» — это сельская община). Он принес себя в жертву на алтарь своей новой веры.

В преддверии большой грозы — мировой войны — неожиданно дала трещину семейная жизнь художника. Первые годы его семейный союз всем казался на удивление покойным и прочным. В начале века в Баркенхофе собиралась духовная элита: братья Карл и Герхардт Гауптманы, Бирбаум, Рене Шикеле, поэт Р.А.Шредер, Макс Рейнхардт, Томас Манн... В музыкальном салоне блистали пианист Эгон Петри, двенадцатилетний скрипач Георг Куленкампф. Сестра Паулы исполняла песни Шуберта. На известной картине «Легний вечер» (или «Концерт», 1905) Фогелер запечатлел этот дорогой ему мир, этот Остров счастья, в центре которого — его Марта. Марте же этот мир казался искусственным. Она тяготилась навязанным ей образом жизни и обликом (Фогелер моделировал даже ее одежду, она должна была всегда и во всем являть воплощение его Идеала). Схожая драма разыгралась в то же время в семье Александра Блока. Конфликт между мечтой и действительностью, как видите, имел место не только в искусстве, но и в личной жизни. Оба художника пытались «творить» свою жизнь по законам эстетики, что привело в конце концов к драме.

Родившая двух дочерей и занимавшаяся прикладными искусствами, казалось бы, жена-подруга, Марта неожиданно увлеклась другим. Мир Фогелера рухнул в одночасье. Пытаясь выстоять, Фогелер с головой уходит в работу. Его Дело — настоящий якорь спасения. К этому времени он создал вместе с братом художественные мастерские, где по его эскизам изготавливались образцы мебели для последующего серийного производства. По его проектам в Ворпсведе строятся дома для рабочих, занятых в его мастерских. Проект создания рабочего поселка остался нереализованным, но железнодорожный вокзал в Ворпсведе он в 1910 году построил. На Всемирной выставке в Брюсселе работы из Ворпсведе были отмечены премиями, тем не менее, заметен спад интереса к художнику. Он сам ощущает творческий кризис.

Поиски новых ориентиров толкают Фогелера в путь: он то и дело ездит в Швейцарию, Австрию, на юг Германии, где сложилась своя художественная колония в Дармштадте. В эту пору новые искания в области живописи осуществлялись уже не в пределах Югендстиля, или Ар Нуво, но в других стилевых направлениях. Во Франции это был фовизм и кубизм, в Германии — экспрессионизм, в России — кубофутуризм. Экспрессионисты стремились выразить свое ощущение кризиса западной цивилизации, «заката Европы». Они выражали свое пессимистическое чувство конца, распада через хаотическую деформацию, намеренную резкость изобразительного языка. К экспрессионизму тяготели и швейцарец Ходлер, и немцы Клее и Кирхнер, и австриец Шиле, продолжатель Климта. В Мюнхене в новой манере работают Кандинский, Явленский, Веревкина. Фогелер присматривается к их работам. На рубеже 1912-13 гг. он сутками работает в снятом ателье в Шарлоттенбурге, бывает на выставках Берлинского Сецессиона. Однако язык

экспрессионизма он постиг не на выставках, а на фронтах первой мировой войны.

Сорокадвухлетний Фогелер пошел на войну добровольцем, как и французский писатель Анри Барбюс. Эволюция, которую оба претерпели как художники, в известной степени сходна. Барбюс до войны писал символистско-декадентские романы, Фогелер был художником эстетского направления. Воспитание под Верденом привело к перерождению. Француз после года, проведенного в окопах, создал книгу «Огонь», в которой каждое слово воспринималось, как удар молота правды по груде лжи, именуемой войною, а унтер-офицер Фогелер за год до окончания войны, находясь во время отпуска в Вормсведе, обратился с письмом к кайзеру, требуя заключить мир, прекратить войну. Он требовал во имя Бога положить конец лицемерию и подать пример выполнения христианских заповедей. Реакция властей была до боли знакомой: протестанта поместили в бременскую психушку. Сочтя «невропата» не опасным для общества, его вскоре выпустили. Открытое письмо кайзеру — первый опыт публицистики Фогелера, в нем он проявил себя как художник-экспрессионист. Он сам назвал письмо криком: «Я не могу прожить ни дня, не прокричав миру эти вещи».

Если у ранних экспрессионистов «крик» был стилистическим приемом, выражением экстаза, новой формой лирической свободы, то в годы войны он наполнился социальным содержанием: это был вопль боли, отчаяния, сострадания. Маяковский в 1915 году «прокричал» свое «Облако в штанах» — «четыре крика в четырех частях». Холсты немецких художников вопили. Илья Эренбург, побывавший в послевоенном Берлине и Магдебурге, вспоминает, что на выставках «Штурма» преобладала истерическая живопись, отдававшая литературщиной. Эренбург судит экспрессионизм с высоты прошедших лет. А вот как его определил Герман Бар, идеолог течения: «Никогда еще не было эпохи, потрясенной таким отчаянием и ужасом смерти. Никогда мир не был так нем — как могила. Никогда человек не был так мал. Никогда еще ему не было так жутко. Никогда радость не была так далека, а свобода так мертва. Вся эпоха становится одним криком — человек взывал к своей душе. Искусство тоже кричит о помощи... Это и есть экспрессионизм».

Если поначалу война воспринималась многими как «торжество немецкого духа», то страшная реальность (10 миллионов погибших, 11 миллионов калек) отрезвила всех. Пришло понимание, в чем заключается преступление, а с пониманием родилась ярость, и эта ярость оплодотворила искусство послевоенных лет. Раньше невозможно было себе даже представить, чтобы англичанин мог обратиться к «старой доброй Англии» с проклятьями вроде этого: «Да поразит тебя сифилис, старая сука! Ты отдала нас на съедение червям». Это вопль еще одного участника войны, Ричарда Олдингтона (роман «Смерть героя»).

Осознание себя пушечным мясом, а по Хемингуэю, так просто «убоиной, которую зарывают в землю», заставило человека вынуть кулаки, остававшиеся раньше в карманах. Многие из тех, кто в разладе с собой и миром возвращались с войны, открыто призывали к бунту. Империя Гогенцоллернов не могла не рухнуть. 9 ноября 1918 года (дата 9 ноября — роковая в истории Германии XX века) кайзер Вильгельм бежал в Голландию, а с балкона его дворца Карл Либкнехт провозгласил республику. Фогелер участвует в выборах бременского Совета рабочих и солдатских депутатов и входит в него. Среди депутатов было много «спартаковцев», сторонников Розы Люксембург, но возглавляли Совет верные Ленину Карл Радек и Пайль Фрелих. Именно в эти дни в бременском Доме профсоюзов Фогелер выступает с первым большим политическим докладом «Экспрессионизм любви — путь к миру». Он публикует его в виде брошюры. «Война — чудовищный грех, кровавая вина всех нас. Искупить ее можно лишь посредством социализма». Войну он интерпретирует как Божье наказание и одновременно как колыбель «нового человека». Речь не осталась без внимания властей: после роспуска бременского Совета в Баркенхофе произведен обыск, Фогелер ненадолго взят под стражу, за усадьбой установлен постоянный (вплоть до 1933 года) полицейский надзор. Революция в Германии напоминала отчасти русский февраль 1917-го, но ноябрь 1918-го не стал «немецким Октябрем». Тем не менее, Фогелер не «образумился», в 1919 году он публикует программное эссе «Новая жизнь. Коммунистический манифест», сочинение в духе утопического социализма, расцвет которого пришелся на первую треть XIX столетия. Томас Манн в статье «Внимание, Европа!» (1935), оглядываясь на минувший век, пишет: «XIX век был, прежде всего, эпохой идеалистической — только сегодня и видишь с какой-то растроганностью, насколько идеалистическим он был. Он верил не только в благо либеральной демократии, но и в социализм — такой социализм, который хочет поднять массы, обучить их, донести до них науку, образованность, искусство, достояние культуры». В такой социализм уверовал Фогелер смолоду, война лишь укрепила его в этой вере.

В первые послевоенные годы, как вспоминает Эренбург, немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. «Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России». Между тем, в Германии голодали не менее жестоко. Позднее этот период назовут «временем брюквы». Самым ходовым продуктом питания была картофельная шелуха. И при этом в витринах было выставлено все, они дразнили голодных людей изобилием. В холодных домах спали не раздеваясь. Марка падала так быстро, а цены росли с такой скоростью, что, после выдачи зарплаты рабочих и служащих тут же отпускали в

магазины, ибо за два часа деньги могли обесцениться. Ремарк об этом написал честно, без преувеличений.

После ноября 1919-го в Германии возникло движение «Роте Хильфе» (Красная помощь), которое ставило целью привлечь внимание к народным бедствиям и беднякам и занималось сбором средств для помощи им. В рамках этого движения начали действовать театральные агитпропгруппы, которые зарабатывали деньги, показывая короткие сценки, скетчи, эстрадные номера. Художники не остались в стороне от этого движения. Нужны были плакаты — они писали плакаты. В 1921 году вместе с известным скульптором и художницей Кетэ Кольвиц Фогелер подписывает воззвание о помощи голодающим России. Что движет ими? Их побудительные мотивы сходны с теми, что двигали русской интеллигенцией, дворянской и разночинной, которая пошла в народ после отмены крепостного права. «Иди к обиженным! Иди к униженным! Там нужен ты», — убеждал Некрасов. Желание быть нужным, желание послужить благому делу и, конечно же, глубокое разочарование во многих ценностях и идеалах буржуазного мира, надежда на возможность переустройства мира на началах справедливости — вот что привело Фогелера (и не только его) в ряды борцов за «коммунистическое далеко». «Мы наш, мы новый мир построим!» — эти слова «Интернационала» стали девизом или, как говорят в Германии, мотто последних двадцати лет жизни Фогелера. Социализм стал его новой религией.

«Социальный эксперимент» русских — так многие западные интеллигенты называли революцию 1917 года в России — вызывал у них горячий интерес и сочувствие. Фогелер не был исключением. «Мечтатель» Фогелер — сторонник «социализма действия»: в 1919 году он создает «Рабочее товарищество Баркенхоф», а в 1920 — Трудовую школу. Эта своеобразная коммуна просуществовала до 1923 года. Фогелер прозревал в своей коммуне пример ненасильственного переворота в общественных отношениях, способ мирного перехода от капитализма к социализму. Он был противником насилия и в этом разошелся с коммунистами. Он не был ревнителем идеологического единства, в Баркенхофе можно было исповедовать любую художественную веру.

Фогелер-художник в эту пору ненадолго увлекается приемами кубизма, сохраняя верность старым, т.е. реалистическим художественным представлениям. Ломаная, обрывистая линия, умеренная деформация тел и предметов подчеркивают, усиливают «экспрессионистичность» (таковы офорт «Семь чаш гнева. Откровения Иоанна», первые эскизы «Вердена»). Однако с начала 1920-х годов Фогелер все более тяготеет к языку плаката. Впервые в его работах появляется новое для него плоскостное пространство. Отчетливее всего эта манера проявилась во фресках, которыми он расписал — маслом по гипсу — большой холл в Баркенхофе. Фрески, изображающие сцены революционной

борьбы и новую свободную жизнь в коммунистическом обществе, созданы на принципиально иной основе, нежели его прежние живописные работы. Он работал над этими панно с 1920 по 1926 год, по ним легко следить за переменами в его мировоззрении, наблюдать растущую политизированность. После прихода фашистов к власти фрески будут уничтожены. Впрочем, власти покушались на них и во время Веймарской республики. Ему пришлось вести настоящую борьбу за свое детище. На середину 20-х годов приходится интенсивная деятельность Фогелера как педагога, оратора, политического публициста.

Младший современник Фогелера известный художник Георг Гросс, пропагандист немецкого дадаизма, в книге «Искусство в опасности» (1925) решительно утверждал: «Современному художнику, если он не хочет быть пустоцветом или отставшим от века неудачником, приходится выбирать одно из двух: технику или пропаганду классовой борьбы. И в том, и в другом случае он должен отказаться от "чистого искусства". Либо он в качестве инженера, архитектора, рисовальщика рекламы вступает в ряды армии, которая собирает индустриальные силы и эксплуатирует мир, либо этот художник, став отобразителем и критиком нашего времени, примкнет в качестве пропагандиста, защитника и сторонника революционной идеи к армии угнетенных, которые борются за свою законную долю мировых ценностей, за жизнь с разумным общественным устройством». Не только Гросс и Фогелер — многие выбрали второй путь, и не нам их судить — а понять хотелось бы.

Революционная Россия своим первым декретом о мире завоевала симпатии не только немецкого пролетариата, но и левой интеллигенции. Совет Народных комиссаров предложил всем воюющим народам начать немедленные переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуций. С этого момента советская Россия становится светочем, маяком в глазах сознательного трудового люда. Для многих прогрессистов Запада она — символ нового мира, «родина разума и труда» (Брехт). Такой видится она и Фогелеру. Свет сияющей звезды, высоко вознесенной над московским кремлем, башни которого еще не увенчаны рубиновыми звездами, заливает его картину «Красная метрополия» (1923). Свет этот как бы осеняет колонны вооруженных людей, движущихся по Белокаменному мосту нескончаемым потоком. Реют красные стяги. Бесконечный монолитный поток революционного народа выглядит почти так, как на картине Кустодиева «Большевик» (1920). Обе картины отличает прямолинейность символа: у Фогелера это — звезда, у Кустодиева — алое знамя в руках большевика, шагающего над городом. Впрочем, в картине Кустодиева можно усмотреть подтекст: уж больно устрашающе выглядит бородатый фанатичного вида мужик, у ног которого участники событий кажутся копошащимися муравьями, пигмеями. Того гляди раздавит...

«Россия, кровью умытая» — так назовет свою книгу (1924) Артем Веселый. Название передает суть того, что сделали большевики с народом во имя его «светлого будущего». Пример Петра, который «Россию вздернул на дыбы», видимо, их воодушевлял. Но он — на дыбы, а они — на дыбу! С высоты времени легче судить, а тогда «в развороченном бурей быте» не только поэт — миллионы мучительно пытались понять, куда влечет их «рок событий». Мировая война, эта гигантская бойня, притупила восприятие, приучила к виду и запаху крови. «Россия, кровью умытая»... На Западе о гражданской войне, об этом огромном кровопускании, вообще не имели представления.

Знакомство и сближение с Софьей (Соней) Мархлевской, дочерью польского коммуниста, друга Розы Люксембург и сподвижника Ленина, создателя МОПРа, ректора Коммунистического университета национальных меньшинств Востока, привело художника в советскую Россию. Впервые он едет в Москву с Соней в июне 1923 года, осенью там родится их сын Ян Юрген. Год в России промчался быстро. Фогелер жил в Москве в Кремле с родителями Сони. В течение полугода он руководил художественным факультетом в Университете нацменьшинств. Одновременно по его решению в Баркенхофе был открыт Детский дом для больных детей, родители которых подверглись политическим репрессиям.

Знакомство с Россией способствовало выходу из кризиса. Кетэ Кольвиц, посетившая ателье художника в Берлине в сентябре 1924 года, записывает в дневнике: «Фогелер сказал, что в Германии он испытывал лишь усталость и безнадежность, а в России жизнь его снова захватила».

Вернувшись в Германию, Фогелер написал и издал книгу с собственными иллюстрациями «Поездка в Россию. Рождение нового человека», 1925. Речь шла о личном: о рождении сына, но в первую очередь о формировании человека нового типа в Стране Советов. Утопические планы сотворения нового человека вскружили голову Фогелеру. Он поверил в возможность их осуществления в советской России. Мечта о новом человеке была завещана немцам Фридрихом Ницше. Фогелер не был ницшеанцем, но идея носилась в воздухе. В дальнейшем представления автора «По ту сторону добра и зла» о сверхчеловеке, который сумеет разрушить, уничтожить, перековать в себе тварь для самосозидания творца (а в человеке, по Ницше, тварь и творец соединены воедино), были извращены и фальсифицированы. «Сверхчеловек» Ницше мошенническим образом был подменен «белокурой бестией», образом, в который рядились как герои Санина и Пшибышевского, так и маньяки государственной власти, «хотя бестиальности в них не хватало и на одну морскую свинку» (Рикарда Хух). Мечты Фогелера о новом человеке были связаны с идеей свободного созидательного труда. Россия, намеревавшаяся создавать новую цивилизацию, новую

пролетарскую культуру (Пролеткульт!), подавала большие надежды. Тогда еще мало кто понимал, в какой ад ведут эти широко и громко декларируемые благие намерения. Фогелера, создавшего в Баркенхофе Трудовую школу, особенно интересовали вопросы образования и трудового воспитания в новой России.

Интерес к новой педагогике и левые взгляды послужили почвой для сближения Фогелера с молодым педагогом-новатором Хельмутом Шинкелем, который в августе 1924 года прибыл в Баркенхоф и работал там вплоть до закрытия Детского дома. Оба стали апологетами и одновременно пленниками коммунистического мифа о сотворении нового мира.

В то время как два мечтателя обдумывали в Баркенхофе способы воспитания нового человека, Германия лихорадочно и торопливо старалась обрести потерянное в войне и догнать заокеанскую державу. На обломках имперского величия утверждался новый стиль жизни, новая психология. Господствующий тонус — биологический. На экранах шел фильм Николаса Кауфмана «Путь к силе и красоте». Многочисленные зрители с энтузиазмом приветствовали идею возрождения человеческого рода, которая преподносилась как торжество германской расы прежде всего. «Новый человек германского розлива» — спортивный, энергичный, безликий, лишенный традиций, с унифицированным стилем одежды и мыслей — не воодушевлял Фогелера. К тому же растущий национализм, нападки на «чуждые элементы» вызывали омерзение и протест. Фогелер охотно покидает Германию ради России и каждый раз живет там подолгу. Все лето 1925 года он провел в Карелии. Зимой 1926 года он выполняет заказ: делает большие панно для здания МОПРа в Москве (впоследствии при перестройке настенная живопись была уничтожена). Осенью этого года по собственной инициативе он предпринимает вместе с Соней и двумя московскими друзьями увлекательнейшую поездку по среднеазиатским республикам: Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, откуда кораблем через Каспий они добираются до Баку.

Он и во время путешествия не выпускал карандаш из рук. На рисунках, акварелях — пустыня, горы, реки, хлопковые поля, виноградники, караваны верблюдов, всадники, восточные типы в пестрых нарядах, старые мечети, минареты, восточные базары, чайханы... Для него это был сказочный мир Шехерезады. Фогелер любил мир сказки. Он ощущал себя в нем куда уютнее, чем в реальном мире, который становился чем далее, тем более яростным.

Отношения с Соней складывались не лучшим образом. Фогелер закрыл глаза на ее увлечения (она ведь так молода!). Он надеялся, что поездка снимет натяжку. Получив развод от Марты, с которой он сохранил дружбу, Фогелер женился на Соне в 1926 году, уже зная, что семейного счастья ему не видать. Он хотел дать сыну свою фамилию: он

любил мальчика. Не суждено было ему найти утешение в семье. Его уделом было творчество.

Фогелер в эту пору разрабатывает новую манеру письма, она характерна не только для фресок, но и для его графики, живописи, плакатов. Он называет этот вид творчества *Komplexbild*. Не найдя подходящего русского термина, опишу его. Поверхность картины рассекается на ассиметричные сегменты самой разной величины и конфигурации, как в старых витражах. Каждый сегмент — фрагмент целого и в то же время — самостоятельная картина, но они все связаны сюжетно, главный мотив повторяется. В некоторых сегментах предстают укрупненные детали сюжета другой части. Некоторые сегменты-ячейки передают различные состояния одного и того же предмета. Соседство этих напряженных барельефов создает иллюзию движения, но не плавного, а как бы неровного, толчками. Единство целого создают и световые потоки, которые, исходя чаще из центра или сверху, пронизывают всю картину, связывая фрагменты. Объединяя в одной композиции разновременные и разнопространственные мотивы, Фогелер превращает свои картины в своего рода идеограммы. В технике *Komplexbild* Фогелера есть нечто общее с монтажом Эйзенштейна. Тематика картин отражена в их названиях: «Летний трудовой семестр студентов», «Международная красная помощь» (1924), «Баку» (1927), «Гамбургский докер» (1928). На них представлены работающие люди, ландшафты, сельские или урбанистические, видны приметы бурной индустриализации страны: буровые вышки, трактора, локомотивы, башенные краны, станки, плотины. В реалистические сцены включена символика: серп и молот, портреты вождей, рубиновые звезды. От них исходит пафос героики труда. Картины, плакаты, фрески — все это яркие произведения монументальной пропаганды. Но это не просто агитпроп, это — искусство. Сегодня работы Фогелера — живая память истории. Некоторые из них демонстрировались на недавно прошедшей в Германии и России выставке «Москва — Берлин. *Berlin — Moskau*».

Фогелер создавал пролетарское агитационное искусство не в одиночку. Как уже говорилось, к середине 20-х годов в Германии сложился пролетарский агиттеатр. Организатор рабочего театра, бунтарь Эрвин Пискатор обращался к сугубо политическим сюжетам, широко используя язык плаката. Необузданный «тигр городских джунглей», молодой Бертольт Брехт сочетал формы пролетарского театра и кабаре. Его «Трехгрошовая опера» (музыка Курта Вайля) имела самый ошеломительный успех в истории театра 20-х годов. Талантливый актер, будущий соперник Грюндгенса, Ханс Отто с мобильной группой «Клепальщики» и Карл-Хайнц Мартин с группой «Трибунал» колесили по Германии. «Мы радикально изгоняли из нашей программы слово „искусство“, — пишет Пискатор. — Мы выступали для того, чтобы делать „политику“». Пискатор, Брехт, Толлер — все они из нового круга Фогелера.

На исходе 1920-х годов «политика» вошла в каждый европейский дом. Экономический кризис потряс весь западный мир. Миллионы безработных оказались на улицах. Даже в богатейшей Америке зрели, по свидетельству Стейнбека, «гроздья гнева». А что говорить о Германии, которая едва выжила под бременем репараций за первую мировую войну. Тысячи немецких специалистов, чтобы заработать на жизнь, уезжали на новостройки неведомой Советской России, среди них был и мой отец, инженер Вилли Риве. А промышленно-финансовые олигархи откровенно звали на помощь фашистского диктатора. Власти почти открыто братались с Гитлером, с его коричневой партией.

Фогелер, находившийся в конце 20-х гг. в Берлине, тоже «делает политику». Он — активный член Правления RHD (*Rote Hilfe Deutschland* — аналог МОПР'а) и одновременно член Попечительского Совета детских домов RHD, в который входили такие выдающиеся личности, как Альберт Эйнштейн и Томас Манн, Макс Рейнхардт и Генрих Цилле. По заданию Rote Hilfe он устраивает в районе Рура, в Тюрингии, в Бремене выставки своих работ, которые он передал в собственность RHD, выступает перед рабочими с рассказами о Советском Союзе. В 1927 году в Берлине он демонстрирует десятки своих новых *Komplexbilder*. Материально ему с его новой семьей в эту пору живется трудно. Соня и Ян то и дело болеют, и это неудивительно: живут они в неотапливаемом садовом домике. Фогелер озабочен поисками заработка. С 1927 по 1930 год работает он чертежником и художником в архитектурном бюро, которое поставляет модели, диорамы и павильоны для промышленных выставок. Работа дизайнера-стилиста вписывается в общий поиск Фогелером социальной целесообразности его труда. Он понимает, что подобная деятельность воздействует на общественную эстетическую среду куда более глубоко и всепроникающе, чем произведения «чистого искусства». Но в 1929 году заказы прекращаются.

В Берлине Фогелер познакомился и сблизился с Эрихом Мюзамом, Кетэ Кольвиц, Эрихом Вайнертом. Весной 1928 года он принял горячее участие в создании Ассоциации революционных художников Германии. Фогелеры — завсегдатаи клуба «Общества политики, науки и искусства», где часто бывают Георг Гросс, Эвин Пискатор и Иоханнес Бехер.

В августе 1930 года RHD организовала в Баркенхофе выставку работ Фогелера «Новая Россия». Это был его последний приезд в Ворпсведе. Он не знал, что прощается с ним навсегда. В 1931 году Фогелер принял решение переехать в Советский Союз. Друг покойного Мархлевского помог ему найти работу. Характер работы требует частых командировок в южные районы страны. В свободные часы он делает много зарисовок, набросков. В результате его поездок в Узбекистан возникла *Komplexbild* «Хлопок» (1932).

В феврале 1932 года состоялась персональная выставка Генриха Фогелера в Музее нового западного искусства в Москве. Отклики были благоприятны. Музей приобрел большое полотно «Гамбургский докер», которое через несколько лет стало собственностью Эрмитажа.

Приход Гитлера к власти не был неожиданностью для Фогелера, но провокационный поджог рейхстага и последовавший за ним арест более десяти тысяч антифашистов, среди которых были его знакомые, одновременная отмена всех статей конституции, гарантировавших свободу личности, слова, печати, собраний и союзов, ошеломили всех.

В эту пору активизируется антифашистская публицистическая деятельность Фогелера. Вместе с Бехером он издает книгу «Третий рейх» (1934), где помещены его карикатуры на нацистов. В 1935 году он становится художественным руководителем большой выставки МОПР'а в Парке культуры им. Горького «Мировой фашизм и солидарность рабочего класса».

Вместе с группой немецких антифашистов побывал Фогелер в 1934 году в Республике немцев Поволжья. Эрвин Пискатор носился с идеей создания здесь «маленького Веймара, или немецких Афин на Волге» — с новаторским театром (он агитировал Брехта принять руководство им), с киностудией «Волга-фильм» и прочими очагами культуры. Поначалу его идеи находили отклик в кремлевских верхах, ибо они отвечали задачам советской пропаганды, демонстрируя расцвет национальных культур, но затем были похоронены, а самому Пискатору только чудом удалось унести ноги.

Начиная с 1933 года Фогелер сотрудничал в качестве художественного критика в еженедельнике «Московское обозрение» (в выпусках на немецком языке), в журнале «Интернациональная литература», а также в еженедельнике «*Das Wort*» («Слово»), в редакторах которого числились Фейхтвангер и Брехт, но реальным руководителем был Вилли Бредель. Считалось, что он объединяет всю немецкую антифашистскую эмиграцию, но на самом деле это было просоветское издание, работавшее под дирижерскую палочку московских «товарищей». В 1936-38 гг. на страницах «*Das Wort*» завязалась дискуссия о жизненной правде в искусстве, о реализме. Фогелер с интересом следил за нею и даже принял в ней участие. Накануне дискуссии монументальные *Komplexbilder* Фогелера попали под обстрел критики «неистовых ревнителей» соцреализма. Фогелер полагал, что его новаторская техника призвана передать «динамику нашей героической эпохи», но «товарищи» обвинили его в формализме. Это расхожее обвинение настигло и погубило революционеров театра: Мейерхольда, Третьякова, Таирова. Оно преследовало молодого Шостаковича. Брехта призывали сделать выбор «между реакционной формой и революционным содержанием». Фогелер не был исключением. Борьба с формализмом в форме дискуссий-проработок совпала с набиравшей обороты кампанией репрессий.

Фогелер отступил не из-за страха (он поначалу не понимал ситуации, да и русским языком почти не владел), а следуя принципу «не навреди». Логика его поведения была такова: советское государство, его искусство еще, дескать, молодо, при этом развивается во враждебном окружении. Недостатки — неизбежные болезни роста. Публичной критикой воспользуются враги. Не пойдет же он путем «предателя» Андре Жида! Уж лучше «наступить на горло собственной песне». Эта линия поведения соответствовала губительной идее растворения личности в массе ради общего дела, которая возобладала в советской (и в нацистской!) идеологии. Помните, у Маяковского? «Единица — вздор! Единица — ноль!» Победить можно только если «каплей льешься с массами». Иоганнес Бехер теперь воспевал массу, в которой индивидуальность неразличима.

Отказавшись от новаторской техники, Фогелер не отрекся от идей молодости. Именно интерес к личности способствовал успеху его портретной живописи, однако тонкий психологизм его портретов вызывает недовольство адептов соцреализма, требующих изображать типические характеры в типических обстоятельствах. Фогелер-художник все больше ощущает свою чуждость и неуместность в советском изобразительном искусстве. Зато личное знакомство с бельгийским экспрессионистом Францем Мазереелем, побывавшем в Союзе в 1935 году, стало для него большим утешением. Он написал о нем книгу, она была издана на русском языке в 1937 году.

Никогда не отходивший от предметного изображения реального мира, Фогелер много размышляет о классическом искусстве и новаторстве, о натурализме и формализме и, конечно же, о близком ему движении в искусстве — экспрессионизме. Он по-новому оценивает творчество рано ушедшей Паулы Модерзон-Беккер. Он пишет статью о ней, утверждая, что ее искусство, преодолевая конкретность времени, обнажает первичную суть вещей, оно таит в себе животворящий зародыш, из которого только и может развиться искусство будущего. До появления в России такого искусства он не дожил.

Советско-германский пакт Молотова-Риббентропа, или, как его называют в западной печати, Сталина-Гитлера, выбил почву из-под ног немецких антифашистов. Антинацистская пропаганда в СССР была свернута и запрещена, а между тем гитлеровские войска уже вторглись в Польшу. Фогелер оказался между двух огней. В Германии его имя как врага рейха было внесено в проскрипционные списки СС. В России второй родины он не обрел. Оказавшись не у дел, Фогелер начинает писать автобиографическую книгу, которая впоследствии будет опубликована под названием «Верден. Воспоминания». Показательно, что и Бехер, положение которого в московских кругах было куда более прочным, в эту трудную пору обратился к жанру автобиографического романа. Фогелеру, однако, не сидится на месте. Он отправляется в

Одессу, где делает декорации для немецкого самодеятельного кукольного театра. Здесь, в мире сказок и баллад, он ощущает себя в своей стихии, это родная почва. Почва стала уходить из-под ног с началом партийных «чисток» и «московских процессов», которые переросли в Большой террор, достигший апогея в 1937-м, в год моего рождения. «Мы живем, под собою не чуя страны» — Осип Мандельштам выразил общее состояние тех страшных лет.

Все это время вплоть до эвакуации Фогелер жил неподалеку от Кремля в Доме на набережной (читали Юрия Трифонова?). Сейчас фасад этого огромного серого дома (эдакая конструктивистская бетонная махина на берегу Москва-реки) сплошь покрыт мемориальными досками в память о тех жильцах, кого в течение трех, а то и более лет увозили ночами в пыточные камеры Лубянки. Вряд ли Фогелер знал этих партийных и государственных деятелей, но он знал Мейерхольда, Райх, Третьякова, Стенича. Они исчезли. Нажим на политэмигрантов, нашедших убежище в Советском Союзе, был очень силен. Были распущены некоторые организации Коминтерна, закрыты немецкие клуб им. Тельмана и школа им. Либкнехта. Немецкая колония поредела. Кое-кто был выслан в 24 часа. Были арестованы знакомцы Фогелера: жена Эриха Мюзама, замученного нацистами, актриса театра Брехта блистательная Карола Неер, Мария Остен, гражданская жена Михаила Кольцова, а затем и близкий друг Фогелера еще со времен Баркенхофа коммунист Хельмут Шинкель. До ареста он был директором школы им. Либкнехта, где учился сын художника. Его дальнейшая судьба оказалась тайной за семью печатями даже для родных, не то что для Фогелера.

В московском пединституте со мной училась Тамара Шинкель, приехавшая в начале 50-х годов с группой студентов из ГДР. Нас удивлял ее потрясающий русский: ни малейшего акцента, сыплет шутками-прибаутками, поговорками, скороговорками. Правду о ее происхождении я узнала только-только, да и то случайно. Моя немецкая подруга, бывшая сокурсница, дочь казненного в Бранденбургской тюрьме антифашиста Ганса Шельхаймера, увидев у меня книгу о Фогелере, спросила, помню ли я Тамару. Тут и выяснилось, что Тамара — дочь фогелеровского друга, Хельмута Шинкеля, умершего от пеллагры в одном из сталинских лагерей в 1948 году. Детство и отрочество она провела в России и, как все мы, прониклась страхом, научилась молчать. Только теперь решилась она заговорить об отце и признаться в том, что среди ее предков — прославленный придворный архитектор Карл Фридрих Шинкель. Каждый может сегодня полюбоваться творениями его рук: кирхой в самом центре Берлина (ее только отреставрировали) и классическим зданием Новой Караульни (*Neue Wache*), ныне Мемориал, построенными в первой половине XIX века. Вот какие неожиданные повороты преподносит жизнь! Так я еще раз, пусть косвенно, но соприкосну-

лась с историей Баркенхофа, его обитателями. А какая удивительная перекличка трагических судеб Генриха Фогелера, Хельмута Шинкеля, отца моей подруги Эвелины и моего отца, «взятого» НКВД в 1937-м, три месяца спустя после моего рождения! Все они и мы, их дети, были распяты на кресте двух тоталитарных режимов XX века. Да я просто обязана писать о Фогелере!

Пятидесятилетний юбилей его творческой деятельности был отмечен в конце мая 1941 года. В выставочном зале Московского Союза советских художников прошла его персональная выставка (экспонировалось 80 работ последних двух десятилетий, при этом ни одной *Komplexbild*, т.е. самого значительного и лучшего из созданного за это время, не показали). Открывал выставку недавний противник Фогелера — Вильгельм Пик. Каталог был написан другом Эрихом Вайнертом. На выставке Генрих Фогелер был представлен как художник-пейзажист — и только.

Начало войны застало его в Тарусе. Вернувшись в Москву, Фогелер вместе с Бехером, Фридрихом Вольфом, Вайнертом и Густавом фон Вангенхаймом включился в пропагандистскую работу политотдела Красной Армии: они готовили листовки-обращения к немецким солдатам, призывая их выступить против гитлеровского режима, бросать оружие и перебегать в Красную Армию. И в этой деятельности проявилось незнание истинного положения вещей и стремление выдать желаемое за действительное: немецкие антифашисты не без воздействия советской пропаганды исходили из того, что Гитлер не имеет поддержки в массах, что немецкие солдаты действуют только под дулом автоматов эсесовцев. Увы, в действительности все обстояло иначе...

«Эвакуированный» из Москвы 13 сентября 1941 года, Фогелер разделил участь русских немцев, поднятых с родных мест и высланных в Сибирь, Казахстан, на Север. О чем думал он, умирая? Кто являлся ему в последний час в комнатке-клетушке больничного барака? Видел ли он сына в строю новобранцев в солдатской гимнастерке и пилотке на остриженной голове? Его Ян Юрген пошел добровольцем на фронт в свои неполных восемнадцать, и он сам проводил его на сборный пункт. Или являлась ему Паула, танцующая босиком на лужайке перед домом в Баркенхофе с венком из полевых цветов на распущенных волосах? В лучах заходящего солнца ее белые развевающиеся одежды казались розовыми, а русые волосы — золотыми. Или виделась ему синь небес — глаза Райнера Мария Рильке, друга молодости, когда им так хорошо дышалось чистым воздухом Ворпсведе? Поэт давно пришел к той правде, которая открылась Фогелеру лишь под конец: «Кто о победе будет говорить? Нам надо выстоять — и это все».

Эти слова оказались путеводными и для нашего поколения.

Владимир ДРУК

/ Нью-Йорк /

■■■

пока ты не поймешь что ты один
но состоящий из различных знаков
огня, воды, металла и земли,
замешанных однажды на любви

пока ты не поймешь что ты один
что мир един и всюду одинаков
а ты частично непереводим

пока ты не поймешь что ты один
иных уж нет, а те уже далече
что выпить нет, хотя еще не вечер
и все открыто, блин, а денег нет

и те кто пил с тобой — плывут вперед
и что моряк, похожий на дантеса
обмолвился — «он выпал из процесса»
когда ты встал и вышел из процесса
а на корме качает и клюет

пока ты не поймешь что ты один
что ты чужой на этом параходе
где барышни еще дают в проходе
но в долг буфетчик больше не дает

пока ты не поймешь что ты один
один как свист, как чайник, как разведчик,
который за товарищей ответчик
по всем статьям партийно-гнездовым

пока ты не поймешь что будет день
и будет ночь когда тебя не будет
и что единый проездной билет
на этот месяц — скажем на январь
или апрель
переживет тебя и станет вечным

и первый встречный — он же вечный жид —
у входа встретит и не убежит
и выдаст новый проездной билет
и ты поимешь, что смерти в жизни нет
что смерти нет и никогда не будет

и что по этой стрит плывет процесс
но что тебе до этого процесса
но что тебе до этого матроса
когда с тобою рядом спит принцесса
веселая принцесса рядом спит

Расшибалочка

«пестик-пестик, я тычинка»
памяти Нины Искренко и
Жени Михельсона

слышишь слышишь
пахнет смертью
пахнет смертью
волосами
в день погожий
слышишь слышишь
вот прохожий
пахнет смертью
труляля

мы живем посередине
в промежутке
между прочим
на трамвайной остановке
за обедом,
за экраном

в этой очереди длинной
все по блату по знакомству
вот и мы с тобой знакомы
опа-опа
труляля

здравствуй утро до свиданья
здравствуй семя молодое
получается как надо
получается всегда

где ты, Нина
где ты, Женя
где тот пестик на который
мы повесим наши мысли
наши дни и города

опа-опа едет поезд
опа-опа там кондуктор
где ты, Юра
где ты, Виктор
вы еще наверно живы
дует вектор в никуда

пахнет смертью и стихами
пахнет жареной картошкой
пахнет пивом
пахнет славой
пахнет свечкой
пахнет мамой

вот возьму и вставлю зубы
будут новенькие пломбы
вот возьму и вставлю клапан
будут новенькие тромбы

вот возьму и выйду в море
выйду в люди выпью водки
на соседней остановке
где горячая ламбада

вот возьму и вставлю пробку
вставлю в дырку
чтоб не дуло

вот возьму открою помпу
вставлю в вену чтоб качало
чтоб качало все сначала

опа-опа хрен моржовый
мы живем но не сдаемся
мы еще не стеклотара
мы еще не труляля

будет день — и будет видно
будет день — и будут деньги

будут деньги — будет слава
будет слава — будет мало

мало денег — много смысла
будет смысла — но посмертно

будет очень много смысла
будет радости навалом

будет смысл — будет осень
мы еще попылесосим

полетим широким клином
полетим сбиваясь в кучу
полетим сбиваясь в стаю

одноразовые птицы
просто так не умирают
никогда не умирают
одноразовые птицы

▮▮▮

Подчиняемся римскому календарю.
Императоры смысла хрипят. На краю
образуем очкастый болезненый слой.
Тонок строй, жидковат, жутковат.
Жидоват.
По линейке торчим на зарю.

Гимн играет. Говнюк проверят число —
сколько нас уцелело.

Считай — пронесло.
Закури. Закурю.
Шесть утра. Пронесло.
Жрать охота. И жить, несмотря на число.
Жрать охота, курить, несмотря на судьбу —
Скромный номер чернильный
И прыщик на лбу.

Эта очередь тихо подходит к концу.
Эта очередь тихо подходит к Отцу.
Кто последний? Кто крайний?
Кто средний?

Днем — еще ничего, забываешься днем.
Научившись спрягать, говоришь ни о чем.
И бормочешь молитвы ночами.
Римский Папа, который вообще ни при чем,
пожимает плечами —
а я тут при чем?

Я стою — ты стоишь — мы стоим. На краю.
На военнном краю Иудеи.
Подчиняемся варварам.
Календарю?
Подчиняемся римской идее.

Шереметьево

я хочу быть понят своей страной
я хочу быть понят своей женой
я хочу купить себе проездной
и уехать к Б-гу на выходной

я хочу подключиться к саянской ГЭС
или просто включить из конфорки газ
я уже выпил КПСС
но еще не доехал до АДИДАС

этот город останется без меня
сиротою казанскою как вокзал
все останется так же — но без меня
все останется так, как я сказал

шереметьево выключу, словно свет
за собой погашу
но достанет бутылочку мой сосед
а я закурить у него попрошу

мы нальем по сто, а потом еще
и врубим свободу на полный звук
и сосед мне скажет: и ты, друк!
а я отвечу: налей еще!

я пил надежду из черепов
всех советских вождей
я был пионером в стране стихов
и птицей в стране гвоздей

но теперь все выпито, ночь пуста
и пора бутылки сдавать
и я как заяц боюсь куста
но кайф не дам поломать!

я время выключу словно свет —
даждь хлеб нам насущный днесь —
и в этой стране, где меня уже нет
я все-таки еще есть

декабрь, 1993

Copyright © 2001 by Vladimir Druk.
All rights reserved wordlwide.

Павел ЛУКАШ

/ Бак-Ям /

Условия игры

В карты я не играю. Остальные режутся в дурака на вылет — в самого обычного, хотя Каракумов предпочитает домино.

«Не ходите в казино, а играйте в домино!». Так говорит Каракумов.

Дело в том, что в домино он проиграл ползарплаты, а в казино — целую...

«Это антиреклама, — говорит Каракумов, — ей можно доверять, а рекламе — нельзя».

Как-то раз, польстившись, он купил двуспальную кровать по цене полуторной, но оказалось, что она ни к черту, да и не годилась ему двуспальная. Широченное ложе захватило почти половину единственной каракумовой спальни — она же кабинет, гостиная и столовая, плавно переходящая в кухню. Все «гнездышко» — вместе с, пардон, санузлом — составляло, согласно муниципальному документу, двадцать с половиной метров, включая стены и часть лестничной клетки.

История с кроватью и казино началась на морском берегу в пятизвездочной гостинице — в одной из стран так называемого «третьего мира».

Было дешево. В первый же вечер он, материально и теоретически подготовленный, дал официанту в гостиничном ресторане плевые чаевые, и с тех пор, в течение всего отдыха, его обслуживали бережно и почтительно.

Отношение персонала к Каракумову произвело впечатление на барышню-землячку, и Каракумов пригласил ее в казино, где проигрался в рулетку.

С землячкой вышел бурный роман, и воспоминания о широкой гостиничной кровати долго не оставляли Каракумова, удобное ложе представлялось ему залогом успеха.

В последующей, некурортной жизни, та же барышня оказалась занудой, а приобретенная кровать — скрипучей и жесткой. Он вернул ее

(кровать, а не барышню) в магазин и там же, доплатив, приобрел раскладной диван.

Воспоминания о проигрыше в домино тоже не оставляют Каракумова, но об этом шепотом...

На гостиничной веранде с видом на прибой мы проводим предобеденное время. Воздух вполне лечебный — остальные процедуры позади.

С Каракумовым играют Скотский, Лазаревич и Абракадабр, а Нирванский сидит в стороне — у него густые, но тоскливые усы и что-то вроде депрессии.

Он преподаватель иностранных языков. На вопрос: «Каких именно?», отвечает: «Всяких».

Больше всего на свете Нирванский ненавидит вазы, и последняя — та, что ему подарили студенты в честь окончания годичных курсов, —оправдывает нелюбовь: предмет, похожий на урну для праха после кремации, разве что без крышки. Видимо, курсы ассоциировались с чем-то замогильным: и в прошлом году ему подарили подобную вазу, и в позапрошлом... Дома у него стоят они на верхней кухонной полке, грозя когда-нибудь ее обвалить — чуть ли не цементное литье серого оттенка, даже не керамика...

Происхождение несуразных ваз Нирванский объясняет просто.

Сторож из колледжа, зять которого работает в крематории, приносит по нескольку штук в конце каждого учебного года и настойчиво рекомендует их студентам в качестве подарков учителям.

Предмет стоит дешево и выглядит солидно, к тому же сам зять выполняет на нем подарочную надпись золотом без дополнительной оплаты.

Абракадабр (сценический псевдоним) — джазовый музыкант. Он жалуется на жизнь:

«В нашем трио — контрабас, ударные и фортепьяно — только пианист может выпивать во время концерта. Как правило, на фортепьяно стоит бокал, из которого он периодически отхлебывает. Не о филармонии речь, а о выступлениях в кафе, клубах и ресторанах.

Ударник же и контрабасист остаются ни с чем: на ударные бокал не поставишь, а на контрабас — тем более...»

Если кто-то решил, что Абракадабр ударник или контрабасист, так это заблуждение — он-то как раз пианист.

Лазаревич — тайный агент Небесной Канцелярии — перенес клиническую смерть. Пьет только водку. О впечатлениях рассказывает охотно. Его повествование о загробном мире — смесь любовного романа с производственным, там же детектив и фэнтази... Вкратце, это слышится так:

«Назначили меня там начальником отдела «Жалоб и пожеланий», потому как стаж в этой области имею немалый — тридцать лет с хвостиком, и пояснили, что инспекторы, проверяющие на местах пожелания и жалобы, отыскали, видимо, способ материализации. То есть, прибывая на место, преобразуются и фланируют втихаря телесными живыми существами, а не духами, как положено. Всерьез заинтригованное начальство поручило мне разобраться и доложить. Надо признать, что вопрос этот волновал и меня лично, так как влюбился я там в свою секретаршу не без взаимности. Но что с духа возьмешь в таком деле? Кроме бестелесности, все у них нормально — бардак бардаком, как в любой конторе: сплетни, кляузы; любовь на канцелярских столах — к сожалению, без характерных ощущений — и так далее. Задание выполнить не удалось — реанимировали. Здесь у меня — пенсионера — никакой секретарши нету, но теперь я ко всем внимательно присматриваюсь: вдруг — дух! Правда, есть одна теория: думаю, что материализация происходит через водку. Может быть, и через коньяк — но откуда у духа деньги на коньяк?»

Скотский о нынешних своих занятиях не распространяется, зато вспоминает, как отбывал сержантом срочную службу. О себе повествует исключительно в третьем лице:

«Получил взвод пополнение. Все молодые-зеленые — прямо с гражданки. Каждый бахвалится — до начала процесса. А процесс в армии следующий: из личности в дерьмо, из дерьма в солдаты. Один из новичков попал к сержанту Скотскому в отделение — крутой парень, в «малолетке» побывал и женатый уже...

— Я когда из «малолетки» пришел, сразу женился, — объяснил он, — солидным хотел стать, чтобы в армию взяли. После армии «малолетку» списывают, будто и не было. Тем более, моя уже ребенка родила к тому времени — узаконил.

— А сидел за что?

— Мужика убил.

— Ничего себе...

— Я не специально. Пошел в лес на охоту, а там дядька пьяный выскочил с лопатой — и на меня. Я же маленький — испугался и выстрелил.

— Что ж ты — маленький — один в лесу и с ружьем?

— А у нас все так ходят.

— Ты просто Бог: захотел — убил, захотел — родил.

— Гонял его сержант, как собаку, — продолжал Скотский, — и сделал из него отличника всех подготовок, в том числе — стрелковой.

И, наконец, она! В ожидании близкого счастья и места за карточным столиком делится со мной своими и чужими тайнами. Полный пансион не прошел бесследно: она пытается похудеть, но говорит, что проще забеременеть.

Собрались мы, в основном, по двум признакам: все бессемейные (семейные, те сами по себе) и по этническому — заграница. Чужими языками лишь Нирванский владеет, да и тот тянется к землякам. Срок у каждого от недели до двух. Я, хотя свои процедуры закончил, задерживаюсь по некоторым причинам. Только чувствую, что уедет она с Каракумовым или с Абракадабром. Скотский и Нирванский тоже стараются. Даже Лазаревича нельзя недооценивать.

«Я — персональный пенсионер, — объяснил ей Лазаревич под луной, — жилплощадью обеспечен и в прежние времена кое-что скопил. Меня система любила, а я тебя полюблю. Кроме того, ты удивительно похожа на одну девушку из отдела «Жалоб и пожеланий», в начальниках которого я состоял до реанимации. Я бы даже решил, что ты — это она и есть, не будь у тебя такая теплая кожа... И такая гладкая... И такая сладкая...»

— Лазаревич сумасшедший старик, но недооценивать его нельзя, — рассуждает она. — Подобные старики помогают иногда целеустремленным молодым особам без городской прописки. Посоветуй, а то отпуск кончается. Ты же единственный мой друг — здесь, на чужбине.

— Может быть, Абракадабр? Лабухи прекрасно зашибают. И молодой еще...

— Молодой, но закодированный, а по трезвому — импотент, даже ванны не помогают. Правда, мне на секс наплевать — был бы человек хороший. Значит, может быть и Абракадабр. Тем более — творческих личностей я обожаю, только алкашей не терплю. Хотя, боюсь, он сорвется, чтобы свою состоятельность доказать.

— А Каракумов? — спрашиваю. — Мебель для семейной жизни имеет и какое-никакое жилье. С виду симпатичный: балагур и здоровяк — непонятно от чего лечится...

— Думаешь, мы с ним по ночам любезничаем? — продает она и Каракумова. — В казино ходим в рулетку играть. «Каждый тратит на свое», — говорит Каракумов. Он от кредиторов прячется и без чемодана денег домой не поедет, так как в домино далеко не ползарплаты просадил... А будет чемодан денег — то почему бы не Каракумов? Если только для него наши отношения не очередной курортный роман.

— Там, — предлагаю, — Нирванский в шезлонге сидит — игру игнорирует. Правда, вид у него замогильный — так, наверно, от интеллекта. Он, конечно, почасовик, но хватает же на курорты ездить...

— Этот вроде бы ничего, — соглашается. — Только напуган слишком. Тени собственной пугается, и здоровье ни к черту... То грома боится, то шороха — сразу сердечный приступ... Пьет лекарства и до загса может не дотянуть. Хотя, в любви мужчина резвый — больное сердце ему не помеха. То есть, и Нирванский может сгодиться.

— Даже в дурака, — отмечаю радостно, — продулся твой Каракумов. — Хорошо хоть не на деньги играете. Иди — твоя очередь.

— Зато в рулетку ему очень везет, — сообщает она.

О Скотском известно достаточно. Раскололся крутой парень, как яичная скорлупа. Наутро, за завтраком, она мне все доложила.

Список его болезней мог бы стать поэмой, не будь он пародией на медицинский справочник. С такими-то мускулами! Сразу видно — человек по делу. Ничто нечеловеческое ему не чуждо.

Мне ясно, что два персонажа из армейских рассказов поменялись ролями. После службы не вернулся стрелок-отличник в родные края — остался стрелком. Для конспирации — от алиментов скрываясь и профессии ради — позаимствовал фамилию у любимого сержанта. На сегодняшний день он удачно выполнил несколько заданий и здесь кого-то разыскивает или отдыхает от работы, ожидая новых заказов. Выводы, исходя из данной информации, приходится делать самому. Для нее-то наш Скотский — этакий Робин Гуд на службе у государства. При нем всегда мобильный телефон, по которому он не разговаривает — если раздается звонок, слушает и молчит.

«Дело, — говорит она, — у него прибыльное. К тому же — романтика. Люди новые, города... Стоит подумать...»

Номер мобильника тоже известен: «Если что, звони, — предложил ей Скотский. — Там автоответчик, но, если услышу твой голос — лично отзовусь».

Я не представляю интереса, так как женат. И хотя уехала Карина, претендую лишь на роль доброго приятеля и советчика, мужа курортной наперсницы (успели бабы спеться за неделю), с которым — ни-ни.

Она же слишком приличная: не для того одалживала и собирала, чтобы лечить на водах мифическое недомогание или заводить бесполезный роман, а для того, чтобы найти вариант солидный. И ведь как повезло — столько холостых и серьезных собралось в одном месте.

— Как нервишки? — интересуется выбывший из игры Каракумов, чтобы завязать разговор. — Ванны помогают? Я, например, разрешил здесь массу проблем — собственно, курорты и существуют для их разрешения. Дела такие — хоть женись. Кстати, как она тебе нравится? Простовата? Ты на формы смотри — не увидишь подобных в столице... Там все женщины диетические.

— Может быть, по стопочке? — предложил сменивший Каракумова Лазаревич. — Это не беда, что до обеда. Я, когда еще там работал (он тычет пальцем приблизительно в направлении верхнего гостиничного этажа), с утра начинал. Мой зам без бутылки спирта на планерке не появлялся, знал — уволю за несоответствие. А там (тычет он все тем же пальцем, но теперь уже в небо) я ее вместо чая, кофе и супа... Говорю секретарше: принеси кофе — она и несет в хрустальном графине. Правда, водка там никакая: пьешь и не хмелеешь — бестелес-

ная, не та, что здесь... Здесь, как выпьешь — сразу прилив энергии. Члены, извините, силой наливаются — отвердение, так сказать, на лицо и на прочие органы...

— Почему же водка больше, чем коньяк способствует материализации духов? — интересуюсь я. — Чем коньяк хуже?

— Элементарно хуже, — отвечает старик, — мне от него дурно. Статус мой вполне коньячный, но мозги не принимают, словно зомби становлюсь — бери за руку и веди куда хочешь. То есть, не материализации он способствует, а наоборот... И стоит дорого. Я персональный, а все же пенсионер — пью, бывает, и коньяк, но когда угощают. Экономлю, так как личная жизнь у меня еще впереди, и на этом свете, и, надеюсь, на том, если справлюсь, разумеется, со своей миссией.

— Если так, — размышляю вслух, — то, материализовавшись, нужно с водкой завязать, чтобы не стать абсолютно твердым предметом и своевременно вернуться в состояние полной духовности посредством коньяка.

Лазаревич согласен — это предположение не противоречит его теории.

Потом Абракадабр освободился и поведал под настроение — почему он представляется не своей фамилией, а сценическим псевдонимом, который сам по себе звучит довольно странно.

— Фамилию эту вслух произносить неприлично, особенно при дамах. Наградил папаша и на смертном одре повелел не менять — для ее же продолжения. Дважды я чуть было не женился — как услышит невеста мою фамилию — облом. Была и третья любовь — она не из-за фамилии прервалась, а из-за моего пьянства. Почему — Абракадабр? Вроде как бессмыслица — абракадабра. У покойного папаши никаких претензий быть не может. Главное, для джаза подходяще... Теперь я пить бросил, а фамилию сменю хитрым образом — чтобы предки не обижались и девицы не конфузились. Мне идею Нирванский подкинул — перевел это слово на четыре языка — очень даже благозвучно, выбирай любое. А в оригинале...

Он шепчет мне на ухо. В самом деле, вслух повторить неудобно.

Вот и время подошло поболтать с Нирванским — все же мы компания, а мужик усы развесил, заскучал...

— Женщины, — говорит Нирванский, — смотрят на мужчин снизу вверх, из-за разницы в росте, и видят их лица в искаженном варианте. Поэтому они считают нас свиньями — из-за двух зияющих ноздрей. Мужчина с усами — герой. Усы — вызов, приглашение на турнир. Усач подвергает себя постоянной опасности ради женщины. Дон Кихот был с усами, и она, неискушенная девочка, об этом знает — в кино видела.

Затем остался Скотский в дураках и решил поговорить.

— Ехал поездом сержант в длительную армейскую командировку, мечтал о море и на каждой станции покупал пиво. Оказалось — существуют места, где о пиве не имеют представления. Возьмем районный центр в глухомани. Единственный пивной ларек находится возле вокзала. Вокруг него полсотни мужиков с личной тарой. Хватает сержант трехлитровую банку и бежит к ларьку, так как стоянка — пять минут. Мужики пропускают без очереди. Успевает он заскочить в поезд в момент отправления, начинает пить и чувствует — это не пиво, даже не прокисший квас — такая бурда. На другой станции пиво напоминает ситро без газа. Но ведь люди там рождаются, живут и умирают, оставаясь в неведении. И решил сержант поселиться когда-нибудь не в подобном месте, а там, где есть море и пиво, с любимой, а не случайной женщиной, которая будет честно ждать его из длительных командировок и не родит ублюдка — по расчетам неизвестно от кого. И еще он решил, что не хочет быть чьим-либо другом, потому что это себя не оправдывает.

Она, похоже, предпочла Абракадабра.

— В семейной жизни секс не главное, — говорит, — главное, чтоб не пил. Со временем и секс образуется. Я-то помогу, так как имею способности.

После обеда наливаю Лазаревичу.

Его тревожит, что Абракадабр непьющий, и псевдоним, обозначающий бессмыслицу, тоже настораживает.

— «Абракадабра» — это древнелатинское заклинание, — говорит натасканный в магических вопросах старик, — я в словаре смотрел. И на девочку мою он пялится неспроста. Она в отделе «Жалоб и пожеланий» всем по вкусу. Как тут действовать?

— С помощью коньяка, — подыгрываю старику, — и посредством серьезного мужского разговора. Если Абракадабр из вашего ведомства — можно договориться. Пусть одухотворяется и валит с глаз долой, а ты взамен его от начальства отмажешь.

— Это же коньяк покупать... — сомневается Лазаревич. — Вдруг я потрачусь, а он пить не станет? Слишком большой риск.

— Ради истины, — говорю, — забирай бутылку.

— В больницу увезли Абракадабра, — сообщаю я через час. — Одухотворился коньяком. Много принял. Только и сказал на прощание: «Лазаревич — вы идиот». Так что свидание отменяется. Кстати, настоящая его фамилия...

Я шепчу ей на ухо.

— Фи, — говорит она, — но теперь это не важно. С кем пойти? Отпуск-то кончается. Может быть, со Скотским или с Нирванским?

— Лучше с Каракумовым сходи в казино. Помоги наполнить чемоданчик — для тебя человек старается.

Утром увезли Нирванского — сердце подвело. Неизвестно, выдюжит ли парень. Если помрет — его кремируют вместе с усами и похоронят в здешнем колумбарии. Как выяснилось, его страховка не предусматривает доставку тела на родину. Впрочем, медицина тут на высоте — наверно, выкрутится.

Вчера на автоответчике, после фразы: «Сообщите номер телефона, вам перезвонят», было оставлено сообщение. Перезвонили. Абонент разговаривал с женщиной. Задача — срочно кое-кого припугнуть. Ездить никуда не надо, клиент рядом. Предоплата наличными. Деньги в чемоданчике, под кроватью у Каракумова. Взять их нужно ночью, когда сам Каракумов будет находиться в казино.

Чего так боялся Нирванский — осталось загадкой. Но не может быть праведным человек, знающий столько иностранных языков!

Скотского арестовали за завтраком. Повезло службам. Искали его давно, а тут подвалило даром. Похоже, он вернется туда, где гулял в малолетстве с ружьем и где пиво хуже прокисшего кваса. Даже такое пиво Скотский увидит не скоро.

Звонила Карина. Она прекрасно справилась с ролью заказчицы, а также навела в столице справки о Каракумове. Теперь кредиторы знают, где его искать. Впрочем, он уезжает сегодня вечером. Его обворовали, и в рулетку уже не везет — сорвался фарт. У Каракумова два варианта — опять в бега или вернуться, продать квартиру с мебелью и рассчитаться с долгами.

Лазаревичу отказала любимая девушка.

— Старый жмот и пьянь... — сказала она.

Чтобы его успокоить, я прикупил коньяку.

— Заждались меня в Небесной Канцелярии, — говорит Лазаревич, пора возвращаться. Задание я выполнил...

Дед очень сдал за последние сутки, ему от коньяка, в самом деле, нехорошо. И выглядит, как зомби — хоть за руку бери и веди куда хочешь.

У нее отпуск кончился. Еще недавно она мне нравилась, а теперь смотрю — дура дурой.

Мне тоже пора уезжать.

Я не играю в карты, но и в моей игре кое-что зависит от везения, разумеется, от чужого, потому что я сдаю не вслепую.

Ольга ЦЕХНОВИЦЕР

/ Санкт-Петербург /

Из цикла
«Стихи для Ирочки»

■■■

Жизни хитрые приманки
Возбуждают аппетит.
Как у теплой запеканки —
Жизни корочка блестит.

Тают тени укоризны...
Вот мы млеем, рот открыт...
Но надежно в механизме
Спрятан таинства магнит.

Где он? что он? в чем он? чей он?
Вот-вот-вот... и ни гу-гу.
Я затейника затеям
Подыграю сколь смогу.

Цель небесных ухищрений
Нас развлечь в земном аду?
И сачком, от счастья млея,
Ловим тень в ночном саду.

ок. 1989 г.

Владимир ШПАКОВ

/ Санкт-Петербург /

Год Петуха, или Как я продавал Довлатова

Осенью я в очередной раз потерял работу. На мне уже висел долг в пятьсот долларов, а тут еще ноль в перспективе... Долги в том году росли пропорционально курсу зеленых (других денег кредиторы не признавали), и когда подходил срок, я перезанимал, отдавал и вновь залезал в финансовую кабалу. Графически кабала представала в виде схемы, которую я составил: кредитор — кружочек, заем — стрелочка ко мне, обозначенному крестиком. На первый взгляд — паук в центре паутины, по сути — запутавшаяся муха. А все метания жалкого насекомого заключались в сохранении реноме платежеспособной персоны, которая не хотела мириться с новой реальностью, упорно толкавшей персону в объятия нищеты.

Перед Новым годом на улицах продавали самодельных петухов, чей год, согласно восточному календарю, наступал. Моим подарком жене была керамическая птичка, в свою очередь, подаренная знакомым керамистом Акимовым. И долготерпеливая супруга стала поговаривать о разводе. Она демонстративно отогревала ноги у батареи, сняв ботинки на рыбьем меху, и по любому поводу с ехидством вспоминала гонорар, полученный той злополучной осенью за публикацию в журнале «Огонек».

Когда рассказ взяли, мне по секрету назвали сумму, какую получу — внушительную, надо сказать, даже с учетом гениальных мероприятий правительства. В момент публикации сумма еще что-то внушала, когда же я получил перевод, инфляция обгрызла мое первое литвознаграждение, как стая пираний — упавшую в Амазонку корову. Я раздал часть долгов, купил жене ботинки (на сапоги уже не хватало) и, как и прежде, остался на бобах.

— Это не гонорар, — говорила жена, с презрением пиная обновку, — Это слезы, которые высохли! Это прошлогодний снег, который давно растаял!

Раньше я не замечал за ней склонности выражаться художественно. Может, нищета способствует? Мои мозги, во всяком случае, буквально закипали, напрягаясь от вопросов: где, каким образом и сколько? Я грузил дыни, я распространял эзотерическую литературу и даже рекламировал в подземном переходе очистители для воды. Однако кружков на схеме не становилось меньше, скорее, прибавлялось, а зима вступала в свои права, вымораживая остатки надежды.

Однажды у метро я услышал, как торговка газетами кричала другой:

— Валька, мне тоже пожрать купи! Только обязательно горячего, а то здесь совсем окоченеешь!

Некто в телогрейке по имени Валька собирала (собирал?) деньги с торговцев, чтобы отправиться в кафе, расположенное через квартал. «Они хотят есть, — думал я, шагая домой. — Заметь: горячего, — а кафе у черта на куличках! Но ведь можно организовать питание прямо на месте!» Идея — великая вещь, и я ускорял шаг, в ту минуту полностью веря в легенду об упавшем на голову Ньютона яблоке.

Оптимальным решением было печь блины: во-первых, дешево в изготовлении, во-вторых, их много влезает в чугунную утятницу. Чугун, как я знал, долго хранит тепло, а если утятницу еще опустить в пуховой мешок (память о грудном возрасте дочери), то час-полтора нужная для желудка температура обеспечена.

В день моего торгового дебюта, когда я уходил, неверующая супруга перекрестила меня в спину. А когда я вернулся (со щитом? нет, правильней будет: с пустой утятницей), в первый раз за последние месяцы бросилась мне на шею.

Прожорливость торговцев удивляла: брали по три, по пять, а кто и по семь блинов, благо, цену я назначал божескую. «Мы количеством возьмем!» — ликовал я, трусцой, дабы не остыло блюдо, обегая клиентуру: газетчики, сигаретчики и коммерческие палатки по Салтыкова-Щедрина. Когда же в ближайшем кафе пересчитывал выручку, то не верил глазам: деньги! С Лукичом и водяными знаками, настоящие, ж и в ы е деньги! Этими мятыми бумажками можно было расплатиться с долгами, прокормить семью; далее контроль над воображением утрачивался и блазнилась увесистая пачка, капиталец, раз и навсегда решивший бы мои проблемы.

Жена как-то обмолвилась, мол, на Сенной видела шикарные австрийские сапоги. А в моем лексиконе появилось выражение: «Когда я разбогатею». Пока жена крутилась у плиты, я под шкворчанье масла развивал идеи в духе бессмертного гоголевского персонажа: одной утятницы мало, надо минимум три. Опять же, можно сделать подогрев на батарейках, ведь у меня — электротехническое образование. А самое лучшее — завести палатку с плитой и нанять разносчиков, чтобы

доставляли продукцию с пылу, с жару прямо на рабочие места коммерсантов.

Вскоре пробежки по морозцу довели до простуды и постельного режима. Но и с грелкой на груди я мысленно летел вдоль ларьков, подсчитывая выручку: сегодня тысяча бы вышла, да и завтра, наверное... На самом деле это был чистый убыток, приносивший страдания куда сильнее гриппозных. А тут еще керамист Акимов звонит, как обычно, с жалобой на судьбу.

— Поздравь, мне опять отрубили свет в мастерской! Говорят, тигель пожароопасный, — а в нем всего-то три киловатта! Нет, ты видал таких мудаков?!

Вспомнив похеренное электротехническое образование, я вяло возразил, мол, наша проводка на твой тигель не рассчитана.

— Ты тоже мудак! — сказал Акимов, — А вообще — как дела? Чем зарабатываешь в эпоху инфляции?

«Не одному же ему жаловаться», — подумал я и рассказал о блинах и болезни, так некстати прервавшей мой бизнес.

— Блины, говоришь... А давай я вместо тебя поработаю? Ну, пока болеешь? Блины я, правда, печь не умею — я пирожками буду торговать, с капустой!

Вообще-то Акимов лепил чайники и фигурки из глины, обжигал их в своем «маломощном» тигле, а затем продавал у Катькиного сада. Пик спроса приходился на канун Нового года, когда публика запасалась талисманами — свиньями, обезьянами, в остальное же время дела двигались ни шатко, ни валко. И я, поразмыслив, дал керамисту карт-бланш: пусть подхалтурит, заодно конкурентов на участок не пустит.

Спустя три дня я вытащил себя из постели, замесил тесто, а к обеду уже выскочил на мороз. По радио передали: в городе — 18 градусов, что предвещало неплохой спрос и быстрое возвращение домой.

— Блины? — усмехнулся продавец газет. — Не с капустой, случайно?

— С творогом! Горячие, домашние, с пылу — с жару!

— Вкусные, наверное? И питательные?

Ирония была непонятной, а отказ покупать — вовсе загадочным. В парфюмерном ларьке история повторилась, а торговец сигаретами просто послал, мол, вали-ка со своей домашней выпечкой подальше!

Вечером я звонил Акимову — тот жаловался теперь на то, что свет врубили, но счетчик крутится, как бешеный. В голосе, однако, проскальзывали нотки вины.

— Ты чем, гад, накормил моих клиентов?!

— Пирожками, чем же еще... Понимаешь, я все продал, кроме одного. Пришел домой, съел его, а теперь третий день с горшка не сле-

заю... Может, в моем тигле испарения какие-то задерживаются? Ну, химические?

Опять вставал вопрос: чем зарабатывать на жизнь? И с каких шишей отдавать долги? Я поглядывал на подаренного Акимовым петуха и то и дело порывался разбить неповинную птичку. «Год Петуха, блин... — скакали мысли. — Год блинов и нищеты — когда же он кончится?!»

Тогда-то и возник Довлатов. В магазинах появился первый том собрания сочинений, по неслабой цене, и я завистливо наблюдал, как зажиточный народ в Доме книги заворачивает в митьковский «супер» то, что и я не прочь приобрести. Другое же полушарие воспаленного мозга прикидывало: если здесь дорого, то сколько будет стоить том, скажем, в Москве? «Раза в полтора больше», — отвечал я сам себе. В коммерции, вероятно, лиха беда начало, дальше психика перестраивается, как правило, необратимо. И я рылся в старых записных книжках, ворошил бумаги на антресолях, пробуждая подозрительность жены, а в голове крутилось: Камышанский, Камышанский... В годы моей литучебы человек с такой фамилией продавал книги на Тверском бульваре; я же искал на лотках полного Набокова и, помнилось, брал у Камышанского телефон. И — о, чудо! — нашел-таки обрывок конспекта с блеклыми цифрами!

— Помню, помню... — гудел в трубке басок. — Ты такой здоровый и толстый, да?

— Нет, я худой и в очках.

— Все равно помню... У меня память знаешь, какая? В нашем деле без памяти никак, сам понимаешь.

Идея с первым томом привела Камышанского в восторг, мол, давай, давай, я давно ищу питерского дилера по работе с Довлатовым! «Дилера? — задумался я, — да хоть горшком назовите!» Книжник просил привезти сразу десять пачек, а главное, без всяких реализаций выплачивал наличные, лишь бы товар был доставлен.

Под такое дело не грех было еще раз залезть в долг. В редакции журнала «Звезда» я закупил книги, а вечером уже тащил их по перрону и спорил с проводником, посчитавшим груз багажом. Пришлось дать взятку в виде книжки — другого ничего не было. На следующий день я вернул потраченное с прибылью, а по возвращении в Петербург с надеждой взялся ожидать звонка из Москвы.

Ожидание вышло недолгим: том улетел со свистом, и Камышанский затребовал еще пятнадцать пачек. На листе появилась очередная заемная стрелочка, а в «Звезду» потребовалось делать две ходки, благо, редакция в шаге от дома. Сталкиваясь со мной в коридоре, соредактор Яков Гордин останавливался и глядел вслед. На его лице отражалась работа мысли: где-то он меня видел... Где? Мы пересекались на писательских тусовках, но я, не дожидаясь вспышки памяти, скрывался за дверью отдела распространения. Имидж серьезного ли-

тератора в эпоху инфляции — «фикшн», а все равно обидно, если тебя застукают на торговых делишках. Фет был прижимистым помещиком, Толстой тоже знал толк в хозяйстве, а нас, черт возьми, торговля смущает! Мы, видите ли, труженики пера, лишь от него кормиться желаем! Но, как бы то ни было, перед вывозом тележки я вначале выходил разведать: не торчит ли в коридоре кто-нибудь из литературных знакомых?

Между тем дела шли в гору. Маршрут: редакция, дом, вокзал — сделался привычен, как и поездное купе, где я научился распихивать пачки так, что их совершенно не было видно. А дорога до Москвы уже представлялась не длиннее перрона: дошел до вагона, поспал, а утром одолел остальную часть пути — от вагона до вокзала. Все проводники поезда №13 получили от меня по книжке Довлатова и уже спрашивали второй том. А Камышанский теперь не перегружал книги под лоток, а приглашал домой, на Малую Бронную, куда я подкатывал с шиком, на таксомоторе.

Квартира книжника была завалена разнокалиберной словесностью: от детективов до философов средневековья. Но самое примечательное, что в большой комнате жил (ей-богу!) петух. Из деревянных брусьев была сколочена вольера, а в ней разгуливали пестренькая курочка и петушок с лихо заломленным набок гребнем.

— Мне деревенские яйца надо есть, — объяснял Камышанский, — Один знахарь посоветовал. А покупать их на рынке — накладно, да и некогда мне.

Яйца, правда, пока не неслись, и вовсе не по вине курочки. Иногда Камышанский отвлекался от коммерческих дел, приближался к вольере и, включив там свет, чего-то ждал.

— По идее, он должен ее оплодотворить. Свет — как сигнал к действию. А он, дурак, отворачивается...

Проходила минута, другая, а сексуальной оргии так и не случалось.

— Странный какой-то петух... — задумчиво говорил Камышанский, — Импотент, наверное.

Однако секс пернатых интересовал его меньше, чем прибыль от книжек Довлатова. Я еще трижды довозил первый том, а на носу был выход второго и третьего.

— Давай, давай, больше вези! — подгонял книжник, — Они у меня как горячие пирожки идут!

Я вздрагивал, вспоминая Акимова, и думал: «Нет, не надо — как пирожки». А когда оглядывался на петуха, покидая пенаты Камышанского, мысли принимали другой оборот: «Мистика... Год Петуха, блинов и Довлатова».

Меня вообще тянуло в мистику, в сюрреализм, так что, имея дело с книгами успешного автора, я иногда размышлял: понравились бы мои

рассказы Довлатову или нет? Скорее всего, нет: покойный писатель был скромнее на сей счет, он не одобрял «достоевщину» в любом виде. Но, как известно, к собратьям по перу Довлатов был внимателен и добр, и, отстаивая свою линию, я расценивал эпопею с книгами вполне в мистическом духе. Мол, Довлатов и с того света помогает авторам выжить в растреклятое время, и если я когда-нибудь разбогатею... Да, думалось, если разбогатею и окажусь в Нью-Йорке, то обязательно принесу на могилку цветы — на ту сумму, какую удастся заработать.

Начиная со второго тома я брал книги в издательстве на Измайловском, откуда вез их прямо на вокзал. Думал ли я, что когда-нибудь марксовская абстракция «деньги-товар-деньги» сделается столь весомой и зримой? Нет, конечно, да и некогда было думать: только успевай занимать, возить и рассчитываться с кредиторами.

Камышанский открыл еще один лоток на Суворовском бульваре и теперь кормил меня яичницей. Петуха, наконец, прорвало: он «топтал» курицу при свете и в темноте, со страшной силой (сам был свидетелем), и книжник в телефонных разговорах предупреждал:

— На вокзале не завтракай, валяй сразу ко мне. Эти яйца у меня уже из ушей лезут.

Гипотетический букет с каждой поездкой разрастался, делался неподъемным, а жена уже делала намеки, мол, в комиссионке можно купить недорогую шубу.

— Почему же недорогую? — надменно сказал я, — Можно и дорогую.

Оказалось, я дразнил судьбу.

Моя графическая схема с каждой операцией усложнялась, и я сам уже путался в кредиторах: раньше это были мои близкие знакомые, потом дальние, а сейчас и вовсе пошли знакомые знакомых. Двумя красными стрелками, как направления ударов на маршальском плане, были отмечены возвраты долгов — дважды по сто баксов. Еще несколько победных атак, и можно было бы уничтожить долговую схему; однако человек, как известно, лишь предполагает, а располагает... Непонятно кто, кстати, нами располагает.

Я уже забыл об очередном перезаеме, когда раздался телефонный звонок. Одна из «знакомых знакомых» буквально разрывала трубку, обзывая меня мошенником, прохиндеем и, что совсем уж не соответствовало истине, — фальшивомонетчиксм. Почему?! Потому что вы подсунули мне фальшивые сто долларов, да, да, я не дура какая-нибудь, у меня номер купюры записан! Кстати или нет, но в памяти всплыло: «У меня все ходы записаны!» — и дальше сцена бегства Остапа от разъяренных любителей шахмат. Мне, однако, бежать было некуда, и вскоре у меня в квартире тоже стоял ор, а перед моим носом размахивали разорванной пополам сотней.

— Я пошла менять деньги в банк... Неважно какой — приличный банк! А они говорят: мы сейчас милицию вызовем! Ну, я с виду не воровка, сами видите, уговорила их просто разорвать фальшивую купюру; но с вас, извините, я требую отчета! Вы записываете номера банкнот?

— Зачем? — спросил я, услышав в ответ гомерический хохот.

— Нет, он только вчера родился! А если фальшивую подсунут? Сейчас в Ираке знаете, сколько долларов производят? Больше, чем в Вашингтоне!

Мы вместе корпели над схемой, обзванивали близких знакомых, затем дальних, но никто, естественно, не признался в связях с арабскими производителями фальшивок. Пришлось брать вину на себя: лох, номера не записываешь, вот теперь и расхлебывай!

У двери визитерша задержалась.

— А вы, я слышала, Довлатовым торгуете... По какой цене?

— По оптовой, — тоскливо сказал я.

— Тогда продайте мне одну книжку, о кей?

Закупать третий том я шел с надеждой отыграться. В перспективе маячила поставка полного комплекта из трех книг, чему Камышанский предрекал финансовый успех; и вообще, исходя из мистической концепции, Довлатов не даст пропасть! Я спешил и перед светофором прибавил шагу, чтобы успеть под зеленый.

Меня обогнал некто в кожанке и, скакнув на проезжую часть, выронил из кейса небольшой пакет. Сквозь целлофан мелькнула физиономия американского президента (деньги?!), так что первой реакцией было:

— Эй, гражданин...

В этот момент другой неизвестный нагнулся, сунул пакет в карман, а затем цыкнул на меня:

— Тише ты, не базлай!

— Но как же... Надо отдать — вон тому, видишь?

— Да ты что — с Луны свалился? Топаем отсюда быстрей!

Красный свет отсек нас от хозяина денег — кожанка мелькала уже далеко, а неизвестный тянул меня в обратную сторону.

— Ну, даешь... Да у этих кожаных — бабок немеряно, не обеднеет! А нам с тобой на год хватит, а то и больше! Щас зайдем за угол, разделим — и по сторонам, пока он не очухался!

Мой спутник был одет неряшливо, как бомж, и в глазах его стыла вековая ненависть бедных к богатым. Я всегда самонадеянно причислял себя к виртуальному сословию под названием «мидл-класс», но с учетом моих долгов... Пожалуй, мы находились на одной ступеньке социальной лестницы. Собрат по ступеньке продолжал учить жизни, и воображение невольно разыгрывалось: теперь и долг можно отдать (с процентами!), и вообще, быть может, не работать. Не гнуть спину ради

денег — мечта любого литератора! Стыд еще боролся с алчностью, но с каждым шагом его голос тускнел, глох, и я соглашался, мол, конечно, еще наворует!

— Вот сюда свернем, а потом в какой-нибудь парадняк...

Когда отошли довольно далеко от людного Измайловского, спутник обернулся и скрипнул зубами:

— Очухался, блин... Ладно, мы ничего не знаем и не видели, понял?

Кожанка приближалась не очень уверенно и вообще не производила впечатления классического «быка» из мафии. Субтильная фигура, и в глазах — не угроза, а, скорее, паника.

— Ребята, вы пакет с деньгами не подбирали?

— Какой еще пакет? — буркнул мой спутник, — Не видали мы никакого пакета.

— Это не мои деньги, мужики... Честное слово, мне за них не знаю, что будет!

Голос дрожал, так что естественный испуг опять уступил место стыду: вот ведь как... Потерпевший не напирал, не лез в карманы — он просил, если можно, вернуть хотя бы доллары.

— Оставьте рубли себе, если хотите, но хотя бы баксы верните! Ну, покажите, у вас доллары есть? Мне же сказали там: двое подобрали и ушли... Ребята, я вас прошу!

— Нет у нас никаких бабок! — гнул свое спутник, — Чего ты к нам вообще прицепился?!

И тут полились слезы — настоящие, потоком; и челюсть прыгала, и всхлипы такие, что хотелось провалиться сквозь землю. Богатые тоже плачут — теперь я убеждался в этом воочию.

— Ну, покажите, есть у вас доллары, а? Меня же бандиты пришибут! Они мне ребра переломают!

Ребра меня добили. Согласитесь: негуманно ломать человеку ребра; и в то же время я стыдился залезть в карман своего «подельника» — надеялся, что тот сам вернет.

— Нет у меня долларов, старик! — честно сказал я, доставая наличность, — Не веришь — посмотри!

Шмыгая носом, потерпевший прошелестел купюрами, затем вернул.

— Нету, верно... А у тебя?

Мой спутник тем временем отступил на шаг, другой, а затем вдруг дал деру.

— Постой!! — отчаянно закричала кожанка. — Я тебя умоляю — остановись!! Они скрылись за углом, а я счел разумным удалиться.

Перед дверью издательства, однако, в душу закралась смутная тревога. Когда я достал деньги, обнаружился странный факт: если сотенные и тысячные были на месте (девяносто процентов бумаги), то

пятитысячные (девяносто процентов стоимости) куда-то исчезли. А именно: были виртуозно изъяты под всхлипы и сопли, причем искать бродячих актеров вряд ли имело смысл.

Я никогда не производил впечатление человека имущего, и остается загадкой: как меня вычислили? Плюс психология, плюс расчет на стыд — нет, не говорите мне, что мистики не существует! Вернувшись домой, я залпом выдул полбутылки водки и уселся за схему, где должно было прибавиться синих неприятельских стрелок, что безжалостно громили мою наладившуюся было диспозицию. Надо же, вообразил себя финансовым тузом! Пауком, видите ли, когда ты не более чем ничтожная дрозофила!

Потом под руку попался довлатовский том. Я с тоской глядел на фото автора, где тот сидит в углу, выставив вперед ботинки, и вдруг... Нечто похожее, наверное, испытал Германн, когда ему выпала пиковая дама. «Что, обогатиться решил? — ехидно подмигивал Довлатов. — Накось, выкуси!»

Вечером я листал другой том — «Звезды и судьбы», оставшийся после новогоднего визита тещи. Про год Петуха там было написано: «Суровый год. Риск, безработица. Деньги не свалятся вам с неба без усилий». Ладно, это хоть немного успокаивало (против судьбы не попрешь), но далее следовало: «Военный парад. Самое время просить себе орден Почетного Легиона». И крыша съезжала со скрипом, когда я, дико хохоча, представлял себя марширующим на параде с книжкой Довлатова в руках и орденом Почетного Легиона — на груди.

В те дни я расширил свои знания о людях, обнаружив, что признание о невозможности отдать долг (заявленное в глаза) порождают на лице кредитора непередаваемую мимическую игру, после чего, как правило, эмоция артикулируется. С двумя знакомыми я разорвал всякие отношения; еще двое перестали здороваться со мной. А жена удивила: в самый кризис перестала вдруг ругаться и попрошайничать, заявив:

— Ладно, будем как-то выбираться из этой задницы. Вместе.

Как и положено книжному воротиле, я тусовался в ДК Крупской, вызнавал конъюнктуру и прикидывал: на чем бы еще заработать? Предлагали «Сто рецептов самогона» без выходных данных, «Практическую черную магию» (с выходными), а однажды во внутреннем дворике меня отозвал в сторону таинственного вида деляга:

— Хочешь моим дилером стать?

Словечко заставило насторожиться — этим самым я уже был. Деляга, оглядевшись, достал из-под полы увесистый том:

— «Майн кампф». Берешься распространять?

— Ты че, дружище... Не опохмелился, что ли?

— Да это единственная позиция, на которой можно серьезные бабки сделать! Улетает — мгновенно!

«Вот она какая, сторона родная... — думалось, — не Довлатовым единым живет». Иногда я пытался представить, как мой визави существовал бы в той похабщине, что захлестнула его историческую родину от Балтийского до Охотского, но воображение отказывало. Наверное, он вовремя уехал. Да и умер, похоже, вовремя, потому что заокеанская похабщина — не лучше, разве что напомажена и припудрена для солидности.

А еще я испытал удивительное чувство под названием «гори-всеогнем». Бывает такая точка, откуда ниже падать некуда, и становится даже весело, мол, и ладно, и успокойся. Успокоение при этом — нервическое, временами тебе хочется взять в руки спички, канистру с бензином и что-нибудь поджечь (что именно — неважно, в чем вся прелесть).

Тем не менее я закупал трехтомники в последней попытке «вылезти из задницы». Дозвониться до Камышанского не удавалось: трубку брали незнакомые люди, отвечали довольно грубо, и я в отчаянии кинулся в Москву — налегке, без книг.

Лотка на Тверском не было, на Суворовском — тоже. Вернувшись под козырек театра Пушкина, я заметил поодаль закутанную в платок даму, продававшую религиозную литературу. Испепеляемый взглядом сектантки, в чью незамутненную духовность лезет нехристь поганый, я с полчаса, наверное, допытывался о судьбе компаньона.

— А вы точно из Петербурга? Не знаю, не знаю... А покажите паспорт!

Штамп о прописке почему-то убедил; крикнув мороженщице, чтобы та присмотрела за лотком, сектантка повела проходными дворами, мимо свалки мусора — к церквушке, что стояла в строительных лесах. В полумраке, среди лампадок я и обнаружил Камышанского, который торговал свечками.

— Тут такое было... С просроченной лицензии началось; потом плату за место потребовали, потом банку кредит срочно выплати... Даже из дому сбежать пришлось, там сейчас квартиранты живут.

— Крутые наехали? — уточнил я тупо (разницы вообще-то не было).

— А хрен их разберет. Лицензию милиция требовала, а по мозгам бритоголовые давали... Теперь вот в храме божьем спасаюсь. Пока свечки, а потом жития святых дадут продавать — батюшка обещал.

Можно было подыскать другого партнера по бизнесу, но силы вдруг оставили — а гори все...

— Как петух? — спросил я на прощанье.

— Сдох, — мрачно ответил Камышанский. — Перестарался, похоже... Ну, я же говорил, что он странный!

Наступил май. Окруженный пачками книг и морально раздавленный, я без восторга воспринял визит Акимова: «Опять жаловаться будет, а тут и так хоть в петлю...»

— Поздравь, меня выперли из мастерской! Дом на капремонт ставят, мудаки, и всех выселяют! О, да тут у тебя полный Довлатов! Подари один трехтомник!

Вспомнилась зима, пирожки, крах прекрасного начинания...

— «Подари» будет при коммунизме, — злорадно сказал я. — А коммунизма никогда не будет. Эрго... Купи!

Акимов усмехнулся.

— Когда ты узнаешь, какая у меня есть идея... Ты не только подаришь — ты мне вслух читать будешь!

Я уже говорил: нищета ускоряет мозговую деятельность — Акимов, в частности, открыл способ зарабатывать на аквариумных растениях, которые растут в пригородных прудах. Вылавливаем килограмм пять сигаттарий (так выразился керамист), сдаем в зоомагазин и получаем деньги.

— Баш на баш, — хлопал он по плечу. — Когда-то ты мне идею подкинул, теперь я тебе. Поехали завтра? Уже лето на носу, так что заодно откроем купальный сезон.

Что мне было терять? В худшем случае — утонешь, но это уже не пугало.

Поехали в Петергоф, где по данным разведки в прудах росли загадочные сигаттарии. Несмотря на майскую погоду, вода была холодящей, а дно — илистым и противным. Главное же: мы больше часа лазили по «шельфу», как Дуремар с Карабасом, но растения почему-то не попадались.

— Может, она в другом пруду растет? — стуча зубами, спрашивал я. — Сигаттария, мать ее растак...

— Может, в другом... — неуверенно отвечал Акимов. — А может, и в этом. О, кажется, нащупал — теперь собирать будем!

Борода Акимова, который шарил руками под водой, задиралась все выше, на лице отражалась внутренняя борьба, а затем он прохрипел:

— Кажется, меня засасывает...

Я тоже был по колено в вязком и мерзком иле, но тут выскочил из него пулей. Оглядываясь на приятеля, чья борода была уже устремлена к небу, я ломал чахлое деревце, за которое вскоре и схватился Акимов.

Сидя на берегу, он снимал с себя какие-то водоросли, оглядывал их и бормотал:

— Нет, это не сигаттария... Это что-то другое, блин.

От нас, вонявших болотом, в электричке шарахались. Одни лишь контролеры оказались небрезгливыми и, оформляя штраф, довольно долго просидели рядом. Как ни странно, я спокойно расстался с по-

следними деньгами, решив: баста, завтра сдаю Довлатова в магазины по цене издательства.

Потом дела неожиданно наладились. Я получил хорошую работу, раздал долги и, хотя до Нью-Йорка не добрался, в Германию все-таки съездил. Жизнь вообще идет полосами, теперь я понял: Камышанский, например, вернулся домой, завел нового петуха и опять ест деревенские яйца. А бывший керамист разыскал где-то настоящую сигаттарию и, поставляя растения в зоомагазины, тоже благоденствует.

От того времени остался трехтомник Довлатова, разорванная пополам стодолларовая банкнота и ряд воспоминаний, не вызывающих уже прежних эмоций. Сведя в спокойном состоянии «дебет» с «кредитом», я обнаружил, что за вычетом расходов на содержание семейства остался при своих. При своих? По прошествии лет стало ясно: Довлатов подарил мне сюжет, а что может быть ценнее такого подарка? И если я когда-нибудь разбогатею и окажусь в Нью-Йорке... Впрочем, денег на горизонте пока не наблюдается, зато истории преследуют, как эхо той эпопеи.

Не так давно мы с приятелем ходили смотреть шемякинский памятник первостроителям города. Дело было зимой, мы прихватили пару жестянок водки, а когда выставили их на массивную столешницу, обнаружили огорчительную вещь: оказывается, кто-то уже успел отломать чугунный подсвечник!

— Варвары... — пробормотал приятель, распечатывая банку. — Ну? Тем не менее — за искусство?

Вскоре из темноты вышли мужчина и женщина в оранжевых жилетах, какие носят путевые ремонтники. Судя по амплитуде качаний, приняли они не слабо, однако сюда пришли с вполне культурной целью.

— Вишь, Ген, памятник новый, значит... Трезиням всяким, кто Питер строил. Если вот в эту дырку глянуть, то как раз церковь увидишь! Здоровский памятник, да? Его американец один, Колька Шемякин, сюда привез!

— Мишка, — поправил я.

— Какой еще Мишка? — насторожилась ремонтница.

— Автор памятника — Михаил Шемякин.

— Михаил, Михуил... А вы-то что за птицы?

Подозрительно нас оглядев, она обернулась к спутнику:

— Думается мне, Ген, памятник эти умники спортили! Точно, точно: они обломали тут все! Доскочи-ка до сорок третьего отделения, сообщи, — а я их пока придержу.

— Справитесь? — поинтересовался приятель.

— Я?! С двумя очкариками?! В шесть секунд!

Когда мы предложили выпить, инцидент был мгновенно исчерпан — у ремонтницы Клавы даже обнаружились два соленых огурца.

Мы пили водку из жестяных банок, на которых было написано: «Аврора». Стоял мороз. Почему-то вспоминался Довлатов.

Полиглот

В «Сайгон» меня затащил керамист Акимов. И хотя инженерская служба плохо совмещалась с богемной жизнью, я все же изредка забегал в знаменитое кафе, брал маленький двойной и, встав за столик, слушал приглушенное:

— Солж... Бродский... А вы в ДК Кирова были? Там сейчас авангардисты!

Новые знакомые подкидывали самиздат, таскали на выставки и бесцеремонно пользовались моей регулярной зарплатой. Акимов, во всяком случае, не упускал случая выцыганить чашку кофе, а с премии всегда раскручивал на выпивку. Он лепил какие-то похабные статуэтки, вызывавшие восторг сайгонской публики, но дохода не приносившие. За мной же стояла финансовая мощь оборонки, и я, не задумываясь, делился ею с противниками режима.

Прежняя жизнь, однако, догоняла, уличая в порочащих связях. Однажды я столкнулся в «Сайгоне» с Колбасьевым, выгнанным с третьего курса и подавшимся в менты: затянутый в портупею, розовощекий, он являл собой редкий случай соответствия внешности и фамилии.

— Не ожидал, не ожидал... Ты, значит, инженеришь? А я в сержантах хожу! Хотя зарабатываю, — он склонился к уху, — побольше любого инженера!

— Как это?

— Фарцу стригу! Они в «Сайгон» барахлишко приносят, а я — хоп: пройдемте, гражданин! В участок не зеду, до подворотни только: четвертачок, и гуляй, Вася, до следующего раза!

— Да, любопытно... Ну, я пошел.

— Да подожди ты! Генку Ропшина помнишь? В «Крестах» работает! Зэки, конечно, не подарок, но платят зашибись!

— Здорово... Ну, пока!

Краем глаза я видел: за беседой наблюдает Акимов, мрачно усмехаясь в бороду. Разговор мог сойти за нейтральный (кто не общался с ментами?), но похлопывание по плечу и сияющая улыбка Колбасьева выдавали с головой.

— Смотри, может, плюнешь на инженерство? Надумаешь к нам в органы — звякни, я тебе рекомендацию дам!

Когда я встал за столик, Акимов покачал головой.

— Стремные у тебя знакомые... И это в нашем оплоте свободомыслия!

Крыть было нечем. А керамист не отставал, обличая в смертных для нонконформиста грехах, что, я чувствовал, означает серьезный удар по бюджету.

— Ладно, никому не скажу, — наконец сжалился он. — Но с тебя — большой двойной. — Акимов подумал и добавил: — С двойным сахаром.

Надо сказать, у выпускников электротехнического образование редко совпадало с призванием: кого-то затянули шабашки, других — рок-н-ролл или, как меня, литература. Затягивало даже в КГБ, поскольку здоровенный лоб, обремененный семьей, на сторублевом окладе, как правило, чах и впадал в тоску. И вот, когда перспектив ноль, а денег — шиш, появлялся некто в штатском, обещая золотые горы и интереснейшую работу. Он показывал корочки с тремя буквами, разъяснял льготы, вербуемый же нервно облизывался:

— А контора отпустит? Тут же три года надо оттрубить!

— К нам — отпустит... — усмехался штатский в чине майора. Завербованный обычно менял круг общения на профессиональный, лишь Вовчик Мурашов, надев погоны, продолжал мелькать в прежних компаниях. Его заманили в «чека», посулив использовать знание языков. Знавший еще в институте немецкий с французским, он самостоятельно овладел польским и в своем НИИ всячески пытался реализовать накопленное. Увы, начальству было наплевать на полиглота, а тут еще женитьба, то есть, надо кормить семью...

— Валька всю плешь проела, — оправдывался Вовчик. — И умище, опять же, куда девать?!

С новоиспеченным рыцарем «плаща и кинжала» я был в неплохих отношениях еще со студенчества, но Акимов об этой связи, естественно, не догадывался, иначе вся зарплата ушла бы на утоление его аппетита.

Чекисты для начала отправили «умище» в Москву, откуда Вовчик вернулся с блестящим знанием финского языка. И стал дожидаться интересной работы в стране лесов и озер, где, как и повсюду, требовались бойцы невидимого фронта. Бесхозяйственность, однако, докатилась и до карательных органов: шел месяц за месяцем, а работа как была — перекладывать бумаги, так и осталась. И Вовчик начал заглядывать в бутылку. Благо, кроме финского языка, привез из Москвы финскую же страсть к крепким напиткам.

Теперь он меньше литра на стол не выставлял. После первой бутылки он начинал говорить на немецком, после второй — на французском или польском, а начиная с какого-то момента забывал все языки и принимался петь: «Я помню тот Ванинский порт». Пел он выразительно, с надрывом: я прямо видел лейтенанта КГБ в роли зэка, страдающего от качки в «холодном мрачном трюме».

— Ну, пора расходиться! — нервно говорила Валентина после завершающего куплета. И была права: это означало критический порог, за которым Вовчика несло, куда глаза глядят.

Однажды она позвонила среди ночи: мол, ушел вечером и до сих пор не явился!

— Пел «Ванинский порт»? — спросил я.

— Три раза... — вздохнула Валентина.

А в пять утра раздался еще звонок, и трубка заговорила голосом Вовчика:

— Во бефинде зих... бефинде их... — и, наконец: — Где я?!

— Интересный вопрос. Я бы тоже хотел знать. Валька, кстати, тоже.

— Нет, я серьезно! Кирхе какая-то... Где-то я ее, блин, видел!

— Ладно, давай ориентиры. Что там, кроме кирхи?

Вскоре мы выяснили, что приятель находится рядом со Спасомна-Крови. В такси я боялся, что его унесет еще дальше, но, слава богу, обошлось.

Из чекистских льгот Вовчик пользовался одной: возможностью проникать по ночам в интуристовские гостиницы. Литра, как уже говорилось, всегда не хватало, к полуночи требовалось добавить, а где еще выпьешь, как не в ночном баре? Когда приятель предъявлял удостоверение, швейцары вытягивались во фрунт; потом звучала магическая фраза: «Товарищ со мной», и волей-неволей ты приобщался к чему-то высшему и всемогущему. Масонская ложа, орден меченосцев, клуб анонимных алкоголиков — на выбор; оскорбляло лишь то, что к тому же ордену принадлежали путаны и фарцовщики, с легкостью проходившие дверных сторожей.

Когда у Вовчика родилась дочь, решили отметить событие. Валентина была уже дома, но беспокоить роженицу не хотелось, и мы двинулись в сторону гостиницы «Москва», заглядывая по пути в рюмочные.

— Товарищ со мной, — махнул Вовчик удостоверением. И прибавил что-то типа «доннер веттер» — доза уже приближалась к немецкой волне.

— А у меня свое есть! — нахально сказал я, показав красное удостоверение работника печати. Я тогда уже плюнул на инженерство и, перейдя работать в многотиражку, тоже входил во вкус исключительности: пресса все-таки!

— Аусвайспапире — зер гут! — похвалил Вовчик. — Ну? Шаркнули по душе?

Бармен был незнакомый и для начала потребовал визитки.

— Нет визиток, кайне... — хрипло сказал Вовчик. — Не будь бюрократом, майн фройнд, дай-ка лучше шнапса!

— Лифт — налево. И побыстрее, фройнды, пока охрану не вызвал!

Вовчик махнул коркой, что волшебным образом превратило цербера в шавку.

— Что ж вы, ребята? Так бы и сказали, что на работе...

Вначале сидели в одиночестве, затем подгребла парочка немцев. Вовчик не скрыл причины веселья, и немцы заквохтали:

— Тохте, тохте! Зер гут!

Подходили другие немцы, им тут же докладывали, и Вовчика хлопали по плечу, мол, глюклих фатер! Здесь моих познаний хватало: Вовчик — счастливый папаша, дочь — тохте, и, пока приятель общался, я наливал. «Руссиш шнапс» тоже был «зер гут», разве что дозы смущали, а именно: налитое в фужер гости разливали на троих, сберегая хрупкие тевтонские организмы. Когда я вспомнил, как выпивал с немцами из Судет (те потребляли стаканами), гости посовещались, потом наперебой заговорили. И я понял: судетских они считают чехами, то есть, идентифицируют не по крови, а по нравам.

— Миттакессен! — прозвучало на другом конце холла. — Ком, ком!

Слегка покачиваясь, камрады ушли обедать. А к нам подсел грузный финн, чей язык житель невских берегов безошибочно определяет с первой фразы. Финн был «дамши», разговаривал сам с собой, да плюс к тому выставил литровую водку. То есть, появился достойный партнер. Вовчик бегло заговорил на финском, гость тупо окинул его взглядом, затем расцвел в улыбке. Это значило: приятель как минимум преодолел таможню, я же остановился перед языковым шлагбаумом.

Общение с полиглотом, конечно, не прошло даром, дав навык ориентироваться по сигнальным словечкам, что, как островки, всплывают в любой беседе. Например, «юкси» или «какси», что означает «один» и «два», или интернациональные: «водка», «коньякки», «валуута», позволявшие хотя бы кивать. Но чем дальше, тем меньше наблюдалось островков, они погружались в пучину пьяной болтовни, и я вскоре утратил всякую опору.

А Вовчик вскрылял орлом. С немцами он был степенным, но тут размазался, рассказывал какие-то истории, а финн хохотал и выставлял вверх большой палец. «Предатель, — обиженно думал я, — Карл Густав Маннергейм!» Я еще пытался различать «кука?» — «что?» и «микя?» — «кто?», но, когда «микя?» употребили на мой счет, обиделся еще больше. Финн хихикал, и звучало что-то похожее на «Веня Лайнен».

— Что это он меня Веней называет? — недовольно сказал я. — И фамилию какую-то дурацкую придумал...

Вовчик расхохотался:

— «Венялайнен» означает: русский! Только ты не бери в голову — лучше шаркнем нохайнмаль! Эх, маль, нохайнмаль...

Он достал четвертной, и я потащился за шнапсом. Когда же вернулся, обнаружил за столиком путану.

— Дайте даме прикурить! — томно сказала она. Удивленно воззрившись на спички фабрики Чудово, которые я достал, дама тут же

поставила на мне крест. Зато на Вовчика стреляла глазками, и ногу за ногу закладывала так, что из-под юбки выползал край бикини.

— Ты хороший финский парень, — обняла она его. — Пойдем ко мне в номер?

Вовчик посмотрел на нее стеклянными глазами. Не помню, что было сказано, но девица моментально спрыгнула с колен и, схватив сумочку, слиняла.

А финн уже ронял физиономию в тарелку. Иногда он вскидывал на меня глаза и со свистом произносил:

— Руплисса — не надо!

— Мне тоже не надо руплиссы... — обижался я. — Вовчик, что это с ним?

А финн ревел, как северный олень из Лапландии:

— Валу-ута... Валу-ута... Ноу!

И скрещивал руки, мол, отказ.

— Он считает, что ты — фарцовщик, — сказал Вовчик с явным финским акцентом. — И что марки будешь выпрашивать. Но мы, говорит Урхо, ничего тебе не дадим!

«Мы» — надо сказать, взбесило. Приятель опять шутил, финн хохотал, и они отходили все дальше, дальше...

— Ну, юкси-какси, кука-микя... — разозлился я. — А в ухо он не желает получить?! За фарцовщика?! Переведи!

Однако Вовчик окончательно переместился на другую сторону линии Маннергейма и вместе с этим алкашом издевался над тем, у кого «собственная гордость».

Я не сразу заметил, что вокруг фланируют какие-то странные персонажи в темных пиджаках, испытывая к нам явный интерес. С одним возле лестницы беседовала сбежавшая путана, указывая на нас сумочкой. А вскоре я услышал за спиной:

— День добрый, господа-товарищи!

— Добр... — откликнулся я, но меня перебили:

— Не оборачиваться! Тихо встаем и направляемся направо.

— Но выход — налево! — возразил я.

— А вы пойдете — направо! Сначала вы, потом ваш друг.

Нельзя сказать, чтобы я испугался. Но, пока шел, мысли приняли иной оборот: может, все-таки влетели? И Вовчика теперь выгонят из «чека», а уж меня из прессы — точно попрут! Где-то сзади извергали финно-угорский словесный понос, а меня зациклило на дурацкой пословице: вор у вора шапку украл...

В кабинете на первом этаже сидел старший оперуполномоченный. Вовчика оставили в предбаннике, меня же ввели внутрь, и опер с ходу спросил:

— Ну? На кого работаем?

— На газету, — честно ответил я.

— «Нью-Йорк таймс»? Или «Зюйддойче цайтунг»? Ладно, разберемся!

Взяв в руки удостоверение, он удивился:

— А корки — прямо как наши! Ну, и где же такие выдают? Корреспондент газеты «Трудовое знамя»... — он покачал головой. — Ай-ай-ай! Работник идеологического фронта, корреспондент — и пойман на фарцовке!

— Да где вы видели фарцовку?! — возмутился я. — И вообще — мой друг...

— Так, так: ваш друг! Он-то нас и интересует! Вы, наверное, только набираетесь опыта, верно? Но ваш друг, по всему видать, тертый калач! Матерый волк и, как говорится, не первый год замужем.

А матерый волк, кажется, дошел до декламации «Калевалы». Нет, страна Суоми могла бы гордиться таким сыном: до последнего цепляется за язык родных елок!

— А ну-ка его сюда! — крикнул опер. — Очную ставку им устроим!

Вовчик то ли не хотел раскрывать инкогнито, то ли был уже не в состоянии. Однако лист протокола, положенный на широкую, отделанную под орех столешницу, отрезвил, и приятель полез в карман.

Последовала немая сцена. Кто-то в тишине пробормотал про подделку, но опер цыкнул, мол, заткнись! А потом долго смотрел на Вовчика снизу вверх.

— Ну, бля, даете... В разработке, что ли, тот финн? Так мы давно за ним наблюдаем — пьянь обычная, и больше ничего!

— Тохте родилась, мужики... — прохрипел Вовчик. — Дочери ножки обмываем.

Сцена сделалась еще немее, а затем опер обиженно сказал, что в прошлом году у него двойня родилась, но нажрался он — дома!

— Ладно, держи!

Корка полетела обратно, а лист был тут же выброшен в корзину. И опять мелькнуло: эвон как! Все «могём», если «захочем»!

Нас проводили до выхода, и Вовчик метнулся за столб — блевать.

— Счастливый... — сказал провожатый. — Резидентом в Финляндию могут послать, — он помолчал и добавил: — Тем более водку он хряпает, как настоящий лесоруб.

По дороге мы дважды пили пиво. И на подходе к дому Вовчик затянул «Ванинский порт», что означало: приключения только начинаются.

Оказалось, у Валентины подскочила температура. Ребенок кричал, жена лежала никакая, а Вовчик накручивал 03. Когда же «скорая» была вызвана, последовали непонятные манипуляции с книжками.

— Ты что ищешь?

— Отстань! Так, самоучитель... Пособие от Сохнута...

Следует сказать, Вовчик не стоял на месте: иврит был пятым, кажется, языком, причем изучался со всей серьезностью: пособия, литература и кассеты занимали целую полку. Однако я не мог взять в толк, почему содержимое полки раскидывается по квартире: на диван, на журнальный столик, на стулья...

— Тора — это хорошо! — бормотал приятель. — Они любят Тору! Башевиц Зингер... Не знаешь, кто такой?

— Писатель, — сказал я, — Нобелевский лауреат.

— Класс! Нобелевский на иврите — это не хухры-мухры!

— Так ты объяснишь, нет?!

Когда полка опустела, Вовчик озабоченно сказал:

— Понимаешь, все врачи — евреи. И если они увидят... Короче, им будет приятно.

— Крыша у тебя едет, — сказал я. — Не все врачи — евреи. Но даже если так: подчеркивать национальность — некорректно.

И тут понеслось: я с московским раввином... в хоральной синагоге...

— Да это в конце концов запрещенка!

— Это для вас! А у нас такого добра после каждого изъятия — горы! Мы их по домам разбираем — для расширения кругозора.

Спор прервал звонок в дверь. Вовчик что-то вполголоса бормотал, но главное, откуда-то взялась и была водружена на голову настоящая кипа! Наверное, тоже с какого-нибудь изъятия, во всяком случае, Вовчику она шла — ребе Абрам, как родился в ней!

Врач оказался скромным лысым мужичком, извинявшимся за то, что на Охте — пробка, почему не сразу приехали. Только Вовчика мелочи не интересовали: он налетел, как языковой вихрь, как самум из пустыни Негеф, потрясая Пятикнижием и изрыгая древние словеса. Мне тут было нечего ловить. С финно-уграми все-таки что-то связывает — по одним лесам бродили, — но семитская речь, рожденная на жарких плоскогорьях, представлялась полной эзотерикой. «Бар-мицва... шабат... элохим...» — мелькнуло знакомое: «маца», и я опять впал в прострацию. Врач тоже впал и с удивлением взирал на личность в кипе, что мельтешила с сохнутовскими книжками в руках и то ли пыталась что-то выпросить, то ли угрожала.

— Беседер? — периодически спрашивал Вовчик.

— Да, беседуем вот... — смущенно отвечал врач.

— Нахон?

— Возможно, что и нахон... Я плохо понимать... Нихт ферштеен, как говорится!

Вовчик на миг застыл, затем выбежал в кухню.

— Он что — иудей? — испуганно спросил врач. — Ну, правоверный?

— Может быть... — задумчиво сказал я, прислушиваясь к бульканью в кухне. — Может быть...

— Так я ж чего? Я ничего... Давайте сюда ваш иудейскую мамашу: сейчас осмотрим, укольчик сделаем...

Вовчик влетел с подносом, на котором стояло три стакана с водкой.

— Ле хаим! — торжественно провозгласил он.

— Может, сначала больную посмотрим? — робко предложил врач.

— Ле хаим!! — вытаращил глаза Вовчик. Я вдруг понял, каким был пророк Иезекииль. И каким был Исайя, и почему Моисею дали десять заповедей — такому попробуй не дать! Тут, однако, из комнаты выскочила Валентина. Трехэтажная тирада не оставила сомнений в национальной принадлежности — Вовчик тут же стащил кипу, а врач с облегчением перевел дух.

— Так мы бодренько себя чувствуем? — воскликнул он. — Очень хорошо! И все-таки — осмотримся.

Мы с Вовчиком виделись все реже, а потом и вовсе перестали. Ходили слухи, что в перестройку он сбежал из органов, как и многие, подавшись в бизнес.

Время передвинуло «Сайгон» на другой конец Невского, и большой двойной (да еще с двойным сахаром) стоит теперь безумных денег. Приверженец свободомыслия Акимов с годами воспылал неожиданной страстью к лимоновской партии и, встречая меня, начинает разговор так: «Когда мы вас построим и погоним на Соловки...» Ну, и «языки» повадились в гости, так что иностранная речь уже не воспринимается из ряда вон, звуча даже на твоей кухне.

Общаясь с приятелями-иностранцами, я иногда вспоминал человека, который жил в чужих языках, как рыба в воде: где он, интересно? Кем востребован?

Как черт из табакерки, тот появился спустя годы, когда у меня в гостях сидел американский литератор Грэм.

— Чем занят? — спросил голос в трубке. — Я в твоем районе — дай, думаю, звякну!

Когда я сказал, что пью водку с американцем, Вовчик возбудился и понес что-то на английском. Я протянул трубку Грэму, и тот после минутного разговора объяснил: хотят дать работу на языковых курсах — преподавать «американит». С деньгами у Грэма, как водится у литераторов, было негусто, и он обещал подумать.

— Тайм из мани! — крикнула трубка. — Я сейчас буду!

Вовчик был худой, поджарый и то и дело пересыпал речь англицизмами. «Айм сорри!», — извинялся он, когда пищал пейджер, и, считав сообщение, бежал к телефону, чтобы договариваться о каких-то бочках.

— Выпей, что ли... — предложил я. — Расслабься!

— Ноу дринк! Онли джюс, тоник... Не пью, короче.

В глазах Грэма мелькнул испуг, а рюмка в руках предательски задрожала. Потом он смущенно скажет: «Кажется, твой приятель — больше американец, чем я». И ошибется, потому что Вовчик — вопреки переменам, — жил в своем времени.

В прихожей тот в стеснении замялся.

— Тут такое дело... Курсы — это ведь пока проект... А огурцы — гниют, понимаешь...

Оказалось, они с Валентиной закупили на Псковщине пятьдесят бочек соленых огурцов, но овощные магазины почему-то отказывались их брать.

— Хорошие огурцы, необычного засола! Огурчики из Опочки, псковские, ты таких не едал, чесслово! Куда б, думаешь, их пристроить?

На миг показалось: Вовчик превратился в «скобского», так явственно прозвучал характерный говорок. И почему-то подумалось, что работа Грэму не светит.

— Не знаешь, куда? Ну, тогда пока.

Будущее подтвердило мои подозрения. Больше мы не встречались.

Санкт-Петербург, 1999

Наталья КОНДРАТЬЕВА

/ Киев /

Фрау

Простор и утренняя свежесть были здесь так же привычны, как запах кофе по утрам. Тонированные грани небоскрёбов мягко отражали скупые лучи света, и от этого казалось, что дома — это высокие прямоугольные колбы, наполненные до краёв ртутью.

Оба банта были одинаково грязные, и уже невозможно было определить, какой из них наряднее. Поэтому Фрау нацепила оба. Картина, которая раскинулась перед её глазами, с прошлого раза совсем не изменилась: заросли небоскрёбов — внизу, небо и облака — вверху.

Фрау сидела, подложив левую ногу под себя, а правую свесив вниз. Она достала из кармана бублик и медленно сунула его в рот. Затем слегка прищурилась: на соседних крышах зашевелились черные силуэтики. «Хихикают», — подумала Фрау, хотя не слышала никаких звуков, похожих на смех. Потом она о чём-то задумалась и только через минуту вспомнила, что хотела откусить бублик, край которого уже успел раскиснуть у неё во рту. Она передумала и положила его назад в карман.

Внизу угадывалось движение. Никто из проходящих не поднимал голову и даже не оглядывался. Все двигались в одном направлении шагами одной длины, дыша друг другу в затылок. Но примерно с месяц назад кто-то поднял глаза вверх. Фрау испугалась и спряталась. С тех пор ей стало не так скучно сидеть на крыше. Иногда её стали посещать новые мысли. Теперь она с интересом смотрела вниз.

Позади послышался короткий скрип. Фрау оглянулась, но рядом никого не было. Заглянув за противоположный край крыши, Фрау увидела карабкавшегося по стеклянной стене небоскреба синего липкого чертёнка. Тот, заметив, что обнаружен, стал карабкаться ещё усерднее, пыхтя и обливаясь потом. Его глаза наполнились жестокой решительностью. Не теряя времени, он, рыча, впился клыками в ногу Фрау, отчего она подпрыгнула и ударила его по лицу тряпичной куклой. Не успел тот и глазом моргнуть, как она нанесла ему удар пяткой в его

приплюснутый нос. Чёрт заскулил и сорвался вниз, выдернув у Фрау несколько перьев из правого крыла. Крылья Фрау и без того выглядели не очень аккуратно (они были слипшимися и грязными), это её разозлило окончательно, и она швырнула ему вдогонку бутылку «*Pepsi*». Почесав лопатку, Фрау подобрала самодельную куклу, и, волоча её за ногу, поплелась на своё место. Там уже лежал белый лист с прерывистыми абзацами букв и чисел. Числами были обозначены даты, а также широта и долгота. Буквы же складывались в имена. Перед тем, как приступить к делу, Фрау решила пришить глаз кукле, который уже давно оторвался и покоился в железной коробке со всякой мелочью. Не успела она сделать первые стежки, как на облаке позади нее возникла высокая фигура с золотыми волосами и в белой мантии. Фрау оглянулась.

— Пора, — сказал мужской голос.

— Да знаю я, — не отрываясь от занятия, ответила Фрау.

— Пора, — фигура появилась прямо перед ней.

Фрау вздрогнула и выронила куклу. Та полетела вниз.

— Ну, посмотри, что ты наделал! — чуть не плача, проговорила она. — Так нечестно-о! — разревелась Фрау.

Тут кто-то дёрнул её сзади за платье. Она обернулась. Человек в белом протягивал ей куклу. Фрау выхватила куклу и крепко прижала к себе.

— Иду уже, — она шмыгнула носом и вытерла слезы рукавом. Затем она достала из железного ящика кусочек замши. Зажав куклу между ног, на ощупь протёрла нимб, достала из железного ящика рыжий кошелёк на верёвочке, нацепила его на шею, и, скомкав в одной руке белый лист, а другой — прижав куклу к груди, полетела...

Первым в списке был Панас Прокофьевич из Харькова. Его проблема была в том, что он всякий раз хлестал продавца перчаткой по щекам, когда не слышал в ответ на своё «спасибо» — «пожалуйста» или «на здоровье». Для особого эффекта П.П. предварительно засовывал в перчатку несколько кусочков конструктора «Lego», за что неоднократно был бит местными рэкетирами.

Вторым в списке был Павлик из Воронежа. Вообще-то он был карманником и промышлял на рынке, но сейчас его преследовала навязчивая идея. Он уже почти двадцать минут шёл за высоким мужчиной с тяжелыми сумками в обеих руках. «Интересно, он сильно разозлится, если я у него выдерну этот волос?», — думал он о поразившем его воображение волосе, который неприлично торчал у мужчины из носа. «Да. Наверное, сильно разозлится. И, наверное, больно ударит», — сам себе ответил Павлик.

Фрау вычеркнула его из списка.

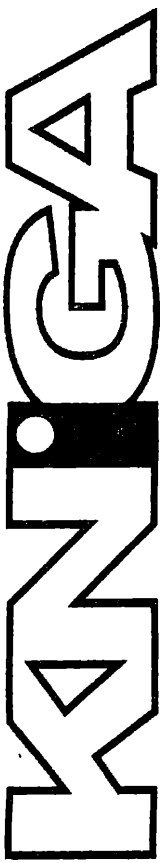
День только начинался.

Борис Левит-Броун

Роман «Чего же боле?..» новая книга поэта, писателя и художника, Бориса Левита-Броуна, представляет сочетание эпистолярно-лирического романа с романом-интригой. Книга повествует о необычных отношениях героя с тремя женщинами. В романе наряду с поэзией и эротикой много размышлений о Любви, много противоречивых чувств: от страсти и ревности до раскаяния и раздумий о вере в Бога. Графика и художественное оформление автора.

Книга выходит в издательстве «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург.

Versandbuchhandlung
KNIGA
Überring 20
50678 Köln



Книжный магазин **«Книга»**
предлагает более 2000 книг
ведущих российских издательств.
Большой выбор книг по тематикам:

ФИЛОСОФИЯ
Соловьёв В., Лосев А., Флоренский Л.,
Розанов В., Мережковский Д.,
Мамардашвили М., Чижевский А. ...

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА
Аксёнов В., Алешковский Ю., Бакланов Г.,
Битов А., Веллер М., Генис А., Давыдов Ю.,
Ерофеев В., Пелевин В., Петрушевская Л.,
Мамлеев Ю. ...

А также:
литературоведение, история, психология,
энциклопедии, словари, справочники.

Каждый месяц новые поступления книг.
Более подробную информацию вы
можете получить по нашим
телефонам:

Tel.: 0221-326085, 0221-93 27 770
Fax: 0221-326014
E-mail: KNIGA@friendfactory.com
www.kniga-service.com **www.kniga-service.com**

Визы и авиабилеты в Израиль!

Кратчайшие сроки!
Квалифицированное обслуживание!
Выгодные тарифы!

PROGRESS

REISEN

В нашем агентстве вы можете в любой момент получить актуальную информацию об авиарейсах, туристических поездках, а также воспользоваться возможностью забронировать места на интересующий вас рейс или турпоездку из любого аэропорта в Германии в любой уголок бывшего СССР или всего мира.

Progress Reisen предлагает самые выгодные тарифы на авиарейсы в Израиль и только Progress Reisen в кратчайшие сроки осуществляет все виды визового обеспечения.

Мы желаем вам и вашей семье приятного отдыха и будем очень рады, если вы воспользуетесь нашими услугами. Вас ожидает профессиональное обслуживание и доброжелательная атмосфера.

Progress Reisen
Karlsplatz 4
80335 Munchen
Tel: 089-598107 Fax: 089-598100
E-mail: Progress@t-online.de

За оказанную помощь
в издании номера журнала
редакция выражает искреннюю благодарность
Елене Верник.

«Все когда-то казалось таким естественным, доступным, данным по рождению. А вот поди ж ты… Мерцают на горизонте жизни дрожащие огни дальних имен: Крещатик, Девичье Поле, Садовое, Плешка, Стрелка, Петроградская, Лонжерон — далее везде. Имена эти давно стали не только названиями мест, но такими же (и лишь в малой степени ностальгическими) понятиями искусства и истории, как Муром, Карфаген, Бастилия, Вандея, Соловки или Сахалин…»

Андрей Грицман / Нью-Йорк /

Крещатик

All rights reserved © Kreschatik